

АНТОЛОГИЯ САМИЗДАТА ТОМ I КНИГА 2

АНТОЛОГИЯ

САМИЗДАТА

ТОМ I
книга 2

АНТОЛОГИЯ САМИЗДАТА

НЕПОДЦЕНЗУРНАЯ ЛИТЕРАТУРА В СССР

1950-е — 1980-е

ББК 63.3(2)6-7
УДК 94(47).084.9

Под общей редакцией *В.В. Игрунова*

Автор проекта и составитель *М. Ш. Барбакадзе*
Редактор *Е. С. Шварц*

Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е – 1980-е. / Под общей редакцией В.В. Игрунова. Составитель: М.Ш. Барбакадзе. – М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. – В 3-х томах, ил.

«Антология самиздата» открывает перед читателями ту часть нашего прошлого, которая никогда не была достоянием официальной истории. Тем не менее, в среде неофициальной культуры, порождением которой был Самиздат, выкристаллизовались идеи, оказавшие колоссальное влияние на ход истории, прежде всего, советской и постсоветской. Молодому поколению почти не известно происхождение современных идеологий и современной политической системы России. «Антология самиздата» позволяет в значительной мере заполнить этот пробел.

В «Антологии» собраны наиболее представительные произведения, ходившие в Самиздате в 50 – 80-е годы, повлиявшие на умонастроения советской интеллигенции. В сборнике представлен широкий жанровый и идеологический спектр, наилучшим образом показывающий разноплановость неподцензурной культуры. Кроме того, «Антология» дает представление о возникновении независимых общественных движений в СССР.

Международный институт гуманитарно-политических исследований.

Почтовый адрес:
125009, Россия, Москва, Газетный пер., дом 5, офис 506, ИГПИ

Электронная почта:
antology@igpi.ru

Адрес в сети Интернет:
<http://antology.igrunov.ru>
<http://www.igpi.ru>

ISBN 5-89793-035-X
ISBN 5-89793-032-5 (Том 1 книга 2)

АНТОЛОГИЯ САМИЗДАТА

НЕПОДЦЕНЗУРНАЯ ЛИТЕРАТУРА В СССР

1950-е — 1980-е

ТОМ 1
КНИГА 2

до 1966 года



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

МОСКВА, 2005

...Самиздат — явление уникальное и уже не повторится никогда. Не потому, что у властей нынешних или будущих никогда не появится соблазна ограничить гражданам доступ к информации и идеям, властям не симпатичным, а потому, что в век Интернета это уже, слава Богу, сделать невозможно.

Людмила Алексеева, Председатель Московской Хельсинкской группы

Хорошо известно, что существует два типа героизма: мужество воина — защитника отечества, спасателя — защитника близких людей. Оно заслуживает всяческого уважения и восхищения. Но есть и другой героизм — мужество гражданское, мужество невооруженного гражданского человека отстаивающего права, свободы, достоинство свое и других людей. Часто ему незнакомых. Отстаивающего их от огромной, превосходящей силы, зачастую силы мощного государства. Это не меньшее мужество. Именно таким мужеством обладала героическая плеяда правозащитников, возвысивших голос против советского тоталитарного произвола. Их лозунг «Уважайте собственную конституцию» стал знаменем сопротивления 60-70 гг. Знаменем демократических преобразований 90-х гг.

Я очень рад тому, что данный сборник позволит молодым читателям приобщиться к бессмертному, поистине историческому достоянию нашей Родины.

Владимир Лукин,

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

В 60-е годы появился знаменательный анекдот:

— Бабушка, ты зачем «Войну и мир» на машинке перепечатываешь?

— Для внука стараюсь. Он ничего кроме самиздата не читает.

Самиздат был импульсивной реакцией нашего поколения на тотальную несвободу.

Юлий Ким, писатель, драматург, бард

Послевоенное семилетие — годы впервые за все советское время остановленной литературной эволюции: нового литературного качества не порождается, идет штамповка одних и тех же образцов. Именно литературный Самиздат запустил в середине 50-х годов маятник остановленного механизма. Часы литературы пошли.

Мариэтта Чудакова, литературовед, культуролог

В 1960-80-е годы самиздат казался информационным протезом той части общественной жизни, души и тела, которую, по мнению начальства, следовало ампутировать и объявить несуществующей. Для авторов, издателей и читателей самиздата его существование было способом воссоздания этой усеченной реальности во всей ее полноте, мостом в запрещаемое духовное прошлое, в мир, находившийся за строго охраняемыми границами одной шестой и органическим, т.е. свободным способом рассуждений о будущем.

Теперь кажется уже общепризнано: этот культурный феномен — неотъемлемая часть советского прошлого, которое не может без него быть понятным и осмысленным.

Владимир Гольц, сотрудник «Радио Свобода»

ПОЭЗИЯ

Борис Пастернак
(Справку см. т. 1, кн. 1, стр. 249)

СТИХОТВОРЕНИЯ ЮРИЯ ЖИВАГО

1

Гамлет

Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

15

Зимняя ночь

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.

Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.

И все терялось в снежной мгле,
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздыхал, как ангел, два крыла
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

18

Рождественская звезда

Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.

А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,

Встревоженной этою новой звездой.
Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.

И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры...
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.

– Пойдемте со всеми, поклонимся чуду,–
Сказали они, запахнув кожану.

От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листьями слюды
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.

Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Все время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.

По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримо делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
– А кто вы такие?– спросила Мария.
– Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести вам обоим хвалы.
– Всем вместе нельзя. Подождите у входа.
Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстие скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углублень дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,

И тот оглянулся: с порога на деву,
Как гостя, смотрела звезда Рождества.

22

Дурные дни

Когда на последней неделе
Входил он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за ним.

А дни все грозней и суровой,
Любовью не тронуть сердец.
Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.

Свинцовою тяжестью всею
Легли на двory небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед ним, как лиса.

И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут.

Толпа на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
Толклись в ожиданье развязки
И тыкались взад и вперед.

И полз шепоток по соседству,
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет и детство
Уже вспоминались, как сон.

Припомнился скат величавый
В пустыне, и та крутизна,
С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.

И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол,
И море, которым в тумане
Он к лодке, как по суху, шел.

И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечою в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскрешенный вставал...

25

Гефсиманский сад

Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный Путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом он молил отца.

Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт

Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди — Иуда
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсек.
Но слышит: «Спор нельзя решать железом,
Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы мне сюда?
И, волоска тогда на мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты».

Источник: Пастернак Б. Собрание сочинений. В 5-ти т. Т.3. Доктор Живаго: Роман.
М.: Худож. лит., 1990.

Жигулин
Анатолий Владимирович
(1930–2000)



Поэт, писатель.

Родился в Воронеже, отец из крестьян, мать – потомственная дворянка, правнучка поэта-декабриста В.Ф. Раевского. Поступил в Воронежский лесохозяйственный институт. В 1949 г. опубликовал первые стихи в воронежской периодике (альманах «Литературный Воронеж»), и в том же году был арестован в числе нескольких студентов за создание КПМ – Коммунистической партии молодежи, задачей которой было разоблачение антикоммунистической деятельности Сталина и пропаганда идей Ленина. Получил 5 лет лагерей, в 1954 г. освобожден, в 1956 г. был реабилитирован. На основе этих событий Жигулин написал автобиографическую повесть «Черные камни». После реабилитации Жигулин, как и многие другие члены КПМ, вступил в КПСС.

Основные публикации:

Сборники стихов: «Память» (1964), «Прозрачные дни» (1970), «Соловецкая чайка» (1979), «Калина красная – калина черная» (1979), «Жизнь – нечаянная радость» (1980), «В надежде вечной» (1983), «Сгоревшая тетрадь» (1987). Повесть «Черные камни» впервые была опубликована в 1988 г. в журнале «Знамя», в 1989 г. вышла отдельной книгой в издательстве «Московский рабочий».

ОТЕЦ

В серый дом
Моего вызывали отца.
И гудели слова
Тяжелее свинца.

И давился от злости
Упрямый майор.
Было каждое слово
Не слово – топор.

Враг народа твой сын!
Отрекись от него!
Мы расшлепаем скоро
Сынка твоего!..

Но поднялся со стула
Мой старый отец.
И в глазах его честных
Был тоже – свинец.

Я не верю! – сказал он.
Листок отстраня. –
Если сын виноват –
Расстреляйте меня.

1962

СНЫ

Семь лет назад я вышел из тюрьмы.
А мне побег,
Всё побег снятся...
Мне шорохи мерещатся из тьмы.
Вокруг сугробы синие искрятся.

Весь лагерь спит,
Уставший от забот,
В скупом тепле
Глухих барачных секций.
Но вот ударил с вышки пулемет.
Прожектор больно полоснул по сердцу.

Вот я по полю снежному бегу.
Я задыхаюсь.
Я промок от пота.
Я продираюсь с треском сквозь тайгу,
Проваливаюсь в жадное болото.

Овчарки лают где-то в двух шагах.
Я их клыки оскаленные вижу.
Я до ареста так любил собак.
И как теперь собак я ненавижу!..

Я посыпаю табаком следы.
Я по ручью иду,
Чтоб сбить погоню.
Она все ближе, ближе.
Сквозь кусты
Я различаю красные погоны.

Вот закружились снежные холмы...
Вот я упал.
И не могу подняться.
...Семь лет назад я вышел из тюрьмы.
А мне побеги,
Всё побеги снятся...

СОЛОВЕЦКАЯ ЧАЙКА

Соловецкая чайка
Всегда голодна.
Замирает над пеною
Жалобный крик.
И свинцовая
Горькая катит волна
На далекий туманный
Пустой материк.

А на белом песке —
Золотая лоза.
Золотая густая
Лоза-шелюга.
И соленые брызги
Бросает в глаза,
И холодной водой
Обдает берега.

И обветренным
Мокрым куском янтаря
Над безбрежием черных
Дымящихся вод,
Над холодными стенами
Монастыря
Золотистое солнце
В тумане встает...

Только зыбкие тени
Развеянных дум.
Только горькая стылая
Злая вода.
Ничего не решил
Протопоп Аввакум.
Все осталось как было.
И будет всегда.

Только серые камни
Лежат не дыша.
Только мохом покрылся
Кирпичный карниз.
Только белая чайка —
Больная душа —
Замирает, кружится
И падает вниз.

ЭПОХА

Что говорить. Конечно, это плохо,
Что жить пришлось от воли далеко.
А где-то рядом гулко шла эпоха.
Без нас ей было очень нелегко.

Одетые в казенные бушлаты,
Гадали мы за стенами тюрьмы:
Она ли перед нами виновата,
А, может, больше виноваты мы?..

Но вот опять веселая столица
Горит над нами звездами огней.
И все, конечно, может повториться.
Но мы теперь во много раз умней.

Мне говорят:
«Поэт, поглубже мысли!
И тень,
И свет эпохи передай!»
И под своим расплывчатым «осмысли»
Упрямо понимают: «оправдай».

Я не могу оправдывать утраты,
И есть одна
Особенная боль:
Мы сами были в чем-то виноваты,
Мы сами где-то
Проиграли
Бой.

1964

ПОЭТ

Его приговорили к высшей мере,
А он писал,
А он писал стихи.
Еще кассационных две недели,
И нет минут для прочей чепухи.

Врач говорил,
Что он, наверно, спятил.
Он до утра по камере шагал.
И старый,
Видно, добрый, надзиратель,
Закрыв окошко, тяжело вздыхал...

Уже заря последняя алела...
Окрасил строки горестный рассвет.
А он просил, чтоб их пришили к делу,
Чтоб сохранить.
Он был большой поэт.

Он знал, что мы отыщем,
Не забудем,
Услышим те прощальные шаги.
И с болью в сердце прочитают люди
Его совсем не громкие стихи.

И мы живем,
Живем на свете белом,
Его строка заветная жива:
«Пишите честно —
Как перед расстрелом.
Жизнь оправдает
Честные слова».

1964

Источник: Сайт Апология здравого смысла (<http://www.benjamin.ru/poetry/zhigulin/>)

Айхенвальд
Юрий Александрович
(1928–1993)



Поэт, переводчик, театровед, историк русской культуры. Родился в Москве в 1928 г. Внук Юлия Айхенвальда, известного литературоведа и философа, высланного из СССР в 1922 г. в составе группы видных деятелей русской культуры вместе с Н. Бердяевым, Н. Лосским, С. Франком и др. Отец – «красный профессор-экономист», был расстрелян как враг народа в 1941 г. Арестован в 1949 г. и сослан в Казахстан на 10 лет. В 1951 г. арестован снова, и с 1952 до 1955 г. находился в Ленинградской тюремной психиатрической больнице.

После реабилитации окончил педагогический институт и до 1968 г. преподавал литературу в старших классах школы. В 1968 г. подписал письмо протеста против суда над Гинзбургом и Галансковым, за что был уволен из школы, потом восстановлен, но в школу не вернулся, а стал работать как литературный и театральный критик. Выполнял также некоторые литературные работы для московских театров.

В 1975 г. на допросе в прокуратуре по поводу предполагаемого участия в изготвлении одного самиздатского журнала с Айхенвальдом случился инфаркт, после чего его работе стала мешать хроническая болезнь сердца.

В шестидесятые-семидесятые годы напечатал две брошюры, много статей в газетах и журналах. Изданные за границей стихи и проза распространялись в Самиздате.

Основные публикации:

«По грани острой». Книга стихов и прозы. (Мюнхен, 1972)

«Остужев» (Москва, 1977)

«Високосный год». Книга стихов и прозы. (Мюнхен, 1979)

«Дон-Кихот на русской почве» ч.1 (Нью-Йорк, 1982)

«Дон-Кихот на русской почве» ч.2 (Нью-Йорк, 1984)

«А.И. Сумбатов-Южин» (Москва, 1987)

БЫК

(Толкователь Библии)

Я, как бык, попался в клетку,
Я, как бык, попался в сети,
Я теперь за все в ответе,
Я катаюсь по траве.
Я у пули в пистолете
С давних пор был на примете,
Уж она меня пометит
Бороздой на голове!
А четыре автомата
В четырех углах поляны
Дожидаются расплаты,
Лишь с земли я снова встану.
А четыре лейтенанта
В четырех углах поляны
Уничтожат пасквилянта
За его характер странный.
Но в кровавой дымке бреда
Обозначилось сиянье:
В безысходности — победа
Обреченных на закланье!
Белым дымом подымуся
Я до облаков.
Есть у Господа Исуса
Царство для быков.
Путь широкий, светлый, млечный, —
Я гулять там буду вечно
По земле из облаков!
Я себе сломаю шею.
Я рогов не пожалею.
— Лейтенант, копай траншею!
Пли!
В белом воздухе ныряя,
Я всплыву, как пробка,
К раю,
В белом воздухе ныряя,
Оттолкнувшись от земли!

Ленинградская тюрьма.

1953

ГАМЛЕТ В 1937 ГОДУ

А вы слышали песни
Соловьев в Соловках?
– Ну-ка, выстройся, плесень,
С кайлами в руках!
Ты, очкастый, чего невнимателен?
Исключаешься ты
Из рабочей семьи,
И катись ты с земли
К Божьей Матери!

И распались кружки,
Раздружились дружки,
Потому что история
Любит прыжки,
Потому что безумный
Плясун на канате
Ненавидит
Времен пресловутую связь.
– Датский принц!
Вашу шляпу и шпагу!
Копайте!
Ибо Дания ваша
Без боя сдалась.

И распались кружки,
Раздобрели дружки,
Потому что история
Любит прыжки.
– По грошу
Положите в церковные кружки!
Помолитесь
За целые ваши горшки
Божьей Матери-Деве,
Пречистой старушке!

Датским принцем
Нельзя называться без Дании.
Вот земля и лопата –
Ваше «быть иль не быть».
Датский принц,
Что нелепей, смешнее, бездарнее,
Чем о званье, призванье своем
Не забыть!?

Датский принц
Удаляется в смутные дебри.
Он лежит,
Умирает на призрачной койке,
Он молчит,
С королевским достоинством терпит
И, конечно, заплатит
За все неустойки...

А в квартире
Кончалось счастливое детство:
Образованный мальчик,
Из хорошей семьи.
И за что-то ему
Перешло, как наследство,
Званье Датского Принца,
Короля
Без земли.

1961

СМЕРТЬ ХУДОЖНИКА

*Посвящается художнику Л.,
с которым я был в одной камере
и который, как я слышал,
умер в тюремной больнице.*

Вот так резинкою стирают
Рисунок конченный с бумаги.
Лежит художник, умирает.
Не хочет супа из салаки.
Лежит, припиленный к пространству.
Его стирают.
Делать нечего!..
Глядит тюремное начальство,
Как белизна в окне просвечивает.
А он толкует о Моне,
Рисует спичками горелыми
На оборотной стороне
Коробок из-под сигарет.
То черный цвет, то серый цвет
Опять перекрывает белое...

1962

Чертков
Леонид Натанович
(1933–2000)

Поэт, прозаик, литературовед, переводчик.

Родился в Москве. Учился в Московском библиотечном институте. В 1957 г. осужден за «антисоветскую пропаганду» на пять лет. Отбывал заключение в мордовском Дубравлаге, где вместе с М. Красильниковым и другими составил рукописные альманахи «Троя» и «Пятиречие». После освобождения в январе 1962 г. жил в Москве, в 1966–1974 гг. — в Ленинграде. Учился в Тартуском университете, закончил Ленинградский педагогический институт. В 1974 г. эмигрировал во Францию. Печатал стихи, рассказы и статьи в эмигрантской периодике. Редактировал издания стихов К.Вагинова (Мюнхен, 1982) и В.Нарбута (Париж, 1983). Переводил английских и американских поэтов. С 1980 г. жил в Кельне.

ИТОГИ

Нас всегда не хватает на эпилоги...
В самой сонной точке земного шара
Уж который год мы подводим итоги
За бетонную стойкой последнего бара.

Время кончено утреннего карантина —
Это час перемены заученных действий:
Отупевших от джаза бессонных кретинов
Заменяют почтенные люди семейств.

Здесь часы протекают в замедленном темпе —
Одичавший Запад и дикий Восток —
Сюда город сбрасывает, как демпинг,
То, чего переварить он не смог.

Утверждаешься в справедливости Беркли,
Наблюдая в соломину льдистый бокал,
И опять в одном помутневшем зеркале
Отражается ряд помутневших зеркал.

Среди тостов, пари и бессмысленных реплик
Сигареты залитой прорежется треск, —

Через час на чешуйках в размазанном пепле
Выпадает искрами звёздчатый блеск.

От коктейлей, проглоченных натошак,
Еле двигаясь, как неживой,
Говорить с чужим о ненужных вещах,
Рискуя своей головой.

«Старых ценностей нет-де, иные не созданы,
Над землёй призрак некой свободы возник, —
Может в эту минуту в Москве или в Лондоне
Навсегда умирает последний Старик».

Пусть он чист и невинен, как горный источник,
Ты источнику горному всё же не верь, —
Ты не знаешь, какого сорта молочник
Постучится наутро в примёрзшую дверь.

«В ту же сторону будет вращаться Земля
И по радио будут всё те же мотивы,
А до них дойдут лишь раскрошенный камень Кремля
Да окаменевшие презервативы».

Не успел ещё выйти — навстречу тебе —
Полупьяной рукой прикрывая погоны,
В дверь вломился со шлюхой майор МГБ —
Пропивать магаданские миллионы.

Будь спокоен — теперь не поможет зарядка, —
Этот час всегда напомнит о том,
Как за шторой бессонного Дома Порядка
Прочернел силуэт, пригрозивший перстом.
<...>

...По дорожкам от зноя усталым,
Где трава желта, как табак,
В тихий час, когда по бульварам
Педерасты проводят собак.

Под конец мрачноватого душного лета
Я вернусь издалёка и сброшу рюкзак,
И с друзьями пропьянствую до рассвета,
А наутро возможно будет и так, —

Возьму и вылью на дрожащую бумагу
Невнятных образов перебродивший сок,

Собрав себя к решающему шагу —
Провесь черту и подвести итог. —

То, что было — забыто, а есть настоящее
И загадывать в будущее нельзя, —
Что мне думать о потустороннем ящике —
Лучше жизни хоть раз посмотреть в глаза.

Если мне не придётся по фене ботать,
Я уйду из мира коктейлей и книг, —
Да и чорта ли мне?! — Придётся работать
Безразлично для этих или других.

1953—54

НОЧНАЯ КРАСАВИЦА*

Росинки в глазах, темнотой окаймлённых.
Я вижу — из мрака она распускается —
Светильник дождя и отрада влюблённых —
Цветок новолуныя — ночная красавица.

Над ней опрокинулись арки и статуи
В прудах Козерога, подёрнутых стужею;
Снопы фейерверка в сиянии матовом
Возносит окрест павильонное кружево, —

И колко мерцают шаги в отдалениях,
Усыпанных звонкими звёздами клёнов, —
И, как светляки, в травянистых сцеплениях —
Пятилепестковые губы влюбленных.

Февраль 1959

* * *

Бесценный аромат прижизненных изданий,*
Трагический контраст одежды и лица.
Хотя и невесом — я обожду отца
В подъезде нарсуда, как у подножья зданий.

Я жизнь свою прервал, как долгий перекур,
Когда пришёл этап — весны ужасный вестник,
А я лежал в грязи, свернувшись, как лемур,
И мысли у людей сбегались на воскресник.

Март 1959

ОТРЫВОК ИЗ ХРОНИКИ. XVI в.*

...И он отправился, хромя,
Как косяка отсталый гусь.
Вела его тропа прямая —
И человек пришёл на Русь.

Русь в мятежей сухом дыму
Ждала, кошмарами объята,
Как ждёт в высоком терему
Вдовица горькая солдата.

А день вставал наперерез —
Заря над лесом молодела.
Еловый лес, дубовый лес...
Готовилось худое дело.

апрель 1959

Источник: Русская виртуальная библиотека (<http://www.rvb.ru>).

* Опубликовано в Альманахе «Пятиречие»

Коржавин (Мандель)
Наум Моисеевич
(Род. 1925)



Поэт.

Родился в Киеве, в 1925 г. Приехав из эвакуации в Москву в 1944 г., поступил в Литературный институт им. Горького, который ему удалось закончить лишь через пятнадцать лет. В 1947 г., будучи студентом третьего курса, арестован и, проведя восемь месяцев во внутренней тюрьме на Лубянке, отправлен в ссылку. Во время хрущевской оттепели публикуется в периодике, издает сборник стихов «Годы», ставятся его пьесы. Впрочем, вышедший в 1963 г. сборник Коржавина почти сразу стал библиографической редкостью (Мальцев, 1976). В конце 60-х практически не печатается. В 1973 г. исключен из Союза писателей — после того, как выразил желание эмигрировать. В начале 74-го получил разрешение на выезд и эмигрировал в США. В эмиграции издал два поэтических сборника — «Времена» (1977) и «Сплетения» (1980).

На родине впервые после эмиграции сборник поэзии Н. Коржавина («Время дано») опубликован в 1992 г.

В советские годы большая часть произведений Коржавина циркулировала только в Самиздате.

ЗАВИСТЬ

Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.

И какие бы взгляды вы
Ни старались выплескивать,
Генерал Милорадович
Не узнает Каховского.

Пусть по мелочи биты вы
Чаще самого частого,
Но не будут выпытывать
Имена соучастников.

все время трудно жил,
Народ
в нем революцию
хоронит,
Хоть, может, он того не заслужил.
В его поступках
лжи так много было,
А свет знамен
их так скрывал в дыму,
Что сопоставить это все
не в силах —
Мы просто
слепо верили ему.
Моя страна!
Неужто бестолково
Ушла, пропала вся твоя борьба?
В тяжелом, мутном взгляде Маленкова
Неужто нынче
вся твоя судьба?
А может, ты поймешь
сквозь муки ада,
Сквозь все свои кровавые пути,
Что слепо верить
никому не надо
И к правде ложь
не может привести.

Март 1953

ЛЕНИН В ГОРКАХ

Пусть много смог ты, много превозмог
И даже мудрецом меж нами признан.
Но жизнь есть жизнь. Для жизни ты не бог,
А только проявленье этой жизни.
Не жертвуй светом, добывая свет!
Ведь ты не знаешь, что творишь на деле.
Цель средства не оправдывает... Нет!
У жизни могут быть иные цели.
Иль вовсе нет их. Есть пальба и гром.
Мир и война. Гниенье и горенье.
Извечная борьба добра со злом,
Где нет конца и нет искорененья.
Убить. Тут надо ненависть призвать.
Преодолеть черту. Найти отвагу.
Во имя блага проще убивать!..
Но как нам знать, какая смерть во благо?

У жизни свой, присущий, вечный ход.
И не присуща скорость ей иная.
Коль чересчур толкнуть её вперед,
Она рванёт назад, давя, ломая.
Но человеку душен плен границ,
Его всё время нетерпенье гложет,
И перед жизнью он склониться ниц, –
Признать её неизбежность – не может.
Он всё отдать, всё уничтожить рад.
Он мучает других и голодает...
Всё гонится за призраком добра,
Не ведая, что сам он зло рождает.
А мы за ним. Вселенная, держись!
Нам головы не жаль – нам всё по силам.
Но всё проходит. Снова жизнь, как жизнь.
И зло, как зло. И, в общем, всё, как было.
Но тех, кто не жалел себя и нас,
Пытаясь вырваться из плена буден,
В час отрезвленья, в страшный горький час
Вы всё равно не проклинайте, люди...

...В окне широком свет и белый снег.
На ручках кресла зайчики играют...
А в кресле неподвижный человек. –
Молчит. Он знает сам, что умирает.
Над ним любовь и ненависть горит.
Его любой врагом иль другом числит.
А он уже почти не говорит.
Слова ушли. Остались только мысли.
Смерть – демократ. Подводит всем черту.
В ней беспристрастье есть, как в этом снеге.
Ну что ж: он на одну лишь правоту
Из всех возможных в жизни привилегий
Претендовал... А больше ни на что.
Он привилегий и сейчас не просит.
Парк за окном стоит, как лес густой,
И белую порошу ветер носит.
На правоту... Что значит правота?
И есть ли у неё черты земные.
Шумят-гудят за домом провода
И мирно спит, уйдя в себя, Россия.
Ну что ж! Ну что ж! Он сделал всё, что мог,
Устои жизни яростно взрывая...
И всё же не подводятся итог. –
Его наверно в жизни – не бывает.

1956

НА ПОЛЕТ ГАГАРИНА

Шалеем от радостных слёз мы.
А я не шалею — каюсь.
Земля — это тоже космос.
И жизнь на ней — тоже хаос.

Тот хаос — он был и будет.
Всегда — на земле и в небе.
Ведь он не вовне — он в людях.
Хоть он им всегда враждебен.

Хоть он им всегда мешает,
Любить и дышать мешает...
Они его защищают,
Когда себя защищают.
И сами следят пристрастно,
Чтоб был он во всем на свете...

...Идти сквозь него опасней,
Чем в космос взлетать в ракете.
Пускай там тарелки, блюда,
Но здесь — пострашней несчастья:
Из космоса — можно вернуться,
А здесь — куда возвращаться.

...Но всё же с ним не смыкаясь
И ясным чувством согреты,
Идут через этот хаос
Художники и поэты.
Печально идут и бодро.
Прямо идут — и блуждают.
Они человеческий образ
Над ним в себе утверждают.
А жизнь их встречает круто,
А хаос их давит — массой.
...И нет на земле институтов
Чтоб им вычерчивать трассы.
Кустарность!.. Обидно даже:
Такие открытья... вехи...
А быть человеком так же
Кустарно — как в пятом веке.

Их часто встречают недобро,
Но после всегда благодарны
За свой сохранный образ,

За тот героизм — кустарный.
Средь шума гремящих буден,
Где нет минуты покоя,
Он всё-таки нужен людям,
Как нужно им быть собою.
Как важно им быть собою,
А не пожимать плечами...

...Москва встречает героя,
А я его — не встречаю.

Хоть вновь для меня невольно
Остановилось время,
Хоть вновь мне горько и больно
Чувствовать не со всеми.
Но так я чувствую всё же,
Скучаю в праздники эти...
Хоть, в общем, не каждый может
Над миром взлететь в ракете.
Нелёгкая это работа,
И нервы нужны тут стальные...
Всё правда... Но я полёты,
Признаться, люблю другие.
Где всё уж не так фабрично:
Расчёты, трассы, задачи...
Где люди летят от личной
Любви — и нельзя иначе.
Где попросту дышат ею,
Где даже не нужен отдых...
Мне эта любовь важнее,
Чем ею внушённый подвиг.

Мне жаль вас, майор Гагарин,
Исполнивший долг майора.
Мне жаль... Вы хороший парень,
Но вы испортитесь скоро.
От этого лишнего шума,
От этой сыгранной встречи,
Вы сами начнете думать,
Что вы совершили нечто, —
Такое, что люди просят
У неба давно и страстно.
Такое, что всем приносит
На унцию больше счастья.
А людям не нужно шума.
И всё на земле иначе.

И каждому вредно думать,
Что больше он есть, чем он значит.

Всё в радости: — сон ли, явь ли, —
Такие взяты высоты.
Мне ж ясно — опять поставлен
Рекорд высоты полёта.
Рекорд!

...Их эпоха ниже
На нитку, хоть судит строго:
Летали намного ниже,
А будут и выше намного...

А впрочем, глядите: дружно
Бурлит человечья плазма.
Как будто всем космос нужен,
Когда у планеты — астма.
Гремите ж вовсю, орудья!
Радость сия — велика есть:
В Космос выносят люди
Их победивший
Хаос.

1961

НАИВНОСТЬ (5 стихотворений)

Наивность!
Хватит умиленья!
Она совсем не благодать.
Наивность может быть от лени,
От нежеланья понимать.

От равнодушия к потерям.
К любви... А это тоже лень.
Куда спокойней раз поверить,
Чем жить и мыслить каждый день.
Так бойтесь тех, в ком дух железный,
Кто преградил сомненьям путь.
В чьем сердце страх увидеть бездну
Сильней, чем страх в нее шагнуть.
Таким ничто печальный опыт.
Их лозунг — «вера, как гранит!».
Такой весь мир в крови утопит,
Но только цельность сохранит.

Он духом нищ, но в нем — идея,
Высокий долг вести вперед.
Ведет!

 Не может... Не умеет...
Куда — не знает... Но ведет.
Он даже сам не различает,
Где в нем корысть, а где — любовь.

Пусть так.
Но это не смягчает
Вины за пролитую кровь.

II

Наивность взрослых — власть стихии
Со здоровым смыслом нервный бой.
Прости меня. Прости, Россия,
За все, что сделали с тобой.

За вдохновенные насилья,
За хитромудрых дураков.
За тех юнцов, что жить учили
Разумных, взрослых мужиков.

Учили зло, боясь провала.
При всех учили — днем с огнем.
По-агитаторски — словами.
И по-отечески — ремнем.

Во имя блага и свершенья
Надежд несбыточных Земли.
Во имя веры в положенья
Трех скучных книжек, что прочли.

Наивность? Может быть.

 А впрочем
При чем тут качество ума?
Они наивны были очень,—
Врываясь с грохотом в дома.
Когда неслись, как злые ливни,
Врагам возможным смертью мстя,
Вполне наивны.

 Так наивны,
Как немцы — десять лет спустя.

Да там, на снежном новоселье,
Где в степь состав сгружал конвой

Где с редким мужеством
терпели —
И детский плач, и женский вой.

III

Все для тебя. Гордись, Отчизна.
Пойми, прости им эту прыть:
Идиотизм крестьянской жизни
Хотелось им искоренить.
Покончить силой с древней властью
Вещей, — чтоб выделить свою.
И с ней вести дорогой к счастью
Колонны в сомкнутом строю.

Им все мешало: зной и ветер,
Законы, разум, снег, весна,
Своя же совесть... Всё на свете.
Со всем на свете шла война.
Им ведом был — одним в России —
Счастливых дней чертеж простой.
Всей жизни план...

Но жизнь — стихия:

Срывала план. Ломала строй.
Рвалась из рук. Шла вкривь. Болела.
Но лозунг тот же был: «Даешь!»...
Ножами по живому телу
Они чертили свой чертеж.
Хоть на песке — а строя зданье.
Кто смел — тот прав.

Им неспроста

Казалось мелким состраданье.
Изменой долгу — доброта.
Не зря привыкли — в ожиданье
Своей несбывшейся судьбы
Считать
на верность испытаньем
Жестокость классовой борьбы.

Борьба!

Они обожествляли

Ее с утра и дотемна.
И друг на друга натравляли
Людей — чтоб только шла она.
И жизнь губили, разрушая
Словами — связи естества.
Их обступила мгла пустая —

Тем тверже верили в слова.
Пока ценой больших усилий,
Устав от крови и забот,
Пришли к победе...
Победили.—
Самих себя и весь народ.

IV

Не мстить зову — довольно мстили.
Уймись, страна! Устройся, быт!
Мы все друг другу заплатили
За все давно,—
и счет закрыт.
Ну что с них взять —
с больных и старых.

Уж было все на их веку.
Я с ними сам на тесных нарах
Делил баланду и тоску.
Они считают, что безвинны,
Что их судьба,— как с неба гром.
Но нет! Тому была причина.
Звалась: великий перелом.
Предмет их гордости... Едва ли
Поймут когда-нибудь они,
Что всей стране хребет сломали
И душу смяли ей — в те дни.
Когда из верности науке,
Всем судьбам стоя поперек,
Отдали сами — властно — в руки
Тем, кто не может,

тех, кто мог,
Чтоб завязалась счастья завязь,
Они — в сознание вещей прав,—
Себе внушили веру в Зависть,
Ей смело руки развязав.
В деревне только лишь...

Конечно!
Что ж в город хлынула волна?
Потоп!
Ах, где им знать, сердечным,
Что все вокруг — одна страна.

Что в ней — не в тюрьмах,
В славе, в силе
Они — войдя в азарт борьбы,
Спокойно сами предрешили

Извивы собственной судьбы.
Кто б встал за них — от них же зная,
Что совесть гибкой быть должна.
Живой страны душа живая
Молчала в обмороке сна.
Не от побед бывают беды,
От поражений... Связь проста.
Но их бедой была победа.
За ней открылась — пустота.

V

Они — в истоке всех несчастий
Своих и наших... Грех не мал.
Но — не сужу..
Я сам причастен.
Я это тоже одобрял.
Все одобрял: крутые меры,
Любовь к борьбе и строгий дух.—
За дружбы свет,
за пламя Веры,
Которой не было вокруг.
Прости меня, прости, Отчизна,
Что я не там тебя искал.
Когда их выперло из жизни,
Я только думать привыкал.
Немного было мне известно,
Но все ж казалось — я постиг.
Их выпирали так нечестно,
Что было ясно — честность в них.
За ними виделись мне грозы,
Любовь... И где тут видеть мне
За их бедой — другие слезы,
Те, что отлились всей стране.
Пред их судьбой я не виновен.
Я ею жил, о ней кричал.
А вот об этой — главной — крови
Всегда молчал. Ее — прощал.
За тех юнцов я всей душою
Болел... В их шкуру телом влез.
А эта кровь была чужою,
И мне дороже был прогресс.
Гнев на себя — он не напрасен.
Я шел на ложные огни.
А впрочем, что ж тут? Выбор ясен.
Хотя б взглянуть на наши дни:
У тех трагедии, удары,

Судьба... Мужик не так богат:
Причин — не ищет. Мемуаров —
Не пишет... Выжил — ну и рад.
Грех — кровь пролить из веры в чудо.
А кровь чужую — грех вдвойне.
А я молчал...

Но впредь — не буду:
Пока молчу — та кровь на мне.

1963

ПОДОНКИ

Вошли и сели за столом.
Им грош цена, но мы не пьём.
Веселье наше вмиг скосило.
Юнцы, молодчики, шпана,
Тут знают все: им грош цена.
Но все молчат: за ними — сила.

Какая сила, в чем она.
Я ж говорю: им грош цена.
Да, видно, жизнь подобна бреду.
Пусть презираем мы таких,
Но всё ж мы думаем о них,
А это тоже — их победа.

Они уселись и сидят.
Хоть знают, как на них глядят
Вокруг и всюду все другие.
Их очень много стало вдрут.
Они средь муз и средь наук,
Везде, где бьётся мысль России.

Они бездарны, как беда.
Зато уверены всегда,
Несут бездарность, словно Знамя.
У нас в идеях разнобой,
Они ж всегда верны одной
Простой и ясной — править нами.

1964

Источник: Наум Коржавин. Время дано. Стихи и поэмы. М.: Художественная литература, 1992.

Евтушенко
Евгений Александрович
(Род. 1933)



Поэт, прозаик, киносценарист, кинорежиссер.

Родился на станции Зима в Иркутской области, в семье геологов. Рос в Москве. Стихи начал печатать с 1949 г. В 1951–1957 гг. учился в Литературном институте им. А.М. Горького (исключен за поддержку романа В.Д.Дудинцева «Не хлебом единым»), в 1952 г. стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

Евтушенко, наряду с такими поэтами-«шестидесятниками», как Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, стал кумиром советской интеллигенции периода «оттепели», собирая толпы на чтения своих стихов в Политехническом музее. Для его лирики характерна острая постановка сложных нравственных и исторических вопросов (стихотворения «Наследники Сталина», «Бабий Яр» и др.). Особое место в своем творчестве Евтушенко уделял разоблачению культа личности Сталина (в частности, в широко ходившей в Самиздате «Автобиографии» Евтушенко есть яркое описание похорон Сталина (стр. 255), о чем в последствии им же был создан фильм «Похороны Сталина»). При этом Евтушенко всегда умел балансировать на грани лояльности и оппозиционности, не переходя дозволенной грани. Тем не менее, он весьма смело для своего времени выступал в защиту писателей А. Синявского и Ю. Даниэля, А. Солженицына, И. Бродского, В. Войновича. В его стихах звучал протест против ввода советских войск в Венгрию, Чехословакию, Афганистан (стихотворения «Танки идут по Праге», 1968; «Афганский муравей», 1983 и др.).

В 80-е годы Евтушенко с энтузиазмом встретил Перестройку (что, впрочем, не помешало ему позже разочароваться в ее результатах). Он участвовал в создании общества «Мемориал», избирался народным депутатом СССР последнего созыва.

Основные публикации:

Сборники: «Шоссе Энтузиастов» (1956), «Интимная лирика» (1973), «Граждане, послушайте меня» (1989);

Поэма: «Пушкинский перевал» (1966);

Романы: «Ягодные места» (1981), «Не умирай прежде смерти» (1994);

Переводы: Сб. «Лук и лира. Стихи о Грузии. Переводы грузинских поэтов» (1959);

Работы в кино: авторские фильмы «Детский сад» (1984), «Похороны Сталина» (1990).

Поэзия Евтушенко переведена более чем на 70 языков мира.

Удостоен государственной премии СССР (1984). Почетный член Американской академии искусств, действительный член Европейской академии искусств и наук.

Несмотря на то, что Евтушенко всегда был востребованным и много печатавшимся поэтом, некоторые его произведения по идеологическим соображениям не могли быть официально опубликованы и потому распространялись в Самиздате.

ПИСЬМО К ЕСЕНИНУ

Поэты русские! Друг друга мы браним
Парнас Российский дрязгами заселен
Но все мы чем-то связаны родным,
Любой из нас хоть чуточку Есенин.

И я Есенин, но совсем иной
В колхозе от рождения конь мой розовый.
Я, как «Россия», более стальной
И как Россия – менее березовый.

Есенин, милый, изменилась Русь,
Но плакаться, по-моему, напрасно
И говорить, что к лучшему – боюсь,
А говорить, что к худшему – опасно.

Какие стройки, спутники в стране,
Но потеряли мы в пути неровном
И 20 миллионов на войне
И миллионы на войне с народом.

Забыть об этом, память отрубить,
Но где топор, что память враз отрубит?
Никто, как русские, так сам себя не губит,
Никто, как русские, так не спасал других.
Но наш корабль плывет. Когда мелка вода,
Мы посуху вперед Россию тащим.

Что сволочей хватает – не беда.
Нет Ленина. Вот это очень тяжело,
И тяжело то, что нет еще тебя
И твоего соперника – горлана.

Я Вам, конечно, не судья
Но все-таки ушли Вы очень рано.
Когда румяный комсомольский вождь
На нас, поэтов, кулаком грохочет,
И хочет наши души мять, как воск,
И вылепить свое подобье хочет,
Его слова, Есенин, не страшны,
Но трудно быть от этого веселым,
И мне не хочется, поверь, задрать штаны
Бежать во след за этим комсомолом.
Мой комсомол – с кем я встречу хожу,
Кто в Братске строит, на Алтае сеет,

Мой комсомол, за кем бежать хочу,
Вы — Пушкин, Маяковский и Есенин.

Порою больно мне и горько это все
И силы нет сопротивляться вздору,
И втягивает жизнь под колесо,
Как шарф втянул когда-то Айседору.

Но надо жить, ни водка, ни петля,
Ни женщина — все это не спасенье.
Спасенье — ты, российская Земля,
Спасенье — твоя искренность, Есенин.

Кто говорит, что ты не из борцов —
Борьба — в любой пусть тихой, но правдивости.
Ты был партийней стольких подлецов,
Пытавшихся учить тебя партийности.

И пронося гражданственную честь
Сквозь дрязги коммунального Парнаса,
Хотя б за то, что в ней Есенин есть,
Я говорю: Россия — ты прекрасна.

* * *

И русская поэзия идет
Вперед сквозь подозренья и нападки
и хваткою есенинской кладет
Европу, как Поддубный, на лопатки.

Источник: самиздатская рукопись.

МАРКОВ К МАРКОВУ ЛЕТИТ. МАРКОВ МАРКОВУ КРИЧИТ....

Пояснение: это стихотворение – приписываемый И. Эренбургу ответ на «Мой ответ» А. Маркова, опубликованный как реакция на стихотворение Е. Евтушенко «Бабий Яр».

Жил в царское время известный «герой»
По имени Марков, по кличке «Второй».

Он в Думе скандалил, в газетках писал,
Всю жизнь от евреев Россию спасал.

Народ стал хозяином русской земли –
От «марковых» прежних Россию спасли...

И вдруг выступает сегодня в газете
Еще один Марков, теперь уже третий.

Не смог он сдержаться: поэт не-еврей
Погибших евреев жалеет, пигмей!

Поэта-врага он долбаёт «ответом» –
Обернутым в стих хулиганским кастетом,

В нем ярость клокочет, душа говорит,
Он так распалился – аж шапка горит!..

Нет, это не вдруг. Знать, жива в подворотнях
Слинявшая в серую, черная сотня.

Хотела бы вновь не догнившая гнусь
Спасать от евреев «несчастную» Русь.

Знакомый поход! Символично и ярко
Подчеркнуто это фамилией Марков.

И Маркову «третьему» Марков «второй»
Кричит из могилы – «Спасибо, родной!»

Источник: самиздатская рукопись.

Бобышев
Дмитрий Васильевич
(Род. 1937)



Поэт, переводчик, критик.

Родился в Мариуполе. С детства жил в Ленинграде, где перенес блокаду. В 1959 г. окончил Ленинградский технологический институт, 10 лет работал инженером по химическому оборудованию. С 1969 г. работал редактором учебной программы Ленинградского телевидения.

С середины 50-х гг. начал писать стихи. Принадлежал к плеяде молодых поэтов из ближайшего окружения Анны Ахматовой. В то время, как в СССР стихи Бобышева почти не печатались, на Западе его поэзию начали издавать уже в конце 50-х годов.

Эмигрировал в 1979 г., с 1983 г. стал гражданином США. С 1985 г. преподает русскую литературу в Университете штата Иллинойс.

В современной России вышли сборники: «Полнота всего» (1992), «Знакомства слов»: Избранные стихи (2003).

Нижеприведенные стихи были опубликованы в журнале «Синтаксис» (№3) (стр. 349).

* * *

Равнодушие —
Набитый льдом,
Наполненный снегом дом.
Равнодушие —
Не для жилья,
Для замораживанья дом.
Погреб. Плюшевый склеп.
Равнодушие. Дом.
Пыльный хлеб и коробки.
Корки, мертвые птицы, очески, поскребыши.
Загляни — здесь и люди,
Двугорбые люди — уроды!
И подохнут со скуки.
И люди!
О люди — верблюды!
И девки — о потаскухи.
Загляни.
Но попробуй зайди —
Лишь попробуй!

Я уподоблюсь врачу.
Вырву глаз, выбью зубы,
А возвращу!
Равнодушие.
Гроб. Мертвечина.
Муравьи и мышинный помет на полу.
Мертвечина.
Мертвый дом. Птичьи перья. Разбитые клешни.
Равнодушие. Дом. Равнодушие

* * *

Когда пойдет военный эшелон
Мобилизованных, задумчивых, не шустрых,
Вздыхающих особо тяжело,
Мой друг, давай
Преувеличим чувства!

Вот девочка! — последнее знакомство —
Улыбка у вокзального навеса.
Припоминай! Хватай себя за космы,
Люби ее! Она твоя невеста!

А тот — вчера — оборванный стоит,
С глазами — из лохмотьев, из бород —
В слезах, он кто? Он, думаешь, старик?
Он родины костлявый жест: «Вперед!»

Сегодня
Жизнь
Измерена
До дна.
Мы приготовлены и падать, и лечиться.
И — где б ты ни остался — под иль над,
Ты будешь над иль под землей — лучистым!

Ты будешь четкой, ясною звездой.
И ты — герой.
Герой уже сейчас.
У девочки твоей со взглядом вдовым
Зажглася ожидания свеча.

ТАМ БЫЛИ ДОМА

Там был дом,
на другом
берегу.
У солдат был там перекур.
Там был дом.
Люди жили в нем.
А солдаты пришли потом.
Перед этим.
Утром — тихо. А днем
пели дети.
А солдаты шли по дороге,
видят — дом.
У деревьев сломали ноги,
разожгли с трудом.
Слушали, как один поет —
через тело шрамы —
разворачивали паек,
шелестели, жрали.
Покурили. Потом огонь
притоптали своей ногой
и ушли.
И конец на том.
Там был дом.
Там
был
дом.

Источник: Русская виртуальная библиотека (<http://www.rvb.ru>).

Бродский Иосиф Александрович (1940–1996)



Поэт.

Родился в семье ленинградских интеллигентов. Отец прошел войну в качестве фотожурналиста, затем стал морским офицером.

Бродский оставил школу в 15 лет. За несколько лет юноша сменил около десятка профессий: он работал фрезеровщиком, техником-геофизиком, кочегаром, матросом, фотографом, санитаром в морге. Стихи начал писать в конце 50-х годов, под впечатлением поэзии Бориса Слуцкого. Первое стихотворение было опубликовано в 1957 г., когда Бродскому было 17 лет.

На рубеже 1950–1960-х гг. Бродский принялся за изучение иностранных языков (прежде всего – английского и польского). В это время он посещает лекции на филологическом факультете ЛГУ, занимается историей литературы. Бродский много внимания уделяет русской поэзии начала XIX и даже XVIII века, заимствуя оттуда некоторые приемы.

С начала 1960-х гг. Бродский начал работать как профессиональный переводчик, много переводил английскую поэзию. Особенно сильное влияние на него оказало творчество поэта-мистика XVI века Джона Донна. Приблизительно в это же время он знакомится с Анной Ахматовой, которая становится для молодого поэта нравственным эталоном на всю жизнь.

Постепенно поэзия Бродского приобретает все большую известность, однако в силу своей «несоветской» направленности расходитя только в Самиздате. Бродский, таким образом, с начала 60-х гг. – едва ли не самый знаменитый поэт Самиздата.

В конце концов, терпение властей иссякло, и в ноябре 1963 г. в газете «Вечерний Ленинград» появляется статья «Окололитературный трутень» за подписью А.Ионина, Я.Лернера, М.Медведева. С этого момента начинается активная травля поэта. Весной 1964 г. после состоявшегося над ним судебного процесса его приговаривают к 5 годам ссылки с обязательным привлечением к физическому труду.

Вместе с тем, суд над Бродским имел огромное значение для становления правозащитного движения в СССР. Впервые ход судебного заседания над «политическим» был застенографирован (Ф. Вигдоровой – см. стр. 262), после чего запись появилась в Самиздате, а затем была опубликована и на Западе. Впоследствии практика таких записей судебного процесса станет обычной (наиболее известны записи суда над Синявским и Даниэлем, позже вошедшие в т.н. «Белую книгу» – см. т. 2, стр. 422). Отчасти благодаря столь широкой огласке, отчасти – благодаря заступничеству ряда деятелей искусства: А. Ахматовой, К. Паустовского, С. Маршака, К. Чуковского, Д. Шостаковича, Бродский вернулся в Ленинград из ссылки уже через 1,5 года.

В 1965 г. в Нью-Йорке вышла первая книга поэзии Бродского – «Стихотворения и поэмы». В 1972 г. поэта вынудили эмигрировать. Он осел в США, где преподавал русскую литературу и поэзию в различных университетах. В Америке он начал писать поэзию и прозу (преимущественно эссеистику) в том числе и по-английски, и его творчество на не родном для него языке стало общепризнанным вкладом в мировую культуру. В 1977 г. в издательстве

«Ardis» были опубликованы важнейшие его сборники: «Конец прекрасной эпохи. Стихотворения 1964–71» и «Часть речи. Стихотворения 1972–76», знаменующие новый этап в зрелом творчестве Бродского.

В 1986 г. сборник эссе Бродского «Less than one» («Меньше единицы») был признан лучшей литературно-критической книгой года в Америке, а в 1987 г. Бродский был удостоен Нобелевской премии по литературе.

После начавшихся в СССР перемен в конце 80-х гг. творчество Бродского постепенно возвращается на родину. Самого поэта полностью реабилитируют по процессу 1964 г., в 1990 г. ему возвращают советское гражданство, в 1996 г. указом мэра С.-Петербурга А. Собчака ему присваивают звание почетного гражданина города. Однако в отличие от многих эмигрантов третьей волны, Бродский ни разу не посетил постперестроечную Россию.

Умер он в Нью-Йорке, в возрасте 55 лет. Похоронен в Венеции.

Основные произведения:

Поэтические сборники: «Остановка в пустыне» (1967), «Конец прекрасной эпохи» (1972), «Часть речи» (1972), «Урания» (1987), «В окрестностях Атлантиды. Новые стихи» (1995);

Сборники эссе, новелл: «Меньше единицы» (1986), «Набережная неисцелимых» (1992); пьесы, переводы.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС

Евгению Рейну, с любовью

Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый, на розу желтую похожий,
над головой своих любимых, у ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку с особняками.

Плывет в тоске необъяснимой певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный плывет в тоске необъяснимой.

Плывет во мгле замоскворецкой пловец в несчастье случайный,
блуждает выговор еврейский на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья под Новый год, под воскресенье,
плывет красotka записная, своей тоски не объясняя.

Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних, и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник над головою.

* * *

Мои мечты и чувства в сотый раз
идут к тебе дорогой пилигрима

Шекспир

Мимо ристалищ, капищ,
мимо шикарных кладбищ,
мимо храмов и баров,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима, —
синим солнцем палимы,
идут по земле
пилигримы.

Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты.
Глаза их полны заката.
Сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды встают над ними
и хрипло кричат им птицы,
что мир останется прежним.
Да. Останется прежним,
ослепительно снежным
и сомнительно нежным.
Мир останется лживым.
Мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
И, значит, остались только
Иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам.
И быть над землей рассветам...

Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.

СТИХИ О ПРИНЯТИИ МИРА

Все это было, было.
Все это нас палило.
Все это лило, било,
вздергивало и мотало,
и отнимало силы
и волокно в могилу,
и втаскивало на пьедесталы,
а потом низвергало,
а потом забывало,
а потом вызывало
на поиски разных истин,
чтоб начисто заблудиться
в жидких кустах амбиций,
в дикой чаще простраций,
ассоциаций, концепций
и — просто — среди эмоций.

Но мы научились драться.
Но мы научились греться
у спрятавшегося солнца
и до земли добираться
без лоцманов и лоций;
но — главное —
не повторяться.

Нам нравится постоянство.
Нам нравятся складки жира
на шее у нашей мамы,
а также — наша квартира,
которая маловата
для обитателя храма.

Нам нравится распускаться.
Нам нравится колоситься.
Нам нравится шорох ситца
и грохот протуберанца,
и, в общем, планета наша,
похожая на новобранца,
потеющего на марше.

ЗЕМЛЯ

Не проклятая,
не грешная,
черная, но не страшная,
Земля, росой блестевшая,
но все же пухом не ставшая
и даже матрацем не ставшая
для бедных,
для осужденных,
для изгнанных
и для павших,
короче — для побежденных;
помимо того, что вертится,
Земля еще занимается
маленькими проблемами:
сокращением смертности,
повышением рождаемости,
бьется над расщеплением
ядер собственных атомов,
а также над исправлением
погребенных горбатых.
Земля полонез разучивает
у меня за стеною;
являя свое могущество,
устраивает
предо мною
древние постановки
ужасов завывающих
с трамвайными остановками
на площадях
и кладбищах,
с истинами безусловными,
с осатанелым криком:
– Да здравствует
безголовая,
но крылатая
Нике!

* * *

Дойти не томом,
не домом,
не прочным водопроводом,
не отдаленным громом,
не крестовым походом,

не уставами партий,
не ржавчинами пиццалей,
не разницей восприятий,
не скрежетами скрижалей

и не Христовой раной,
не крестом,
не божницей,
и даже не древним храмом,
и даже не криком птицы, —

но вздрагивающим в метели,
но избегнувшим тлена
пламенем Прометея
над посохом Диогена!

Источник: Русская виртуальная библиотека (<http://www.rvb.ru/>).

Твардовский
Александр Трифонович
(1910–1971)



Поэт, редактор.

Родился в деревне Загорье под Смоленском в крестьянской семье, раскулаченной во время коллективизации. Учился в Смоленском педагогическом институте, в 1939 г. окончил Московский институт философии и литературы. В 1940 г. вступил в партию. Всесоюзную известность получил после публикации в 1936 г. поэмы «Страна Муравия». Отечественную войну прошел военным корреспондентом.

Всенародную любовь принесла Твардовскому поэма «Василий Теркин», герой которой стал любимцем нескольких поколений. В поэмах «За далью — даль» (1953-1960) и «По праву памяти» (опубликована в 1987 году, до этого в отрывках ходила в Самиздате) пытался осмыслить пережитые вместе со страной годы безжалостного тотального террора. В 1950-1954 гг. и 1958-1970 гг. Твардовский был главным редактором журнала «Новый мир», сделал его самым популярным толстым литературным журналом своего времени. Благодаря непосредственному обращению Твардовского к Хрущеву был опубликован «Один день Ивана Денисовича», открывший стране А.И. Солженицина.

Удостоен многих высших государственных наград: Сталинской премии (1941, 1946, 1947), Ленинской — 1961, Государственной — 1971.

Написанная в начале 60-х годов поэма «Теркин на том свете» — острая по тем временам сатира на советскую бюрократическую систему, до публикации в 1963 г. в газете «Известия» ходила в Самиздате.

Наиболее полное издание: собрание сочинений в 6-ти томах (1976-1983).

ТЕРКИН НА ТОМ СВЕТЕ

Тридцати неполных лет —
Любо ли не любо —
Прибыл Теркин
На тот свет, а на этом убыл.

Убыл-прибыл в поздний час
Ночи новогодней.
Осмотрелся в первый раз
Теркин в преисподней...

Так пойдет — строка в строку
Вразворот картина.

Но читатель начеку:

– Что за чертовщина!

– В век космических ракет,

Мировых открытий –

Странный, знаете, сюжет

– Да, не говорите!..

– Ни в какие ворота.

– Тут не без расчета...

– Подоплека не проста.

– То-то и оно-то...

По уставу, сделав шаг,

Теркин доложил:

Мол, такой-то, так и так,

На тот свет явился.

Генерал, угрюм на вид,

Голосом усталым:

– А с которым, – говорит, –

Прибыл ты составом?

Теркин – в струнку, как стоял,

Тем же самым родом:

– Я, товарищ генерал,

Лично, пешим ходом.

– Как так пешим?

– Виноват. (Строги коменданты!)

– Говори, отстал, солдат,

От своей команды?

Так ли, нет ли – все равно

Спорить не годится.

– Ясно! Будет учтено.

И не повторится.

– Да уж тут что нет, то нет,

Это, брат, бесспорно,

Потому как на тот свет

Не придешь повторно.

Усмехнулся генерал:

– Ладно. Оформляйся.

Есть порядок — чтоб ты знал —
Тоже, брат, хозяйство.

Всех прими да всех устрой —
По заслугам место.
Кто же трус, а кто герой —
Не всегда известно.

Дисциплина быть должна
Четкая до точки:
Не такая, брат, война,
Чтоб поодиночке...

Проходи давай вперед —
Прямо по платформе.
— Есть идти! И поворот
Теркин дал по форме.
<...>

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

2. Сын за отца не отвечает

Сын за отца не отвечает —
Пять слов по счету, ровно пять.
Но что они в себе вмещают,
Вам, молодым, не вдруг обнять.

Их обронил в кремлевском зале
Тот, кто для всех нас был одним
Судеб вершителем земным,
Кого народы величали
На торжествах отцом родным.

Вам —
Из другого поколения —
Едва ль постичь до глубины
Тех слов коротких откровенье
Для виноватых без вины.

Вас не смутить в любой анкете
Зловещей некогда графой:
Кем был до вас еще на свете
Отец ваш, мертвый иль живой.

В чаду полуночных собраний
Вас не мытарил тот вопрос:
Ведь вы отца не выбирали, –
Ответ по-нынешнему прост.

Но в те года и пятилетки,
Кому с графой не повезло, –
Для несмываемой отметки
Подставь безропотно чело.

Чтоб со стыдом и мукой жгучей
Носить ее – закон таков.
Быть под рукой всегда – на случай
Нехватки классовых врагов.
Готовым к пытке быть публичной
И к горшей горечи подчас,
Когда дружок твой закадычный
При этом не поднимет глаз...

О, годы юности немилой,
Ее жестоких передраг.
То был отец, то вдруг он – враг.
А мать?
Но сказано: два мира,
И ничего о матерях...
<...>

(Да, он умел без оговорок,
Внезапно – как уж припечет –
Любой своих просчетов ворох
Перенести на чей-то счет;
На чье-то вражье искаженье
Того, что возвещал завет,
На чье-то головокруженье
От им предсказанных побед.)
Сын – за отца? Не отвечает!
Аминь!
И как бы невдомек:
А вдруг тот сын (а не сынок!),
Права такие получая,
И за отца ответить мог?
<...>

Пять кратких слов...
Но год от года
На нет сходили те слова,

И званье сын врага народа
Уже при них вошло в права.

И за одной чертой закона
Уже равняла всех судьба:
Сын кулака иль сын наркома,
Сын командарма иль попа...

Клеймо с рожденья отмечало
Младенца вражеских кровей.
И все, казалось, не хватало
Стране клейменных сыновей.
<...>

Средь наших праздников и буден
Не всякий даже вспомнить мог,
С каким уставом к смертным людям
Взывал их посетивший бог.

Он говорил: иди за мною,
Оставь отца и мать свою,
Все мимолетное, земное
Оставь – и будешь ты в раю.

А мы, кичась неверьем в бога,
Во имя собственных святынь
Той жертвы требовали строго:
Отринь отца и мать отринь.

Забудь, откуда вышел родом,
И осознай, не прекословь:
В ущерб любви к отцу народов –
Любая прочая любовь.
<...>

3. 0 Памяти

Забыть, забыть велят безмолвно,
Хотят в забвенье утопить
Живую быль. И чтобы волны
Над ней сомкнулись. Быль – забыть!

Забыть родных и близких лица
И столько судеб крестный путь –
Все то, что сном давнишним будь,

Дурною, дикой небылицей,
Так и ее — поди, забудь.

Но это было явной былью
Для тех, чей был оборван век,
Для ставших лагерною пылью,
Как некто некогда изрек.

Забывать — о, нет, не с теми вместе
Забывать, что не пришли с войны, —
Одних, что даже этой чести
Суровой были лишены.

Забывать велят и просят лаской
Не помнить — память под печать,
Чтоб ненароком той оглаской
Непосвященных не смущать.

О матерях забыть и женах,
Своей — не ведавших вины,
О детях, с ними разлученных,
И до войны,
И без войны.
А к слову — о непосвященных:
Где взять их? Все посвящены.
<...>

Источник: библиотека М. Мошкова (<http://lib.ru>).

Горбаневская
Наталья Евгеньевна
(Род. 1936)



Поэтесса, журналист, редактор.

Родилась в Москве в 1936 г. Окончила филологический факультет Ленинградского университета. С начала 60-х гг. ее стихи распространялись в Самиздате. Горбаневская – первый редактор информационного бюллетеня «Хроника текущих событий» (см. т. 2, стр. 429). За участие в демонстрации на Красной площади против вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию была признана невменяемой. Арестована в декабре 1970 г. С января 1971 г. по февраль 1972 г. находилась на принудительном лечении в Казанской спецпсихбольнице и в институте им. Сербского в Москве.

Занималась переводами и редакторской деятельностью, входила в состав редакции журнала «Континент», сотрудничала с «Радио Свобода», с 1981 г. работает в еженедельнике «Русская мысль». За переводы с польского стала лауреатом премии парижского журнала «Культура» и польского Пен-клуба.

Поэтические сборники «Стихи» (1969), «Побережье» (1973), «Перелетая снежную границу» (1979), «Где и когда» (1985) были изданы за границей и как Тамиздат распространялись в СССР.

Документальная повесть «Полдень» о демонстрации на Красной площади в 1968 г. была издана в 1970 г. за границей и также распространялась в СССР.

КОНЦЕРТ ДЛЯ ОРКЕСТРА

Послушай, Барток, что ты сочинил?
Как будто ржавую кастрюлю починил,
как будто выстукал на ней: тирим-тарам,
как будто горы заходили по горам,
как будто реки закрутились колесом,
как будто руки удлинились камышом,
и камышиночка: тири-тири-ли-ли,
и острыми носами корабли
царапают по белым пристаням,
царапают: царап-царам-тарам...
И позапрошлогодний музыкант,
тарифной сеткой уважаемый талант,
сидит и морщится: Тири-тири-терпи,
но сколько ржавую кастрюлю ни скреби,
получится одно: тара-тара,

одна мура, не настоящая игра.
Послушай, Барток, что ж ты сочинил!
Как будто вылил им за шиворот чернил,
как будто будто рам-барам-бамбам
их ржавую кастрюлей по зубам.
Еще играет приневоленный оркестр,
а публика повскакивала с мест
и в раздевалку, в раздевалку, в раздевал,
и на ходу она шипит: Каков нахал!
А ты им вслед поешь: Тири-ли-ли,
Господь вам просветленье ниспошли.

1962

* * *

Как андерсовской армии солдат,
как андерсеновский солдатик,
я не при деле. Я стихослагатель,
печально не умеющий солгать.

О, в битву я не ради орденов,
не ординарцем и не командиром —
разведчиком в болоте комарином,
что на трясучей тропке одинок.

О — рядовым! (Атака догорает.
Раскинувши ладони по траве — — —
а на щеке спокойный муравей
последнюю кровинку догоняет.)

Но преданы мы. Бой идет без нас.
Погоны Андерса, как пряжки танцовщицы,
как тувельки и прочие вещицы,
и этим заменен боезапас.

Песок пустыни пляшет на зубах,
и плачет в типографии наборщик,
и долго веселится барахольщик
и белых смертных поставщик рубаш.

О родина!..
Но вороны следят,
чтоб мне не вырваться на поле боя,
чтоб мне остаться травкой полевой
под уходящими подошвами солдат.

1962

* * *

Ах, откуда я?

Ах, откуда я? Из анекдота,
из водевиля, из мелодрамы,
и я не некто, и я не кто-то,
не из машины, не из программы,

не из модели. Я из трамвая,
из подворотни, из-под забора,
и порастите вы все травую,
весь этот мир – не моя забота.

А я откуда? Из анекдота.
А ты откуда? Из анекдота.
А все откуда? А всё оттуда,
из анекдота, из анекдота.

1965

DE REVOLUTIONIBUS ORBIS

Генеалогичное древо
поэзии тряс листопад,
тишайшая Анна Андреевна
кидалась в морозные дровни,
и рухал под лед Летний сад.

Гелиоцентричный Коперник
валился с овальных орбит
и, в звездный закутавшись пыльник,
крошился, как торунский перник,
под вяземский пряник обрит.

Что мне! и без благословенья,
и без благодати, и без
открывшегося откровенья
рублю я на рифмы поленья,
и щепки срastaются в лес.

* * *

Но спесь — не в том, чтоб спеть
про степь да степь кругом и дальше,
а чтобы молвить: «Передай же
поклон...», — распластывая песть

в ладонь, сводимый конь
закинет голову на гриву,
и полнолуние к приливу
ковыльному прильнет, не тронь

крыла души-щегла,
взлетающей — взлетающего
наружу из глухого чрева,
туда, где дальняя легла

доро-о-о... женька до ро-
кового в поле перепутья,
чтобы самой ли спотыкнуться,
коню ли подшибить крыло.

Источник: Русская виртуальная библиотека (<http://www.rvb.ru>).

Айги
Геннадий Николаевич
(Род. 1934)



Поэт.

Родился в 1934 г. в селе Шаймурзино Чувашской АССР в семье сельского учителя. Окончил Батыревское педагогическое училище (1953), в 1953-59 учился в Литинституте (семинар М.Светлова). В марте 1958 г. исключен из ВЛКСМ и Литинститута «за написание враждебной книги стихов, подрывающей основы метода социалистического реализма». Работал научным сотрудником Музея В.В. Маяковского в Москве (1961-71). С 1971 г. живет литературным трудом. Писал стихи на чувашском языке. С 1960 г., по совету Б.Пастернака, начал писать по-русски, занимаясь сначала переводами собственных стихов, а затем также переводами русских поэтов на чувашский язык (например, перевод поэмы «Василий Теркин» А.Т. Твардовского, 1960). На чувашском языке начал публиковаться с 1949 г. Стихи на русском языке впервые опубликованы в «ЛГ» (26.09. 1961; предисловие М.Светлова). Но до начала перестройки как русский поэт в СССР практически не публиковался. Русские стихи Айги печатали в эмигрантских журналах («Грани», 1970, № 74; «Континент», 1975, № 5; «Россия», 1975, № 2), выходили отдельными сборниками в Мюнхене («Стихи 1954 — 71», 1975). С 1988 г. активно печатается, выпускает книги стихов в Москве и за рубежом. С 1962 г. стихи Айги стали переводить на другие языки.

С 1991 г. — член Союза писателей Москвы, с 1995 г. — Русского Пен-центра, с 1994 г. — Народный поэт Чувашии. Удостоен многих наград (премия им. П.Дефя Французской академии в 1972 г., премии им. Андрея Белого, им. А. Крученых в 1991 г., премия им. Б. Пастернака и др.).

ЗДЕСЬ

и жизнь уходила в себя как дорога в леса
и стало казаться её иероглифом
мне слово «здесь»
и оно означает и землю и небо
и то что в тени
и то что мы видим воочью
и то чем делиться в стихах не могу

1958

ПРАЗДНИК В ДЕТСТВЕ

заметная красным
явь опасна — любимых содержа
невыразимо купая
в далях глаза на воды похожих
белые платья семейные

и в лице как в цвету она выслепит
бесцветную яркую
— от себя отслепит! —
иную — первичную-девичью
в лучшем теле моем она выслепит
как волны чердачные
грустно — себя и себя! —

и спокойна семейными белыми:

цветами — основы свои укрывающими:

там: плачу-и-платья — как чаши в сугробе...
там: я-и-смеются...

и путает
и смеюсь

1965

Источник: сайт Русской виртуальной библиотеки (<http://www.rvb.ru>)

Чичибабин Борис Александрович (1923–1994)



Поэт.

Родился в Кременчуге. В 1942-45 гг. служил в авиационных частях Закавказского фронта. Во время учебы на филологическом факультете Харьковского университета (июнь 1946) арестован и осужден по обвинению в контрреволюционной деятельности на 5 лет лагерей (Вятлаг). После освобождения (1951) был рабочим сцены в театре русской драмы, работал в таксомоторном парке, закончил курсы бухгалтеров и – уже до пенсии – работал в отделе снабжения трамвайно-троллейбусного управления. Член СП СССР (с 1968 г.; был исключен в 1973 г. за дерзкое выступление на своем юбилейном вечере в Харькове, а также за появление стихов в Самиздате и Тамиздате; восстановлен с сохранением стажа в октябре 1987 г.). Был членом совета РИК «Милосердие» (с 1990).

Печатается с 1958 г. Опубликовал сборники: «Молодость» (1963), «Мороз и солнце» (1963), «Гармония» (1965), «Плывет "Аврора"» (1968), «Колокол» (1989), «Мои шестидесятые» (1990), «В стихах и прозе» (1995). В 1998 г. в Харькове вышла книга «И все-таки я был поэтом... Всему живому не чужой...», включающая стихи, прозу, письма Чичибабина, а также воспоминания о нем (1998). В советское время печатался, кроме того, в эмигрантских журналах: «Глагол», «22», «Поиски», «Континент». Произведения Чичибабина переведены на английский, белорусский, итальянский, украинский, французский, чешский языки.

Награжден орденом Украины «За заслуги» 3-й степени (1998, посмертно), Удостоен ряда премий, в том числе Государственной премии СССР (1990), премии журнала «Юность» (1990), премии им. А.Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя» (1993).

* * *

Кончусь, останусь жив ли, –
чем зарастет провал?
В Игорево Путивле
выгорела трава.

Школьные коридоры –
тихие, не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.

Лестницы, коридоры,
хитрые письма...
Красные помидоры
кушайте без меня.

1946

* * *

До гроба страсти не избуду.
В края чужие не поеду.
Я не был сроду и не буду,
каким пристало быть поэту.
Не в игрищах литературных,
не на пирах, не в дачных рощах –
мой дух возвращивался в тюрьмах
этапных, следственных и прочих.
И все-таки я был поэтом.

Я был одно с народом русским.
Я с ним ютился по баракам,
леса валил, подсолнух лускал,
каналы рыл и правду брякал.
На брюхе ползал по-пластунски
солдатом части минометной.
И в мире не было простушки
в меня влюбиться мимолетно.

И все-таки я был поэтом.

Мне жизнь дарила жар и кашель,
а чаще сам я был нешелков,
когда давился пшенной кашей
или махал пустой кошелкой.
Поэты прославляли вольность,
а я с неволей не расстанусь,
а у меня вылезит волос
и пять зубов во рту осталось.
И все-таки я был поэтом,
и все-таки я есмь поэт.

Влюбленный в черные деревья
да в свет восторгов незаконных,
я не внушал к себе доверья
издателей и незнакомок.
Я был простой конторской крысой,
знакомой всем грехам и бедам,

водяру дул, с вождями грызся,
тишком за девочками бегал.

И все-таки я был поэтом,
сто тысяч раз я был поэтом,
я был взаправдашним поэтом
И подыхаю как поэт.

1960

ВЕРБЛЮД

Из всех скотов мне по сердцу верблюд
Передохнет – и снова в путь, навьючась.
В его горбах угрюмая живучесть,
века неволи в них ее вольют.

Он тащит груз, а сам грустит по сини
он от любовной ярости вопит,
Его терпенье пестуют пустыни.
Я весь в него – от песен до копыт.

Не надо дурно думать о верблюде.
Его черты брезгливы, но добры.
Ты погляди, ведь он древней домбры
и знает то, чего не знают люди.

Шагает, шею шепота вытягивая,
проносит ношу, царственен и худ, –
песчаный лебедин, печальный работяга,
хорошее чудовище верблюд.

Его удел – ужасен и высок,
и я б хотел меж розовых барханов,
из-под поклаж с презреньем нежным глянув,
с ним заодно пописать на песок.

Мне, как ему, мой Бог не потакал.
Я тот же корм перетираю мудро,
и весь я есть моргающая морда,
да жаркий горб, да ноги ходока.

1964

КЛЯНУСЬ НА ЗНАМЕНИ ВЕСЕЛОМ

Однако радоваться рано –
и пусть орет иной оракул,
что не болеть зажившим ранам,
что не вернуться злым оравам,
что труп врага уже не знамя,
что я рискую быть отсталым,
пусть он орет, – а я-то знаю:
не умер Сталин.

Как будто дело все в убитых,
в безвестно канувших на Север –
а разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться, –
не умер Сталин.

Пока во лжи неукротимы
сидят холеные, как ханы,
антисемитские кретины
и государственные хамы,
покуда взяточник заносчив
и волокитчик беспечален,
пока добычи ждет доносчик, –
не умер Сталин.

И не по старой ли привычке
невежды стали наготове –
навешать всяческие лычки
на свежее и молодое?
У славы путь неодинаков.
Пока на радость сытым стаям
подонки травят Пастернаков, –
не умер Сталин.

А в нас самих, труслив и хищен,
не дух ли сталинский таится,
когда мы истины не ищем,
а только нового боимся?
Я на неправду чертом ринусь,
не уступлю в бою со старым,
но как тут быть, когда внутри нас
не умер Сталин?

Клянусь на знамени веселом
сражаться праведно и честно,
что будет путь мой крут и солон,
пока исчадь не исчезло,
что не сверну, и не покаюсь,
и не скажусь в бою усталым,
пока дышу я и покамест
не умер Сталин!

1959

ПАСТЕРНАКУ

Твой лоб, как у статуи, бел,
и взорваны брови.
Я весь помещаюсь в тебе,
как Врубель в Рублеве.

И сетую, слез не тая,
охаянным эхом,
и плачу, как мальчик, что я
к тебе не приехал.

И плачу, как мальчик, навзрыд
о зримой утрате,
что ты, у трех сосен зарыт.
не тронешь тетради.

Ни в тот и ни в этот приход
мудрец и ребенок
уже никогда не прочтет
моих обреченных...

А ты устремляешься вдаль
и смотришь на ивы,
как девушка и как вода
любим и наивен.

И меришь, и вяжешь навек
веселым обетом:
– Не может быть злой человек
хорошим поэтом...

Я стих твой пешком исходил,
ни капли не косвен,

храня фотоснимок один,
где ты с Маяковским,

где вдоволь у вас про запас
тревог и попоек.
Смотрю поминутно на вас,
люблю вас обоих.

О, скажет ли кто, отчего
случается часто:
чей дух от рожденья червон,
тех участь несчастна?

Ужели проныра и дуб
эпохе угоден,
а мы у друзей на виду
из жизни уходим.

Уходим о зимней поре,
не кончив похода...
Какая пора на дворе,
какая погода!..

Обстала, свистя и слепя,
стеклянная слякоть.
Как холодно нам без тебя
смеяться и плакать.

1962

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БОРЩА

Моя подруга варит борщ.
Неповторимая страница!
Тут лоб как следует наморщъ,
Чтоб за столом не осрамиться.

Ее глазенушки светлы.
Кастрюля взвалена на пламя,
и мясо плещется в компаньи
моркови, перца и свеклы.

На вкус обшарив закрома,
лохматая, как черт из чащи,
постой, пожди, позаклинай,
чтоб получилось подходяще.

Ты только крышку отвали,
и грянет в нос багряный бархат,
куда картошку как бабахнут
ладони ловкие твои.

Ох, до чего ж ты хороша,
в заботе милой раскрасневшись
(дабы в добро не вкралась нечисть),
душой над снедью вороша.

Я помогаю чем могу,
да только я умею мало:
толку заправочное сало,
капусту с ляды волоку.

Тебе ж и усталь нипочем,
добро и жар — твоя стихия.
О, если б так дышал в стихи я,
как ты колдуешь над борщом!

Но труд мой кривду ль победит,
беду ль от родины отгонит,
насытит ли духовный голод,
пробудит к будням аппетит?..

А сало, желтое от лет,
с цибулей розовой растерто.
И ты глядишь на божий свет,
хотя устало, но и гордо.

Капуста валится, плеща,
и зелень сыплется до кучи,
и реет пряно и могуче
благоухание борща.

Теперь с огня его снимай
и дай бальзаму настояться.
И зацветет волшебный май
в седой пустыне постоянства.

Владыка, баловень, кашей,
герой, закованный в медали,
и гений — сроду не едали
таких породистых борщей.

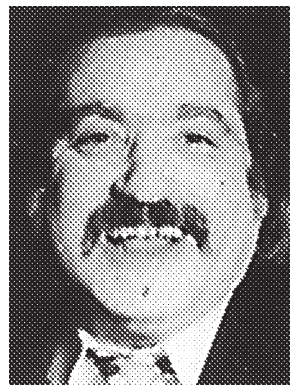
Лишь добрый будет угощен,
лишь друг оценит это блюдо,
а если есть меж нас иуда,—
пусть он подавится борщом!..

Клубится пар духмяней рощ,
лоснится соль, звенит посуда...
Творится благостное чудо —
моя подруга варит борщ.

1964

Источник: библиотека М. Мошкова (<http://lib.ru/>).

Сапгир
Генрих Вениаминович
(1928–1999)



Поэт, прозаик, сценарист, переводчик.

Родился в г. Бийске, Алтайский край, в семье сапожника. С 30-х годов жил в Москве. Один из создателей (вместе с И. Холиным) так называемой «барачной поэзии» (книга «Голоса»). С середины 60-х годов публикуется на Западе. В СССР был известен как детский поэт, драматург и сценарист. «Взрослые» стихи не печатались. Несколько стихотворений (в том числе опубликованные ниже «Обезьян», «Смерть дезертира» и «Голоса» вошли в первый номер журнала «Синтаксис» (стр. 349).

Сапгиром создано около 20 поэтических книг («Голоса» (1958–1962), «Молчание» (1963), «Люстихи» (1965), «Псалмы» (1968), «Элегии» (1970), «Московские мифы» (1970), «Сонеты на рубашках» (1976–1989), «Терцихи Генриха Буфарева» (1984) и др.). Кроме того, Сапгир – составитель поэтического раздела антологии «Самиздат века» (1997 г.).

Ниже приводятся некоторые стихи, написанные с 1958 по 1963 год, и вошедшие в сборники «Голоса» и «Молчание».

ОБЕЗЬЯН

*– На что жалуетесь, гражданка?
– Была она баба бойкая, а тут буд-
то язык отнялся – ничего сказать
не может. Стоит, плачет.
– Дать ей новую квартиру и десять
тысяч от моего имени!
(Из народного фольклора)*

Вышла замуж,
Муж как муж.
Ночью баба
Разглядела его, по совести сказать, слабо.
Утром смотрит: весь в шерсти,
Муж-то, Господи прости,
Обезьян!
А прикинулся брюнетом, чтобы, значит, скрыть изъян.
Обезьян кричит и скачет,
Кривоног и волосат.
Молодая чуть не плачет,

Обратилась в суд.
Говорят: «Нет повода...
Случай атавизма...
Лучше примиритесь...»
Не дают развода.

Дивные дела.
Двух мартышек родила,
Отец — монтажник-верхолаз —
На колокольню Ивана Великого от радости залез
И там на высоте,
На золотом кресте
Трое суток продержался, вися на своем хвосте.
Дали ему
Премию,
Приз:
Чайный сервиз.
Жена чего ни пожелает, выполняется любой ее каприз.

Что ж, был бы муж, как муж, хорош —
И с обезьяной проживешь.

СМЕРТЬ ДЕЗЕРТИРА

– Дезертир?
– Отстал от части.
– Расстрелять его на месте!
(Растерзать его на части!)
Может быть, все это снится?..
Куст,
Обрыв, река,
Мост
И в солнце облака.
Запрокинутые лица
Конвоиров,
Офицера. —
Там воздушный пируэт —
Самолет пикирует,
Бомба массою стекла
Воздух рассекла —
УДАР!..

Наклонился конвоир —
Офицер —
Санитар.
... — Еще живет?

... – Нести?
Разрывается живот.
Вывалились внутренности.
Сознания распалась связь...
Комар заплакал, жалуясь,
Вьется и на лоб садится,
Не смахнуть его с лица...

По участку ходит мрачен,
Озабочен:
На доме прохудилась крыша,
На корню
Засохла груша,
Черви съели яблоню,
Сдох в сарае боров,
Нет на зиму дров.
А жена? Жена румяна,
На щеках горят румяна.
Она гуляет и поет –
Никого не узнает.
Говорит: «Чудные вести:
Пропал без вести,
Пал героем,
Расстреляли перед строем!»

Взял молоток,
Влез на чердак
И от злости
И тоски
Забивает гвозди
В доски,
Всаживает
В свой живот.
Что ни гвоздь,
То насквозь!
Нестерпимая резь.
Ай!
Ой!

– Посмотри, еще живой.
– Оставь, куда его нести,
Вывалились внутренности.
(Комар не отстает, звеня).
– Братцы, убейте меня.

ГОЛОСА

Вон там убили человека.
Вон там убили человека.
Вон там убили человека.
Внизу — убили человека.

Пойдем, посмотрим на него.
Пойдем, посмотрим на него.
Пойдем, посмотрим на него.
Пойдем, посмотрим на него.

Лежит — и вид как есть мертвецкий.
Да он же спит, он пьян мертвецки!
Да, не мертвец, а вид мертвецкий.
Какой мертвец? Он пьян мертвецки.

В блевотине валяется...
В блевотине валяется...
В блевотине валяется...
В блевотине валяется...

Берись за руки и за ноги,
Берись за руки и за ноги,
Берись за руки и за ноги,
Берись за руки и за ноги.

И выноси его на двор,
Вытаскивай его на двор.
Вытряхивай его на двор!
Вышвыривай его на двор!

И затворяй входные двери.
Плотнее закрывайте двери!
Живее замыкайте двери!
На все замки запирайте двери!

Что он? Кричит или молчит?
Что он? Кричит или молчит?
Что он? Кричит или молчит?
Что он? Кричит или молчит?

ПАМЯТИ ОТЦА

И времени больше не стало...
Это не ново.
Это случается часто –
По заявлению Иоанна Богослова
И примечаниям Екклесиаста.

Под синим небом Вострякова
Белело
Неузнаваемым лицом
То,
Что было
Моим
Отцом.

Для нас
Был час.
А для него?
Ничего?

Во избежание лишней тряски
Гроб погрузили на салазки,
Не спеша
Покатили
К могиле.
Раввин
Все обращался к тебе: – Беньямин!
Сын Файвыша!

Но молчало
Тело.
Без имени?
Без рода и племени?
Неужели не стало времени?

МОЛЧАНИЕ

Мне
Подарили перстень
С геммой –
На бледном камне
Розовая рыба

Молчание
Ибо

Молчание
Либо

Молчание
Глыба
Изламывается тень
При свете свечи
Хриплое дыхание
Показываю подаренный мне перстень

– Молчи
Молчание

Христиане
Их пытали
Они молчали
– Отрекись
Они молчали
Хрустели кости

Молчание
Ибо

Молчание
Либо

Вырвали язык из гортани!

Остался человек
И небо –

Молчание
Какая радость
Какое страшное звучание –
Молчание

ЛАМПА

В комнате
Лампа горит
Как свеча

В оконном стекле
Отражается
Белая лампа

На улице
В темноте
Лампа горит
В половину накала

В холодной вселенной
Лампа
Горит

Там
Солнечный день
Машины проносятся
Люди идут
И бледная лампа горит
В солнечном блеске
Бесцветное пламя
Исчезает

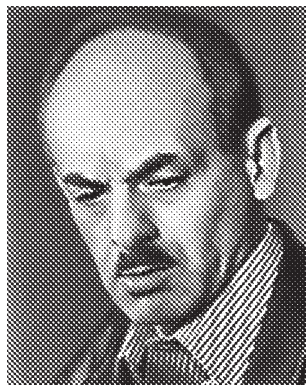
А с нами?
Что же будет с нами?

А с ними?
Что случится с ними?

В тусклом стекле
Отражается пыльная лампа

Источник: мемориальный сайт Генриха Сапгира (<http://sapgir.narod.ru/>).

Окуджава
Булат Шалвович
(1924–1997)



Поэт, писатель, бард.

Родился 9 мая 1924 г. в Москве в семье партийных работников, детство провел на Арбате. Жил с родителями в Нижнем Тагиле до 1937 г., когда отец был арестован и расстрелян, а мать отправлена в лагерь, затем в ссылку. В 1942 г. добровольцем ушел на фронт.

В 1950 г. окончил филологический факультет Тбилисского университета. После этого работал учителем русского языка и литературы в сельской школе под Калугой, затем в Калуге, где сотрудничал в областных газетах. В Калуге вышла первая книга Окуджавы, вошедшие в нее стихи и поэма о Циолковском не включались автором в позднейшие сборники. В 1956 г. переехал в Москву, работал редактором в издательстве «Молодая гвардия», заведовал отделом поэзии в «Литературной газете». В 1962 г. вступил в Союз писателей, с этих пор полностью сосредоточился на творческой работе.

Окуджава – один из создателей жанра, получившего позднее название «авторская песня». С середины 50-х годов он начал выступать в различных аудиториях с собственными стихами, исполняемыми под аккомпанемент гитары. Эти полустихи, полупесни, полубаллады получили широчайшее распространение в стране. Они ходили в виде так называемого «магнитиздата», многократно переписываясь с пленки на пленку, а также в виде традиционного самиздата (в частности, некоторые ранние стихотворения Окуджавы попали в самиздатский журнал «Синтаксис» (стр. 349): «Песенка о короле», «Солдат бумажный», «Ванька Морозов», «Припортовые царевны», «Шарик»).

Первое прозаическое произведение Окуджавы – повесть «Будь здоров, школяр!» – было опубликовано в 1961 г. в альманахе «Тарусские страницы». Как и многие песни Окуджавы, оно было подвергнуто в прессе осуждению за «пацифизм», отсутствие «героического» пафоса.

Окуджава не раз подписывался под письмами в поддержку опальных литераторов (А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля, А.И. Солженицына), что создало ему репутацию «неблагонадежного» писателя. Не будучи по характеру активным политическим борцом, Окуджава убедительно выразил во многих стихах и песнях чувства и мысли оппозиционно настроенной интеллигенции.

Основные прозаические произведения: романы «Глоток свободы» (Бедный Авросимов; 1965–1968), «Мерси, или Похождения Шипова». «Старинный водевиль (1969–1970), «Путешествие дилетантов» (1971–1977), «Свидание с Бонапартом» (1983); повести и рассказы «Отдельные неудачи среди сплошных удач» (1978), «Похождения секретного баптиста» (1984), «Искусство кройки и житья» (1985), «Девушка моей мечты» (1985), «Около Риволи, или Капризы фортуны» (1991). Окуджаве принадлежат сценарии кинофильмов «Женя, Женечка и «катюша»» (1965), «Верность» (1965).

Умер Окуджава в Париже 2 мая 1997 г.

ГОЛУБОЙ ШАРИК*

Девочка плачет: шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит.

Девушка плачет: жениха все нет.
Ее утешают, а шарик летит.

Женщина плачет: муж ушел к другой.
Ее утешают, а шарик летит.

Плачет старушка: мало пожила...
А шарик вернулся, а он голубой.

ВАНЬКА МОРОЗОВ*

А. Межирову

За что ж вы Ваньку-то Морозова?
Ведь он ни в чем не виноват.
Она сама его морочила,
а он ни в чем не виноват.

Он в старый цирк ходил на площади
и там циркачку полюбил.
Ему чего-нибудь попроще бы,
а он циркачку полюбил.

Она по проволке ходила,
махала белой рукой,
и страсть Морозова схватила
своей мозолистой рукой.

А он швырял большие сотни:
ему-то было все равно.
А по нему Маруся сохла,
и было ей не все равно.

Он на извозчиках катался,
циркачке чтобы угодить,
и соблазнить ее пытался,
чтоб ей, конечно, угодить.

* Стихотворения, опубликованные в самиздатском журнале «Синтаксис».

Не думал, что она обманет:
ведь от любви беды не ждешь...
Ах, Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня?
Ведь сам по проволке идешь!

ПЕСЕНКА О СОЛДАТСКИХ САПОГАХ

Вы слышите: грохочут сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки?
Вы поняли, куда они глядят?

Вы слышите: грохочет барабан?
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней...
Уходит взвод в туман-туман-туман...
А прошлое ясней-ясней-ясней.

А где же наше мужество, солдат,
когда мы возвращаемся назад?
Его, наверно, женщины крадут
и, как птенца, за пазуху кладут.

А где же наши женщины, дружок,
когда вступаем мы на свой порог?
Они встречают нас и вводят в дом,
но в нашем доме пахнет воровством.

А мы рукой на прошлое: вранье!
А мы с надеждой в будущее: свет!
А по полям жиреет воронье,
а по пятам война грохочет вслед.

И снова переулком — сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки...
В затылки наши круглые глядят.

ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
в случайный.

Полночный троллейбус, по улице мчи,
верши по бульварам кружение,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушение,
крушение.

Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры – матросы твои –
приходят
на помощь.

Я с ними не раз уходил от беды,
я к ним прикасался плечами...
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье,
в молчанье.

Полночный троллейбус плывет по Москве,
Москва, как река, затухает,
и боль, что скворчком стучала в виске,
стихает,
стихает.

ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли –
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом – солдат...
До свидания, мальчики!

Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите,
и все-таки
постарайтесь вернуться назад.

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб – разлуки и дым,
наши девочки платица белые
раздали сестренкам своим.

Сапоги — ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
что идете войной наугад...
До свидания, девочки!
Девочки,
постарайтесь вернуться назад.

* * *

А мы швейцару: «Отворите двери!
У нас компания весёлая, большая,
приготовьте нам отдельный кабинет».

А Люба смотрит: что за красота!
А я гляжу: на ней такая брошка,
хоть напрокат она взята,
пускай потешится немножко.

А Любе вслед глядит один брюнет...
А нам плевать, и мы вразвалочку,
покинув раздевалочку,
идём себе в отдельный кабинет.

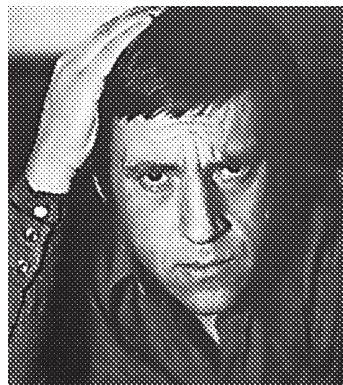
На нас глядят бездельники и шлюхи.
Пусть наши женщины не в жемчуге,
послушайте, пора уже,
кончайте ваши «ах» на сто минут.

Здесь тряпками попахивает так,
здесь смотрят друг на друга сквозь червонцы.
Я не любитель всяких драк,
но мне сказать ему придётся,

что я ему попорчу весь уют,
что наши девушки за денежки,
представь себе, паскудина, брюнет,
они себя не продают.

Источник: Булат Окуджава. Чаепитие на Арбате. Стихи разных лет. М.: Пан, 1996.

Высоцкий
Владимир Семенович
(1938–1980)



Актер, писатель, автор и исполнитель песен.

Родился в Москве. Раннее детство провел в московской коммунальной квартире. Два года жил с матерью в эвакуации на Урале, в 1947–1949 гг. с отцом-военнослужащим и его второй женой жил в г.Эберсвальде (Германия), затем снова в Москве, в Большом Каретном переулке. По окончании школы некоторое время учился в Инженерно-строительном институте, но вскоре его оставил и поступил на актерское отделение Школы-студии МХАТ, которую окончил в 1960 г.

С 1964 по 1980 год Высоцкий – ведущий актер Московского театра драмы и комедии на Таганке (свыше 20 ролей, в том числе: Хлопуша, Лопахин, Свидригайлов, Гамлет и т.д.). Снимался в 30 кинофильмах. В 1987 г. удостоен Государственной премии СССР (посмертно).

С начала 60-х годов писал песни и исполнял их под гитару как для узкого круга друзей и знакомых, так и публично. С появлением магнитофонов его песни широко распространялись по всей стране. От ранних песен, имитирующих военную и лагерную лирику и городской романс, перешел на социальную и общественно значимую тематику. Творчество Высоцкого, чрезвычайно популярное у слушателей, вызывало противодействие со стороны советских властей. В 1968 г. в прессе появляются статьи, осуждающие песенное творчество Высоцкого, и его репутация приобретает оттенок крамольности. Многолетняя концертная работа Высоцкого постоянно сталкивается с внешними трудностями, на публикацию текстов его стихов налагается негласный запрет.

Со второй половины 70-х гг. Высоцкий много выступает с концертными программами за границей, в том числе, во Франции, США, Канаде. В 1979 г. он принял участие в составлении неподцензурного альманаха «Метрополь» (см. т. 3, стр. 306).

НАВОДЧИЦА

– Сегодня я с большой охотою
Распоряжусь своей субботой,
И если Нинка не капризная,
Распоряжусь своею жизнью я!

– Постой, чудак, она ж – наводчица!
Зачем?

– Да так, уж очень хочется!
– Постой, чудак, у нас – компания,
Пойдем в кабак – зальем желание!

— Сегодня вы меня не пачкайте,
Сегодня пьянка мне — до лампочки:
Сегодня Нинка соглашается,
Сегодня жизнь моя решается!

— Ну и дела же с этой Нинкою!
Она спала со всей Ордынкою!
И с нею спать ну кто захочет сам!..
— А мне плевать — мне очень хочется!

Сказала: любит! Все, заматано!
— Отвечу: рупь за то, что врет она!
Она ж того... Ко всем ведь просится...
— А мне чего — мне очень хочется!

— Она ж хрипит, она же грязная,
И глаз подбит, и ноги разные,
Всегда одета, как уборщица...
— Плевать на это — очень хочется!

Все говорят, что — не красавица.
А мне такие больше нравятся.
Ну, что ж такого, что — наводчица?
А мне еще сильнее хочется!

ВСЕ УШЛИ НА ФРОНТ

Нынче все срока закончены,
А у лагерных ворот,
Что крест-накрест заколочены,
Надпись: «Все ушли на фронт».

За грехи за наши нас простят,
Ведь у нас такой народ,
Если родина в опасности,
Значит всем идти на фронт.

Там год за три, если бог хранит,
Как и в лагере зачет,
Нынче мы на равных с вохрами,
Нынче всем идти на фронт.

У начальника Березкина
Ох и гонор, ох и понт,
И душа крест-накрест досками,
Но и он попал на фронт.

Лучше б было сразу в тыл его,
Только с нами был он смел,
Высшей мерой наградил
Его трибунал за самострел.

Ну а мы, все оправдали мы,
Наградили нас потом,
Кто живые — тех медалями,
А кто мертвые — крестом.

И другие заключенные
Пусть читают у ворот
Нашу память застекленную,
Надпись: «Все ушли на фронт».

ШТРАФНЫЕ БАТАЛЬОНЫ

Всего лишь час дают на артобстрел.
Всего лишь час пехоте передышки.
Всего лишь час до самых главных дел:
Кому — до ордена, ну, а кому — до «вышки».

За этот час не пишем ни строки.
Молись богам войны — артиллеристам!
Ведь мы ж не просто так, мы — штрафники.
Нам не писать: «Считайте коммунистом».

Перед атакой — водку? Вот мура!
Свое отпили мы еще в гражданку.
Поэтому мы не кричим «ура!»,
Со смертью мы играемся в молчанку.

У штрафников один закон, один конец —
Коли-руби фашистского бродягу!
И если не поймаешь в грудь свинец,
Медаль на грудь поймаешь «За отвагу».

Ты бей штыком, а лучше бей рукой —
Оно надежней, да оно и тише.
И ежели останешься живой,
Гуляй, рванина, от рубля и выше!

Считает враг — морально мы слабы.
За ним и лес, и города сожжены.
Вы лучше лес рубите на гробы —
В прорыв идут штрафные батальоны!

Вот шесть ноль-ноль, и вот сейчас — обстрел.
Ну, бог войны! Давай — без передышки!
Всего лишь час до самых главных дел:
Кому — до ордена, а большинству — до «вышки».

БРАТСКИЕ МОГИЛЫ

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.

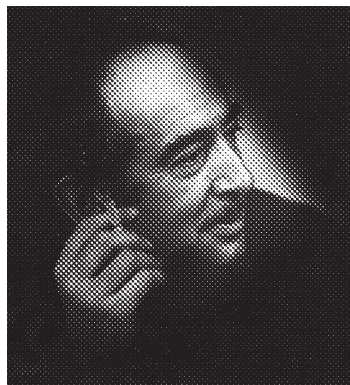
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче — гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты.

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.

У братских могил нет заплаканных вдов —
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?..

Источник: сайт Народная библиотека Владимира Высоцкого (<http://vysotsky.zvuki.ru>) и сайт Военная литература (<http://militera.lib.ru/>).

Галич (Гинзбург)
Александр Аркадьевич
(1918–1977)



Драматург, киносценарист, прозаик, бард.

Родился в 1918 г. в Екатеринославе в интеллигентной семье. Поступил в Литературный институт им. А.М. Горького, затем перешел в Оперно-драматическую студию К. Станиславского, и наконец – в Театр-студию А. Арбузова и В. Плучека. В годы войны работал во фронтовом театре.

В 40 – 50-х гг. Галич – преуспевающий драматург («Улица мальчиков», «Вас вызывает Таймыр», «За час до рассвета» и др.) и сценарист («Верные друзья», «На семи ветрах» и др.). С начала 60-х начал писать песни-баллады, которые исполнял под собственный гитарный аккомпанемент в кругу друзей и знакомых. С этого времени по стране стали расходиться в магнитофонных самиздатовских записях стихи-песни Галича, которые сделали его одним из самых популярных в стране подпольных поэтов-певцов. В связи с этим Галича начали вызывать на допросы в КГБ, перестали печатать, в 1971 г. исключили из Союза писателей и из Союза кинематографистов. В 1974 г. он был вынужден эмигрировать. В 1977 г. Галич погиб в Париже при загадочных и до сих пор невыясненных обстоятельствах.

ОБЛАКА

Облака плывут, облака,
Не спеша плывут, как в кино.
А я цыпленка ем табака,
Я коньячку принял полкило.

Облака плывут в Абакан,
Не спеша плывут облака.
Им тепло, небось, облакам,
А я продрог насквозь, на века!

Я подковой вмерз в санный след,
В лед, что я кайлом ковырял!
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям.

До сих пор в глазах снега наст!
До сих пор в ушах шмона гам!..
Эй, подайте ж мне ананас
И коньячку еще двести грамм!

Облака плывут, облака,
В милый край плывут, в Колыму,
И не нужен им адвокат,
Им амнистия — ни к чему.

Я и сам живу — первый сорт!
Двадцать лет, как день, разменял!
Я в пивной сижу, словно лорд,
И даже зубы есть у меня!

Облака плывут на восход,
Им ни пенсии, ни хлопот...
А мне четвертого — перевод,
И двадцать третьего — перевод.

И по этим дням, как и я,
Полстраны сидит в кабаках!
И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака...

И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака...

Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ (СТАРАТЕЛЬСКИЙ ВАЛЬСОК)

Мы давно называемся взрослыми
И не платим мальчишеству дань
И за кладом на сказочном острове
Не стремимся мы в дальнюю даль
Ни в пустыню, ни к полюсу холода,
Ни на катере... к этакой матери.
Но поскольку молчание — золото.
То и мы, безусловно, старатели.

Промолчи — попадешь в богачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!

И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгнули смолоду...

А молчалиники вышли в начальники.
Потому что молчание — золото.

Промолчи — попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!

И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята.
Но под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем — доходней молчание,
Потому что молчание — золото!

Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть — в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!

ЗА СЕМЬЮ ЗАБОРАМИ

Мы поехали за город,
А за городом дожди,
А за городом заборы,
За заборами — Вожди.

Там трава несмятая,
Дышится легко,
Там конфеты мятные
«Птичье молоко».

За семью заборами,
За семью запорами,
Там конфеты мятные
«Птичье молоко»!

Там и фауна, и флора,
Там и галки, и грачи,
Там глядят из-за забора
На прохожих стукачи.

Ходят вдоль да около,
Кверху воротник...
А сталинские соколы
Кушают шашлык!

За семью заборами,
За семью запорами,
Сталинские соколы
Кушают шашлык!

А ночами, а ночами
Для ответственных людей,
Для высокого начальства
Крутят фильмы про блядей!

И сопя, уставится
На экран мурло...
Очень ему нравится
Мерелин Монро!

За семью заборами,
За семью запорами,
Очень ему нравится
Мерелин Монро!

Мы устали с непривычки,
Мы сказали:
– Боже мой!
Добрели до электрички
И поехали домой.

А в пути по радио
Целый час подряд
Нам про демократию
Делали доклад.

За семью заборами,
За семью запорами,
Там доклад не слушают –
Там шашлык едят!

ПРО МАЛЯРОВ, ИСТОПНИКА И ТЕОРИЮ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Чувствуем с напарником — ну и ну,
Ноги прямо ватные, все в дыму,
Чувствуем — нуждаемся в отдыхе,
Чтой-то нехорошее в воздухе.

Взали «жигулевского» и «дубняка»,
Третьим пригласили истопника,
Приняли, добавили еще раза,
Тут нам истопник и открыл глаза —

На ужасную историю
Про Москву и про Париж,
Как наши физики проспорили
Ихним физикам пари.

Все теперь на шарике вкривь и вкось,
Шиворот-навыворот, набекрень,
И что мы с вами думаем день — ночь,
А что мы с вами думаем ночь — день.

И рубают финики лопари,
А в Сахаре снегу — невпроворот,
Это гады-физики на пари,
Раскрутили шарика наоборот.

И там, где полюс был, там тропики,
А где Нью-Йорк — Нахичевань,
А что люди мы, а не бобики,
Им на это начихать!

Рассказывал нам все это истопник,
Вижу, мой напарник, ну прямо сник, —
Раз такое дело — гори огнем!
Больше мы малярничать не пойдем! —

Взяли в поликлинике бюллетень,
Нам башку работою не морочь!
И что ж тут за работа, если ночью день,
А потом обратно не день, а ночь!

И при всей квалификации
Тут возможен перекося,
Это ж все-таки радиация,
А не медный купорос!

Пятую неделю я не сплю с женой,
Пятую неделю я хожу больной,
Тоже и напарник мой плачется,
Дескать, он отравленный начисто.

И лечусь «столичною» лично я,
Чтобы мне с ума не стронуться,
Истопник сказал — «столичная» —
Очень хороша от стронция.

И то я верю, а то не верится,
Что минует та беда...
А шарик вертится и вертится,
И все время не туда!

КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать,
Вот стою я перед вами, словно голенький,
Да, я с Нинулькою гулял с тетипашиной,
И в «Пекин» ее водил, и в Сокольники.

Поясок ей подарил поролоновый,
И в палату с ней ходил в Грановитую,
А жена моя, товарищ Парамонова,
В это время находилась за границею.

А вернулась, ей привет — анонимочка,
Фотоснимок, а на нем — я да Ниночка !
Просыпаюсь утром — нет моей кисочки,
Ни вещичек ее нет, ни записочки,

Нет как нет,
Ну, прямо, нет как нет !

Я к ней, в ВЦСПС, в ноги падаю,
Говорю, что все во мне переломано.
Не сердчай, что я гулял с этой падлюю,
Ты прости меня, товарищ Парамонова !

А она как закричит, вся стала черная —
Я на слезы на твои — ноль внимания,
И ты мне лазаря не пой, я ученая,
Ты людям все расскажи на собрании !

И кричит она, дрожит, голос слабенький,
А холуи уж тут как тут, каплиот капельки,
И Тамарка Шестопал, и Ванька Дерганов,
И еще тот референт, что из «органов»,

Тут как тут,
ну, прямо, тут как тут !

В общем, ладно, прихожу на собрание,
А дело было, как сейчас помню, первого,
Я, конечно, бюллетень взял заранее
И бумажку из диспансера нервного.

А Парамонова, гляжу, в новом шарфике,
А как увидела меня, вся стала красная,
У них первый был вопрос — свободу Африке ! —
А потом уж про меня — в части «разное».

Ну, как про Гану — все в буфет за сардельками,
Я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами,
А как вызвали меня, то сник от робости,
А из зала мне кричат — давай подробности !

Все, как есть,
ну, прямо, все, как есть !

Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать?
Вот стою я перед вами, словно голенький,
Да, я с племянницей гулял с тетипашиной,
И в «Пекин» ее водил, и в Сокольники,

И в моральном, говорю, моем облике
Есть растленное влияние Запада,
Но живем ведь, говорю, не на облаке,
Это ж просто, говорю, соль без запаха!

И на жалость я их брал, и испытывал,
И бумажку, что я псих, им зачитывал,
Ну, поздравили меня с воскресением,
Залепили строгача с занесением!

Ой, ой, ой,
Ну, прямо, ой, ой, ой...

Взял тут цветов букет покрасивее,
Стал к подъезду номер семь, что для начальников,

А Парамонова, как вышла, вся стала синяя,
Села в «Волгу» без меня и отчалила!
И тогда прямым путем в раздевалку я,
И тете Паше говорю, мол, буду вечером,
А она мне говорит — с аморалкою
Нам, товарищ дорогой, делать нечего.

И племянница моя, Нина Саввовна,
Она думает как раз тоже самое,
Она всю свою морковь нынче продала,
И домой, по месту жительства, отбыла.

Вот те на,
ну, прямо, вот те на!

Я тогда иду в райком, шлю записочку,
Мол, прошу принять, по личному делу я,
А у Грошевой сидит моя кисочка,
Как увидела меня, вся стала белая!

И сидим мы у стола с нею рядышком,
И с улыбкой говорит товарищ Грошева —
Схлопотал он строгача, ну и ладушки,
Помириться вы теперь по-хорошему.

И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку,
И пришли мы с ней в «Пекин» рука об руку,
Она выпила «дюрсо», а я «перцовую»
За советскую семью, образцовую!
Вот и все...

ОШИБКА

Мы похоронены где-то под Нарвой,
Под Нарвой, под Нарвой,
Мы похоронены где-то под Нарвой,
Мы были — и нет.
Так и лежим, как шагали, попарно,
Попарно, попарно,
Так и лежим, как шагали, попарно,
И общий привет!

И не тревожит ни враг, ни побудка,
Побудка, побудка,
И не тревожит ни враг, ни побудка
Померзших ребят.
Только однажды мы слышим, как будто,
Как будто, как будто,
Только однажды мы слышим, как будто
Вновь трубы трубят.

Что ж, подымайтесь, такие-сякие,
Такие-сякие,
Что ж, подымайтесь, такие-сякие,
Ведь кровь — не вода!
Если зовет своих мертвых Россия,
Россия, Россия,
Если зовет своих мертвых Россия,
Так значит — беда!

Вот мы и встали в крестах да в нашивках,
В нашивках, в нашивках,
Вот мы и встали в крестах жа в нашивках,
В снежном дыму.
Смотрит и видим, что вышла ошибка,
Ошибка, ошибка,
Смотрит и видим, что вышла ошибка
И мы — ни к чему!

Где полегла в сорок третьем пехота,
Пехота, пехота,
Где полегла в сорок третьем пехота
Без толку, зазря,
Там по пороше гуляет охота,
Охота, охота,
Там по пороше гуляет охота,
Трубят егеря!

1962

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ПРОЗА**

Варлам Шаламов

(Справку см. т. 1, кн. 1, стр. 133)

КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

Работу над «Колымскими рассказами» — главной своей книгой — В. Шаламов начал в 1954 г., когда жил в Калининской области, работая мастером на торфоразработках, он продолжил ее, переехав в Москву после реабилитации (1956), а закончил в 1973 г. «Колымские рассказы» — панорама жизни, страданий и смерти людей в Дальстрое — лагерной империи на Северо-Востоке СССР, занимавшей территорию свыше 2 миллионов квадратных километров. Писатель провел там в лагерях и ссылках более 16 лет, работая на золотых приисках и угольных шахтах, а последние годы — фельдшером в больницах для заключенных. Они состоят из шести книг (включающих более 100 рассказов и очерков): «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы» и «Перчатка». Тему своей книги В. Шаламов определил так: «художественное исследование страшной реальности», «новое в поведении человека, низведенного до уровня животного», «судьба мучеников, не бывших и не умевших стать героями». Он характеризовал «Колымские рассказы» как «новую прозу, прозу живой жизни, которая в то же время — преображенная действительность, преображенный документ». Себя В. Шаламов сравнивал с «Плутоном, поднявшимся из ада». С начала 1960-х гг. В. Шаламов предлагал «Колымские рассказы» советским журналам и издательствам, однако даже во время пика хрущевской десталинизации (1962-1963) ни один из них не смог пройти советскую цензуру. Рассказы получили широчайшее хождение в Самиздате (как правило, они перепечатывались на машинке небольшими порциями — по 2-3) и сразу же поставили В. Шаламов как разоблачителя сталинской тирании в неофициальном общественном мнении рядом с Александром Солженицыным — автором «Одного дня Ивана Денисовича» (сам Солженицын в 1965 г. предлагал В. Шаламову работать вместе над книгой «Архипелаг ГУЛАГ», но В. Шаламов отказался). Редкие публичные выступления В. Шаламов с чтением «Колымских рассказов» становились общественным событием (так, в мае 1965 г. писатель прочел рассказ «Шерри-бренди» на вечере памяти поэта Осипа Мандельштама, состоявшемся в здании МГУ на Ленинских горах).

С 1966 г. «Колымские рассказы», попав за границу, начинают систематически печататься в эмигрантских журналах и газетах (всего в 1966-1973 гг. в журналах «Грани», «Посев», «Вестник Русского студенческого христианского движения», «Новом журнале» и газете «Новое русское слово» прошло 33 публикации рассказов и очерков из книги). Сам В. Шаламов к этому факту относился отрицательно (он мечтал увидеть «Колымские рассказы» изданными в одном томе и считал, что разрозненные публикации не дают полного впечатления о книге, к тому же делая их автора невольным постоянным сотрудником эмигрантской периодики). В 1972 г. писатель на страницах московской «Литературной газеты» публично протестовал против этих публикаций. Однако когда в 1978 г. в лондонском издательстве ОРП «Колымские рассказы» были наконец изданы вместе (том составил 896 страниц), тяжело больной В. Шаламов был этому очень рад.

Только через 6 лет после смерти писателя, в разгар горбачевской перестройки, стала возможна публикация «Колымских рассказов» в СССР (впервые — в журнале «Новый мир»,

№6 за 1988 г.). Хлынувшие на страницы множества литературных журналов, они сыграли роль в изменении общественного сознания в стране, став одним из наиболее авторитетных свидетельств о преступлениях сталинской эпохи.

С 1989 г. «Колымские рассказы» неоднократно издавались на родине в различных авторских сборниках В. Шаламова и в составе его собрания сочинений.

ОБ ОДНОЙ ОШИБКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Художественная литература всегда изображала мир преступников сочувственно, подчас с подобострастием. Художественная литература окружила мир воров романтическим ореолом, соблазнившись дешевой мишурой. Художники не сумели разглядеть подлинного отвратительного лица этого мира. Это — педагогический грех, ошибка, за которую так дорого платит наша юность. Мальчику 14-15 лет простительно увлечься «героическими» фигурами этого мира; художнику это непростительно. Но даже среди больших писателей мы не найдем таких, кто, разглядев подлинное лицо вора, отвернулся бы от него или заклеил его так, как должен был заклеить все нравственно негодное всякий большой художник. По прихоти истории наиболее экспансивные проповедники совести и чести, вроде, например, Виктора Гюго, отдали немало сил для восхваления уголовного мира. Гюго казалось, что преступный мир — это такая часть общества, которая твердо, решительно и явно протестует против фальши господствующего мира. Но Гюго не дал себе труда посмотреть — с каких же позиций борется с любой государственной властью это воровское сообщество. Немало мальчиков искало знакомства с живыми «мизераблями» после чтения романов Гюго. Кличка «Жан Вальжан» до сих пор существует среди блатарей.

Достоевский в своих «Записках из Мертвого дома» уклоняется от прямого и резкого ответа на этот вопрос. Все эти Петровы, Лучки, Сушиловы, Газины — все это, с точки зрения подлинного преступного мира, настоящих блатарей — «асмодеи», «фраера», «черти», «мужики», то есть такие люди, которые презираются, грабятся, топчутся настоящим преступным миром. С точки зрения блатных — убийцы и воры Петров и Сушилов гораздо ближе к автору «Записок из Мертвого дома», чем к ним самим. «Воры» Достоевского такой же объект нападения и грабежа, как и Александр Петрович Горянчиков и равные ему, какая бы пропасть ни разделяла дворян-преступников от простого народа. Трудно сказать, почему Достоевский не пошел на правдивое изображение воров. Вор ведь — это не тот человек, который украл. Можно украсть и даже систематически воровать, но не быть блатным, то есть не принадлежать к этому подземному гнусному ордену. По-видимому, в каторге Достоевского не было этого «разряда». «Разряд» этот не карается обычно такими большими сроками наказания, ибо большую массу его не составляют убийцы. Вернее, во времена Достоевского не составляли. Блатных, ходивших «по мокрому», тех, у кого рука «дерзкая», было не так много в преступном мире. «Домушники», «скокари», «фармазоны», «карманники» — вот основные категории общества «урок» или «уркаганов, как называет себя преступный мир. Слово «преступный мир» — это термин, выражение определенного значения. Жулик, урка, уркаган, человек,

блатарь это все синонимы. Достоевский на своей каторге их не встречал, а если бы встретил, мы лишились бы, может быть, лучших страниц этой книги — утверждения веры в человека, утверждения доброго начала, заложенного в людской природе. Но с блатными Достоевский не встречался. Каторжные герои «Записок из Мертвого дома» такие же случайные в преступлении люди, как и сам Александр Петрович Горянчиков. Разве, например, воровство друг у друга — на котором несколько раз останавливается, особо его подчеркивая, Достоевский, — разве это возможная вещь в блатном мире? Там — грабёж фраеров, дележ добычи, карточная игра и последующее скитание вещей по разным хозяевам-блатарям в зависимости от победы в «стос» или «буру». В «Мертвом доме» Газин продает спирт, делают это и другие «целовальники». Но спирт блатные отняли бы у Газина мгновенно, карьера его не успела бы развернуться.

По старому «закону», блатарь не должен работать в местах заключения, за него должны работать фраера. Мясниковы и Варламовы получили бы в блатном мире презрительную кличку «волжский грузчик». Все эти «мослы» (солдаты), «баклушины», «акулькины мужья», все это вовсе не мир профессиональных преступников, не мир блатных. Это просто люди, столкнувшиеся с негативной силой закона, столкнувшиеся случайно, в потемках переступившие какую-то грань, вроде Акима Акимовича — типичного «фраерюги». Блатной же мир — это мир особого закона, ведущий вечную войну с тем миром, представителями которого являются и Аким Акимович, и Петров, вкупе с восьмиглазым плац-майором. Плац-майор блатарям даже ближе. Он богом данное начальство, с ним отношения просты, как с представителем власти, и такому плац-майору любой блатной немало наговорит о справедливости, о чести и о прочих высоких материях. И наговаривает уже не первое столетие. Угреватый, наивный плац-майор — это их открытый враг, а Акимы Акимовичи и Петровы — их жертвы.

Ни в одном из романов Достоевского нет изображений блатных. Достоевский их не знал, а если видел и знал, то отвернулся от них как художник.

У Толстого нет никаких впечатляющих портретов этого сорта людей, даже в «Воскресении», где внешние и иллюстрирующие штрихи наложены так, что художнику за них отвечать не приходится.

Сталкивался с этим миром Чехов. Что-то было в его сахалинской поездке такое, что изменило почерк писателя. В нескольких послесахалинских письмах Чехов прямо указывает, что после этой поездки все написанное им раньше кажется пустяками, недостойными русского писателя. Как и в «Записках из Мертвого дома», на острове Сахалин оглуляющая и растлевающая мерзость мест заключения губит и не может не губить чистое, хорошее, человеческое. Блатной мир ужасает писателя. Чехов угадывает в нем главный аккумулятор этой мерзости, некий атомный реактор, сам восстанавливающий топливо для себя. Но Чехов мог только всплеснуть руками, грустно улыбнуться, указать мягким, но настойчивым жестом на этот мир. Он тоже знал его по Гюго. На Сахалине Чехов был слишком мало, и для своих художественных произведений до самой смерти он не имел смелости взять этот материал.

Казалось бы, биографическая сторона творчества Горького должна бы дать ему повод для правдивого, критического показа блатных. Челкаш — несомненный блатарь. Но этот вор-рецидивист изображен в рассказе с той же принуди-

тельной и лживой верностью, как и герои «Отверженных». Гаврилу, конечно, можно толковать не только как символ крестьянской души. Он ученик уркагана Челкаша. Пусть случайный, но обязательный. Ученик, который, быть может, завтра будет «порченным штымпом», поднимется на одну ступень лестницы, ведущей в преступный мир. Ибо, как говорил один блатной философ, «никто не рождается блатным, блатными делаются». В Челкаше Горький, сталкивавшийся с блатным миром в юности, лишь отдал дань тому малограмотному восхищению перед кажущейся свободой суждения и смелостью поведения этой социальной группы.

Васька Пепел («На дне») — весьма сомнительный блатной. Так же, как и Челкаш, он романтизирован, возвеличен, а не развенчан. Несколько внешних, верных черт этой фигуры, явная симпатия автора приводят к тому, что и Пепел служит недоброму делу.

Таковы попытки изображения Горьким преступного мира. Он также не знал этого мира, не сталкивался, по-видимому, с блатными по-настоящему, ибо это, вообще говоря, затруднительно для писателя. Блатной мир — это закрытый, хотя и не очень законспирированный орден, и посторонних для обучения и наблюдения туда не пускают. Ни с Горьким-бродягой, ни с Горьким-писателем никакой блатной по душам не разговорится, ибо Горький для него прежде всего — фраер.

В двадцатые годы литературу нашу охватила мода на налетчиков. «Беня Крик» Бабеля, леоновский «Вор», «Мотъкэ Малхамовес» Сельвинского, «Васька Свист в переплете» В. Инбер, каверинский «Конец хазы», наконец, фармазон Остап Бендер Ильфа и Петрова — кажется, все писатели отдали легкомысленную дань внезапному спросу на уголовную романтику. Безудержная поэтизация уголовщины выдавала себя за «свежую струю» в литературе и соблазнила много опытных литературных перьев. Несмотря на чрезвычайно слабое понимание существа дела, обнаруженное всеми упомянутыми, а также и всеми не упомянутыми авторами произведений на подобную тему, они имели успех у читателя, а следовательно, приносили значительный вред.

Дальше пошло еще хуже. Наступила длительная полоса увлечения пресловутой «перековкой», той самой перековкой, над которой блатные смеялись и не устают смеяться по сей день. Открывались Болшевские и Люберецкие коммуны, 120 писателей написали «коллективную» книгу о Беломорско-Балтийском канале, книга издана в макете, чрезвычайно похожем на иллюстрированное Евангелие. Литературным венцом этого периода явились погодинские «Аристократы», где драматург в тысячный раз повторил старую ошибку, не дав себе труда сколько-нибудь серьезно подумать над теми живыми людьми, которые сами в жизни разыграли несложный спектакль перед глазами наивного писателя.

Много выпущено книг, кинофильмов, поставлено пьес на темы перевоспитания людей уголовного мира. Увы!

Преступный мир с гуттенберговских времен и по сей день остается книгой за семью печатями для литераторов и для читателей. Бравшиеся за эту тему писатели разрешали эту серьезнейшую тему легкомысленно, увлекаясь и обманываясь фосфорическим блеском уголовщины, наряжая ее в романтическую

маску и тем самым укрепляя у читателя вовсе ложное представление об этом коварном, отвратительном мире, не имеющем в себе ничего человеческого.

Возня с различными «перековками» создала передышку для многих тысяч воров-профессионалов, спасла блатарей.

Что же такое преступный мир?

1959

ЖУЛЬНИЧЕСКАЯ КРОВЬ

Как человек перестает быть человеком?

Как делаются блатарями?

В преступный мир приходят и со стороны: колхозник, отбывший за мелкую кражу наказание в тюрьме и связавший отныне свою судьбу с уголовниками; бывшие стилиаги, уголовные деяния которых приблизили их к тому, о чем они знали лишь понаслышке; заводской слесарь, которому не хватает денег на удалые гулянки с товарищами; люди, которые не имеют профессии, а хотят жить в свое удовольствие, а также люди, которые стыдятся просить работу или милостыню — на улице или в государственном учреждении — это все равно, и предпочитают отнимать, а не просить. Это дело характера, а зачастую примера. Просить работу — это тоже очень мучительно для больного, уязвленного самолюбия оступившегося человека. Особенно подростка. Просить работу — унижение не меньше, чем просить милостыню. Не лучше ли...

Дикий, застенчивый характер человека подсказывает ему решение, всю серьезность и опасность которого подросток просто не в силах, не может еще оценить. У каждого человека в разное время его жизни бывает необходимость решить что-то важное, «переломить» судьбу, и большинству это важное приходится делать в молодые годы, когда опыт мал, а вероятность ошибок велика. Но в это время также мала и рутина поступков, а велика смелость, решительность.

Поставленный перед трудным выбором, обманутый художественной литературой и тысячей обывательских легенд о таинственном преступном мире, подросток делает страшный шаг, после которого подчас нет возврата.

Потом он привыкает, озлобляется окончательно сам и сам начинает вербовать молодежь в ряды этого проклятого ордена.

В практике этого ордена есть одна важная тонкость, вовсе не замечаемая даже специальной литературой.

Дело в том, что этим подземным миром правят потомственные воры — те, у которых старшие родственники — отцы, деды или хотя бы дяди, старшие братья были уркаганами; те, которые выросли с раннего детства в блатных традициях, в блатном ожесточении ко всему миру; те, которые не могут променять своего положения на другое по понятным причинам; те, чья «жульническая кровь» не вызывает сомнения в своей чистоте.

Потомственные воры и составляют правящее ядро уголовного мира, именно им принадлежит решающий голос во всех суждениях «правил», этих «судов чести» блатарей, составляющих необходимое, крайне важное условие этой подземной жизни.

Во время так называемого раскулачивания блатной мир расширился сильно. Его ряды умножились — за счет сыновей тех людей, которые были объявлены «кулаками». Расправа с «раскулаченными» умножила ряды блатного мира. Однако никогда и нигде никто из бывших «раскулаченных» не играл видной роли в преступном мире.

Они грабили лучше всех, участвовали в кутежах и гулянках громче всех, пели блатные песни крикливей всех, ругались матерно, превосходя всех блатарей в этой тонкой и важной науке сквернословия, в точности имитировали блатарей и все же были только имитаторами, только подражателями.

В сердцевину блатного мира эти люди допущены не были. Редкие одиночки, особенно отличившиеся — не своими «героическими подвигами» во время ограблений, но усвоением правил блатного поведения, участвовали иногда в «правилах» высших воровских кругов. Увы — они не знали, что сказать на этих правилках. При малейшем столкновении, а каждый блатарь — весьма истеричная особа, — чужакам напоминали их «чуждое» происхождение.

— Ты — порчак! А открываешь хавало! Какой ты вор? Ты волжский грузчик, а не вор! Ты — олень самый настоящий!

«Порчак», то есть «порченный фраер» — фраер, который уже перестал быть фраером, но еще не стал блатарем («Это еще не птица, но уже не четвероногое» — как говорил Жак Паганель у Жюль Верна). И «порчак» терпеливо сносит оскорбления. «Порчаки» не бывают, конечно, хранителями традиций воровского мира.

Для того чтобы быть «хорошим», настоящим вором, нужно вором родиться; только тем, кто с самых юных лет связан с ворами, и притом с «хорошими, известными ворами», кто прошел полностью многолетнюю науку тюрьмы, кражи и блатного воспитания, достается решать важные вопросы блатной жизни.

Каким ты видным грабителем ни будь, какая тебя ни сопровождает удача, ты всегда останешься чужаком-одиночкой, человеком второго сорта среди потомственных воров. Мало воровать, надо принадлежать к этому ордену, а это дается не только кражей, не только убийством. Вовсе не всякий «тяжеловес», вовсе не всякий убийца — только потому, что он — грабитель и убийца — занимает почетное место среди блатарей. Там есть свои блюстители чистоты нравов, и особо важные воровские секреты, касаемые выработки общих законов этого мира (которые, как и жизнь, меняются), выработки языка воров, «блатной фени», — дело только блатарской верхушки, состоящей из потомственных воров, хотя бы там были только карманники.

И даже к мнению мальчика-подростка (сына, брата какого-нибудь видного вора) блатной мир будет прислушиваться больше, чем к суждениям «порчаков» — пусть они будут хоть Ильями Муромцами в грабительском деле.

И «марьян» — женщин блатного мира — будут делить в зависимости от знатности хозяина... Их получают сначала обладатели «голубой крови», а в последнюю очередь — «порчаки».

Блатари немало заботятся о подготовке своей смены, о выращивании «достойных» продолжателей их дела.

Страшный мишурный плащ уголовной романтики ярким маскарадным блеском привлекает юношу, мальчика, чтобы его отравить своим ядом навсегда.

Этот фальшивый блеск стекляруса, выдающего себя за алмаз, повторен тысячей зеркал художественной литературы.

<...>

Мы плохо и неверно разбираемся в разнице между ворами и хулиганами. Слов нет, обе эти социальные группы — антиобщественны, обе враждебны обществу. Но взвесить истинную опасность каждой группы, оценить ее по достоинству мы способны крайне редко. Бесспорно, что мы больше боимся хулигана, чем вора. В быту мы общаемся с ворами очень редко, всякий раз эти встречи происходят либо в отделении милиции, либо в уголовном розыске, где мы выступаем в роли потерпевших или свидетелей. Гораздо грознее хулиган — пьяное страшилище, «чубаровец», возникающий на бульваре, или в клубе, или в коридоре коммунальной квартиры. Традиционность русского молодечества — пьянки в «храмовые» праздники, пьяные драки, приставания к женщинам, грязная ругань — все это хорошо нам известно и кажется нам гораздо страшнее того таинственного воровского мира, о котором мы имеем — по вине художественной литературы — крайне смутное понятие. Подлинную цену хулиганов и воров знают только работники уголовного розыска; но из примера творчества Льва Шейнина можно видеть, что знание не всегда используется правильным образом.

Мы не знаем, что такое вор, что такое уркаган, что такое блатарь, вор-рецидивист. Укравшего белье с веревки на даче и напившегося тут же в станционном буфете мы считаем видным «скокарем».

Мы не догадываемся, что человек может воровать, не будучи вором, членом преступного мира. Мы не понимаем, что человек может убивать и воровать и не быть блатарем. Конечно, блатарь ворует. Он этим живет. Но не всякий вор — блатарь, и понять эту разницу категорически необходимо. Преступный мир существует рядом с чужими кражами, рядом с хулиганством.

Правда, для потерпевшего все равно, кто украл у него из квартиры серебряные ложки или костюм наваринского пламени с дымом — вор-блатарь, вор-профессионал, но не блатарь, или квартирный сосед, никогда кражами не занимавшийся. Пусть, дескать, в этом разбирается уголовный розыск.

Хулиганов мы боимся больше, чем воров. Ясно, что никакие «народные дружины» не справятся с ворами, о которых мы, к сожалению, имеем вовсе превратное понятие. Подчас думают, что где-то в глубоком подполье под чужими именами скрываются и живут таинственные блатары. Они грабят только магазины и кассы. Белья с веревки эти каскарильи не унесут, этим «благородным жуликам» обыватель рад даже помочь — он иногда прячет их от милиции — то ли из романтических побуждений, то ли «за боюсь» — из страха, что чаще.

Хулиган страшнее. Хулиган ежедневен, общедоступен, близок. Он страшен. Спасения от него и ищем мы в милиции и в народных дружинах.

Между тем хулиган, всякий хулиган стоит еще на грани человеческого. Вор-блатарь стоит вне человеческой морали.

Любой убийца, любой хулиган — ничто по сравнению с вором. Вор тоже убийца и хулиган плюс еще нечто такое, чему почти нет имени на человеческом языке.

Работники мест заключения или уголовного розыска не очень любят делиться своими важными воспоминаниями. У нас есть тысячи дешевых детективов,

романов. У нас нет ни одной серьезной и добросовестной книги о преступном мире, написанной работником, чьей обязанностью была борьба с этим миром.

Это ведь постоянная социальная группа, которую правильной было бы назвать антисоциальной. Она вносит отраву в жизнь наших детей, она борется с нашим обществом и одерживает подчас успехи потому, что к ней относятся с доверием и наивностью, а она борется с обществом совсем другим оружием — оружием подлости, лжи, коварства, обмана — и живет, обманывая одного начальника за другим. Чем выше по чину начальник, тем легче его обмануть.

Сами блатары относятся к хулиганам резко отрицательно. «Да это не вор, это — просто хулиган», «это хулиганский поступок, недостойный вора» — такие фразы непередаваемой фонетики в ходу среди преступного мира. Эти примеры воровского ханжества встречаются на каждом шагу. Блатарь хочет отделить себя от хулиганов, поставить себя гораздо выше и настойчиво требует, чтобы обыватели различали воров и хулиганов.

В этом направлении ведется и воспитание молодого блатаря. Вор не должен быть хулиганом, образ «вора-джентльмена» — это и свидетельство прослушанных «романов», и официальный символ веры блатарей. Есть в этом образе «вора-джентльмена» и некая тоска души блатаря по недостижимому идеалу. Поэтому-то «изящество», «светскость» манер в большой цене среди воровского подполья. Именно оттуда в блатарский лексикон попали и закрепились там слова: «преступный мир», «вращался», «он с ним кушает» — все это звучит и не высокопарно, не иронически. Это — термины определенного значения, ходовые выражения языка.

Вся воровская психология построена на том давнишнем, вековом наблюдении блатарей, что их жертва никогда не сделает, не может подумать сделать так, как с легким сердцем и спокойной душой ежедневно, ежечасно рад сделать вор. В этом его сила — в беспредельной наглости, в отсутствии всякой морали. Для блатаря нет ничего «слишком». Если вор по своему «закону» и не считает за честь и доблесть писать доносы на фраера, то он отнюдь не прочь в целях своей выгоды составить и дать начальству политическую характеристику на любого своего соседа-фраера. В 1938 году и позднее — до 1953 года известны буквально тысячи визитов воров к лагерному начальству с заявлениями, что они, истинные друзья народа, должны донести на «фашистов» и «контрреволюционеров». Такая деятельность носила массовый характер — предметом постоянной особой ненависти воров в лагере всегда была интеллигенция из заключенных — «Иваны Ивановичи».

Карманники составляли когда-то наиболее квалифицированную часть воровского мира. Мастера «чердачных» краж проходили даже нечто вроде обучения, овладевали техникой своего ремесла, гордились своей узкой специальностью. Они предпринимали длительные поездки, где с начала до конца «гастролей» они оставались верными своему уменью, не сбиваясь на всякие «скоки» или фармазонство. Небольшое наказание за карманную кражу, удобная добыча — чистые деньги — вот два обстоятельства, привлекавшие воров к карманным кражам. Уменье держаться в любом обществе, чтобы не выдать себя, тоже было одним из важных достоинств мастера карманных краж.

Увы, валютная политика свела «зарботки» карманников к доходу мизерному по сравнению с риском, с ответственностью. «Доходней и прелестней» ока-

зался вульгарный «скок» за бельем, развешанным на веревке, — это было подороже, чем содержимое любого бумажника, изловленного в автобусе или трамвае. Тысяч в кармане не найдешь, а любая «лепёха» при скидке на краденое окажется подороже денег, которые можно отыскать в большинстве бумажников.

Карманники переменили специальность и влились в ряды «домушников».

<...>

И все же «жульническая кровь» не синоним «голубой крови». «Жульническая кровь», «капля жульнической крови» может быть и у фраера, если он разделяет кое-какие блатные убеждения, помогает «людям», относится с сочувствием к воровскому закону.

«Капля жульнической крови» может быть даже у следователя, понимающего душу блатного мира и втайне сочувствующего этому миру. Даже (и не так редко) у лагерного начальника, делающего важные послабления блатным не за взятки и не под угрозой. «Капля жульнической крови» есть и у всех «сук» на свете — недаром же они были когда-то ворами. Кое в чем люди с каплей жульнической крови могут помочь вору, а это вор должен иметь в виду. «Жульническую кровь» имеют все «завязавшие», то есть покончившие с блатным миром, переставшие воровать, вернувшиеся к честному труду. Есть и такие, это не «суки», и ненависти к себе «завязавшие» вовсе не вызывают. При случае в трудную минуту они могут даже оказать помощь — скажется «жульническая кровь».

Наводчики, продавцы краденого, хозяева воровских притонов — наверняка люди с «жульнической кровью».

Все фраера, так или иначе оказавшие помощь вору, имеют, как говорят блатари, эту «каплю жульнической крови».

Это — блатная подлая, снисходительная похвала всем сочувствующим воровскому закону, всем, кого вор обманывает и с которыми расплачивается этой дешевой лестью.

1959

ПОСЫЛКА

Посылки выдавали на вахте. Бригады удостоверяли личность получателя. Фанера ломалась и трещала по-своему, по-фанерному. Здешние деревья ломались не так, кричали не таким голосом. За барьером из скамеек люди с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме вскрывали, проверяли, встряхивали, выдавали. Ящики посылок, едва живые от многомесячного путешествия, подброшенные умело, падали на пол, раскалывались. Куски сахара, сушеные фрукты, загнивший лук, мятые пачки махорки разлетались по полу. Никто не подбирал рассыпанное. Хозяева посылок не протестовали — получить посылку было чудом из чудес.

Возле вахты стояли конвоиры с винтовками в руках — в белом морозном тумане двигались какие-то незнакомые фигуры.

Я стоял у стены и ждал очереди. Вот эти голубые куски — это не лед! Это

сахар! Сахар! Сахар! Пройдет еще час, и я буду держать в руках эти куски, и они не будут таять. Они будут таять только во рту. Такого большого куска мне хватит на два раза, на три раза.

А махорка! Собственная махорка! Материковская махорка, ярославская «Белка» или «Кременчуг № 2». Я буду курить, буду угощать всех, всех, всех, а прежде всего тех, у кого я докуривал весь этот год. Материковская махорка! Нам ведь давали в пайке табак, снятый по срокам хранения с армейских складов, — авантюра гигантских масштабов: на лагерь списывались все продукты, что вылежали сроки хранения. Но сейчас я буду курить настоящую махорку. Ведь если жена не знает, что нужна махорка покрепче, ей подскажут.

— Фамилия?

Посылка треснула, и из ящика высыпался чернослив, кожаные ягоды чернослива. А где же сахар? Да и чернослива — две-три горсти...

— Тебе бурки! Летчицкие бурки! Ха-ха-ха! С каучуковой подошвой! Ха-ха-ха! Как у начальника прииска! Держи, принимай!

Я стоял растерянный. Зачем мне бурки? В бурках здесь можно ходить только по праздникам — праздников-то и не было. Если бы олени пимы, торбаса или обыкновенные валенки. Бурки — это чересчур шикарно... Это не подобает. Притом...

— Слышь ты... — Чья-то рука тронула мое плечо. Я повернулся так, чтобы было видно и бурки, и ящик, на дне которого было немного чернослива, и начальство, и лицо того человека, который держал мое плечо. Это был Андрей Бойко, наш горный смотритель. А Бойко шептал торопливо:

— Продай мне эти бурки. Я тебе денег дам. Сто рублей. Ты ведь до барака не донесешь — отнимут, вырвут эти. — И Бойко ткнул пальцем в белый туман. — Да и в бараке украдут. В первую ночь.

«Сам же ты и подошлешь», — подумал я.

— Ладно, давай деньги.

— Видишь, какой я! — Бойко отсчитывал деньги. — Не обманываю тебя, не как другие. Сказал сто — и даю сто. — Бойко боялся, что переплатил лишнего.

Я сложил грязные бумажки вчетверо, восьмеро и упрятал в брючный карман. Чернослив пересыпал из ящика в бушлат — карманы его давно были вырваны на кисеты.

Куплю масла! Килограмм масла! И буду есть с хлебом, супом, кашей. И сахару! И сумку достану у кого-нибудь — торбочку с бечевочным шнурком. Непременная принадлежность всякого приличного заключенного из фраеров. Блатные не ходят с торбочками.

Я вернулся в барак. Все лежали на нарах, только Ефремов сидел, положив руки на остывшую печку, и тянулся лицом к исчезающему теплу, боясь разогнуться, оторваться от печки.

— Что же не растопляешь?

Подошел дневальный.

— Ефремовское дежурство! Бригадир сказал: пусть где хочет, там и берет, а чтоб дрова были. Я тебе спать все равно не дам. Иди, пока не поздно.

Ефремов выскользнул в дверь барака.

— Где ж твоя посылка?

— Ошиблись...

Я побежал к магазину. Шапаренко, завмаг, еще торговал. В магазине никого не было.

— Шапаренко, мне хлеба и масла.

— Угровишь ты меня.

— Ну, возьми, сколько надо.

— Денег у меня видишь сколько? — сказал Шапаренко. — Что такой фитиль, как ты, может дать? Бери хлеб и масло и отрывайся быстро.

Сахару я забыл попросить. Масла — килограмм. Хлеба — килограмм. Пойду к Семену Шейнину. Шейнин был бывший референт Кирова, еще не расстрелянный в это время. Мы с ним работали когда-то вместе, в одной бригаде, но судьба нас развела.

Шейнин был в бараке.

— Давай есть. Масло, хлеб.

Голодные глаза Шейнина заблестали.

— Сейчас я кипятку...

— Да не надо кипятку!

— Нет, я сейчас. — И он исчез.

Тут же кто-то ударил меня по голове чем-то тяжелым, и, когда я вскочил, пришел в себя, сумки не было. Все оставались на своих местах и смотрели на меня со злобной радостью. Развлечение было лучшего сорта. В таких случаях радовались вдвойне: во-первых, кому-то плохо, во-вторых, плохо не мне. Это не зависть, нет...

Я не плакал. Я еле остался жив. Прошло тридцать лет, и я помню отчетливо полутемный барак, злобные, радостные лица моих товарищей, сырое полено на полу, бледные щеки Шейнина.

Я пришел снова в ларек. Я больше не просил масла и не спрашивал сахару. Я выпросил хлеба, вернулся в барак, натаял снегу и стал варить чернослив.

Барак уже спал: стонал, хрипел и кашлял. Мы трое варили у печки каждый свое: Синцов кипятил сбереженную от обеда корку хлеба, чтобы съесть ее, вязкую, горячую, и чтобы выпить потом с жадностью горячую снеговую воду пахнущую дождем и хлебом. А Губарев натолкал в котелок листьев «мерзлой» капусты — счастливец и хитрец. Капуста пахла, как лучший украинский борщ! А я варил посылочный чернослив. Все мы не могли не глядеть в чужую посуду.

Кто-то пинком распахнул двери барака. Из облака морозного пара вышли двое военных. Один, помоложе, — начальник лагеря Коваленко, другой, постарше, — начальник прииска Рябов. Рябов был в авиационных бурках — в моих бурках! Я с трудом сообразил, что это ошибка, что бурки рябовские.

Коваленко бросился к печке, размахивая кайлом, которое он принес с собой.

— Опять котелки! Вот я сейчас вам покажу котелки! Покажу, как грязь разводить!

Коваленко опрокинул котелки с супом, с коркой хлеба и листьями капусты, с черносливом и пробил кайлом дно каждого котелка.

Рябов грел руки о печную трубу.

— Есть котелки — значит, есть что варить, глубокомысленно изрек начальник прииска. — Это, знаете, признак довольства.

— Да ты бы видел, что они варят, — сказал Коваленко, растаптывая котелки.

Начальники вышли, и мы стали разбирать смятые котелки и собирать каждый свое: я — ягоды, Синцов — размокший, бесформенный хлеб, а Губарев — крошки капустных листьев. Мы все сразу съели — так было надежней всего.

Я проглотил несколько ягод и заснул. Я давно научился засыпать раньше, чем согреются ноги, — когда-то я этого не мог, но опыт, опыт... Сон был похож на забытье.

Жизнь возвращалась, как сновиденье, — снова раскрылись двери: белые клубы пара, прилегшие к полу, пробежавшие до дальней стены барака, люди в белых полущубках, вонючих от новизны, необношенности, и рухнувшее на пол что-то, не шевелящееся, но живое, хрюкающее.

Дневальный, в недоуменной, но почтительной позе склонившийся перед белыми тулупами десятников.

— Ваш человек? — И смотритель показал на комок грязного тряпья на полу.

— Это Ефремов, — сказал дневальный.

— Будет знать, как воровать чужие дрова.

Ефремов много недель пролежал рядом со мной на нарах, пока его не увезли, и он умер в инвалидном городке. Ему отбили «нутро» — мастеров этого дела на прииске было немало. Он не жаловался — он лежал и тихонько стонал.

1960

АКАДЕМИК

Оказалось, что беседу с академиком очень трудно напечатать. Не потому, что академик наговорил чепухи, нет. Это был академик с большим именем, многоопытный любитель всевозможных интервью, а беседовал он на хорошо ему знакомую тему. Журналист, посланный для беседы, обладал достаточной квалификацией. Это был хороший журналист, а двадцать лет назад — очень хороший. Причина была в стремительности научного прогресса. Журнальные сроки — гранки, верстки, издательские графики безнадежно отставали от движения науки. Осенью пятьдесят седьмого года, четвертого октября, был запущен спутник. О подготовке к его запуску академик знал кое-что, а журналист ничего не знал. Но и академику, и журналисту, и редактору журнала было ясно, что не только границы информации после запуска спутника должны быть раздвинуты, но и сам тон статьи изменен. Статья в ее первом варианте должна была дышать ожиданием больших, исключительных событий. Сейчас эти события наступили. Поэтому через месяц после беседы академик слал в редакцию длиннейшие телеграммы из ялтинского санатория, телеграммы за собственный счет, с оплаченным ответом. Умело приоткрывая занавес кибернетических тайн, академик стремился во что бы то ни стало быть «на уровне» и в то же время не сказать лишнего. Редакция, которую занимали те же заботы о современности и о своевременности, вносила исправления в статью академика до последней минуты.

Гранки статьи были посланы в Ялту специальным самолетным курьером и, испещренные помарками академика, вернулись в редакцию.

«Бальзаковская правка», — сокрушенно сказал заведующий редакцией. Все было улажено, увязано, вычитано. Громоздкая колымага издательской техни-

ки выехала на просторные колеи. Но ко времени верстки в космос полетела Лайка, и академик из Румынии, где он находился на конгрессе мира, слал новые телеграммы, умоляя, требуя. Редакция заказывала срочные международные телефонные переговоры с Бухарестом.

Наконец журнал вышел в свет, и редакция немедленно утратила интерес к статье академика.

Но все это было после, а сейчас журналист Голубев поднимался по узкой мраморной лестнице огромного дома на главной улице города, где жил академик. Дом был одних лет с журналистом. Он был построен во время домостроительного бума в начале столетия. Коммерческие квартиры: ванна, газ, телефон, канализация, электричество.

В подъезде стоял стол дежурного дворника. Электрическая лампочка была приспособлена так, чтобы свет падал на лицо входящих. Это чем-то напоминало следственную тюрьму.

Голубев назвал фамилию академика, дежурный дворник позвонил по телефону, получил ответ, сказал журналисту «пожалуйста» и распахнул перед Голубевым украшенные бронзовым литьем двери лифта.

«Бюро пропусков», — лениво подумал Голубев. Уж чего-чего, а бюро пропусков он за свою жизнь повидал немало.

— Академик живет на шестом этаже, — почтительно сообщил дежурный дворник. Лицо его не выразило удивления, когда Голубев прошел мимо открытой двери лифта и шагнул на чистую узкую мраморную лестницу. Лифта Голубев после болезни не переносил — ни подъема, ни спуска, особенно спуска с его коварной невесомостью.

Отдыхая на каждой площадке, Голубев добрался до шестого этажа. Шум в ушах немножко утих, стук сердца стал равномернее, дыхание ровнее. Голубев постоял перед дверью академика, вытянул руки и осторожно проделал несколько гимнастических движений головой — так рекомендовали врачи, лечившие журналиста.

Голубев перестал вертеть головой, нащупал в кармане платок, авторучку, блокнот и твердой рукой позвонил.

Популярный академик открыл дверь сам. Он был молод, вертляв, с быстрыми черными глазами и выглядел гораздо моложе, свежее Голубева. Перед беседой журналист просмотрел в библиотеке энциклопедические словари, а также несколько биографий академика — депутатских и научных — и знал, что он, Голубев, и академик — сверстники. Листая статьи по вопросам будущей беседы, Голубев обратил внимание, что академик метал громы и молнии со своего научного Олимпа в кибернетику, объявленную им «вреднейшей идеалистической квазинаукой». «Воинствующая лженаука» — так выражался академик два десятка лет тому назад. Беседа, для которой приехал Голубев к академику, и должна была касаться современного значения кибернетики.

Академик зажег свет, чтобы Голубев мог раздеться.

В огромном зеркале с бронзовой рамой, стоящем в передней, отражались они оба — академик в черном костюме с черным галстуком, черноволосый, черноглазый, гладколицый, подвижной, и прямая фигура Голубева и его утомленное лицо со множеством морщин, похожих на глубокие шрамы. Но голубые глаза Голубева сверкали, пожалуй, помоложе, чем блестящие живые глаза академика.

Голубев повесил на вешалку свое негибкое, новенькое, недавно купленное пальто из искусственной кожи. Рядом с потертым коричневым кожаным, подбитым елотом пальто хозяина оно выглядело вполне прилично.

— Прошу,— сказал академик, отворяя дверь налево.— И прошу извинить меня. Я сейчас вернусь.

Журналист осмотрелся. Анфилада комнат уходила вглубь в двух направлениях—прямо и направо. Двери были стеклянные, с низом из красного дерева, и где-то в глубине возникали тени людей при полном безмолвии. Голубеву не приходилось жить в квартирах, где комнаты были бы расположены анфиладой, но он помнил кинофильм «Маскарад», квартиру Арбенина. Академик появился где-то далеко и снова исчез, и снова появился, и снова исчез, как Арбенин в фильме.

Направо в первой большой комнате — дальше опять начиналась анфилада,— светлой, со стеклянными дверями, с венецианскими окнами — стоял огромный белый рояль. Рояль был закрыт, и на крышке толпились, мешая друг другу, какие-то фарфоровые фигурки. На великолепных подставках стояли вазы, вазочки, статуи, статуэтки. На стенах висели тарелочки, коврики. Два просторных кресла были обиты белым, в тон роялю. Где-то в глубине за стеклом двигались человеческие тени.

Голубев вошел в кабинет академика. Крошечный кабинетик был темен, узок и казался чуланом. Книжные полки по всем четырем стенам сжимали комнату. Маленький, вроде игрушечного, резной письменный столик красного дерева, казалось, прогибался под тяжестью огромной мраморной чернильницы с крышкой из вызолоченной бронзы. Три стены книжных полок библиотеки были отведены справочникам, а одна — собственным сочинениям академика. Биографии и автобиографии, уже знакомые Голубеву, стояли тут же. Втиснутый в эту же комнату, задыхался черный маленький рояль. К роялю был прижат круглый стол для корреспонденции, заваленный свежими техническими журналами. Голубев перенес груду журналов на рояль, подвинул стул и положил авторучку и два карандаша на край стола. Дверь в прихожую академик оставил открытой.

«Как в «тех» кабинетах», — лениво подумал Голубев.

Везде: на черном рояле, на книжных полках — стояли кувшинчики, фарфоровые и глиняные фигурки. Голубев взял в руки пепельницу в виде головы Мефистофеля. Давно когда-то любил он фарфор, стекло, поражался чуду человеческих рук в Эрмитаже — белой фарфоровой фигурке «Сон», где лицо спящего в кресле человека было покрыто тончайшим платком, и казалось, что сотрудники музея накинули на статую кусочек марли, чтоб фигурка не запылится, — а это была не марля, а тончайший фарфоровый платок. И много еще других чудес человеческого уменья помнил Голубев. Но голова Мефистофеля — грузная, провинциальная — была непонятна. С полок трубили глиняные бараны, прижавшись к корешкам книг, как к деревьям, сидели зайцы с львиными мордами. Личная память?

Два добротных кожаных чемодана с наклейками иностранных гостиниц стояли около двери. Наклеек было много, чемоданы — новые.

Академик возник на пороге, перехватывая взгляд Голубева и сразу все объясняя:

— Прошу прощения. Завтра уезжаю в Грецию самолетом. Прошу.

Академик протискался к письменному столу, занял удобную позицию.

— Я думал о предложении вашей редакции, — сказал он, глядя на форточку: ветер вносил в комнату желтый пятипалый кленовый лист, похожий на отрубленную кисть человеческой руки. Лист повертелся в воздухе и упал на пол. Академик нагнулся, изломал сухой лист в пальцах и бросил его в плетеную корзиночку, которая прижалась к ножке письменного столика.

— И согласился на него, — продолжал академик. — Я наметил три главных пункта моего ответа, моего выступления, мнения, — называйте это как хотите.

Академик ловко извлек из-под огромной чернильницы крошечный листок бумаги, где каракулями было записано несколько слов.

— Вопрос первый формулируется мной так...

— Я прошу вас, — сказал Голубев, бледнея, — говорить чуть-чуть громче. Дело в том, что я плохо слышу. Прошу прощения.

— Ну что вы, что вы, — вежливо сказал академик. — Вопрос первый формулируется... Так достаточно?

— Да, благодарю вас.

— Итак, первый вопрос...

Черные бегающие глаза академика смотрели на руки Голубева. Голубев понимал, вернее, не понимал, а чувствовал всем телом, о чем академик думает. Он думает о том, что присланный к нему журналист не владеет стенографией. Это слегка обидело академика. Конечно, есть журналисты, не знающие стенографии, особенно из пожилых. Академик посмотрел на темное морщинистое лицо журналиста. Есть, конечно. Но ведь в таких случаях редакция посылает второго человека — стенографистку. Могла бы прислать одну стенографистку — без журналиста — это было бы еще лучше. «Природа и Вселенная», например, всегда присылает ему только стенографистку. Ведь не думает же редакция, пославшая этого немолодого журналиста, что журналист может задавать острые вопросы ему, академику. Ни о каких острых вопросах не идет речи. И никогда не шло. Журналист — это дипломатический курьер, — думал академик, — если не просто курьер. Он, академик, теряет время из-за того, что нет стенографистки. Стенографистка — это элементарно, это, если угодно, вежливость редакции. Редакция поступила с ним невежливо.

Вот на Западе — там всякий журналист владеет стенографией, умеет писать на пишущей машинке. А сейчас — будто сто лет назад, где-нибудь в кабинете Некрасова. Какие журналы были сто лет назад? Кроме «Современника» он никаких не помнит, а ведь, наверное, были.

Академик был самолюбивым человеком, весьма чувствительным человеком. В поступке редакции ему чудилось неуважение. Притом — он знал это по опыту — живая запись неизбежно изменит беседу. Придется много тратить труда на правку. Да и теперь: на беседу был отведен час — больше часа академик не может, не имеет права: его время дороже, чем время журналиста, редакции.

Так думал академик, диктуя привычные фразы интервью. Впрочем, он не подал и виду, что он рассержен или удивлен. «Вино, разлитое в стаканы, надо пить», — припомнил он французскую поговорку. Академик думал по-французски — из всех языков, которые он знал, он больше всего любил французский —

лучшие научные журналы по его специальности, лучшие детективные романы... Академик произнес французскую фразу вслух, но журналист, не владевший стенографией, не откликнулся на нее — этого академик и ждал.

Да, вино разлито, — думал академик, диктуя, — решение принято, дело уже начато, и не в привычках академика останавливаться на полдороге. Он успокоился и продолжал говорить.

В конце концов, это своеобразная техническая задача: уложиться ровно в час, диктуя не быстро, чтоб журналист успел записать, и достаточно громко — тише, чем с кафедры в институте, и тише, чем на конгрессах мира, но значительно громче, чем в своем кабинете — примерно так, как на лабораторных занятиях. Увидев, что все эти задачи разрешены удачно и досадные неожиданные трудности побеждены, академик развеселился.

— Простите, — сказал академик, — вы не тот Голубев, что много печатался во времена моей молодости, моей научной молодости, в начале тридцатых годов? За его статьями все молодые ученые следили тогда. Я как сейчас помню название одной его статьи — «Единство науки и художественной литературы». В те годы, — академик улыбнулся, показывая свои хорошо отремонтированные зубы, — были в моде такие темы. Статья бы и сейчас пригодилась для разговора о физиках и лириках с кибернетиком Полетаевым. Давно все это было, — вздохнул академик.

— Нет, — сказал журналист. — Я не тот Голубев. Я знаю, о ком вы говорите. Тот Голубев умер в тридцать восьмом году.

И Голубев твердым взглядом посмотрел в быстрые черные глаза академика.

Академик издал неясный звук, который следовало оценить как сочувствие, понимание, сожаление.

Голубев писал не отдыхая. Французскую пословицу насчет вина он понял не сразу. Он знал язык и забыл, давно забыл, а сейчас незнакомые слова ползли по его утомленному, иссохшему мозгу. Тарабарская фраза медленно двигалась, будто на четвереньках, по темным закоулкам мозга, останавливалась, набирала силы и доползала до какого-то освещенного угла, и Голубев с болью и страхом понял ее значение на русском языке. Суть была не в ее содержании, а в том, что он понял ее — она как бы открыла, указала ему на новую область забытого, где тоже надо все восстанавливать, укреплять, поднимать. А сил уже не было — ни нравственных, ни физических, и казалось, что гораздо легче ничего нового не вспоминать. Холодный пот выступил на спине журналиста. Очень хотелось курить, но врачи запретили табак — ему, курившему сорок лет. Запретили — и он бросил — струсил, захотел жить. Воля была нужна не для того, чтобы бросить курить, а для того, чтобы не слушать советов врачей.

В дверь просунулась женская голова в парикмахерском шлеме. «Услуги на дому», — отметил журналист.

— Простите, — и академик вылез из-за рояля и выскользнул из комнаты, плотно притворив дверь.

Голубев помахал затекшей рукой и очинил карандаш.

Из передней слышался голос академика — энергичный, в меру резкий, никем не перебиваемый, безответный.

— Шофер, — пояснил академик, возникая в комнате, — не может никак сооб-

разить, к какому часу подать машину... Продолжим,— сказал академик, заходя за рояль и перегибаясь через него, чтобы Голубеву было слышнее. — Второй раздел — это успехи теории информации, электроники, математической логики — словом, всего того, что принято называть кибернетикой.

Пытливые черные глаза встретились с глазами Голубева, но журналист был невозмутим. Академик бодро продолжал:

— В этой модной науке сперва мы немножко отстали от Запада, но быстро выправились и теперь идем впереди. Подумываем об открытии кафедр математической логики и теории игр.

— Теории игр?

— Именно: она еще называется теория Монте-Карло,— грассируя, протянул академик. — Поспеваем за веком. Впрочем, вам...

— Журналисты никогда не попевали за веком,— сказал Голубев. — Не то что ученые...

Голубев передвинул пепельницу с головой Мефистофеля.

— Вот залюбовался пепельницей,— сказал он.

— Ну что вы,— сказал академик. — Случайная покупка. Я ведь не коллекционер, не «аматер», как говорят французы, а просто на глине отдыхает глаз.

— Конечно, конечно, прекрасное занятие,— Голубев хотел сказать — увлечение, но побоялся звука «у», чтобы не вылетел зубной протез, вставленный совсем недавно. Протез не переносил звука «у». — Ну, благодарю вас,— сказал Голубев, вставая и складывая листочки. — Желаю вам всего хорошего. Гранки пришлем.

— Там, в случае чего,— сказал академик, поморщившись,— пусть в редакции сами прибавят то, что нужно. Я ведь человек науки, могу не знать.

— Не беспокойтесь. Все вы увидите в гранках.

— Желаю удачи.

Академик вышел проводить журналиста в переднюю, зажег свет и с сочувствием смотрел, как Голубев напяливает на себя свое чересчур новое, негнущееся пальто. Левая рука с трудом попала в левый рукав пальто, и Голубев покраснел от натуги.

— Война? — с вежливым вниманием спросил академик.

— Почти,— сказал Голубев. — Почти. — И вышел на мраморную лестницу.

Плечевые суставы Голубева были разорваны на допросах в тридцать восьмом году.

1961

АРТИСТ ЛОПАТЫ

В воскресенье, после работы, Криту сказали, что его переводят в бригаду Косточкина, на пополнение быстро тающей золотой приисковой бригады. Новость была важная. Хорошо это или плохо — думать Криту не следовало, ибо новость неотвратима. Но о самом Косточкине Крест слышал много на этом лишенном слухов прииске, в оглохших, немых бараках. Крест, как и всякий заключенный, не знал, откуда приходят в его жизнь новые люди — одни ненадол-

го, другие надолго, но во всех случаях люди исчезали из жизни Криста, так ничего и не сказав о себе, уходили, как бы умирая, умирали, как бы уходя. Начальники, бригадиры, повара, каптеры, соседи по нарам, братья по тачке, товарищи по кайлу...

Этот калейдоскоп, это движение бесконечных лиц не утомляло Криста. Он просто не раздумывал об этом. Жизнь не оставляла времени на такие раздумья. «Не волнуйся, не думай о новых начальниках, Крист. Ты один, а начальников у тебя еще будет очень много» — так говорил шутник и философ — а кто говорил, Крист забыл. Крист не мог вспомнить ни фамилии, ни лица, ни голоса, голоса, сказавшего Криту эти важные шутливые фразы. Важные именно потому, что шутливые. Кто осмеливался шутить, улыбаться хотя бы глубоко скрытой, сокровеннейшей улыбкой, но все же улыбкой, несомненно улыбкой, такие люди существовали, но сам Крист был не из их числа.

Какие были бригадиры у Криста... Или свой брат пятьдесят восьмая, взявшиеся за слишком серьезное дело и вскоре разжалованные, разжалованные раньше, чем они успели превратиться в убийц. Или свой брат пятьдесят восьмая, фраера, но битые фраера, опытные, бывалые фраера, которые могли не только приказывать на работе, но и эту работу организовать, да еще ладить с нормировщиками, конторой, начальством разнообразным, дать взятку, уговорить. Но и эти, свой брат пятьдесят восьмая, не хотели и думать о том, что приказывать на лагерной работе худший лагерный грех, что там, где расплата кровава, где человек бесправен, взять на себя ответственность распоряжаться чужой волей на жизнь и смерть — все это слишком большой, смертный грех, грех, которого не прощают. Были бригадиры, умиравшие вместе с бригадой. Были и такие, которых эта ужасная власть над чужой жизнью развратила немедленно, и кайловище, черенок лопаты в их руках стал им помогать в разговорах со своими товарищами. И когда они вспоминали об этом, говорили, повторяя, как молитву, мрачную лагерную поговорку: «Умри ты сегодня, а я завтра». Далеко не всегда у Криста бригадирами были заключенные по пятьдесят восьмой статье. Чаще — а в самые страшные годы всегда — бригадирами Криста были бытовики, осужденные за убийство, за служебные преступления. Это были нормальные люди, только вина власти и тяжкое давление сверху — поток смертных инструкций — диктовали этим людям поступки, на которые они не решались, быть может, в их прежней жизни. Грань между преступлением и «ненаказуемым деянием» в «служебных» статьях — да в большинстве бытовых тоже — очень тонка, подчас неуловима. Часто сегодня судили за то, за что не судили вчера, не говоря уж о «мере пресечения» — всей этой юридической гамме оттенков от проступка до преступления.

Бытовики-бригадиры были зверями по приказу. Но вовсе не только по приказу были зверями бригадиры-блатари. Бригадир-блатарь — это худшее, что могло случиться с бригадой. Но Косточкин не был ни блатарем, ни бытовиком. Косточкин был единственным сыном какого-то крупного не то партийного, не то советского работника на КВЖД, по «делу КВЖД» привлеченного и умерщвленного. Единственный сын Косточкина, учившийся в Харбине и ничего, кроме Харбина, не видевший, в свои двадцать пять лет был осужден как «чс», как «член семьи», как «литерник», на... пятнадцать лет. Воспитанный заграничной хар-

бинской жизнью, где о невинно осужденных читали только в романах — переводных романах по преимуществу, — молодой Косточкин в глубине своего мозга не был уверен, что его отец осужден невинно. Отец воспитал в нем веру в непогрешимость НКВД. К иному суждению молодой Косточкин был вовсе не подготовлен. И когда был арестован отец, когда сам Косточкин был осужден и отправлен с Очень Дальнего Востока на Очень Дальний Север — Косточкин был озлоблен прежде всего на отца, испортившего ему своим таинственным преступлением жизнь. Что он, Косточкин, знает о жизни взрослых? Он, изучивший четыре языка — два европейских и два восточных, лучший танцор Харбина, учившийся всевозможным блюзам и румбам у приезжих мастеров сих дел, лучший боксер Харбина — средневес, переходящий в полутяжелый, обучавшийся апперкотам и хуккам у бывшего чемпиона Европы, — что он о всей этой большой политике знает? Если расстреляли — значит, что-то было. Может быть, в НКВД погорячились, может быть, надо было дать десять, пятнадцать лет. А ему, молодому Косточкину, нужно было дать — если уж нужно дать — пять вместо пятнадцати.

Четыре слова повторял Косточкин — переставлял их в разном порядке — и всякий раз выходило плохо, тревожно: «Значит, было что-то. Значит, что-то было».

Вызвав у Косточкина ненависть к расстрелянному отцу, страстное желание избавиться от этого клейма, от этого отцовского проклятия — работники следствия добились важных успехов. Но следователь не знал об этом. Следователь, который вел дело Косточкина, и сам был давно расстрелян по очередному «делу НКВД».

Не только фокстроты и румбы изучал молодой Косточкин в Харбине. Он окончил Харбинский политехнический институт — получил диплом инженера-механика.

Когда привезли Косточкина на прииск, на место его назначения, он добился свидания с начальником прииска и просил дать работу по специальности, обещая честно работать, проклиная отца, умоляя местных начальников. «Этикетки на консервные банки будет писать», — сухо сказал начальник прииска, но присутствовавший при разговоре местный уполномоченный уловил какие-то знакомые нотки в тоне молодого харбинского инженера. Начальники поговорили между собой, потом уполномоченный поговорил с Косточкиным, и забойные бригады вдруг обошло известие, что бригадиром одной из бригад назначен новичок, свой брат пятьдесят восьмая. Оптимисты видели в этом назначении признак скорых перемен к лучшему, пессимисты бормотали что-то насчет новой метлы. Но и те и другие были удивлены кроме, разумеется, тех, кто давно отучился удивляться, Крест не удивлялся.

Каждая бригада живет своей жизнью, в своей «секции» в бараке с отдельным входом и с остальными жителями барака встречается только в столовой. Крест часто встречал Косточкина — тот был такой отметный, краснорожий, широкоплечий, могучий. Краги-перчатки с раструбами были меховые. У бригадиров победней краги бывают тряпочные, сшитые из ватных стеганых брюк. И шапка у Косточкина была «вольная», меховая ушанка, и валенки — настоящие, а не бурки, не чуни веревочные. Всем этим Косточкин был отмечен. Работал бригадиром он один этот зимний месяц — значит, довел план, процент, а сколько — можно было узнать на доске около вахты, но таким вопросом такой старый арестант, как Крест, не интересовался.

Жизнеописание своего будущего бригадира Крист составил на нарах, мысленно. Но был уверен, что не ошибся, не может ошибиться. Никаких других путей на бригадирскую должность у харбинца не могло быть.

Бригада Косточкина таяла, как положено таять всем бригадам, работающим в золотом забое. Время от времени — это должно звучать как от недели к неделе, а не от месяца к месяцу — в бригаду Косточкина направляли пополнение. Сегодня это пополнение — Крист. «Наверное, Косточкин даже знает, кто такой Эйнштейн», — подумал Крист, засыпая на новом месте.

Место Кристу дали, как новичку, подальше от печки. Кто раньше пришел в бригаду — занял лучшее место. Это был общий порядок, и Крист был с ним хорошо знаком.

Бригадир сидел у стола в углу, близко от лампы и читал какую-то книжку. И хотя бригадир, как хозяин жизни и смерти своих работяг, мог для своего удобства поставить единственную лампу к себе на столик, лишив света всех остальных жителей барака — не до того, чтобы читать или говорить... Говорить можно и в темноте, да и не о чем говорить и некогда. Но бригадир Косточкин сам пристроился к общей лампе и читал, читал, по временам собирая в улыбку свои пухлые детские губы сердечком, и щурил свои большие красивые серые глаза. Кристу так понравилась эта давно им не виданная мирная картина отдыха бригадира и бригады, что он решил про себя обязательно в этой бригаде остаться, отдать все силы своему новому бригадиру.

В бригаде был и заместитель бригадира, он же дневальный, низкорослый Оська, годившийся в отцы Косточкину. Оська мёл барак, кормил бригаду, помогал бригадиру — все было как у людей. И, засыпая, Крист почему-то подумал, что, наверное, его новый бригадир знает, кто такой Эйнштейн. И, ошастливленный этой мыслью, согретый только что выпитой кружкой кипятку на ночь, Крист заснул.

В новой бригаде и шума не было на разводе. Кристу показали инструменталку — получили инструмент, и Крист приладил себе лопату, как тысячу раз прилаживал раньше, сбил к черту короткую ручку с упором, укрепленную на американской лопате-совке, обухом топора разогнул этот совок чуть пошире на камне, выбрал длинный-длинный новый черенок из множества стоящих в углу сарая черенков, вдел черенок в кольцо лопаты, укрепил его, поставил лопату изогнутой под углом лопастью к собственным ногам, отмерил и пометил, «азначил», черенок лопаты против собственного подбородка и по этой отметке отрубил. Острым топором Крист стер, тщательно загладил торец новой рукоятки. Встал и обернулся. Перед ним стоял Косточкин, внимательно наблюдая за действиями новичка. Впрочем — Крист ждал этого. Косточкин ничего не сказал, и Крист понял, что свои суждения бригадир откладывает до работы, до забоя.

Забой был недалеко, и работа началась. Черенок дрогнул, заныла спина, ладони обеих рук встали в привычное положение, пальцы схватили черенок. Он был чуть-чуть толще, чем надо, но Крист это выправит вечером. Да и лопату подточит напильником. Руки заносили лопату раз за разом, и в мелодичный скрежет металла о камень вошел учащенный ритм. Лопата визжала, шуршала, камень сползал с лопаты при взмахе и снова падал на дно тачки, а дно отвечало деревянным стуком, а потом камень отвечал камню — всю эту музыку забоя Крист

знал хорошо. Повсюду стояли такие же тачки, визжали такие же лопаты, шуршал камень, сползал с обвалов, подрубленный кайлом, и снова визжали лопаты.

Крист положил лопату, сменил напарника у «машины ОСО — две ручки, одно колесо», как называли на Колыме тачку по-арестантски. Не по-блатному, но вроде этого. Крист поставил тачку донцем на траповую доску, ручками в противоположную от забоя сторону. И быстро насыпал тачку. Потом ухватился за ручки, выгнулся, напрягая живот, и, поймав равновесие, покатил свою тачку к бутаре, к промывочному прибору. Обрато Крист прикатил тачку по всем правилам тачечников, унаследованным от каторжных столетий, ручками вверх, колесом вперед, а руки Крист, отдыхая, держал на ручках тачки, потом поставил тачку и снова взял лопату. Лопата завизжала.

Харбинский инженер, бригадир Косточкин, стоял и слушал забойную симфонию и наблюдал за движениями Христа.

— Да ты, я вижу, артист лопаты,— и Косточкин расхохотался. Смех у него был детский, неудержимый. Рукавом бригадир вытер губы.— Какую ты получал категорию там, откуда пришел?

Речь шла о категориях питания, о той «шкале желудка», подгоняющей арестанта. Эти категории, Крист знал это,— были открыты на Беломорканале, на «перековке». Слюнявый романтизм перековки имел реалистическое основание, жестокое и зловещее, в виде этой желудочной шкалы.

— Третью,— ответил Крист, как можно заметнее подчеркивая голосом свое презрение к прошлому своему бригадиру, который не оценил таланта артиста лопаты. Крист, поняв выгоду, привычно, чуть-чуть лгал.

— У меня будешь получать вторую. Прямо с сегодняшнего дня.

— Спасибо,— сказал Крист.

В новой бригаде было, пожалуй, чуть тише, чем в других бригадах, где приходилось жить и работать Кристу, чуть чище в бараке, чуть меньше матерщины. Крист хотел по своей многолетней привычке поджарить на печке кусочек хлеба, оставшийся после ужина, но сосед — Крист еще не знал, да и никогда не узнал его фамилии, толкнул Христа и сказал, что бригадир не любит, когда жарят на печке хлеб.

Крист подошел к железной, весело топящейся печке, растопырил ладони над потоком тепла, сунул лицо в струю горячего воздуха. С ближайших нар встал Оська, заместитель бригадира, и сильной рукой отвел новичка от печки: «Иди на свое место. Не загораживай печки. Пусть всем будет тепло». Это в общем-то было справедливо, но очень трудно удержать собственное тело, тянущееся к огню. Арестанты из бригады Косточкина удерживаться научились. И Кристу тоже придется научиться. Крист вернулся на место, снял бушлат. Сунул ноги в рукава бушлата, поправил шапку, скорчился и заснул.

Засыпая, Крист еще видел, как кто-то вошел в барак, что-то приказал. Косточкин выругался, не отходя от лампы и не прекращая читать книжку. Оська подскочил к пришедшему, быстрыми ловкими движениями ухватив пришедшего за локти, вытолкнул его из барака. Оська был преподавателем истории в каком-то институте в прошлой своей жизни.

Много следующих дней лопата Христа визжала, шелестел песок. Косточкин скоро понял, что за отточенной техникой движений Христа давно уж нет ника-

кой силы, и как ни старался Крест — его тачки были всегда наполнены чуть-чуть меньше, чем надо, — это ведь от собственной воли не зависит, меру диктует какое-то внутреннее чувство, что управляет мускулами — всякими — здоровыми и бессильными, молодыми и изношенными, измученными. Всякий раз оказывалось, что в замере забоя, в котором работал Крест, не так много сделано, как ожидал бригадир от профессионализма движений артиста лопаты. Но Косточкин не придирался к Кресту, ругал его не больше, чем других, не отводил душу в брани, не читал рацей. Может быть, понимал, что Крест работает на полной отдаче сил, сберегая лишь то, что нельзя растратить в угоду любому бригадиру в любом из лагерей мира. Или чувствовал, если не понимал — ведь чувства наши гораздо богаче мыслей, — обескровленный язык арестанта выдает не все, что есть в душе. Чувства тоже бледнеют, слабеют, но много позже мыслей, много позже человеческой речи, языка. А Крест действительно работал, как давно уже не работал — и хотя сделанного им не хватало на вторую категорию, он эту вторую категорию получал. За прилежание, за старание...

Ведь вторая категория — было высшее, чего мог добиться Крест. Первую получали рекордисты — выполняющие сто двадцать процентов плана и больше. В бригаде Косточкина рекордистов не было. Были в бригаде и третьи, выполняющие норму, и четвертые категории, нормы не выполняющие, а делавшие только восемьдесят—семьдесят процентов нормы. Но все же не открытые филоны, достойные штрафного пайка, пятой категории. Таких в бригаде Косточкина тоже не было.

Дни шли за днями, а Крест все слабел и слабел, и покорная тишина в бараке бригады Косточкина нравилась Кресту все меньше и меньше. Но как-то вечером Оська, преподаватель истории, отвел Креста в сторону и сказал ему негромко: «Сегодня кассир придет. Тебе бригадир деньги выписал, знай...» Сердце Креста стучало. Значит, Косточкин оценил прилежание Креста, его мастерство. У этого харбинского бригадира, знающего имя Эйнштейна, есть все-таки совесть.

В тех бригадах, где раньше работал Крест, ему денег не выписывалось никогда. В каждой бригаде обязательно оказывались более достойные люди — или в самом деле физически покрепче и лучше работающие, или просто друзья бригадира — такими бесплодными рассуждениями Крест никогда не занимался, принимая каждую обеденную карточку — а категории менялись каждые десять дней, процент устанавливался за прошлую выработку, — за перст судьбы, за счастье или несчастье, удачу или неудачу, которые пройдут, переменятся, не будут вечными.

Известие о деньгах, которые Кресту сегодня вечером заплатят, переполнило и душу и тело Креста горячей, неудержимой радостью. Оказывается, чувств и сил хватает на радость. Сколько могут заплатить денег?.. Даже пять-шесть рублей — и то это пять-шесть килограммов хлеба. Крест готов был молиться на Косточкина и с трудом дождался конца работы.

Кассир приехал. Это был самый обыкновенный человек, но в хорошем дубленом полушубке, вольнонаемный. С ним пришел охранник, спрятавший куда-то револьвер или пистолет или оставивший оружие на вахте. Кассир сел к столу, приоткрыл портфель, набитый ношенными разноцветными ассигнациями, похожими на выстиранные тряпки. Кассир вытащил ведомость, расчерченную

тесно, исписанную всевозможными подписями — обрадованных или разочарованных денежными начислениями людей. Кассир вызвал Криста и указал ему отмеченное «птичкой» место.

Крист обратил внимание, почувствовал особенное что-то в этой выплате, выдаче. Никто, кроме Криста, не подошел к кассиру. Никакой очереди не было. Может быть, бригадники так приучены заботливым бригадиром. Ну, что об этом думать! Деньги выписаны, кассир платит. Значит, Крислово счастье.

Самого бригадира в бараке не было, он еще не пришел из конторы, и удостоверением личности получателя занимался заместитель бригадира, Оська, преподаватель истории. Указательным пальцем Оська показал Кристу место для расписки.

— А... а... сколько? — задыхаясь, прохрипел Крист.

— Пятьдесят рублей. Доволен?

Сердце Криста запело, застучало. Вот оно, счастье. Крист поспешно, разрывая бумагу острым пером и чуть не опрокинув чернильницу-непроливайку, расписался в ведомости.

— Вот и молодец, — сказал Оська одобрительно.

Кассир захлопнул портфель.

— Больше в вашей бригаде никого нет?

— Нет.

Крист все еще не мог понять происходившего.

— А деньги? А деньги?

— Деньги я Косточкину отдал, — сказал кассир. — Еще днем.

А низкорослый Оська железной рукой, с силой, которой никогда не имел ни один забойщик этой бригады, оторвал Криста от стола и отшвырнул в темноту.

Бригада молчала. Ни один человек не поддержал Криста, не спросил ни о чем. Даже не обругал Криста дураком... Это было Кристу страшнее этого зверя Оськи, его цепкой, железной руки. Страшнее детских пухлых губ бригадира Косточкина.

Дверь барака распахнулась, и к освещенному столу быстрыми и легкими шагами прошел бригадир Косточкин. Накатник, из которого был сложен пол барака, почти не качнулся под его легкими, упругими шагами.

— Вот сам бригадир — говори с ним, — сказал Оська, отступая. И объяснил Косточкину, показывая на Криста: — Деньги ему надо!

Но бригадир понял все еще с порога. Косточкин сразу почувствовал себя на харбинском ринге. Косточкин протянул руку к Кристу привычным красивым боксерским движением от плеча, и Крист упал на пол оглушенный.

— Нокаут, нокаут, — хрипел Оська, приплясывая вокруг полуживого Криста и изображая рефери на ринге, восемь... девять... Нокаут.

Крист не поднимался с пола.

— Деньги? Ему деньги? — говорил Косточкин, усаживаясь не спеша за стол и принимая ложку из рук Оськи, чтобы приняться за миску с горохом.

— Вот эти троцкисты, говорил Косточкин медленно и поучительно, — и губят меня и тебя, Ося. — Косточкин повысил голос. — Загубили страну. И нас с тобой губят. Деньги ему понадобились, артисту лопаты, деньги. Эй, вы, — кричал Косточкин бригаде. Вы, фашисты! Слышите! Меня не зарежете. Пляши, Оська!

Крист все еще лежал на полу. Огромные фигуры бригадира и дневального за-

гораживали Криту свет. И вдруг Крест увидел, что Косточкин пьян, сильно пьян, — те самые пятьдесят рублей, которые были выписаны Криту... Сколько на них можно «выкупить» спирта, спирта, который выдан, выдается бригаде...

Оська, заместитель бригадира, послушно пошел в пляс, приговаривая:

Я купила два корыта,

И жена моя Рочита...

— Наша, одесская, бригадир. Называется «От моста до бойни». — И преподаватель истории в каком-то столичном институте, отец четверых детей, Оська снова пошел в пляс.

— Стой, наливай.

Оська нацупал какую-то бутылку под нарами, налил что-то в консервную банку. Косточкин выпил и закусил, подцепив пальцами остатки гороха в миске.

— Где этот артист лопаты?

Оська поднял и вытолкнул Криту к свету.

— Что, силы нет? Разве ты пайку не получаешь? Вторую категорию кто получает? Этого тебе мало, троцкистская сволочь?

Крест молчал. Бригада молчала.

— Всех удавлю. Фашисты проклятые, — бушевал Косточкин.

— Иди, иди к себе, артист лопаты, а то бригадир еще даст, — миролюбиво посоветовал Оська, обхватывая захмелевшего Косточкина и заталкивая его в угол, опрокидывая на бригадирский пышный одинокий топчан — единственный топчан в бараке, где все нары были двойные, двухэтажные, «железнодорожного» типа. Сам Оська, заместитель бригадира и дневальный, спавший на крайней койке, вступал в третьи свои важные, вполне официальные обязанности, обязанности телохранителя, ночного сторожа бригадирского сна, покоя и жизни. Крест ощупью добрался до своей койки.

Но заснуть не удалось ни Косточкину, ни Криту. Дверь барака отворилась, впуская струю белого пара, и в дверь вошел какой-то человек в меховой ушанке и в темном зимнем пальто с каракулевым воротником. Пальто было изрядно измято, каракуль был вытерт, но все же это было настоящее пальто и настоящий каракуль.

Человек прошел через весь барак к столу, к свету, к топчану Косточкина. Оська почтительно его приветствовал. Оська принялся расталкивать бригадира.

— Тебя зовет Миня Грек. — Это имя было знакомо Криту. Это был бригадир блатарей. — Тебя зовет Миня Грек. — Но Косточкин уже очухался и сел на топчане лицом к свету.

— Ты все гуляешь, Укротитель?

— Да вот... довели, гады...

Миня Грек сочувственно помычал.

— Взорвут тебя когда-нибудь, Укротитель, на воздух. А? Заложат аммонит под койку, шнур подпалят и туда... — Грек показал пальцем вверх. — Или голову пилой отпилят. Шея-то у тебя толстая, долго пилить придется.

Косточкин, медленно приходя в себя, ждал, что ему скажет Грек.

— Не налить ли по маленькой? Скажи, сгоношим в два счета.

— Нет. У нас этого спирту в бригаде полно, сам знаешь. Дело мое более серьезное.

— Рад служить.

— «Рад служить», — засмеялся Миня Грек. — Так, значит, тебя в Харбине учили разговаривать с людьми.

— Да я ничего, — заторопился Косточкин. — Просто еще не знаю, что тебе нужно.

— А вот что. — Грек заговорил что-то быстро, и Косточкин согласно кивал, Грек начертил что-то на столе, и Косточкин закивал понимающе. Оська с интересом следил за разговором. — Я ходил к нормировщику, — говорил Миня Грек — говорил не угрюмо и не оживленно, самым обыкновенным голосом. — Нормировщик сказал: Косточкина очередь.

— Да ведь у меня и в прошлом месяце снимали...

— А мне что делать... — И голос Грека повеселел. — Нашим-то где кубики взять? Я говорил нормировщику. Нормировщик говорит — Косточкина очередь.

— Да ведь...

— Ну, что там. Сам ведь знаешь наше положение...

— Ну, ладно, — сказал Косточкин. — Сосчитаешь там в конторе, скажешь, чтобы у нас сняли.

— Не бойся, фраер, — сказал Миня Грек и похлопал Косточкина по плечу. — Сегодня ты меня выручил, завтра я тебя. За мной не пропадет. Сегодня ты меня, завтра я тебя выручу.

...Завтра оба мы поцелуемся, — заплясал Оська, обрадованный принятым наконец решением и боящийся, что медлительность бригадира только испортит дело.

— Ну, прощай. Укротитель, — сказал Миня Грек, вставая со скамейки. — Нормировщик говорит: смело иди к Косточкину, к Укротителю. В нем есть капля жульнической крови. Не бойся, не тушуйся. Твои ребята справятся. У тебя такие артисты лопаты...

1964

Источники:

Варлам Шаламов. «Левый берег», рассказы. М.: «Современник», 1989;

Варлам Шаламов. «Колымские рассказы». М.: «Современник», 1991.

Чуковская Лидия Корнеевна (1907–1996)



Литератор, мемуарист, редактор.

Родилась в С.-Петербурге, дочь писателя К.И. Чуковского.

Училась в лучших учебных заведениях Петрограда – в гимназии Таганцева и Тенишевском училище. В 1924–25 гг. слушала лекции Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума, В. Жирмунского и др. выдающихся ученых на литературоведческом отделении ленинградского Института искусств. За противостояние произволу в деятельности комсомольской организации была арестована и в 1926 г. выслана в Саратов. Благодаря усилиям отца спустя 11 месяцев вернулась в Ленинград.

Окончила филологический факультет Ленинградского университета в 1928 г. Работала редактором детской литературы в Госиздате под непосредственным руководством поэта и переводчика С. Маршака. В эти годы Чуковская писала литературно-критические очерки, написала несколько детских книг (под псевдонимом Алексей Углов): «Ленинград – Одесса» (1928), «На Волге» (1931), «Повесть о Тарасе Шевченко» (1930). В 1940 г. опубликовала под своим именем детскую историческую повесть «История одного восстания», посвященную крестьянскому восстанию 18 в. на Украине.

Муж Чуковской, физик М. Бронштейн, был репрессирован в 1937 г. Сама она постоянно находилась под наблюдением карательных органов. Несмотря на это, Чуковская работала над повестью «Софья Петровна» (1939–1940, опубликована в 1965 г. в Париже под названием «Опустелый дом»), в которой рассказала о том, как массовый террор постепенно осознается простым, не занимающимся политикой человеком. Сталинским репрессиям в писательской среде посвящена написанная в форме дневника книга «Спуск под воду» (1972).

В 1938–1941 и 1952–1962 гг. Чуковская вела подробные записи своих бесед с Анной Ахматовой, издав их затем со своими комментариями в виде книги «Записки об Анне Ахматовой» (1976–1980). Эта книга стала не только ярким свидетельством о жизни великого поэта, но и правдивой характеристикой лжи и бесчеловечности советской эпохи.

Чуковская оказывала постоянную помощь тем, кто преследовался властями. Благодаря ее усилиям в 1940-е годы был спасен от уничтожения экземпляр запрещенной книги Б. Житкова «Виктор Вавич». Во время процесса Синявского – Даниэля (1966) она обратилась с открытым письмом к участвовавшему в травле писателей М. Шолохову, написав: «Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря». За неоднократные выступления в защиту прав человека (в частности, А. Солженицына и А. Сахарова) в 1974 г. была исключена из Союза писателей. Рассказала об этом в книге «Процесс исключения» (1979).

Основные произведения:

«Повесть о Тарасе Шевченко» (1930), «Борис Житков» (1955), «В лаборатории редактора» (1960, 1963);

Повесть «Софья Петровна» (написана в конце 30-х годов, ходила в Самиздате, опубликована за рубежом в 1965 г., на родине в конце 80-х);

«Спуск под воду» (1972 г. – за рубежом), «Процесс исключения» (1979 г. – за рубежом);
«Записки об Анне Ахматовой» (1976-80 гг. – за рубежом, 1996 г. – Москва);
«Открытое письмо Михаилу Шолохову, автору “Тихого Дона”» 25 мая 1966 г.
Опубликовано: 1976 г. – в сборнике «Открытое слово» за рубежом, Москва – 1990 г.;
«Не казнь, но мысль. Но слово» (К 15-летию со дня смерти Сталина), открытое письмо в газету «Известия» (Февраль 1968 г.). Опубликовано: 1976 г. – в сборнике «Открытое слово» за рубежом, Москва – 1990 г.

СОФЬЯ ПЕТРОВНА

В 1937 г. муж Чуковской, известный ленинградский физик Матвей Бронштейн, был арестован, в 1938 г. его жене сообщили, что он осужден на «10 лет лагерей без права переписки». В годы «ежовщины» Чуковская пережила в полной мере трагедию родственников тех, кто в попал в мясорубку «Большого террора»: ночной арест, три обыска, многочасовые стояния в тюремных очередях, описанные в ахматовском «Реквиеме». Довольно скоро Чуковская поняла, что сообщенная ей формула – эвфемизм казни. В ноябре 1939 г. Чуковская начала работу над повестью, в которой решила запечатлеть для истории годы «Большого террора», зная, что шансов опубликовать произведение нет. «Софья Петровна» – история «ежовщины», представленная через восприятие беспартийной ленинградки (машинистки), у которой арестовывают сына. «...Я попыталась изобразить такую степень отравления общества ложью, которая может сравниться только с отравлением армии ядовитыми газами... в нарочито искаженной действительности все чувства искажены, даже материнское... несчастная, рехнувшаяся Софья Петровна отнюдь не лирическая героиня; для меня это образ тех, кто всерьез верил в разумность и справедливость происходящего...».

Законченная в феврале 1940 г., до XX съезда КПСС повесть существовала в единственном рукописном экземпляре, переписанном в толстой школьной тетради. Хранить дома «Софью Петровну» Чуковская опасалась. Рукопись хранилась у друга Чуковской, умершего в блокадном Ленинграде, а затем у его родственников. После 1956 г. Чуковская уже не побоялась перепечатать текст повести на машинке, а в сентябре 1962 г. – в разгар хрущевской десталинизации – предложила повесть в издательство «Советский писатель». Рукопись была немедленно одобрена (в том же декабре, когда был опубликован «Иван Денисович»), однако уже весной 1963 г. руководство издательства сообщило автору, что принятая к публикации повесть напечатана быть не может, поскольку страдает «идейными недостатками». Это было связано с установкой партийного руководства на свертывание «лагерной тематики» в литературе. Чуковская подала в суд на издательство, требуя полного гонорара за отвергнутую рукопись, по советским законам она имела на это полное право. Продолжавшееся более двух лет рассмотрение дела в суде закончилось в апреле 1965 г. победой Чуковской – редкий случай торжества инакомыслящего над системой. В том же 1965 г. «Софья Петровна» под искаженным названием («Опустелый дом») увидела свет в Париже, а через год уже под авторским названием была опубликована в «Новом журнале» (Нью-Йорк). Книга, ставшая одной из первых ласточек советской бесцензурной прозы (тогда еще не были изданы романы Солженицына и рассказы Шаламова), была переведена на многие иностранные языки, в 1966-1967 гг. передавалась радиостанциями, вещавшими на СССР. В СССР рукопись распространялась как напечатанная на машинке, так и в копиях с тамиздатских экземпляров.

Только через 48 лет после создания «Софьи Петровны», в февральском номере журнала

«Нева» (1988), в разгар горбачевской перестройки повесть была издана на родине, с тех пор она неоднократно печаталась отдельными изданиями и в авторских сборниках Чуковской.

* * *

<...>

Нужно было сейчас же бежать куда-то и разъяснить это чудовищное недоумение. Нужно было сию же минуту ехать в Свердловск и поднять на ноги адвокатов, прокуроров, судей, следователей. Софья Петровна надела пальто, шляпу, боты и вынула из шкатулки деньги. Не позабыть паспорт. Сейчас же на вокзал за билетом.

Но Алик, утерев лицо шарфом, сказал, что, по его мнению, ехать сейчас в Свердловск решительно не имеет никакого смысла. Колю как коренного ленинградца, лишь недавно проживающего в Свердловске, скорее всего отвезут в Ленинград. Уж не лучше ли ей повременить с поездкой в Свердловск? Как бы она с ним не разминулась! Софья Петровна сняла пальто, бросила на стол паспорт и деньги.

— Ключи? Вы оставили там ключи? — закричала она, подступая к Алику. — Вы оставили кому-нибудь ключи?

— Ключи? Какие ключи? — оторопел Алик.

— Боже, какой же вы глупый! — выговорила Софья Петровна и вдруг заплакала громко, в голос. Наташа подбежала и обняла ее за плечи. — Да ключ... от комнаты... в вашем, как его... общежитии...

Они не понимали и смотрели на нее бессмысленными глазами. Какие дураки! А горло у Софьи Петровны теснило, и она не могла говорить. Наташа налила в стакан воды и протянула ей.

— Ведь он... ведь его... — говорила Софья Петровна, отстраняя стакан, — ведь его... уже наверное... выпустили... увидели, что не тот... и выпустили... он вернулся домой, а вас нет... и ключа нет... Сейчас, наверное, будет от него телеграмма.

В ботах Софья Петровна повалилась на свою кровать. Она плакала, уткнувшись головой в подушку, плакала долго, до тех пор, пока и щека и подушка не стали мокрыми. Когда она поднялась, у нее болело лицо и кулаком стучало в груди сердце.

Наташа и Алик шептались возле окна.

— Вот что, — сказал Алик, жалостливо глядя на нее из-под очков своими добрыми глазами, — мы договорились с Натальей Сергеевной. Вы себе ложитесь сейчас спать, а утром идите потихонечку в прокуратуру. Наталья Сергеевна скажет завтра в издательстве, что вы прихворнули... или что-нибудь еще... что у вас ночью угар был... я знаю!

Алик ушел. Наташа хотела остаться ночевать, но Софья Петровна сказала, что ей ничего, ничего не надо. Наташа поцеловала ее и ушла. Кажется, она тоже плакала.

Софья Петровна вымыла лицо холодной водой, разделась и легла. В темноте трамвайные вспышки молниями озаряли комнату. Белый квадрат света, как

согнутый пополам лист бумаги, лежал на стене и на потолке. В комнате медицинской сестры еще взвизгивала и смеялась Валя. Софья Петровна представляла себе, как Колю, под конвоем, приводят к следователю. Следователь — красивый военный, весь в ремнях и карманах. «Вы Николай Фомич Липатов?» — спрашивает Колю военный. — «Я — Николай Федорович Липатов», — с достоинством отвечает Коля. Следователь делает строгий выговор конвойным и приносит Коле свои извинения. «Ба! — говорит он, — как я сразу не узнал вас? Да ведь вы — молодой инженер, портрет которого я недавно видел в «Правде»! Простите, пожалуйста. Дело в том, что ваш однофамилец, Николай Фомич Липатов, — троцкист, фашистский наймит, вредитель...»

Всю ночь Софья Петровна ждала телеграммы. Вернувшись домой, в общежитие, и узнав, что Алик выехал в Ленинград, — Коля немедленно даст телеграмму, чтобы успокоить мать. Часов в 6 утра, когда уже снова задребезжали трамваи, Софья Петровна уснула. И проснулась от резкого звонка, который, казалось, был проведен прямо ей в сердце. Телеграмма? Но звонок не повторился.

Софья Петровна оделась, умылась, заставила себя выпить чаю и прибрать комнату. И вышла на улицу — в полумглу. По-прежнему оттепель, но за ночь лужи подернулись легким ледком.

Сделав несколько шагов, Софья Петровна остановилась. Куда, собственно, следует идти?

Алик говорил: в прокуратуру. Но Софья Петровна не знала толком, что такое прокуратура, и не знала, где она. А расспрашивать прохожих про это место ей казалось стыдным. И она пошла не в прокуратуру, а в тюрьму, потому что случайно ей было известно, что тюрьма на Шпалерной.

У железных ворот стоял часовой с винтовкой. Маленькая парадная возле ворот была заперта. Софья Петровна тщетно толкала дверь рукой и коленом. И нигде не видно было ни одного объявления.

К ней подошел часовой.

— В девять часов пускать будут, — сказал он.

Было без двадцати восемь. Софья Петровна решила не уходить домой. Она прохаживалась взад и вперед мимо тюрьмы, задирая голову вверх и поглядывая на железные решетки.

Неужели это может быть, что Коля здесь, в этом доме, за этими решетками?

— Тут ходить нельзя, гражданка, — сказал часовой.

Софья Петровна перешла на другую сторону улицы и машинально побрела вперед. Налево она увидела широкую, снежную пустыню Невы.

Она свернула по улице налево и вышла на набережную.

Было уже совсем светло. Беззвучно, с поразительной дружностью, на Литейном мосту погасли фонари. Нева была завалена кучами грязного, желтого снега. «Наверное, сюда снег свозят со всего города», — подумала Софья Петровна. Она обратила внимание на большую толпу женщин посреди улицы. Одни стояли, облокотившись на парапет набережной, другие медленно прохаживались по панели и по мостовой. Софью Петровну удивило, что все они были очень тепло одеты: поверх пальто закутаны в платки, и почти все в валенках и в калошах. Они притоптывали ногами и дули на руки. «Видимо, они уже давно тут стоят, если так замерзли, — размышляла от нечего делать Софья Петровна, — а

мороза-то нет, снова тает». У всех этих женщин был такой вид, будто на полустанке, много часов подряд, они ожидали поезда. Софья Петровна внимательно оглядела дом, против которого толпились женщины, — дом обыкновенный, на нем никаких вывесок. Чего же они тут ожидают? В толпе были дамы в нарядных пальто, были и простые женщины. От нечего делать Софья Петровна прошла раза два сквозь толпу. Одна женщина стояла с грудным ребенком на руках и за руку держала другого, повязанного шарфом крест-накрест. У стены дома одиноко стоял мужчина. Лица у всех были зеленоватые, может быть, это в утренней мгле они казались такими?

К Софье Петровне вдруг подошла маленькая опрятная старушка с палочкой. Из-под котиковой, низко надвинутой шапки сверкали серебряные волосы и черные еврейские глаза.

— Вам список? — спросила старушка дружелюбно. — В парадной 28.

— Какой список?

— На «Л» и «М»... Ах, извиняюсь, гражданка! Вы ходите здесь, так я подумала, вы тоже об арестованном.

Да, о сыне... — с недоумением ответила Софья Петровна.

Отвернувшись от старушки, неприятно поразившей ее своей пронизательностью, Софья Петровна отправилась разыскивать парадную дома 28. Мысль, что все эти женщины пришли сюда за тем же, за чем пришла она, смутно зашевелилась в ее душе. Но почему они здесь, на набережной, а не возле тюрьмы? Ах да, возле тюрьмы не позволяет стоять часовой.

Дом № 28 оказался облупленным особняком почти у самого моста. Софья Петровна вошла в парадную — роскошную, но грязную, с камином, с огромным разбитым трюмо и мраморным купидоном без одного крыла. На первой ступеньке величественной лестницы, подложив под спину газету, а под голову — заиндевевший портфель, свернувшись, лежала женщина.

— Записываться? — спросила она, подняв голову. Потом села и вынула из портфеля измятую бумажку и карандаш.

— Да я, собственно, не знаю, — растерянно произнесла Софья Петровна. — Я пришла поговорить о сыне, которого по ошибке арестовали в Свердловске... Понимаете ли, просто как однофамильца...

— Говорите, пожалуйста, тише, — с раздражением оборвала ее женщина. У нее было интеллигентное, усталое лицо. — Списки отбирают, и вообще... Как фамилия?

— Липатов, — робко ответила Софья Петровна.

— 344, — сказала женщина, записывая. — Ваш номер 344. Уходите отсюда, пожалуйста.

— 344, — повторила Софья Петровна и снова вышла на набережную.

Толпа всё росла. — Ваш какой номер? — то и дело спрашивали Софью Петровну. — Ну, вам сегодня не попасть, — сказала ей одна женщина, повязанная платком по-крестьянски. — Мы-то еще с вечера записавшись... — Список где? — шепотом спрашивали другие... Было уже светло: наступил день.

И вдруг вся толпа кинулась бежать. Софья Петровна побежала со всеми. Громко заплакал ребенок, повязанный шарфом. У него были кривые ножки, и он еле попевал за матерью. Толпа свернула на Шпалерную. Софья Петровна

издали увидела, что маленькая дверь возле железных ворот уже открыта. Люди протискивались в нее, как в дверь трамвая. Втиснулась и Софья Петровна. И сразу стала: идти дальше было некуда. В полутемной прихожей и на маленькой деревянной лесенке толпились люди. Толпа колыхалась. Все разматывали платки, расстегивали вороты, и все пробирались куда-то: каждый искал предыдущий номер. А сзади всё напирало и напирало люди. Софью Петровну крутило как щепку. Она расстегнула пальто и вытерла платком лоб.

Переведя дыхание и привыкнув к полутьме, Софья Петровна тоже принялась отыскивать нужные номера: 343 и 345. 345 был мужчина, а 343 — сгорбленная, древняя старуха. «Ваш муж тоже латыш?» — спросила старуха, подняв на Софью Петровну мутные глаза. «Нет, почему же? — ответила Софья Петровна. — Почему именно латыш? Мой муж давно умер, но он был русский».

— Скажите, пожалуйста, а у вас уже есть путёвка? — спросила у Софьи Петровны старушка-еврейка с серебряными волосами — та, которая заговорила с ней на набережной.

Софья Петровна не ответила. Она ничего не понимала здесь. Женщина, лежащая на лестнице, теперь какие-то глупые вопросы о латыше, о путевке. Ну при чем тут путевка? Ей казалось, что она не в Ленинграде, а в каком-то незнакомом, чужом городе. Странно было думать, что в тридцати минутах ходьбы — ее служба, издательство, Наташа стучит на машинке...

Отыскав своих соседей, люди стояли спокойно. Софья Петровна разглядела: лесенка вела в комнату, и в комнате тоже толпой стояли люди, и, кажется, за этой комнатой была еще вторая. Софья Петровна исподлобья поглядывала вокруг. Вот женщина с портфелем, в шерстяных носках поверх чулок, в плохоньких туфельках — это та самая, которая лежала на лестнице. К ней и тут то и дело подходят люди, но она уже не записывает их: поздно. Подумать только, все эти женщины — матери, жены, сестры вредителей, террористов, шпионов! А мужчина — муж или брат... На вид все они самые обыкновенные люди, как в трамвае или в магазине. Только все усталые, с помятыми лицами. «Воображаю, какое это несчастье для матери — узнать, что ее сын вредитель», — думала Софья Петровна.

Изредка по скрипучей узкой лесенке, с трудом протискиваясь сквозь толпу, спускалась женщина. — «Передала?» — спрашивали ее внизу. «Передала», — она показывала розовую бумажку. А одна, по виду молочница, с большим бидоном в руке, ответила — выслан! — и громко заплакала, поставив бидон, прислонившись головой к косяку двери. Платок пополз вниз, показались рыжеватые волосы и маленькие серьги в ушах. «Тише! — зашикали на нее со всех сторон. — Он шуму не любит, закроет окно и всё. Тише!»

Молочница поправила платок и ушла со слезами на щеках.

Из разговоров Софья Петровна поняла, что большинство этих женщин пришли передать деньги арестованным мужьям и сыновьям, а некоторые — узнать, здесь ли муж или сын. У Софьи Петровны кружилась голова от духоты и усталости. Она очень боялась, что таинственное окошечко, к которому все стремились, закроется раньше, чем она успеет подойти к нему. «Если сегодня будет только до двух, нам с вами не попасть», — сказал ей мужчина. «До двух? Неужели до двух здесь стоять? — с тоской подумала Софья Петровна. — Ведь сейчас не больше десяти».

Она закрыла глаза, стараясь осилить головокружение. Мерно гудели тихие, немногословные разговоры. «Вашего-то когда взяли?» — «Да уж третий месяц пошел». — «А моего — две недели». — «Скажите, вы не знаете, где еще можно навести справки?» — «В прокуратуре. Да нигде не говорят ничего». — «А вы на Чайковского были? А на Герцена?» — «На Герцена военная». — «Вашего-то когда взяли?» — «У меня дочка». — «А на Арсенальной, говорят, белье принимают». — «Вы кто, латыши будете?» — «Нет, мы поляки». — «Вашего-то когда взяли?» — «Да уж полгода». — «А какие номера там идут? Двадцатые только? Господи, боже мой, как бы он в два не закрыл! Прошедший раз аккурат в два захлопнул!»

Софья Петровна повторяла про себя, что она спросит: привезли ли Колю в Ленинград? Когда можно видеть судью — или кого там, следователя? И нельзя ли сегодня? И нельзя ли немедленно получить свидание с Колей?

Через два часа Софья Петровна, следом за древней старухой, вступила на первую ступеньку деревянной лестницы. Через три — в первую комнату. Через четыре — во вторую и через пять — следом за извивающейся очередью — снова в первую. Из-за спин она разглядела деревянное квадратное окошечко и в окошечке широкие плечи и большие руки тучного мужчины. Было три часа. Софья Петровна сосчитала — перед ней еще 59 человек.

Женщины, называя фамилию, робко протягивали в окошечко деньги. Кривоногий мальчик всхлипывал, облизывая языком слезы. «Ну, уж я-то с ним поговорю, — нетерпеливо думала Софья Петровна. — Пусть сейчас же проведет меня к следователю, к прокурору, или к кому там. Как много еще у нас в быту некультурности! Духота, вентиляцию не могут устроить. Надо бы написать письмо в “Ленинградскую правду”». И вот, наконец, перед Софьей Петровной осталось только трое. На всякий случай она тоже приготовила деньги: пусть Коля пока что не стесняет себя. Сгорбленная старуха дрожащей рукой передала в окошечко 30 рублей и получила розовую квитанцию. Она вглядывалась в нее слепыми глазами. Софья Петровна торопливо стала на место старухи. Она увидела молодого, тучного человека, с белым опухшим лицом и маленькими сонными глазками.

— Я хотела бы узнать, — начала Софья Петровна, согнувшись, чтобы лучше видеть лицо человека за окошечком, — здесь ли мой сын? Дело в том, что он арестован по ошибке...

— Фамилия? — перебил ее человек.

— Липатов. Его арестовали по ошибке и вот уже несколько дней я не знаю...

— Помолчите, гражданка, — сказал ей человек, наклоняясь над ящиком с карточками. — Липатов или Лепатов?

— Липатов. Я хотела бы сегодня же повидаться с прокурором или к кому вам будет угодно меня направить...

— Буквы?

Софья Петровна не поняла.

— Звать-то его как?

— Ах, инициалы? Эн, эф.

Нэ или мэ?

Эн, Николай.

— Липатов, Николай Федорович,— сказал человек, вынимая из ящика карточку.— Здесь.

— Я хотела бы узнать...

— Справок мы не даем. Прекратите разговоры, гражданка. Следующий!

Софья Петровна поспешно протянула в окошечко 30 рублей.

— Ему не разрешено,— сказал человек, отстраняя бумажку.— Следующий! Проходите, гражданка, не мешайте работать.

— Уходите!— шептали Софье Петровне сзади.— А то он окошко захлопнет.

Софья Петровна добралась до дома в шестом часу. У себя она застала Алика и Наташу. Она опустилась на стул и несколько минут не в силах была снять с себя боты и пальто. Алик и Наташа смотрели на нее вопросительно. Она сообщила, что Коля здесь, в тюрьме, на Шпалерной, и никак не могла объяснить им, почему она не узнала, по какому делу он арестован и когда можно будет получить с ним свидание.

<...>

Источник: Л. Чуковская. Процесс исключения. М.: Международная ассоциация деятелей культуры «Новое время» и журнал «Горизонт», 1990.

**Владимов (Волосевич)
Георгий Николаевич**
(1931–2003)



Писатель.

Родился в Харькове в семье преподавателей русского языка и литературы. В 1953 г. закончил юридический факультет Ленинградского университета. Работал в сельской газете, редактором отдела прозы в журнале «Новый мир», спецкорреспондентом «Литературной газеты».

Повесть «Большая руда» (1961) и роман «Три минуты молчания» (1969) были опубликованы в журнале «Новый мир», а затем вышли отдельными изданиями. С 1983 года живет в ФРГ. С 1984-го по 1986 год редактировал журнал «Грани». В 1995 г. за роман «Генерал и его армия» удостоен Буковской премии.

Его повесть «Верный Руслан. История караульной собаки», законченная в 1965 г., широко ходила в Самиздате. В повести, написанной от лица собаки, много лет прослужившей в охране концентрационных лагерей, описаны будни лагерной жизни заключенных, охранников и караульных собак. Впервые повесть была опубликована в 1975 г. в издательстве «Посев», в СССР – лишь в 1989 г.

**ВЕРНЫЙ РУСЛАН.
История караульной собаки**

<...>

До поздней ночи, слушая, как они шумят около своей бутылки и как Потёртый всё что-то доказывает слёзно и не может успокоиться, он продолжал вспоминать и разбираться. Сколько раз он видел, как закатывались в тупик нагруженные платформы, кран поднимал поддоны с кирпичами, длинные серые балки и панели, огромные ящики с чёрными надписями; всё это грузилось на машины и куда-то везлось по знакомой ему дороге. Он для порядка облаивал эти грузовики, — никто ему не командовал: «Голос!», но ведь он служил сам по себе и, значит, сам себе временно мог командовать, — иногда провожал их до того места, о котором так не хотелось теперь вспоминать, и ни разу не догадался промчаться за ними до самого конца! Если б мог он покраснеть, так сделался бы пунцовым от носа до кончика хвоста. Он задымился бы от стыда!

Утро застало его в дороге. С той поры она сильно изменилась, она расширилась и от самого посёлка была устлана мелким светлым щебнем. И где раньше

изгибалась по краю оврага, там теперь этот изгиб был выровнен высоченной насыпью, на склоне которой урчал накренившийся бульдозер. В лесу она текла рекою, широко раздвинувшей зелёные берега, — одно бы удовольствие по ней бежать, если б не так было колко лапам. Но в сторонке, среди деревьев, ветвились чудесные тропинки, временами то убегая в чащу, а то опять сходясь к дороге, так что она ненадолго терялась из виду. Да он бы и не потерял её, от неё так шибко разило извёсткой и машинным угаром.

Но лагерь его совсем ошеломил, заставил тут же сесть и вывалить язык от страшного волнения. Ничего подобного он не предполагал увидеть. По всему полю, выйдя далеко за старую зону, раскинулись одноэтажные серые корпуса — одни уже с застеклёнными высокими окнами, другие ещё с пустыми проёмами, только лишь подведенные под кровлю, третьи — едва поднимавшиеся над землёй неровными зубцами. Он принялся считать — насчитал шесть, а дальше сбился. Руслан только до шести умел считать, потому что в колонну по пять строили — если подзатёсывался шестой, говорили: «Много!» — и прогоняли его в следующую очередь. Да, пожалуй, лучше было считать, что корпусов много. Но странно: бараков почти не осталось — ну, разве два или три, и те с выбитыми стёклами. Осталась хозяйская казарма, склады и гараж, а вот собачника он не увидел.

Он кинулся искать — ни следа, ни запаха. Люди, которые здесь похаживали и весело его окликали, так всё испакоостили своими кострами, пролитым цементным раствором, кислой окалиной, что и приблизительно не определишь, где была кухня, где прогулочный дворик, а где площадка для занятий. Ему даже показалось, что это вовсе не лагерь, а нечто другое, а лагерь куда-то перенесли. Ведь такое дважды случалось на его веку. Леса постепенно редели, и всё дальше приходилось гонять колонны, а жилая зона переполнялась новыми партиями, прибывающими на лечение, и в конце концов происходило великое переселение. Всё начиналось на новом месте буквально с одного забитого кола, но когда всё утрясалось, приходило в порядок, то получалось, что новый лагерь даже просторнее и, например, собакам в нём гораздо лучше живётся — в чистых кабинках, с хорошей тёплой караульной, даже с грелками в каждой постовой будке, — да и лагерники не могли б пожаловаться на крепкие бетонные карцеры, в которых гораздо больше их помещалось, чем в какой-нибудь бревенчатой загородке без крыши. Но в последнее лето всем опять жилось ужасно тесно. Все из-за этого изнервничались, а у лагерников прорезались громкие злобные голоса; они всё чаще собирались толпами и подолгу не желали расходиться. Да даже собаки понимали: переселение — просто назревшая необходимость, иначе что-то да произойдёт. Вот и произошло — до сих пор никого найти не могут.

Нет, это был всё-таки лагерь, а не что-то другое. Ведь всегда на том месте, откуда уходили, ничего не оставалось, одни погасшие головешки да заровненные смердящие ямы. Признаться, Руслану больше понравилось, что на этот раз решили не переселяться, а здесь же и устроиться попросторнее. Ему только показалось, что корпуса подступили к лесу опасно близко, а некоторые даже углубились в него, — пулемётчик на вышке, если и заметит беглеца, не успеет прицелиться, как тот уже скрылся в чаще. Да, впрочем, и вышек не было! И не было нигде проволоки — проволоки, с которой и начиналось-то всё, для неё-то и забивался первый же кол!

Он решил, что её потом натянут, когда всё будет закончено, всё разместится как следует. Может быть, ещё много придётся вырубить леса, чтоб был хороший обзор. Но где же она всё-таки пройдёт, двойная колючая изгородь? — у него что-то с нею никак не получалось. Лагерь, в его воображении, пошёл разрастаться во все стороны, и проволоку приходилось отодвигать всё дальше, обносить вокруг леса, и вокруг посёлка и станции, и вокруг всего, что довелось Руслану увидеть. Прямо дух захватывало — ведь тогда и луна проклятая окажется в огнестрельной зоне, и хозяева смогут её сшибить или упрятать в карцер! Это было бы славно, вполне хватит фонарей. От них меньше беспокойства и тёмных углов.

Что же ещё не устраивало его, не укладывалось в мозгу? Он знал, что мир велик, — в какую сторону ни побеги, а он всё будет вставать тебе навстречу. Помнилось, как из питомника вёз его хозяин в кабине грузовика и давал смотреть в окошко — как же долго они ехали и как много было всего! Так если мир такой большой, сколько же это кольев надо забить, сколько размотать тяжёлых бухт? А может быть... может быть, настало время жить вовсе без проволоки — одной всеобщей счастливой зоной?

Нет уж, решил он не без грусти, так не получится. Это каждый пойдёт, куда ему вздумается, и ни за кем не уследишь. Невозможно же к каждому приставить по собаке. Людей много, а собака всё-таки редкость. Он, конечно, не имел в виду дворняжек — этих-то больше чем достаточно, — а настоящих собак, служебных, которых нужно отобрать, вырастить, обучить всем наукам. Только после этого собака сможет чему-то научить людей, которые растут безо всякого отбора и ничему не учатся. А кроме того, как это ни печально, некоторых собак, переставших понимать, что к чему, и совсем безнадёжных лагерников нужно же куда-то уводить, в жилой зоне стрелять не полагается, а куда же их выведешь, если всюду зона? Так и так выходило — без проволоки не обойдёшься. А где ж она будет? А где надо, там и будет!

И всё отлично устроилось. Он возвращался, довольный всем увиденным, хоть и слишком припозднился — и поохотиться не успел, и где-то на середине пути ждала его луна, которую пока ещё никто не подстрелил. Да, видно, она не пожелала сегодня выползти, а между тем что-то светило ему, он хорошо различал и тропинку, и кусты, и деревья. Задержавшись по небольшому делу, он поднял глаза к небу и увидел звёзды. Вон что, решили они ему сегодня светить — ну, прекрасно, пусть светят. Он побежал дальше — и они побежали вместе с ним. Он остановился — и они остановились тоже, терпеливо ждали его. Этот фокус он и раньше знал, но всегда приходил от него в восторг. Он поглядел на звёзды благодарно, хотел что-то дружеское им пролаять — и вдруг понял отчётливо, что поезд, которого так долго ждут они с Потёртым, скоро уже должен прийти.

Яркая вспышка озарила его мозг и высветила видение — самое сладостное из его видений. Никогда не видел он моря, но соль праматери нашей была же растворена и в его крови, и хорошо помнил он, как грозно ревел океан, накатывая бесконечные валы на серую галечную отмель, и взлетали фонтанами всклокоченные дымящиеся гребни, а в тёмном небе носились белые птицы, накликающая беду. Посох и белый плащ хозяина лежали на берегу, лежали его верёвочные сандалии и котомка с хлебом и вином, а сам он плывал за полосой прибой.

Он выбился из сил, не мог одолеть ревущий откат волны, он звал на помощь, и Руслан, пролаяв ему: «Я сейчас, продержись немножко!» — бросался в толщу воды, вставшую перед ним стеною. Он пробивал её мордой, ослепший, полуголохший, слыша только стеклянный скрежет камней, и когда уже воздух рвался из пасти, выныривал и отфыркивался, — а потом плыл к хозяину, полный счастья и гордости, высоко подлетая на гребнях и скатываясь вниз по склону, всё ближе к хозяину, то теряя его из виду, а то вновь отыскивая его голову среди осатаневшей стихии.

Очнувшись, он побежал дальше. Его жгли, подгоняли новые заботы — надо усилить наблюдение за платформой, надо оповестить всех собак. И грызло сомнение — поверят ли они ему, уже давно вызывающему у них одно раздражение? Сами погрязнув в грехе, они рады и за ним заподозрить греховное: уже поймал он слушок, пущенный ими, будто он служит Потёртому. Гнусней не могли придумать! Но если взглянуть спокойно, так он действительно подрастпустился: подконвойному ткнулся в колено лбом — какой позор! И он уже спохватывался в испуге: перед Службой, накануне её возвращения, не может ли и он себя кое в чём уличить? Служил ли кому-нибудь, кроме неё? Нет, нет и нет. Ни от кого подачки не взял, ничьей команды не выполнил, никому не повилял. С чужаками — не znalся, связей, порочащих служебную собаку, не имел. Минуточку, а что такое было у него с Альмой? Вот именно, с Альмой — без команды, без поводка, без хозяев, которые должны при этом присутствовать. Господи правый, да ничего же у него не было с Альмой! Был трепетный порыв, безотчётное движение души, она с ним бежала рядом, как пристёгнутая, они касались друг друга плечами, — но в голове-то она всё время держала своих щенков, а щенки — это уже её грех, неизвестно, как она из него выкрутится. Право, он жалел Альму, но сам-то он — чист.

Господа! Хозяева жизни! Мы можем быть довольны, наши усилия не пропали даром. Сильный и зрелый, полнокровный зверь, бегущий в ночи по безлюдному лесу, чувствовал на себе жёсткие, уродливые наши постромки и принимал за радость, что нигде они ему не жмут, не натирают, не царапают. Когда бы кто-нибудь взялся заполнить Русланову анкету, — а раньше, поди, и была такая, но канула, вместе с архивом, в подвалы «вечного хранения», — она бы оказалась радужно сияющим листом, с одними лишь прочерками, сплошными, душе нашей любезными «НЕ». Он — не был. Не имел. Не состоял. Не участвовал. Не привлекался. Не подвергался. Не колебался. По всей справедливости небес, великая Служба должна бы это учесть и первым из первых позвать его, мчащегося к ней под звёздами, страшась опоздать.

И Служба ещё раз позвала Руслана.

<...>

Источник: Георгий Владимов. Не обращайтесь вниманья, маэстро. М.: Книжная палата, 1999.

Бек
Александр Альфредович
(1903–1972)



Писатель.

Во время гражданской войны добровольцем записался в Красную Армию. После войны писал очерки и рецензии для центральных газет. Творческий путь А. Бека начался в 1932 г. участием в горьковской «Истории фабрик и заводов». Автор многих рассказов и очерков о русской и советской металлургии. Во время отечественной войны был военным корреспондентом. Широкую известность приобрел повестью «Волоколамское шоссе» о событиях обороны Москвы в период войны (1944 г.). В 1960 г. опубликовал повести «Несколько дней» и «Резерв генерала Панфилова».

Автор закончил роман «Новое назначение» в середине 1964 г. и передал рукопись в редакцию «Нового мира». После длительных мытарств по различным редакциям и инстанциям роман так и не был опубликован на родине при жизни автора. По свидетельству самого автора, уже в октябре 1964 г. он дал читать роман друзьям и некоторым близким знакомым. В 1971 г. роман был опубликован за границей.

Первая публикация на родине в журнале «Знамя», № 10-11, 1986.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

5

Однажды в бессонный предутренний час Александр Леонтьевич испытал ужас.

Былое так. Глядя сквозь полуопущенные веки во мглу спальни, Онисимов лежал, томимый неотвязными мыслями о том, как могло случиться, что он вынужден оставить страстно любимое дело. Захотелось опять их отместить. Довольно мучить себя этим. Для таких размышлений у него — он иронически усмехнулся в темноте, — у него, наверное, хватит досуга в Тишландии. Он велел себе думать о ней, решил наизусть восстановить строки, которые днем занес в свои тетради. И вдруг память отказала. В уме не возникло, не всплыло ровным счетом ничего. Куда-то канули не только вчерашние или позавчерашние заметки, он забыл, начисто забыл даты, имена, экономические показатели, все, что вычитал, узнал об изучаемых им странах.

Страшный провал памяти потряс Александра Леонтьевича. Рукой он провел по вдруг увлажнившимся жестким волосам. Надо успокоиться, уцепиться хоть за что-нибудь, за одну какую-либо ниточку. Удалось воспроизвести самое

близкое: цифры выплавки черного металла на заводах Тишландии. Ну, а дальше? Он ожидал, что все выпавшее возвратится в один миг, как при взлеске молнии. Нет, он лишь медленно, медленно припоминал.

И не выдержал, вскочил. Ровное дыхание жены доносилось с широкой соседней постели. Босой, он неслышно пошел в кабинет, повернул там выключатель, бросился к письменному столу, к своим тетрадам, пляшущими пальцами раскрыл страницу наугад. И только тут страшные минуты кончились. Явилось желанное мгновенное прозрение. Теперь он мог не смотреть в записи, они ему разом предстали, опять будто оттиснутые на чудесной фото пленке. Закурив, он еще листал, листал, проверяя, экзаменуя себя. Потом замер у стола.

Так Онисимов и стоял — босой в белом ночном одеянии. Незастегнутый ворот рубашки открывал грудь, подернутую чуть приметной нездоровой желтизной. Большая голова была, как всегда, втиснута в плечи.

Что же с ним только что стряслось? Чем объяснить эту внезапную утрату памяти? Неужели ему столь неинтересна его новая работа? Неужели, исполняя долг, он лишь насилует себя? Где же его страсть, всегда отдаваемая делу?

Ведь назначенный когда-то начальником танкового Главка, брошенный в промышленность, ему ранее не знакомую, сумел же он увлечься, отмести угнетение. Нет, не отмести, но одолеть. Оно, конечно, гнездилось в душе, изо дня в день возрождалось с каждым новым известием об арестах, о почти еженощных вторжениях в квартиры огромного многокорпусного дома, называемого «Дом правительства», где обитал и он, тоже готовый вот-вот разделить участь товарищей. Но Онисимова не трогали. Все его заместители в Главном управлении проката — управлении, которым он ведал при жизни Серго, — были арестованы, а он по-прежнему свободно ездил в машине по улицам Москвы на службу и домой.

Свободно ли? Элементарная логика требовала умозаключения, если виноваты его ближайшие сотрудники, якобы вредившие, значит, виновен и он.

И Онисимов бросил судьбе вызов. Обратился с письмом к Сталину, написал, что, будучи обязан, как требует партия, знать дело до последних мелочей, он, Онисимов, несет полную ответственность за каждое распоряжение своих подчиненных, ручается головой и партбилетом, что вредительства в Главпрокате не было. И просит дать ему возможность доказать это любому, по усмотрению Сталина, партийному или судебному расследованию.

Письмо попало в руки Сталину — это само по себе было особой, нелегкой задачей. Затем Онисимова вызывали на допросы, на очные ставки. Потянулись ночи и дни ожидания, почти невыносимые. Он в это время стал курить, пристрастился к табаку. И все же даже тогда работал со страстью, с азартом, заглушая угнетение, тоску, а потом...

6

Потом его вызвали в Кремль.

Уже присев, растирая остывшей подошвой другую ногу, вовсе похолодевшую, он вспоминает тот вечер.

...Миновав приемную, в которой, будто поджидая его, стояли и сидели люди в форме, — почему, почему сегодня здесь столь многочисленна охрана? — он

вошел в небольшой зал, увидел спину Сталина. Прохаживаясь, Сталин не обернулся на звук отворенной и вновь прикрытой двери. Он еще сохранил непритязательную одежду фронтовика, грубоватого солдата — его военного покроя брюки, заправленные в сапоги, свисали складками на голенища, — но уже приобрел будто нарочито неторопливую повадку, медлительность шага.

Сталин был в зале не один. Там находился еще человек. Вальяжный, что называется, мужчина, он сиял круглыми, без оправы, стеклами очков, плавной выпуклостью со лба, зачесанными на косой пробор светлыми волосами, маскировавшими раннюю, еще небольшую лысину. Это был Берия. Стоя у длинного стола, одетый в штатское, он поглядывал на Онисимова с улыбкой, затаившейся в уголках рта. Александр Леонтьевич похолодел от такой улыбки.

Много лет назад этот человек, тогда скромный служащий в Баку, прошел, как говорилось, проверку у Онисимова, который, еще оставаясь политработником Одиннадцатой армии, был в то же время и председателем одной из комиссий, занимавшихся перерегистрацией членов партии в Баку. Предваряя вопросы Онисимова, Берия выразил желание перейти на более трудную, более опасную работу — в Особый отдел армии или в Азербайджанскую ЧК. Пойманный на одном-другом противоречии, на вранье, он поворачивался, выскальзывал. Товарищ Саша — так в те времена называли Онисимова — пришел к убеждению: «Подозрительный тип. Чувствую, авантюрист». И не выдал ему партбилета. В следующей инстанции тому удалось восстановиться.

И пока что этот блистающий бывший бакинец лишь преуспевал. Встреча со Сталиным в начале тридцатых годов стала решающим рубежом в его фантастической карьере. Сталин, несомненно, был знатоком людей. Вынашивая замыслы, о которых знал только он один, Сталин своим тонким чутьем — слово «проникновенность» тут вряд ли подойдет, — по-видимому, быстро, с первых же встреч, определил: вот человек, который ему нужен.

Теперь грузин-бакинец ведал огромной машиной арестов, допросов, расстрелов, тюрем, лагерей. С улыбкой он острыми зрачками сквозь очки поглядывал на Онисимова.

Что же, все ясно. Будет последний допрос, что учинит сам Сталин. И не со своим шофером, не в своем автомобиле он, Онисимов, уедет отсюда. Не зря он, нервно собираясь, проверяя, на месте ли партийный билет, удостоверения, пропуск в Кремль, записная книжка, позвонил жене и, не сомневаясь, что телефон подключен еще в некую тайную сеть, лаконически сказал: «Вызывают. Еду. Будь готова ко всему».

Наконец повернувшись, Сталин все той же неспешной походкой зашагал обратно. Тяжеловатый, несколько исподлобья взгляд смерил Онисимова, прошелся по его безупречно начищенным ботинкам, темному в полоску пиджаку, подкрахмаленному белому воротничку, облежавшему короткую шею, что поддерживала большую голову, уперся в зеленоватые глаза Александра Леонтьевича.

Онисимов не отвел взора. Сталин продолжал медленно идти. Ничто в ту минуту не изменилось в его неподвижном, словно бы сонном лице, известном по множеству полотен и фотографий, на которых, однако, никто не смел, передать крупных щербин, заметных на щеках и под слегка обвисшими, будто тяжелыми, исчерна-рыжеватыми усами. Отдельные седые нити в поредевших усах

и на голове позволяли видеть, сколь редко толстым — в толщину конского — был его волос. Некоторое время молчание не нарушалось.

— Здравствуйте, — негромко молвил Сталин. — Проходите ближе.

Сесть не предложил.

Еще раз прошагав к стене и назад, он остановился перед Александром Леонтьевичем, начал спрашивать. Вопросы относились к состоянию и перспективам танковой промышленности. Теперь лицо Сталина уже не было застывшим. Зрачки, еще минуту назад тускловатые, вдруг ожили. Онисимов отвечал. Нервное напряжение сказалось на голосовых связках: он говорил хрипло. Однако эта же взвинченность стала и собранностью, обострила ум. Осипший начальник танкового главка не путался, не запинаясь, давал точные, уверенные объяснения. Ему не понадобилось прибегать к записной книжке, чтобы характеризовать положение на том или ином заводе, даже в цехе, приводить результаты испытаний в лабораториях и на полигонах, называть цифры. Он раскрывал Сталину трудности, докладывал о работе над еще не найденными, не дающимися конструкторам и технологам решениями. А тот еще и еще методично допрашивал, сверлил и сверлил именно эти больные места.

Крепление гусеничного башмака! И проклятые масляные дифференциалы! Как истерзали они Онисимова, как измучились с ними на заводах! Измучились, а искомой эффективности все же не достигли! Сталин вытащил и это... Он забирался в самую тайную тайных производства. Онисимов четко докладывал, не выгораживая себя.

Меж тем из боковой двери появился нарком обороны, здесь какой-то тихий, неприметный, хотя на гимнастерке красовались ордена. Следом вошли и еще члены Политбюро. Некоторые держались свободнее, отодвигали с шумом стулья. Седенький Калинин прислонился к выступу белой кафельной печи, очевидно, теплой, и грелся, сунув за спину ладони. Все молча слушали дознание, что не прекращал Сталин.

Зачем, для чего они сюда собрались? Невольно Онисимов снова подумал об угрожавшей ему участи. Наверное, сначала постановлением Политбюро его исключат из партии и лишь затем арестуют. Да, вон примостилась у стола стенографистка, достала карандаши, приготовила тетрадь.

А Сталин обнажал, верней, заставлял Онисимова обнажать слабости и не задачи советской танковой промышленности. Прессовое хозяйство. Коробка скоростей. Отжиг серого чугуна. Броня. Способы испытаний. Почему результаты неудовлетворительны? Каковы соответствующие показатели на заводах Германии и Америки?

Несомненно, кто-то основательно информировал Сталина. Кто же? По всей вероятности, один из таинственных отделов ведомства, отданного бывшему бакинцу, которое, будто всеохватывающий глаз, проникало всюду. Что же, Онисимов должен признать: справка была дельной. А Сталин внимательно, очень внимательно ее изучил.

Выспрашивая, Сталин не тронул вопросов, имевших касательство к письму Онисимова, к его прежней работе в Главпрокате. В мыслях Онисимов тревожно искал ответа; почему же? Впрочем, понятно, — зачем задевать еще и прошлое? Он же сам развернул здесь такую картину технических изъянов,

что этого с лихвой достаточно для обвинения во вредительстве. Или, как тогда говорилось, во вражеской деятельности. О достигнутом, завоеванном Сталин не спрашивал. Трудовые заслуги, производственные успехи танкостроителей — немалые, как мог бы сообщить Онисимов, — остались неупомянуты: дисциплина, ставшая второй натурой Онисимова, повелела ему отвечать лишь на вопросы.

Из кармана брюк Сталин вынул трубку, подошел к столу, выколотил пепел в мраморную пепельницу — в тишине гулко отдался этот стук, — повожился с табакеркой. Движения опять были медлительны, или лучше сказать, медлительно властны. Так мог держаться только тот, кто знал, что никто его не поторопит, не перебьет его молчания.

Задымила знаменитая сталинская трубка. Тотчас закурили и некоторые из собравшихся. Онисимов, разумеется, и помыслить не смел о сигарете.

Сталин вновь зашагал.

— Вопрос, думается, ясен, — наконец произнес он. — Что же, товарищи, будем решать?

Не ожидая чьей-либо реплики, он продолжал:

— Имеется следующее предложение...

Мышцы грудной клетки Онисимова окаменели, дыхание причиняло боль. Мучительно тянуло бросить взгляд на Берию, но победила выдержка — Онисимов на него не посмотрел, не покосился. А Сталин, помедлив, повторил:

— Имеется следующее предложение. Во-первых, преобразовать Главное управление танковой промышленности в Народный комиссариат танкостроения... Возражений нет?

И опять выдержал паузу.

— Второе... Назначить народным комиссаром танкостроения. Товарищи, какие будут кандидатуры? Пожалуй, не ошибемся, если утвердим товарища Онисимова. Другие мнения есть?

И заключил:

— Народным комиссаром танкостроения назначить товарища Онисимова Александра Леонтьевича. Возражений нет?

Онисимов навсегда запомнил этот миг. Самообладание ему не изменило. Лишь щеки похолодели. Наверное, он слегка побледнел.

Только теперь Сталин обратился к нему:

— Что же, товарищ Онисимов, вы стоите? Садитесь. Будем решать дальше.

И опять, не ожидая чьих-либо слов, продолжал:

— Третье... Вменить в обязанность...

Александр Леонтьевич сел, сунул в рот сигарету. Еще не верилось: значит, это уже произошло? Он вошел сюда почти арестантом, а выйдет народным комиссаром? Но ведь... Неужели Сталина не поспешили осведомить? Неужели ему неизвестно? Придвинув один из лежавших на столе блокнотов, Онисимов разборчиво своим каллиграфическим почерком вывел «Товарищ Сталин. Мой брат Иван Назаров арестован как...»

На мгновение перо Александра Леонтьевича приостановилось. Не хотелось собственной рукой клеймить Ваню, своего младшего брата от второго замужества матери, брата, которого давным-давно он, юный Саша, увлек за собою, втя-

нул в партию, а ныне, полгода назад, взятого в тюрьму прямо с вокзала, когда Ваня, секретарь обкома, приехал по вызову в Москву.

Но Александр Леонтьевич тут же подавил сомнения. Перо снова заскользило: «...арестован как враг народа. Считаю нужным сообщить об этом Вам». Подписавшись, аккуратно промокнув непросохшие чернила, он еще минуту выждал.

Сталин продолжал формулировать:

— Четвертое... Предложить товарищу Онисимову в десятидневный срок... Онисимов встал и передал Сталину бумагу. Тот недовольно покосился, развернул, прочел записку.

7

...Сейчас Онисимов, не одетый, босой, сидит среди ночи на жестком диване. На столе раскрыта тетрадь с записями о Северной Европе. В комнате тепло, не дует от окна, скрытого под складками длинной плотной занавеси. Но желтоватые, словно неживые ступни коченеют, — уже несколько лет он вынужден их кутать. Вот и теперь Александр Леонтьевич тянется за тяжелым ворсистым пледом, свернутым возле диванного валика, и укрывает, обертывает шерстью больные ступни.

В нижнем ящичке стола хранится один заветный листок. Онисимов выдвигает этот ящик, достает переплетенную в искусственную кожу папку, быть может, впервые замечает, как потускнели чернила, но все же ясна каждая буква, выписанная тонкими пальцами Александра Леонтьевича. «Товарищ Сталин. Мой брат Иван Назаров». Наискось листа размашисто брошены несколько строк. Почерк и подпись известны по множеству факсимиле. «Тов. Онисимов. Числил Вас и числю среди своих друзей. Верил Вам и верю. А о Назарове не вспоминайте, Бог с ним. И. Сталин».

Ваня так и погиб в заключении. Зачахла, умерла в лагере и его жена — запальчивая, пленявшая обаянием непосредственности южанка Лиза. Оба реабилитированы посмертно. Где затерялись их могилы, неизвестно и поныне. Темные, будто сочные вишни, Лизины глаза сейчас видится Онисимову настоженными, внезапно потерявшими блеск, словно в предчувствии неотвратимого близкого несчастья — таким был ее взгляд, когда она и Ваня в конце тридцать седьмого последний раз сидели у него, Онисимова, вот здесь, в этом прокуренном кабинете. Нет, тогда Онисимов еще не курил. Так и придется уехать в чужие края, ничего толком не узнав о брате, не имея даже его фотографии. Теперь Онисимову жаль, что он уничтожил даже детскую — на той карточке Ване, уставившемуся в объектив, было не более десяти.

...«Верил Вам и верю». Эти слова Сталина были щитом, броней, панацеей Онисимова. Или талисманом, как однажды скорее всерьез, нежели в шутку, сказала жена Александра Леонтьевича. Свято хранимый листок, которого коснулось твердое перо Сталина, столь много значил в судьбе Онисимова, что даже Берия, от улыбки которого по-прежнему становилось холодно, уже не был властен над его участью.

Онисимов поднимает голову, смотрит на висящий в простенке, большой, скромно окантованный снимок, единственный в его кабинете. Губы под жесткими усами Сталина спокойно сомкнуты, а Серго улыбается, он счастлив, полон жизни,

явственно обозначилась ямка на его подбородке, задорно распушились острые усы. Да, были времена, когда, лишь завидя Сталина или хотя бы разговаривая с ним по телефону, Серго светлел лицом, озарялся влюбленной улыбкой. Александр Леонтьевич это мог бы засвидетельствовать. А в конце своей жизни Серго, вдруг, словно потерявший неизменную раскрытость души, но и не умевший носить маску, притворяться, уже по-иному — многие, кто с ним общался, начали это подмечать, — по-иному относился к Сталину, неохотно и невесело ему звонил. Александр Леонтьевич и не подозревал, что Серго пустил себе пулю в сердце. Это была одна из самых тщательно скрывааемых тайн, пока на Двдцатом съезде...

Онисимов тогда сидел во втором ряду среди других делегатов съезда — непроницаемый, невозмутимый, каким его привыкли видеть. Необычайная впечатлительность сочеталась в нем с необычайной скрытостью душевных борений. Однако в ту минуту, когда он услышал, что Серго сам покончил с собой, вдруг будто кто-то защекотал веки Онисимова. Он ощутил: по щекам поползли слезы. Пораженный — ведь ему с детских лет не случалось плакать, — он не сразу вытащил платок, несколько капель скатились со щек. Давний товарищ, сидевший рядом, взглянул на Александра Леонтьевича. Взглянул и едва поверил: железный Онисимов, этот человек машина, знает слезы.

8

В одиночестве, в тоске Онисимов со своего жесткого дивана все еще смотрел на потерявший силу талисман.

Лишь за полторы недели до смерти Серго Александр Леонтьевич в последний раз виделся, разговаривал с ним. И тогда же в доме Орджоникидзе он встретился с тем, кто снят возле Серго вот на этой старой фотографии под стеклом, с тем, кто впоследствии написал эти разборчивые строки: «Тов. Онисимов. Верил Вам и верю».

Почему же Сталин выделил Александра Леонтьевича? Оттого ли, что Онисимов не знал колебаний в борьбе со всяческими оппозициями? Или из-за деловых качеств Онисимова, действительно недюжинных?

Нет, на весы легло и еще кое-что. Один миг... Миг, решивший, возможно, участь Онисимова.

Да, это было его последнее свидание с Орджоникидзе. Онисимов в те дни, в феврале тридцать седьмого, только что вернулся из поездки на заводы. По телефону он доложил Серго о возвращении. Серго сказал.

— Приходи ко мне вечером домой. В восемь часов тебе удобно?

Орджоникидзе неизменно проявлял такого рода деликатность в отношениях с подчиненными. Пунктуальный Онисимов прибыл минута в минуту. Серго встретил его в коридоре, крепко пожал пухловатой пятерней небольшую руку Онисимова. И через заставленный книжными шкапами кабинет, пожалуй, несколько нежилой, — подарки, которыми дорожил Серго, плашки первого чугуна Магнитки и Кузнецка, первой меди Балхаша, шлифы возведенных заводов наполнили чуть ли не всю площадь обширного, крытого черным лаком стола, — повел Александра Леонтьевича в свой уютный малый кабинет. Оба сели на диван.

— Ну, товарищ Саша...

Серго почему-то назвал его по имени, точно так же, как звал давным-давно в армии, когда начальник политотдела дивизии Онисимов казался совсем мальчишкой, да и Орджоникидзе, член Реввоенсовета Кавказского фронта, не знал еще ни седины, ни грузноватости.

— Ну, товарищ Саша, где побывал?

Онисимов принялся рассказывать. Зинаида Гавриловна, жена Серго, принесла чай и печенье. Она не вмешалась в разговор, лишь поздоровалась с гостем, но Онисимов поймал ее заботливый, чуть обеспокоенный взгляд, брошенный на мужа.

Серго действительно выглядел неважно, был бледноват, под широкими глазами наметились отеки, возможно, после сердечного припадка, случившегося недавно ночью в наркомате, — Онисимов об этом уже слышал, — но сами глаза не потеряли блеска, искрились и вниманием к тому, о чем рассказывал Онисимов, и трогаящей ласковостью.

Серго любил порасспросить о людях. Он и тогда — эти последние слова, последние вопросы, что Онисимов слышал от него, память неумолимо восстанавливала, — он и тогда живо спросил об одном инженере, ровеснике и бывшем сокурснике Александра Леонтьевича.

— Пришлось его вздуть, — сказал Онисимов — За самовольство. Нарушал инструкцию. У немцев за такие дела бьют по карману, плати штраф.

Серго проговорил:

— Ах, ты немец, ты мой немец...

Вдруг он вскинул голову. Из большого кабинета приглушенно донесся голос Зинаиды Гавриловны. И еще чей-то...

Серго быстро поднялся:

— Извини, пожалуйста.

И покинул комнату. Минуту другую Онисимов просидел один, не прислушиваясь к голосам за дверью. Но вот Серго заговорил громко, возбужденно. Его собеседник отвечал спокойно, даже, пожалуй, с нарочитой медлительностью. Неужели Сталин? Разговор шел на грузинском языке. Онисимов ни слова не знал по-грузински и, к счастью, не мог оказаться в роли подслушивающего. Но все же надо было немедленно уйти, разговор за стеной становился как будто все более накаленным. Как уйти? Выход отсюда лишь через большой кабинет. Александр Леонтьевич встал, шагнул через порог.

Серго продолжал горячо говорить, почти кричал. Его бледность сменилась багровым, с нездоровой просинью румянцем. Он потрясал обеими руками, в чем-то убеждая и упрекая Сталина. А тот в неизменном костюме солдата стоял, сложив на животе руки.

Онисимов хотел молча пройти, но Сталин его остановил:

— Здравствуйте, товарищ Онисимов. Вам, кажется, довелось слышать, как мы тут беседуем?

— Простите, я не мог знать...

— Что же, бывает. Но с кем вы все же согласны? С товарищем Серго или со мной?

— Товарищ Сталин, я ни слова не понимаю по-грузински.

Сталин пропустил мимо ушей эту фразу, словно она и не была сказана. Тя-

жело глядя из-под низкого лба на Онисимова, нисколько не повысив голоса, он еще медленнее повторил:

— Так с кем же вы все-таки согласны? С ним? — Сталин выдержал паузу. — Или со мной?

Наступил миг, тот самый миг, который потом лег на весы. Еще раз взглянуть на Серго Александр Леонтьевич не посмел. Какая-то сила, подобная инстинкту, действовавшая быстрой мысли, принудила его. И он, Онисимов, не колеблясь, сказал: «С вами, Иосиф Виссарионович».

Нет, к чему терзать себя. Зачем эти воспоминания, эти думы? Впереди утро, работа. Онисимов смотрит на две общие тетради. Он заставит себя вложить душу и страсть в это свое новое дело.

9

Проникая по праву писателя во внутренний мир Онисимова, куда Александр Леонтьевич почти никого не допускал, автор, думается, не изменяет исследовательскому строю этой книги. Воображение, догадка опираются и тут на верные источники, порою на документы, что носят название человеческих. О происхождении, характере одного из таких документов, переданные мне, я, с разрешения читателя, скажу несколько позже: сама повесть подведет нас к этому.

А теперь следует исчерпать тему «предотъездные дни Онисимова». Сообщу известные мне последние подробности, которые сюда относятся.

В рабочее уединение Онисимова, в его временное пристанище на шестом этаже МИДа, нередко врывались телефонные звонки. Звонили давние сподвижники Александра Леонтьевича: и тугодум Шехтель — начальник Управления изобретательства и рационализации, и министр стали, вечно румяный Цихоня, и начальник Главруды длинный Стремянников, да и многие другие. Сколько раз Анисимову когда-то приходилось говорить им резкости, отчитывать, подхлестывать и наедине и на совещаниях, а они, гляди-ка, не таили обиду, не забыли его, своего ныне оставленного строгого шефа, выказывали ему внимание, подавали о себе весть по телефону.

Готовящийся к отъезду Онисимов живо вступал в эти телефонные беседы. Услышав чей-либо знакомый голос, он снимал очки, садился поудобнее — куда-то отодвигаясь, затуманивалась очередная страница все о той же Северной Европе, — легко переключался в свою прежнюю любимую, совершенно особенную сферу штабной работы в индустрии, вновь как бы пребывал в своей стихии. Ему рассказывали о новостях, советовались с ним. Он интересовался тонкостями дела, опять по своему правилу вникал в технологию, в организацию производства, в заводскую практику. Не менее охотно он углублялся, если разговор этак поворачивался, и в вопросы междуведомственных отношений, ронял как бы невзначай словечко о том, какой требуется ход, чтобы скорее получить или, что называется, пробить нужное постановление. Тут его советы бывали особо проницательны, метки.

По тону собеседников, по другим признакам Онисимов с удовольствием угадывал: они его числят в строю, считают, что он еще вернется в индустрию. Он и сам этому верил. Разговоры с товарищами были для него словно живой

водой, он возбуждался, неожиданно становился словоохотливым, шутил.

Иногда и он позванивал своим бывшим подчиненным.

— Ну, как вы там живете? Чем заняты? Что сегодня у вас самое трудное? Как с этим справляетесь?

И опять слушал, советовал, опять будто вдыхал воздух индустриальных штабов и сернистый газок металлургических печей.

Как-то он снова соединился по телефону с министром тяжелого машиностроения и, поговорив о том о сем, спросил:

— Как поживают наши три восклицательных знака?

— Вы это о чем? — Видно, далеко не единственное дело было у министра отмечено восклицательными знаками. Однако он тотчас сообразил? — Воздуходувка для Кураковки? Начали, Александр Леонтьевич, контрольную сборку. Кстати, ваш Петр Головня вытрясает мне душу телеграммами, просит разрешения послать своих людей на сборку, чтобы присматривались и уже осваивали. Не знаю. Наверное, будут пока только мешать.

— Опять двадцать пять. — Онисимов любил эту приговорочку. — Пожалуй-ста, сделай, как он просит.

— Есть, Александр Леонтьевич. Записываю.

— Обойдешься без восклицательного знака?

— Продиктую сейчас же телеграмму. Вот уже и секретарь ко мне шагает.

— Фу-ты ну-ты, какая оперативность.

— Было у кого учиться, Александр Леонтьевич. Подобные признания смягчали душевную боль.

— Однако чем ближе придвигался день отъезда, тем замкнутей, мрачней становился Онисимов. Иногда он пошучивал, острил, но глаза были невеселы.

Получая впервые заработную плату в МИДе, Онисимов раздражился, — ему была выписана дополнительная сумма за знание иностранного языка. Он издавна, еще будучи начальником главка и затем министром, ненавидел всякие подобные надбавки, не допускал ни для себя, ни для своего аппарата никакого добавочного вознаграждения. Александр Леонтьевич остался себе верен, и на новой службе: не принял деньги, которые кассир намеревался ему вручить сверх жалованья. Всякие уговоры желчно отстранил. Английский он знает едва удовлетворительно, даже скорей слабо, и вообще в каких-либо сомнительных надбавках не нуждался, назначенный ему оклад и без того достаточно высок.

Готовый, лишь последует команда, тотчас улететь, он счел необходимым понаведаться к зубному врачу. Крепкие зубы Онисимова, некогда миндально-белые, приобретшие из-за многолетнего курения кремовый отлив, нуждались в двух-трех пломбочках и были приведены в полный порядок.

Однако медицинское обследование он так и не прошел. Рентгеноскопия грудной клетки и желудка, клинический анализ крови, электрокардиограмма — всем этим Онисимов пренебрег. Удивительное дело: любой советский гражданин не мог бы получить заграничный паспорт, не представив справку о здоровье, а у советского посла ее не спрашивали. Назначение состоялось — эта форма заменила всяческие справки.

Источник: А. Бек. Новое назначение. М.: Книжная палата, 1987.

Андрей Платонов
(Климентов
Андрей Платонович)
(1899–1951)



Писатель, журналист.

Родился в Ямской слободе близ Воронежа. С 13 лет, после окончания церковноприходской, а затем городской 4-х классной школы работал поденщиком, мальчиком на складе, конторщиком, помощником машиниста. В 1918 г. поступает в Воронежский политехникум. В это время появляются в печати его первые стихи, рассказы и критические статьи. Участвует в Гражданской войне в отряде Особого назначения, вступает в РКП (б). После яркого дебюта – выхода в Москве в 1927 г. книги рассказов «Епифанские шлюзы» – завоевывает известность в литературных кругах. Однако уже через два года, после появления в печати сатирических рассказов «Государственный житель» и «Усомнившийся Макар», раскрывающих перспективы бюрократизации советского общества, был осельмован рапповским руководством (Л. Авербах, А. Фадеев) как выразитель кулацких настроений, и все творчество Платонова было объявлено вражеским.

С этого времени до начала войны в печати появился лишь один сборник рассказов. Писатель буквально находится на грани нищеты, работая дворником в Литературном институте. После войны положение не изменилось. Лишь в начале 60-х годов появляются первые публикации рассказов и повестей писателя.

Однако, самые крупные произведения Платонова: «Ювенильное море», «Котлован», «Чевенгур» остаются неизвестными широкому читателю, зато широко распространены в Самиздате. Парадоксально, но факт: в вышедшей в 1982 (!) году первой монографии, посвященной творчеству Платонова (В. Васильев, Андрей Платонов. Очерки жизни и творчества. М.: «Современник», 1982) о «Чевенгуре» говорится только один раз в связи с отклонением литературным отделом МХАТа инсценировки романа, а «Котлован» и «Ювенильное море» даже не упоминаются.

Лишь в 1986 г. в «Знамени» опубликовано «Ювенильное море», в 1987 г. – в «Новом мире» «Котлован», и в 1989 г. в «Дружбе народов» – «Чевенгур».

ЧЕВЕНГУР

<...>

Утром Саша и Захар Павлович отправились в город. Захар Павлович искал самую серьезную партию, чтобы сразу записаться в нее. Все партии помещались в одном казенном доме, и каждая считала себя лучше всех. Захар Павлович проверял партии на свой разум – он искал ту, в которой не было бы непонятной программы, а все было бы ясно и верно на словах. Нигде ему точно не сказали про тот день, когда наступит земное блаженство. Одни отвечали, что

счастье – это сложное изделие, и не в нем цель человека, а в исполнении исторических законов. А другие говорили, что счастье состоит в сплошной борьбе, которая будет длиться вечно.

– Вот это так! – резонно удивлялся Захар Павлович. – Значит, работай без жалования. Тогда это не партия, а эксплуатация. Идем, Саш, с этого места. У религии и то было торжество православия...

В следующей партии сказали, что человек настолько великолепное и жадное существо, что даже странно думать о насыщении его счастьем – это был бы конец света.

– Его-то нам и надо! – сказал Захар Павлович.

За крайней дверью коридора помещалась самая последняя партия, с самым длинным названием. Там сидел всего один мрачный человек, а остальные отлучились властвовать.

– Ты что? – спросил он Захара Павловича.

– Хотем записаться вдвоем. Скоро конец всему наступит?

– Социализм, что ль? – не понял человек. – Через год. Сегодня только учреждения занимаем.

– Тогда пиши нас, – обрадовался Захар Павлович.

Человек дал им по пачке мелких книжечек и по одному вполонину напечатанному листу.

– Программа, устав, резолюция, анкета, – сказал он. – Пишите и давайте двух поручителей на каждого.

Захар Павлович похолодел от предчувствия обмана.

– А устно нельзя?

– Нет. На память я регистрировать не могу, а партия вас забудет.

– А мы являться будем.

– Невозможно: по чем же я вам билеты выпишу? Ясное дело – по анкете, если вас утвердит собрание.

Захар Павлович заметил: человек говорит ясно, четко, справедливо, без всякого доверия – наверно, будет умнейшей властью, которая либо через год весь мир окончательно построит, либо поднимет такую суету, что даже детское сердце устанет.

– Ты запишись, Саш, для пробы, – сказал Захар Павлович. – А я годок обожду.

– Для пробы не записываем, – отказал человек. – Или навсегда и полностью наш, или – стучите в другие двери.

– Ну, всурьез, – согласился Захар Павлович.

– А это другое дело, – не возражал человек.

Саша сел писать анкету. Захар Павлович начал расспрашивать партийного человека о революции. Тот отвечал между делом, озабоченный чем-то более серьезным.

– Рабочие патронного завода вчера забастовали, а в казармах произошел бунт. Понял? А в Москве уже вторую неделю у власти стоят рабочие и беднейшие крестьяне.

– Ну?

Партийный человек отвлекся телефоном. «Нет, не могу, – сказал он в трубку. – Сюда приходят представители массы, надо же кому-нибудь информацией заниматься!»

– Что – ну? – вспомнил он. – Партия туда послала представителей оформить движение, и ночью же нами были захвачены жизненные центры города.

Захар Павлович ничего не понимал.

– Да ведь это солдаты и рабочие взбунтовались, а вы-то здесь при чем? Пускай бы они своей силой и дальше шли!

Захар Павлович даже раздражался.

– Ну, товарищ рабочий, – спокойно сказал член партии, – если так рассуждать, то у нас сегодня буржуазия уже стояла бы на ногах и с винтовкой в руках, а не была бы Советская власть.

«А может, что-нибудь лучшее было бы!» – подумал Захар Павлович, но что – сам себе не мог доказать.

– В Москве нет беднейших крестьян, – усомнился Захар Павлович.

Мрачный партийный человек еще более нахмурился, он представил себе все великое невежество масс и то, сколько для партии будет в дальнейшем возни с этим невежеством. Он заранее почувствовал усталость и ничего не ответил Захару Павловичу. Но Захар Павлович донимал его прямыми вопросами. Он интересовался, кто сейчас главный начальник в городе и хорошо ли знают его рабочие.

Мрачный человек даже оживился и повеселел от такого крутого непосредственного контроля. Он позвонил по телефону. Захар Павлович загляделся на телефон с забытым увлечением. «Эту штуку я упустил из виду, – вспомнил он про свои изделия. – Ее я сроду не делал».

– Дай мне товарища Перекорова, – сказал по проволоке партийный человек. – Перекоров? Вот что. Надо бы поскорее газетную информацию наладить. Хорошо бы популярной литературы побольше выпустить... Слушаю. А ты кто? Красногвардеец? Ну, тогда брось трубку, – ты ничего не понимаешь...

Захар Павлович вновь рассердился.

– Я тебя спрашивал оттого, что у меня сердце болит, а ты газетой меня утешаешь... Нет, друг, всякая власть есть царство, тот же синклит и монархия, я много передумал...

– А что же надо? – озадачился собеседник.

– Имущество надо унижить, – открыл Захар Павлович. – А людей оставить без призора. К лучшему обойдется, ей-богу, правда!

– Так это анархия!

– Какая тебе анархия – просто себе сдельная жизнь!

Партийный человек покачал лохматой и бессонной головой:

– Это в тебе мелкий собственник говорит. Пройдет с полгода, и ты сам увидишь, что принципиально заблуждался.

– Обождем, – сказал Захар Павлович. – Если не справитесь, отсрочку дадим. Саша дописал анкету.

<...>

Хромого звали Федором Достоевским: так он сам себя перерегистрировал в специальном протоколе, где сказано, что уполномоченный волревкома Игнатий Мошонков слушал заявление гражданина Игнатия Мошонкова о переименовании его в честь памяти известного писателя – в Федора Достоевского, и постановил: переименоваться с начала новых суток и навсегда, а впредь пред-

ложить всем гражданам пересмотреть свои прозвища – удовлетворяют ли они их, – имея в виду необходимость подобия новому имени. Федор Достоевский задумал эту кампанию в целях самосовершенствования граждан: кто прозывается Либкнехтом, тот пусть и живет подобно ему, иначе славное имя следует изъять обратно. Таким порядком по регистру переименования прошли двое граждан: Степан Чечер стал Христофором Колумбом, а колодезник Петр Грудин – Францем Мерингом: по уличному Мерин. Федор Достоевский запротоколил эти имена условно и спорно: он послал запрос в волревком – были ли Колумб и Меринг достойными людьми, чтобы их имена брать за образцы дальнейшей жизни, или Колумб и Меринг безмолвны для революции. Ответа волревком еще не прислал. Степан Чечер и Петр Грудин жили почти безымянными.

– Раз назвались, – говорил им Достоевский, – делайте что-нибудь выдающееся.

– Сделаем, – отвечали оба, – только утверди и дай справку.

– Устно называйтесь, а на документах обозначать буду пока по-старому.

– Нам хотя бы устно, – просили заявители.

Копенкин и Дванов попали к Достоевскому в дни его размышлений о новых усовершенствованиях жизни. Достоевский думал о товарищеском браке, о советском смысле жизни, можно ли уничтожить ночь для повышения урожая, об организации ежедневного трудового счастья, что такое душа – жалобное сердце или ум в голове, – и о многом другом мучился Достоевский, не давая покоя семье по ночам.

В доме Достоевского имелась библиотека книг, но он уже знал их наизусть, они его не утешали, и Достоевский думал лично сам.

Покушав пшенной каши в хате Достоевского, Дванов и Копенкин завели с ним неотложную беседу о необходимости построить социализм будущим летом. Дванов говорил, что такая спешка доказана самим Лениным.

– Советская Россия, – убеждал Достоевского Дванов, – похожа на молодую березку, на которую кидается коза капитализма. – Он даже привел газетный лозунг:

Гони березку в рост,

Иначе съест ее коза Европы!

Достоевский побледнел от сосредоточенного воображения неминуемой опасности капитализма. Действительно, представлял он, объедят у нас белые козы молодую кору, заголится вся революция и замерзнет насмерть.

– Так за кем же дело, товарищи? – воодушевленно воскликнул Достоевский. – Давайте начнем тогда сейчас же: можно к Новому году поспеть сделать социализм! Летом прискочут белые козы, а кора уже застарееет на советской березе.

Достоевский думал о социализме как об обществе хороших людей. Вещей и сооружений он не знал. Дванов его сразу понял.

– Нет, товарищ Достоевский. Социализм похож на солнце и восходит летом. Его нужно строить на тучных землях высоких степей. Сколько у вас дворов в селе?

– У нас многодворье: триста сорок дворов, да на отшибе пятнадцать хозяев живут, – сообщил Достоевский.

– Вот и хорошо. Вам надо разбиться артелей на пять, на шесть, – придумывал Дванов. – Объяви немедленно трудповинность – пусть пока колодцы

на залежи копают, а с весны гужом начинай возить постройки. Колодезники-то есть у вас?

Достоевский медленно вбирал в себя слова Дванова и превращал их в видимые обстоятельства. Он не имел дара выдумывать истину, и мог ее понять, только обратив мысли в события своего района, но это шло в нем долго: он должен умственно представить порожнюю степь в знакомом месте, поименно переставить на нее дворы своего села и посмотреть, как оно получается.

– Колодезники-то есть, – говорил Достоевский. – Примерно, Франц Меринг: он ногами воду чует. Побродит по балкам, прикинет горизонты и скажет: рой, ребята, тутошнее место на шесть сажен. Вода потом гуртом оттуда прет. Значит, мать ему с отцом так угодили.

Дванов помог Достоевскому вообразить социализм малодворными артельными поселками с общими приусадебными наделами. Достоевский же все принял, но не хватало какой-то общей радости над всеми гумнами, чтобы воображение будущего стало любовью и теплом, чтобы совесть и нетерпение взошли силой внутри его тела – от временного отсутствия социализма наяву.

Копенкин слушал-слушал и обиделся:

– Да что ты за гнида такая: сказано тебе от губисполкома – закончи к лету социализм! Вынь меч коммунизма, раз у нас железная дисциплина. Какой же ты Ленин тут, ты советский сторож: темп разрухи только задерживаешь, пагубная душа!

Дванов завлекал Достоевского дальше:

– Земля от культурных трав будет ярче и яснее видна с других планет. А еще – усилится обмен влаги, небо станет голубей и прозрачней!

Достоевский обрадовался: он окончательно увидел социализм. Это голубое, немного влажное небо, питающееся дыханием кормовых трав. Ветер коллективно чуть ворошит сытые озера угодий, жизнь настолько счастлива, что – бесшумна. Осталось установить только советский смысл жизни. Для этого дела единогласно избран Достоевский; и вот – он сидит сороковые сутки без сна и в самозабвенной задумчивости; чистоплотные красивые девушки приносят ему вкусную пищу – борщ и свинину, но уносят ее целой обратно: Достоевский не может очнуться от своей обязанности.

Девицы влюбляются в Достоевского, но они поголовные партийки и из-за дисциплины не могут признаться, а мучаются молча в порядке сознательности.

Достоевский корябнул ногтем по столу, как бы размежевая эпоху надвое:

– Даю социализм! Еще рожь не поспеет, а социализм будет готов!.. А я смотрю: чего я тоскую? Это я по социализму скучал.

– По нем, – утвердительно сказал Копенкин. – Всякому охота Розу любить.

Достоевский обратил внимание на Розу, но полностью не понял – лишь догадался, что Роза, наверно, сокращенное название революции, либо неизвестный ему лозунг.

– Совершенно правильно, товарищ! – с удовольствием сказал Достоевский, потому что основное счастье уже было открыто. – Но все-таки я вот похудел от руководства революцией в своем районе.

– Понятно: ты здесь всем текущим событиям затычка, – поддерживал Копенкин достоинство Достоевского.

Однако Федор Михайлович не мог спокойно заснуть тою ночью; он ворочался и протяжно бормотал мелочи своих размышлений.

– Ты что? – услышал звуки Достоевского незаснувший Копенкин. – Тебе от скуки скуля сводит? Лучше вспомни жертвы гражданской войны, и тебе станет печально.

Ночью Достоевский разбудил спящих. Копенкин, еще не проснувшись, схватился за саблю – для встречи внезапно напавшего врага.

– Я ради Советской власти тебя тронул! – объяснил Достоевский.

– Тогда чего же ты раньше не разбудил? – строго спросил Копенкин.

– Скотского поголовья у нас нету, – сразу заговорил Достоевский: он за половину ночи успел додумать дело социализма до самой жизни. – Какой же тебе гражданин пойдет на тучную степь, когда скота нету? К чему же тогда постройки багажом тащить?.. Замучился я от волнений...

Копенкин почесал свой худой резкий кадык, словно потроша горло.

– Саша! – сказал он Дванову. – Ты не спи зря: скажи этому элементу, что он советских законов не знает.

Затем Копенкин мрачно пригляделся к Достоевскому.

– Ты белый вспомогатель, а не районный Ленин! Над чем думает. Да ты выгони завтра весь живой скот, если у кого он остался, и подели его по душам и по революционному чувству. Кряк – и готово!

Копенкин сейчас же снова заснул: он не понимал и не имел душевных сомнений, считая их изменой революции; Роза Люксембург заранее и за всех продумала все – теперь остались одни подвиги вооруженной руки, ради сокрушения видимого и невидимого врага.

<...>

На другой день Дванов и Копенкин отправились с рассветом солнца вдаль и после полудня приехали на заседание правления коммуны «Дружба бедняка», что живет на юге Новоселовского уезда. Коммуна заняла бывшее имение Карякина и теперь обсуждала вопрос приспособления построек под нужды семи семейств – членов коммуны. Под конец заседания правление приняло предложение Копенкина: оставить коммуне самое необходимое – один дом, сарай и ригу, а остальные два дома и прочие службы отдать в разбор соседней деревне, чтобы лишнее имущество коммуны не угнетало окружающих крестьян.

Затем писарь коммуны стал писать ордера на ужин, выписывая лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» от руки на каждом ордере.

Все взрослые члены коммуны – семь мужчин, пять женщин и четыре девки занимали в коммуне определенные должности.

Поименный перечень должностей висел на стене. Все люди, согласно перечня и распорядка, были заняты целый день обслуживанием самих себя; названия же должностей изменилось в сторону большего уважения к труду, как-то – была заведующая коммунальным питанием, начальник живой тяги, железный мастер – он же надзиратель мертвого инвентаря и строительного имущества (должно быть, кузнец, плотник и прочее – в одной и той же личности), заведующий охраной и неприкосновенностью коммуны, заведующий пропагандой коммунизма в неорганизованных деревнях, коммунальная воспита-

тельница поколения – и другие обслуживающие должности.

Копенкин долго читал бумагу и что-то соображал, а потом спросил председателя, подписывавшего ордера на ужин:

– Ну, а как же вы пашете-то?

Председатель ответил, не останавливаясь подписывать:

– В этом году не пахали.

– Почему так?

– Нельзя было внутреннего порядка нарушать: пришлось бы всех от должностей отнять – какая ж коммуна тогда осталась? И так еле наладили, а потом – в имении хлеб еще был...

– Ну тогда так, раз хлеб был, – оставил сомнения Копенкин.

– Был, был, – сказал председатель, – мы его на учет сразу и взяли – для общественной сытости.

– Это, товарищ, правильно.

– Без сомнения: у нас все записано и по ртам забронировано. Фельдшера звали, чтобы норму пищи без предрассудка навсегда установить. Здесь большая дума над каждой вещью была: великое дело – коммуна! Усложнение жизни!

Копенкин и здесь согласился – он верил, что люди сами справедливо управятся, если им не мешать. Его дело – держать дорогу в социализм чистой; для этого он применял свою вооруженную руку и веское указание. Смутило Копенкина только одно – усложнение жизни, про которое упомянул председатель. Он даже посоветовался с Двановым: не ликвидировать ли коммуны «Дружба бедняка» немедленно, так как при сложной жизни нельзя будет разобрать, кто кого угнетает. Но Дванов отсоветовал: пусть, говорит, это они от радости усложняют, из увлечения умственным трудом – раньше они голыми руками работали и без смысла в голове; пусть теперь радуются своему разуму.

– Ну, ладно, – понял Копенкин, – тогда им надо получше усложнять. Следует в полной мере помочь. Ты выдумай им что-нибудь... неясное.

Дванов и Копенкин остались в коммуне на сутки, чтобы их кони успели напиться кормом для долгой дороги.

С утра свежего солнечного дня началось обычное общее собрание коммуны. Собрания назначались через день, чтобы вовремя уследить за текущими событиями. В повестку дня вносилось два пункта: «текущий момент» и «текущие дела». Перед собранием Копенкин попросил слова, ему его с радостью дали и даже внесли предложение не ограничивать времени оратору.

– Говори безгранично, до вечера времени много, – сказал Копенкину председатель. Но Копенкин не мог плавно проговорить больше двух минут, потому что ему лезли в голову посторонние мысли и уродовали одна другую до невыразительности, так что он сам останавливал свое слово и с интересом прислушивался к шуму в голове.

Нынче Копенкин начал с подхода, что цель коммуны «Дружба бедняка» – усложнение жизни, в целях создания запутанности дел и отпора всею сложностью притаившегося кулака. Когда будет все сложно, тесно и непонятно, – объяснял Копенкин, – тогда честному уму выйдет работа, а прочему элементу в узкие места сложности не пролезть. А потому, – поскорее закончил Копенкин, чтобы не забыть конкретного предложения, – а потому я предлагаю созывать

общие собрания коммуны не через день, а каждодневно и даже дважды в сутки: во-первых, для усложнения общей жизни, а во-вторых, чтобы текущие события не утекли напрасно куда-нибудь без всякого внимания, – мало ли что произойдет за сутки, а вы тут останетесь в забвении, как в бурьяне...

Копенкин остановился в засохшем потоке речи, как на мели, и положил руку на эфес сабли, сразу позабыв все слова. Все глядели на него с испугом и уважением.

– Президиум предлагает принять единогласно, – заключил председатель опытным голосом.

– Отлично, – сказал стоявший впереди всех член коммуны – начальник живой тяги, веривший в ум незнакомых людей. Все подняли руки – одновременно и вертикально, обнаружив хорошую привычку.

– Вот и не годится! – громко объявил Копенкин.

– А что? – обеспокоился председатель.

Копенкин махнул на собрание досадной рукой:

– Пускай хоть одна девка всегда будет голосовать напротив...

– А для чего, товарищ Копенкин?

– Чудаки: для того же самого усложнения...

– Понял – верно! – обрадовался председатель и предложил собранию выделить заведующую птицей и рожью Маланью Отвершкову – для постоянного голосования всем напротив.

Затем Дванов доложил о текущем моменте. Он принял во внимание ту смертельную опасность, которая грозит коммунам, расселенным в безлюдной враждебной степи, от бродящих бандитов.

– Эти люди, – говорил Дванов про бандитов, – хотят потушить зарю, но заря не свеча, а великое небо, где на далеких тайных звездах скрыто благородное и могучее будущее потомков человечества. Ибо несомненно – после завоевания земного шара – наступит час судьбы всей вселенной, настанет момент страшного суда человека над ней...

– Красочно говорит, – похвалил Дванова тот же начальник живой тяги.

– Вникай молча, – тихо посоветовал ему председатель.

– Ваша коммуна, – продолжал Дванов, – должна перехитрить бандитов, чтобы они не поняли, что тут есть. Вы должны поставить дело настолько умно и сложно, чтобы не было никакой очевидности коммунизма, а на самом деле он налицо. Въезжает, скажем, бандит с обрезом в усадьбу коммуны и глядит, чего ему тащить и кого кончать. Но навстречу ему выходит секретарь с талонной книжкой и говорит: если вам, гражданин, чего-нибудь надо, то получите талон и ступайте себе в склад; если вы бедняк, то возьмите свой паек даром, а если вы прочий, то прослужите у нас одни сутки в должности, скажем, охотника на волков. Уверяю граждан, что ни один бандит внезапно на вас руки не поднимет, потому что сразу вас не поймет. А потом вы либо откупайтесь от них, если бандитов больше вас, либо берите их в плен понемногу, когда они удивятся и в недоумении будут ездить по усадьбе с покойным оружием. Правильно я говорю?

– Да почти что, – согласился все тот же разговорчивый начальник живой тяги.

– Единогласно, что ль, и при одной против? – провозгласил председатель. Но

вышло сложнее: Маланья Отвершкова, конечно, голосовала против, но, кроме нее, заведующий удобрением почвы – рыжеватый член коммуны с однообразным массовым лицом, – воздержался.

– Ты что? – озадачился председатель.

– Воздержусь для усложнения! – выдумал тот.

Тогда его, по предложению председателя, назначили постоянно воздерживаться. Вечером Дванов и Копенкин хотели трогаться дальше – в долину реки Черной Калитвы, где в двух слободах открыто жили бандиты, планомерно убивая членов Советской власти по всему району. Но председатель коммуны упрямил их остаться на вечернее заседание коммуны, чтобы совместно обдумать памятник революции, который секретарь советовал поставить среди двора, а Маланья Отвершкова, напротив, в саду. Заведующий же удобрением почвы воздерживался и ничего не говорил.

– По-твоему, нигде не ставить, что ль? – спрашивал председатель воздержавшегося.

– Воздерживаюсь от высказывания своего мнения, – последовательно отвечал заведующий удобрением.

– Но большинство – за, придется ставить, – озабоченно рассуждал председатель. – Главное, фигуру надо придумать.

Дванов нарисовал на бумаге фигуру.

Он подал изображение председателю и объяснил:

– Лежащая восьмерка означает вечность времени, а стоячая двухконечная стрела – бесконечность пространства.

Председатель показал фигуру всем собранию:

– Тут и вечность и бесконечность, значит – все, умней не придумаешь: предлагаю принять.

Приняли при одной против и одном воздержавшемся. Памятник решили соорудить среди усадьбы на старом мельничном камне, ожидавшем революцию долгие годы. Самый же памятник поручили изготовить из железных прутьев железному мастеру.

<...>

КОТЛОВАН

В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда.

Вощев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге – в природе было такое положение. Вощев не знал, куда его влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы, в которой приучали бессемейных детей к труду и пользе. Дальше город прекращался – там была лишь пивная для отход-

ников и низкооплачиваемых категорий, стоявшая, как учреждение, без всякого двора, а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево росло на нем одно среди светлой погоды. Воцев добрал до пивной и вошел туда на искренние человеческие голоса. Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего несчастья, и Воцеву стало глуше и легче среди них. Он присутствовал в пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняющейся погоды; тогда Воцев подошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел дерево на глинистом бугре – оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья. Где-то, наверно в саду совторгслужащих, томился духовой оркестр: однообразная, несбывающаяся музыка уносилась ветром в природу через приовражную пустошь, потому что ему редко полагалась радость, но ничего не мог совершить равнозначного музыке и проводил свое вечернее время неподвижно. После ветра опять настала тишина, и ее покрыл еще более тихий мрак. Воцев сел у окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные грустные звуки и мучиться сердцем, окруженным жесткими каменистыми костями.

– Эй, пищевой! – раздалось в уже смолкшем заведении. – Дай нам пару кружечек – в полость налить!

Воцев давно обнаружил, что люди в пивную всегда приходили парами, как женихи и невесты, а иногда целыми дружными свадьбами.

Пищевой служащий на этот раз пива не подал, и двое пришедших кровельщиков вытерли фартуками жаждущие рты.

– Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься!

Но пищевой берег свои силы от служебного износа для личной жизни и не вступал в разногласия.

– Учреждение, граждане, закрыто. Займитесь чем-нибудь на своей квартире.

Кровельщики взяли с блюдечка в рот по соленой сушке и вышли прочь. Воцев остался один в пивной.

– Гражданин! Вы требовали только одну кружку, а сидите здесь бессрочно! Вы платили за напиток, а не за помещение!

Воцев захватил свой мешок и отправился в ночь. Вопрошающее небо светило над Воцевым мучительной силой звезд, но в городе уже были потушены огни, и кто имел возможность, тот спал, наевшись ужином. Воцев спустился по крошкам земли в овраг и лег там животом вниз, чтобы уснуть и расстаться с собою. Но для сна нужен был покой ума, доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя, а Воцев лежал в сухом напряжении сознательности и не знал, полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется? Из неизвестного места подул ветер, чтобы люди не задохнулись, и слабым голосом сомнения дала знать о своей службе пригородная собака.

– Скучно собаке, она живет благодаря одному рождению, как и я.

Тело Воцева побледнело от усталости, он почувствовал холод на веках и закрыл ими теплые глаза.

Пивник уже освежал свое заведение, уже волновались кругом ветры и травы от солнца, когда Воцев с сожалением открыл налившиеся влажной силой глаза. Ему снова предстояло жить и питаться, поэтому он пошел в завком – защищать свой ненужный труд.

– Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства, – скажи в завкоме. – О чем ты думал, товарищ Воцев?

– О плане жизни.

– Завод работает по готовому плану треста, а план личной жизни ты мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке.

– Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка.

– Ну и что ж ты бы мог сделать?

– Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность.

– Счастье произойдет от материализма, товарищ Воцев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс.

Воцев хотел попросить какой-нибудь самой слабой работы, чтобы хватило на пропитание: думать же он будет во внеурочное время; но для просьбы нужно иметь уважение к людям, а Воцев не видел от них чувства к себе.

– Вы боитесь быть в хвосте: он – конечность, и сели на шею!

– Тебе, Воцев, государство дало лишний час на твою задумчивость – работал восемь, теперь семь, ты бы и жил молчал! Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать будет?

– Без думы люди действуют бессмысленно! – произнес Воцев в размышлении.

Он ушел из завкома без помощи. Его пеший путь лежал среди лета, по сторонам строили дома и техническое благоустройство – в тех домах будут безмолвно существовать донныне неприютные массы. Тело Воцева было равнодушно к удобству, он мог жить, не изнемогая, в открытом месте и томился своим несчастьем во время сытости, в дни покоя на прошлой квартире. Ему еще раз пришлось миновать пригородную пивную, еще раз он посмотрел на место своего ночлега: там осталось что-то общее с его жизнью, и Воцев очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт и ощущение ветра в склонившееся лицо.

Через версту стоял дом шоссейного надзирателя. Привыкнув к пустоте, надзиратель громко ссорился с женой, а женщина сидела у открытого окна с ребенком на коленях и отвечала мужу возгласами брани; сам же ребенок молча щипал оборку своей рубашки, понимая, но ничего не говоря.

Это терпение ребенка ободрило Воцева, он увидел, что мать и отец не чувствуют смысла жизни и раздражены, а ребенок живет без упрека, вырастая себе на мученье. Здесь Воцев решил напрячь свою душу, не жалеть тела на работу ума, с тем чтобы вскоре вернуться к дому дорожного надзирателя и рассказать осмысленному ребенку тайну жизни, все время забываемую его родителями. «Их тело сейчас блуждает автоматически, – наблюдал родителей Воцев, – сущности они не чувствуют».

– Отчего вы не чувствуете сущности? – спросил Воцев, обратясь в окно. – У вас ребенок живет, а вы ругаетесь – он же весь свет родился окончить.

Муж и жена со страхом совести, скрытой за злобностью лиц, глядели на свидетеля.

– Если вам нечем спокойно существовать, вы бы почитали своего ребенка – вам лучше будет.

– А тебе чего тут надо? – со злостной тонкостью в голосе спросил надзи-

ратель дороги. – Ты идешь и иди, для таких и дорогу замостили...

Вощев стоял среди пути не решаясь. Семья ждала, пока он уйдет, и держала свое зло в запасе.

– Я бы ушел, но мне некуда. Далеко здесь до другого какого-нибудь города?

– Близо, – ответил надзиратель, – если не будешь стоять, то дорога доведет.

– А вы чтите своего ребенка, – сказал Вощев, – когда вы умрете, то он будет.

Сказав эти слова, Вощев отошел от дома надзирателя на версту и там сел на край канавы, но вскоре он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться. Вощев, истомившись размышлением, лег в пыльные, проезжие травы; было жарко, дул дневной ветер, и где-то кричали петухи на деревне – все предавалось безответному существованию, один Вощев отделился и молчал. Умерший, палый лист лежал рядом с головою Вощева, его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и неизвестности. «Ты не имел смысла жизни, – со скупостью сочувствия полагал Вощев, – лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить».

– Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая, – сказал Вощев близ дороги и встал, чтоб идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием. – Как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе.

Он шел по дороге до изнеможения; изнемогал же Вощев скоро, как только его душа вспоминала, что истину она перестала знать.

Но уже был виден город вдаль; дымились его кооперативные пекарни, и вечернее солнце освещало пыль над домами от движения населения. Тот город начинался кузницей, и в ней во время прохода Вощева чинили автомобиль от бездорожной езды. Жирный калека стоял подле коновязи и обращался к кузнецу:

– Миш, насыпь табачку: опять замок ночью сорву!

Кузнец не отвечал из-под автомобиля. Тогда увечный толкнул его костылем в зад.

– Миш, лучше брось работать – насыпь: убытков наделаю!

Вощев приостановился около калеки, потому что по улице двинулся из глубины города строй детей-пионеров с уставшей музыкой впереди.

– Я ж вчера тебе целый рубль дал, – сказал кузнец. – Дай мне покой хоть на неделю! А то я терплю-терплю и костыли твои пожгу!

– Жги! – согласился инвалид. – Меня ребята на тележке доставят – крышу с кузни сорву!

Кузнец отвлекся видом детей и, добрея, насыпал увечному табаку в кiset:

– Грабь, саранча!

Вощев обратил внимание, что у калеки не было ног – одной совсем, а вместо другой находилась деревянная приставка; держался изувеченный опорой костылей и подсобным напряжением деревянного отростка правой отсеченной ноги. Зубов у инвалида не было никаких, он их сработал начисто на пищу, зато наел громадное лицо и тучный остаток туловища; его коричневые скупо отвер-

стые глаза наблюдали посторонний для них мир с жадностью обездоленности, с тоской скопившейся страсти, а во рту его терлись десны, произнося неслышимые мысли безногого.

Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку молодого похода. Мимо кузницы, с сознанием важности своего будущего, ступали точным маршем босые девочки; их слабые, мужающие тела были одеты в матроски, на задумчивых, внимательных головах вольно возлежали красные береты, и их ноги были покрыты пухом юности. Каждая девочка, двигаясь в меру общего строя, улыбалась от чувства своего значения, от сознания серьезности жизни, необходимой для непрерывности строя и силы похода. Любая из этих пионерок родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной войны, и не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, потому что их матери питались лишь запасами собственного тела; поэтому на лице каждой пионерки осталась трудность немоции ранней жизни, скудость тела и красоты выражения. Но счастье детской дружбы, осуществление будущего мира в игре юности и достоинстве своей строгой свободы обозначили на детских лицах важную радость, заменившую им красоту и домашнюю упитанность.

Воцев стоял с робостью перед глазами шествия этих неизвестных ему, взволнованных детей; он стыдился, что пионеры, наверное, знают и чувствуют больше его, потому что дети – это время, созревающее в свежем теле, а он, Воцев, устраняется спешащей, действующей молодостью в тишину безвестности, как тщетная попытка жизни добиться своей цели. И Воцев почувствовал стыд и энергию – он захотел немедленно открыть всеобщий, долгий смысл жизни, чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью.

Одна пионерка выбежала из рядов в прилегающую к кузнице ржаную ниву и там сорвала растение. Во время своего действия маленькая женщина нагнулась, обнажив роднику на опухающем теле, и с легкостью неощутимой силы исчезла мимо, оставляя сожаление в двух зрителях – Воцеве и калеке. Воцев поглядел на инвалида; у того надулось лицо безвыходной кровью, он простонал звук и пошевелил рукою в глубине кармана. Воцев наблюдал настроение могучего увечного, но был рад, что уроду империализма никогда не достанутся социалистические дети. Однако калека смотрел до конца пионерское шествие, и Воцев побоялся за целостность и непорочность маленьких людей.

– Ты бы глядел глазами куда-нибудь прочь, – сказал он инвалиду. – Ты бы лучше закурил!

– Марш в сторону, указчик! – произнес безногий.

Воцев не двигался.

– Кому говорю? – напомнил калека. – Получить от меня захотел?!

– Нет, – ответил Воцев. – Я испугался, что ты на ту девочку свое слово скажешь или подействуешь как-нибудь.

Инвалид в привычном мучении наклонил свою большую голову к земле.

– Чего ж я скажу ребенку, стервец. Я гляжу на детей для памяти, потому что помру скоро.

– Это, наверно, на капиталистическом сражении тебя повредили, – тихо проговорил Воцев. – Хотя калеки тоже стариками бывают, я их видел.

Увечный человек обратил свои глаза на Вощева, в которых сейчас было зверство превосходящего ума; увечный вначале даже помолчал от обозления на прохожего, а потом сказал с медленностью ожесточения:

– Старики такие бывают, а вот калечных таких, как ты, – нету.

– Я на войне настоящей не был, – сказал Воцев. – Тогда б и я вернулся оттуда не полностью весь.

– Вижу, что ты не был: откуда же ты дурак! Когда мужик войны не видел, то он вроде нерожавшей бабы – идиотом живет. Тебя ж сквозь скорлупу всего заметно!

– Эх!.. – жалобно произнес кузнец. – Гляжу на детей, а самому так и хочется крикнуть: «Да здравствует Первое мая!»

Музыка пионеров отдохнула и заиграла вдали марш движения. Воцев продолжал томиться и пошел в этот город жить.

До самого вечера молча ходил Воцев по городу, словно в ожидании, когда мир станет общеизвестен. Однако ему по-прежнему было неясно на свете, и он ощущал в темноте своего тела тихое место, где ничего не было, но ничто ничему не препятствовало начаться. Как заочно живущий, Воцев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горящего ума и все более уединяясь в тесноте своей печали.

Только теперь он увидел середину города и строящиеся устройства его. Вечернее электричество уже было зажжено на построечных лесах, но полевой свет тишины и вянувший запах сна приблизились сюда из общего пространства и стояли нетронутыми в воздухе. Отдельно от природы в светлом месте электричества с желанием трудились люди, возводя кирпичные огорожи, шагая с ношей груза в тесовом бреду лесов. Воцев долго наблюдал строительство неизвестной ему башни; он видел, что рабочие шевелились равномерно, без резкой силы, но что-то уже прибыло в постройке для ее завершения.

– Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки? – не решался верить Воцев. – Дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет? – сомневался Воцев на ходу.

– Иди с нами кушать! – позвали Вощева евские люди.

Воцев встал и, еще не имея полной веры в общую необходимость мира, пошел есть, стесняясь и тоскуя.

– Что же ты такой скудный? – спросили у него.

– Так, – ответил Воцев. – Я теперь тоже хочу работать над веществом существования.

За время сомнения в правильности жизни он редко ел спокойно, всегда чувствуя свою томящую душу.

Но теперь он поел хладнокровно, и наиболее активный среди мастеровых, товарищ Сафронов, сообщил ему после питания, что, пожалуй, и Воцев теперь годится в труд, потому что люди нынче стали дороги, наравне с материалом; вот уже который день ходит профуполномоченный по окрестностям города и пустым местам, чтобы встретить бесхозьяственных бедняков и образовать из них постоянных тружеников, но редко кого приводит – весь народ занят жизнью и трудом.

Воцев уже наелся и встал среди сидящих.

– Чего ты поднялся? – спросил его Сафронов.

- Сидя у меня мысль еще хуже развивается. Я лучше постою.
- Ну, стой. Ты, наверно, интеллигенция – той лишь бы посидеть да подумать.
- Пока я был бессознательным, я жил ручным трудом, а уж потом – не увидел значения жизни и ослаб.

К бараку подошла музыка и заиграла особые жизненные звуки, в которых не было никакой мысли, но зато имелось ликующее предчувствие, приводившее тело Вощева в дребезжащее состояние радости. Тревожные звуки внезапной музыки давали чувство совести, они предлагали беречь время жизни, пройти даль надежды до конца и достигнуть ее, чтобы найти там источник этого волнующего пения и не заплакать перед смертью от тоски тщетности.

<...>

Источник: Андрей Платонов. Ювенильное море, повести, роман. М.: Современник, 1988.

Кёстлер
Артур
(1905–1983)



Журналист, писатель, философ.

Родился в Будапеште, детство и юность провел в Венгрии, Австрии и Германии. Европейскую известность как журналист получил будучи совсем молодым человеком: с 1926 по 1929 г. был корреспондентом немецкого издательского концерна Ульштайна на Ближнем Востоке, в 1929-30 гг. работал в Париже. В середине тридцатых годов предпринял путешествие по Центральной Азии и год прожил в Советском Союзе. В период Гражданской войны в Испании был корреспондентом ряда английских газет, освещая происходившие события с прокоммунистических позиций. Приговорен правительством Франко к смертной казни, но под давлением международной общественности освобожден.

События в Испании и массовые репрессии в СССР привели Кёстлера к отказу от марксизма. В своем наиболее известном романе «Слепящая тьма» (в английском переводе «Мрак в полдень», во французском — «Ноль и бесконечность», в Самиздате ходил под названием «Рубашов») он пытается дать ответ на вопрос: почему подсудимые Московских процессов 1936-38 годов, прошедшие подполье, тюрьмы и ссылки, не раз смотревшие в глаза смерти в период Гражданской войны на суде признавались в чудовищных преступлениях, которых заведомо не совершали.

Первая публикация на русском языке романа А. Кёстлера «Слепящая тьма» — в журнале «Нева», № 7-8, 1988.

СЛЕПЯЩАЯ ТЬМА

<...>

На пятый или шестой день, во время очередного допроса, Рубашов потерял сознание. Он сидел перед Глеткиным, пытаясь изменить последний пункт обвинения — о причинах его преступных действий. В обвинении говорилось о «действиях из контрреволюционных убеждений», и, между прочим, как нечто самоочевидное, упоминалось, что он был платным агентом мирового капитализма.

Рубашов не соглашался с этой формулировкой. Допрос начался на рассвете, а часов около одиннадцати Рубашов медленно сполз с табуретки, упал на пол и не поднялся.

Когда через несколько минут он пришел в себя, то увидел покрытую страусиным пухом голову врача, который плескал ему в лицо холодной водой из бутылки и растирал виски. От тяжелого запаха черного хлеба и полупереваренного сала Рубашова вырвало. Врач ругнулся — у него был резкий крикливый

голос — и сказал, что подследственного надо вывести на свежий воздух. Глеткинский взгляд не выражал никаких чувств. Он позвонил и приказал вычистить ковер, а потом вызвал высокого охранника, и тот отконвоировал Рубашова в камеру. Вскоре старик-надзиратель повел его на прогулку.

В первое мгновение свежий морозный воздух одурманил Рубашова. Потом он ощутил, что у него есть легкие, и принялся жадно, с наслаждением дышать. В бледном небе светило неяркое зимнее солнце, и было одиннадцать часов утра — в незапамятные времена, еще до того, как он утонул в мутном потоке бесконечных допросов, его в этот час каждое утро выводили на воздух. Какой же он был дурак, что не ценил это восхитительное благо! Неужели нельзя просто дышать и жить, чтобы ежедневно гулять по хрустящему ароматному снежку и чувствовать на лице ласковое тепло предвечернего солнца? Неужели нельзя оборвать мутно-слепящий кошмар, который ждет его в глеткинском кабинете?

Ведь живут же другие люди без этого...

Его напарником опять оказался крестьянин в рваных сапогах. Он искоса поглядывал на слегка запинаящегося Рубашова, а потом уважительно откашлялся и, не выпуская из виду охранников, сказал:

— Тебя что-то давно не видать, ваше благородие. Да и с лица будто больной, уж не помирать ли собрался? Говорят, скоро война.

Рубашов не ответил. Он с трудом преодолевал искушение нагнуться и захватить в горсть немного снега. Медлительно кружилась карусель заключенных. В двадцати шагах от него, между белыми насыпями, брела предыдущая пара — два серых человека примерно одного роста; перед их лицами клубились белевые облачка дыхания.

— Пахота подходит, ваше благородие, — сказал крестьянин. — А у нас, как стают снега, овец погонют в горы. Их туда три дня гонют. Раньше их со всей округи в один день собирали — и в горы. Как бывало рассвет зачнет, так везде, на всех дорогах гурты, и раньше их в первый день цельными деревнями провожали. Ты, ваше благородие, столько овец за всю свою жизнь не видел и столько собак... а уж пыли-то, пыли — ровно все облака небесные на землю спустились, а собаки лают, овцы блеют... Эх, и счастливое же было житье, ваше благородие!..

Рубашов поднял лицо к небу — в солнечных лучах уже чувствовалось мягкое весеннее тепло. Над зубцами сторожевой башни, по-весеннему расчерчивая прозрачный воздух, кружили птицы. Рубашов снова услышал тоскливый голос крестьянина:

— В такой день, когда чуешь, как начинают таять снега, жить бы и жить.

Да только всем нам пришла пора помирать, ваше благородие. Погубят они нас всех, потому что мы ректинеры и потому что старому миру, когда нам жилось по-счастливому, пришел конец.

И вы действительно были очень счастливы? — спросил Рубашов, но ответа не расслышал. Он помолчал и снова обратился к напарнику: — Вы помните то место в Библии, где народы возопили к своим пастырям: «Для чего нам было выходить из Египта?»

Крестьянин энергично закивал, но Рубашов видел, что он ничего не понял. Вскоре прогулка закончилась.

Свежий воздух исцелил Рубашова всего на несколько минут — он уже опять

ощущал свинцовую сонливость и головокружение; к горлу подкатывала тошнота. У входа в корпус он торопливо нагнулся, прихватил в горсть снега и потер им пылающий лоб.

Его повели не в камеру, а прямо к Глеткину. Тот недвижимо сидел за своим столом, как и в ту минуту, когда Рубашова уводили... Сколько с тех пор прошло времени? Ему вдруг почудилось, что, пока он отсутствовал, Глеткин ни разу не пошевелился, даже не изменил позы. Шторы на окнах были задернуты, мертвый свет лампы заливал кабинет. Здесь, словно в недрах гнилой трясины, не двигалось даже время. Подходя к столу, Рубашов заметил на ковре мокрое пятно. Да-да, его ведь стошнило. И это случилось всего час назад...

— Будем считать, что вы пришли в норму, — сказал Глеткин. — Нам следует закончить с последним пунктом обвинения — о причинах вашей контрреволюционной деятельности. Он с удивлением покосился на правую руку Рубашова — тот все еще сжимал в горсти полурастаявший комочек снега. Рубашов проследил за глеткинским взглядом, улыбнулся и приподнял руку. Они оба смотрели, как снег превращается в капельки мутной воды. Когда снег растаял, Глеткин сказал:

— Как только вы подпишете последний пункт обвинения, наша работа будет завершена... Лампа горела почти полным накалом. Рубашову пришлось закрыть глаза.

— ...И я оставлю вас в покое, — закончил Глеткин. Рубашов приложил правую ладонь к виску, но она уже снова была горячей. «В покое, — мысленно повторил он последние слова Глеткина. — Покой и сон. Для чего нам было выходить из Египта?»

— Вам прекрасно известны причины моей деятельности. Вы знаете, что я не «действовал из контрреволюционных убеждений» и не продавался международному капитализму. Я делал то, что я делал, честно, повинуюсь собственной совести. Глеткин выдвинул ящик стола, вынул какую-то папку, раскрыл ее и монотонно прочитал:

— «Для нас субъективная честность не имеет значения. Того, кто неправ, ожидает расплата; тот, кто прав, будет оправдан... Таковы наши законы». — Он поднял взгляд на Рубашова. — Вы написали это в своем дневнике вскоре после ареста. Электрический свет, прожигая опущенные веки, знакомо всплескивался в утомленные глаза. Собственная мысль, повторенная глеткинским голосом, показалась Рубашову грубой и обнаженной — словно исповедь, записанная на грамофонную пластинку. Глеткин снова заглянул в папку и, не спуская безучастного взгляда с Рубашова, процитировал:

— «Сегодня истинно честный человек служит общему делу без гордыни и идет по этому пути до конца». На этот раз Рубашов выдержал взгляд следователя.

— Мне непонятно, — сказал он, — чем я помогу Партии, если втопчу себя в прах и покрою позором. Я подписал все, что вам требовалось. Я признал свои действия объективно вредными и контрреволюционными. Неужели этого мало? Он опять надел пенсне, беспомощно зажмурился и закончил резким от усталости голосом:

— Так или иначе, имя Н.З. Рубашова неразрывно связано с историей Партии. Втапывая его в грязь, вы пятнаете Революцию. Глеткин снова заглянул в папку.

— На это я тоже могу возразить цитатой из вашего дневника, — равнодушно проговорил он. — Вы пишете: «Упрощенная и бесконечно повторяемая мысль легче укладывается в народном сознании; то, что объявлено на сегодня правильным, должно сиять ослепительной белизной; то, что признано сегодня неправильным, должно быть тускло-черным, как сажа; сейчас народу нужен лубок». Немного помолчав, Рубашов сказал:

— Я понимаю, куда вы клоните. Вам хочется, чтобы я сыграл лубочного дьявола, — мне следует скрежетать зубами, выпучивать белесые глаза и плевать серой — да не за страх, а за совесть. От Дантона и его соратников не требовали добровольного участия в подобном балагане. Глеткин захлопнул папку и, выпрямившись в кресле, согнал назад складки гимнастерки под скрипучим ремнем.

— Добровольно выступив на Открытом процессе, вы выполните последнее задание Партии. Рубашов промолчал. Он закрыл глаза и попытался представить себе, что дремлет под горячими лучами летнего солнца. Но от глеткинско-го голоса он укрыться не мог.

— По сравнению с тем, что происходит у нас, именно Конвент можно назвать балаганом. Я читал про ваших Дантонов — они носили пудренные косички и заботились только о своей пресловутой чести. Даже перед смертью личная гордыня была им важнее общего дела... Рубашов продолжал молчать. Глеткинский голос, ввинчиваясь в уши, сверлил и без того тяжко гудящую голову, долбил с двух сторон воспаленный череп.

— У нас впервые в истории Революция не только победила, но и удержала власть. Сейчас наша страна — передовой бастион новейшей эры. Этот бастион, как вы знаете, занимает шестую часть земной суши и объединяет одну десятую человечества... Теперь глеткинский голос звучал за спиной Рубашова. Следовательно встал и расхаживал по кабинету — в первый раз с тех пор, как начались допросы. Прерывистый скрип его сапог временами заглушал поскрипывание ремней; Рубашов явственно ощущал терпкий запах пота и свежей кожи.

— Когда у нас в стране свершилась Революция, мы думали, что нашему примеру последуют все народы. Но волна мировой реакции затопила страны Европы и подкатилась к нашим границам. Партийцы разделились на две группы. Одна состояла из авантюристов, которые предлагали рискнуть нашими завоеваниями, чтобы поддержать всемирную революцию. Вы примкнули именно к этой группе. Партия вовремя осознала опасность авантюристической политики и разгромила фракционеров... Рубашов попытался поднять голову и возразить Глеткину. Но он слишком устал. Шаги следователя за его спиной отдавались в черепе барабанным боем. Он безвольно ссутулился на своей табуретке и ничего не сказали.

— Руководитель нашей Партии разработал мудрую и эффективную стратегию. Он осознал, что теперь все зависит от того, сумеем ли мы защитить первый революционный бастион и дать отпор мировой реакции. Он осознал, что нынешний период может продлиться десять, двадцать или даже пятьдесят лет, а затем подымется новая волна всемирной революции. Но до тех пор нам придется сражаться в одиночку. И мы должны выполнить наш единственный долг перед человечеством — выжить. Рубашов смутно вспомнил похожую фразу: «Революционер обязан сохранить свою жизнь для общего дела». Кто это ска-

зал? Он сам? Иванов? Чтобы выполнить свой революционный долг, он пожертвовал жизнью Арловой. И к чему же он теперь пришел?..

— ...Выжить! — гремел глеткинский голос. — Оплот Революции надо было сохранить во что бы то ни стало, ценой любых жертв. Руководитель Партии, выдвинув этот гениальный лозунг, последовательно и неуклонно проводил его в жизнь. Деятельность зарубежных партийных Секций следовало подчинить нашей государственной политике. Тот, кто этого не понимал, подлежал уничтожению. Нам пришлось ликвидировать наших лучших бойцов за границей. Мы не останавливались перед разгромом отдельных зарубежных Секций Партии, если этого требовали интересы революционного бастиона. Мы не останавливались перед союзом с реакционными правительствами, когда требовалось разбить волну Движения, поднявшуюся не вовремя. Мы предавали друзей и шли на уступки врагам, чтобы сохранить Революционный Бастион. Мы были солдатами Революции и выполняли свой исторический долг. Мягкотелые интеллигенты и близорукие моралисты отшатнулись от нас. Но руководитель Партии с гениальной прозорливостью указал: победит тот, кто окажется выносливей... Глеткин на секунду остановился и подошел к рубашовской табуретке. Его гладко выбритый череп покрылся каплями пота, широкий шрам выделялся сейчас особенно заметно. Ему, видимо, было неприятно, что он вдруг утратил обычную сдержанность. Тяжело дыша, он вытер голову носовым платком, потом строевым шагом подошел к своему креслу, сел за стол и согнал назад складки гимнастерки. Свет лампы сделался менее резким, и, когда Глеткин заговорил, его голос звучал по-обычному бесстрастно:

— Партийный курс определен абсолютно четко. Наша цель оправдывает любые средства — вот единственный закон, которому подчинена тактика Партии. И, руководствуясь этим законом, Государственный Обвинитель потребует вашей смерти, гражданин Рубашов...

— Ваша группа, гражданин Рубашов, разбита и уничтожена. Вы хотели расколоть партийные ряды, хотя знали, что раскол Партии вызовет Гражданскую войну. Вам ведь известно о недовольстве среди крестьян, которые еще не поняли необходимости возложенных на них временных жертв. Не сегодня-завтра международный капитализм может начать войну против нашей страны, и малейшие шатания в среде трудящихся масс приведут к неисчислимым бедствиям. Партии необходимо крепить сплоченность своих рядов. Она должна стать единым монолитом, который спаян железной дисциплиной и беззаветной преданностью Руководству. Вы и ваши приспешники, гражданин Рубашов, попытались расколоть партийное единство. Если вы действительно раскаялись, то поможете нам устранить возникшую трещину. Это, как я уже говорил, последнее партийное поручение...

— Ваша задача проста. Фактически, вы сами ее сформулировали: необходимо всемерно высветлить для масс то, что правильно, зримо зачернить то, что неправильно. Поэтому вам надлежит пригвоздить оппозицию к позорному столбу истории и показать объективную преступность антипартийных лидеров. Такой язык будет понятен народу. А если вы начнете говорить о сложных мотивах, которыми вы руководствовались в своих действиях, это внесет только путаницу в сознание масс. Кроме того, массы не должны ис-

пытывать к вам ни жалости, ни симпатии — это тоже входит в вашу задачу. Симпатия или жалость к оппозиции со стороны широких масс чревата опасностями для страны в целом...

— Товарищ Рубашов, я надеюсь, вы понимаете, какое доверие оказывает вам Партия. Впервые Глеткин назвал Рубашова «товарищем». Рубашов резко выпрямился на табуретке и поднял голову. Его охватило волнение, с которым он не в силах был справиться. Надевая пенсне, он заметил, что его рука чуть заметно дрожит.

— Понимаю, — сказал он негромко.

— При этом Партия не обещает вам никакой награды. Некоторые обвиняемые согласились с нами сотрудничать после предварительного физического воздействия. Некоторых мы обязались помиловать или сохранить жизнь их родственникам, взятым в качестве заложников. Вам, товарищ Рубашов, Партия не предлагает никаких сделок и ничего не обещает.

— Я понимаю, — повторил Рубашов. Глеткин снова открыл папку, где лежал рубашовский тюремный дневник.

— Одно место в ваших записях произвело на меня сильное впечатление, — сказал он. — Вы говорите: «Я жил и действовал по нашим законам... Если я был прав, мне не о чем сожалеть; если неправ, меня ждет расплата». Глеткин поднял голову и посмотрел Рубашову в глаза. — Вы были неправы, и вас ждет расплата, товарищ Рубашов. Партия обещает вам только одно — после окончательной победы, когда это не сможет принести вреда, секретные документы будут опубликованы. Тогда весь мир узнает, что легло в основу того Процесса — или того балагана, как вы его называете, — в котором вы участвовали по велению Истории. Глеткин замолчал, согнал назад складки гимнастерки под скрипучим ремнем и после секундного замешательства неуклюже добавил — причем его широкий шрам сделался совершенно красным:

— И тогда вы — а также некоторые из ваших друзей — получите от широких масс чувство жалости и симпатии, в которых вам отказано на сегодня. Сказав это, Глеткин пододвинул к Рубашову последние листы его Дела и положил рядом свою ручку. Рубашов поднялся и с напряженной улыбкой проговорил:

— Меня всегда интересовало, на что похожа чувствительность неандертальца. Теперь я это знаю.

— Не понимаю вас, — сказал Глеткин; он тоже встал. Рубашов подписал последний пункт обвинения, в котором он признавался, что действовал из контрреволюционных убеждений и был платным агентом мирового капитализма. Подняв голову, он случайно глянул на литографию Первого, и ему опять вспомнилась насмешливая, сатанински-мудрая ирония, мелькнувшая в глазах вождя, когда он пожимал ему руку при их последнем прощании, — вездесущий портрет отчасти передавал тот насмешливо-грустный цинизм, с которым Первый взирал на своих подданных.

— Вполне естественно, — сказал Рубашов. — Есть вещи, которые понятны только людям старшего поколения — киферам, ивановым, рубашовым... Теперь это уже не имеет значения.

— Я дам приказ, чтобы вас не беспокоили до открытия судебного процесса, — немного помолчав, сказал Глеткин в своей обычной официально-коррек-

тной манере. Его явно раздражала ирония Рубашова. — Есть у вас какие-нибудь дополнительные желания?

— Только одно, — ответил Рубашов, — уснуть. — Он стоял на пороге кабинета рядом с высоким охранником и казался низкорослым, усталым и мало-значительным бородатеньким стариком в старомодных очках.

— Я дам приказ, чтобы вас не беспокоили, когда вы спите, — сказал Глеткин. Дверь за Рубашовым захлопнулась. Глеткин подошел к своему столу и опустился в кресло. Несколько секунд он сидел неподвижно. Потом вызвал звонком стенографистку. Стенографистка бесшумно проскользнула на свое обычное место за барьером.

— Поздравляю вас с успешным завершением дела, товарищ Глеткин, — сказала она. Глеткин уменьшил накал лампы до нормального.

— Эта вот штукавина, — он указал на лампу, — да недосып, да усталость — вот в чем все дело. Главное — правильно определить физическую конституцию подследственного.

Источник: Библиотека Максима Машкова (<http://www.lib.ru>)

Оруэлл Джорж
(Эрик Блэр)
(1903–1950)



Писатель, журналист. Родился в Матихари (Бенгалия) в англо-индийской семье. Учился в Итоне (1917-21 г.). С 1922 по 1927 год служил в индийской Имперской полиции в Бирме. Вернувшись в Европу, жил в Париже, где начал писать. С 1933 г. стал печататься.

Участвовал в Гражданской войне в Испании в составе ополчений троцкистской организации ПОУМ (Рабочая партия марксистского объединения), был ранен. Впечатления об этой войне послужили материалом для книги «Памяти Каталонии» (1938) и очерка «Вспоминая войну в Испании» (1942). По его собственным словам, то, что он увидел в Испании, и позже во внутренней жизни левых политических партий вселило в него отвращение к политике. Результатом этого явились сатира «Скотный двор (Ферма животных, Скотский хутор)» (1945) и одна из известнейших антиутопий XX века «1984» (1948). Оба эти произведения были одними из наиболее популярных текстов Самиздата.

СКОТНЫЙ ДВОР

Глава 3

Через три дня старый майор мирно опочил во сне. Его тело было предано земле неподалеку от фруктового сада. Случилось это в начале марта. Последующие три месяца были отмечены размахом тайной деятельности. Речь майора заставила большинство самых сообразительных жителей фермы посмотреть на жизнь под новым углом зрения. Они не знали, когда вспыхнет восстание, предсказанное майором, у них не было никаких оснований считать, что оно произойдет еще при их жизни, но ясно понимали, что они должны готовить восстание. Работа по просвещению и организации всех остальных, естественно, легла на свиней, чьи выдающиеся умственные способности были единодушно признаны всеми. Но и среди них явно выделялись два молодых борова, Снежок и Наполеон, которых мистер Джонс откармливал на продажу. Наполеон был большим и даже несколько свирепым с виду беркширским боровом, единственным беркширцем на ферме. Он не был многословен, но пользовался репутацией личности себе на уме. Снежок отличался большей живостью характера, быстрой речью и изобретательностью, но относительно меньшей серьезностью. Остальные свиньи на ферме были еще поросятами. Наибольшей известностью среди них пользовался маленький толстенький поросенок по имени Визгун, с круглыми щечками, вечно помаргивающими глазками, быстрыми движениями и пронзительным голосом. Он был блестящим оратором. Обсуждая какую-то

сложную проблему, он метался из стороны в сторону, и хвостик его все время подрагивал, что придавало его словам особую убедительность. Кое-кто говорил о Визгуне, что он способен превратить белое в черное и наоборот. Они втроем переработали проповеди старого майора в стройную систему воззрений, которую назвали анимализмом. Несколько ночей в неделю после того, как мистер Джонс отходил ко сну, на тайных сборищах в амбаре они объясняли всем остальным принципы анимализма. Сначала они встретились с тупостью и равнодушием. Кое-кто говорил о необходимости соблюдать лояльность по отношению к мистеру Джонсу, которого они называли не иначе, как хозяин или отпускали идиотские замечания типа «Мистер Джонс нас кормит. Если его не будет, мы умрем с голоду». Другие задавали вопросы: «С какой стати нам заботиться о том, что будет после нашей смерти?» Или «Если восстание так и так произойдет, то какой смысл в том, работаем мы для него или нет?» И свиньям стоило немалых трудов объяснить им, что все это противоречит духу анимализма. Самый глупый вопрос задала Молли, белая кобылка. Первое, с чем она обратилась к Снежоку, было: «Будет ли сахар после восстания?»

— Нет, — твердо сказал Снежок. — Мы не собираемся производить сахар на этой ферме. Кроме того, ты можешь обойтись и без него. Тебе хватит овса и сена.

— А разрешено ли мне будет носить ленточки в гриве? — Спросила Молли.

— Товарищ, — сказал Снежок, — эти ленточки, к которым ты так привязана, — символ рабства. Неужели ты не можешь понять, что свобода дороже любых ленточек? Молли согласилась, что это именно так, но похоже было, что она осталась при своем мнении.

Гораздо больше трудов доставила свиньям необходимость опровергать ложь, пущенную Мозусом, ручным вороном. Мозус, любимец мистера Джонса, был болтуном и сплетником, но в то же время красноречив он умел. Он распространял слухи о существовании таинственной страны под названием Леденцовая гора, куда после смерти якобы попадают все животные. Она расположена где-то на небе, рассказывал Мозус, сразу же за облаками. На леденцовой горе семь дней в неделю — воскресенье, клевер в соку круглый год, а колотый сахар и льняной жмых растут прямо на кустах. На ферме терпеть не могли Мозуса за то, что он только рассказывает басни и не работает, но кое-кто верил в Леденцовую гору, и свиньям пришлось немало потрудиться, прежде чем они убедили всех в том, что такого места не существует.

Самой безграничной преданностью отличались две тягловые лошади, Кловер и Боксер. Сам процесс мышления доставлял им немалые трудности, но раз и навсегда признав свиней своими пастырями, Кловер и Боксер впитывали в себя все, что было ими сказано и затем терпеливо втолковывали это остальным животным. Они неизменно присутствовали на всех сборищах в амбаре и первыми затягивали «Скоты Англии», которым обычно заканчивались встречи.

Но, как оказалось, восстание состоялось значительно раньше и произошло куда легче, чем кто-либо мог предполагать. В свое время мистер Джонс был неплохим фермером, хотя и отличавшимся крутым характером, но потом дела его пошли значительно хуже. Просадив массу денег в судебных тяжбах, он перестал интересоваться делами фермы и стал регулярно выпивать. Целые дни он проводил на кухне, развалившись в своей качалке — проглядывал газеты,

прикладывался к бутылке и время от времени кормил Мозуса кусками хлеба, вымоченными в пиве. Работники его слонялись без дела и тащили все, что плохо лежит; поля заросли сорняками; изгороди зияли прорехами, а животные часто оставались некормленными.

Пришел июнь, и поля были готовы к жатве. В канун середины лета, который выпал на субботу, мистер Джонс поехал в Уиллингдон и так надрался в «Красном льве», что добрался домой только к полудню воскресного дня. Подоив коров ранним утром, батраки ушли ловить кроликов, не позаботившись о том, чтобы накормить животных. Вернувшись, мистер Джонс немедленно завалился спать на кушетке в гостиной, прикрыв лицо газетой, то есть и к вечеру обитатели фермы оставались голодными. В конце концов их терпение истощилось. Одна из коров вышибла рогами дверь в закрома, которые немедленно наполнились животными. Как раз в это время проснулся мистер Джонс. В следующий момент он и четверо его батраков, вооружившись кнутами, которыми они полосовали во все стороны, были уже на месте приспешствия. Чаша терпения оголодавших животных переполнилась. В едином порыве они ринулись на своих мучителей. Внезапно Джонс и остальные почувствовали, что их толкают и бьют со всех сторон. Инициатива была вырвана из их рук. Им никогда раньше не приходилось сталкиваться с животными в таком состоянии, и этот внезапный взрыв ярости тех, с кем они привыкли обращаться с небрежной жестокостью, испугал их почти до потери сознания. Они поняли, что им остается только думать о собственном спасении и уносить ноги. Минутой позже они впятером впопыхах вывалились на проселок, который вел к дороге, а торжествующие животные преследовали их.

Миссис Джонс выглянула из окна спальни, увидела, что происходит, торопливо покидала в саквояж первое, что попало под руку, и покинула ферму через заднюю дверь. Мозус сорвался со своего шеста и, громко каркая, последовал за ней. Тем временем животные гнали мистера Джонса и его приспешников по дороге до тех пор, пока за ними не захлопнулись тяжелые ворота. Таким образом, прежде, чем они поняли, что произошло, восстание было успешно завершено: Джонс изгнан, и ферма «Усадьба» перешла в их владение.

Первые несколько минут животные с трудом осознавали свою удачу. Сначала они резво бежали границы фермы, дабы убедиться, что никому из людей не удалось где-нибудь спрятаться; затем они помчались обратно на ферму, полные желания уничтожить последние следы ненавистного царствования Джонса. Помещение, где хранилась упряжь, было взломано; удила, уздечки, поводки, страшные ножи, которыми мистер Джонс кастрировал свиней и баранов — все было выброшено наружу. Вожжи, недоуздки, шоры — все эти унижительные приспособления полетели в костер, уже полыхавший во дворе. Такая же участь постигла хлысты. Все животные прыгали от радости, видя, как они горят. Снежок кроме того швырнул в костер и ленточки, которые в ярмарочные дни обычно вплетались в хвосты и гривы лошадей.

— Ленточки, — сказал он, — должны быть признаны одеждой, признаком человеческих существ. Все животные должны ходить нагими.

Услышав это, Боксер страхнул соломенную шляпу, которую обычно носил летом, чтобы уберечь от оводов свои уши, и с облегчением кинул ее в огонь.

Не потребовалось много времени, чтобы разрушить все, напоминавшее

животным о мистере Джонсе. После того Наполеон отвел их в закрома и выдал каждому по двойной порции пищи, а собакам, кроме того, — по два бисквита. Затем они семь раз подряд вдохновенно спели «Скоты Англии» и пошли уstraиваться на ночь. Сон их был крепок, как никогда раньше.

Как обычно, проснувшись на рассвете, они внезапно вспомнили блистательную вчерашнюю победу и все вместе потрусили на пастбище. Недалеко от него был холм, с которого открывался вид на большинство владений фермы. В чистом утреннем свете животные взобрались на его вершину и стали осматриваться. Да, все это была их собственность — все, что мог охватить глаз, принадлежало им! В восторге от этих открытий они стали носиться кругами и прыгать, выражая свое восхищение. Они катались по росе, они набивали рты сладкой летней травой, они взрывали мягкую черную землю и с наслаждением упивались ее волнующим ароматом. Затем, осматриваясь, они обошли всю ферму, с неммым восторгом глядя на пашни, пастбища, на фруктовый сад, на пруд и рощицу. Похоже было, что никогда ранее они не видели всего этого и сейчас с трудом верили, что все принадлежит им.

Затем они вернулись к постройкам и в замешательстве остановились на пороге открытой двери фермы. Теперь она тоже принадлежала им, но войти внутрь было еще несколько страшновато. Помедлив с минуту или около того, Снежок и Наполеон распахнули дверь настежь, и животные гуськом осторожно вошли внутрь, пугливо стараясь ничего не задеть. На цыпочках они прошли из комнаты в комнату, боясь проронить хоть шепот и в изумлении дивясь на ту невероятную роскошь, что окружала их — постели с пуховыми перинами, зеркала, софа из конского волоса, брюссельские ковры и литография королевы Виктории над вешалкой в гостиной. Они уже спускались по лестнице, когда выяснилось, что Молли исчезла. Вернувшись, остальные обнаружили ее в одной из спален. Она взяла кусок голубой ленточки с туалетного столика миссис Джонс, перекинула его через плечо и с предельно глупым видом любовалась на себя в зеркало. Все животные единодушно осудили ее и затем все вместе покинули эту комнату. Несколько окороков, висевших на кухне, были взяты для захоронения, и в буфетной Боксер проломил копытом бочонок с пивом — все остальное в доме осталось нетронутым. Было принято единодушное решение, что ферма останется музеем. Все пришли к соглашению, что ни одно животное не должно жить в ее помещениях.

После завтрака Снежок и Наполеон снова созвали всех.

— Товарищи, — сказал Снежок, — уже полшестого, и нас ждет долгий день. Сегодня мы начнем жатву. Но прежде всего мы должны кое-что сделать.

И свиньи сообщили, что в течение последних трех месяцев они учились читать и писать по старому сборнику прописей, который когда-то принадлежал детям мистера Джонса, но был выброшен в кучу хлама. Наполеон послал за банками с черной и белой красками и направился к воротам, за которыми начиналась основная дорога. Затем Снежок (именно Снежок, поскольку у него был самый лучший почерк) взял своими раздвоенными копытцами кисть, раскрасил название «Ферма “Усадьба”» на верхней перекладине ворот и на этом месте написал «Скотский хутор». Отныне таково должно было быть название фермы. После этого они вернулись к зданию, где уже стояла прислоненная к зад-

ней стенке большого амбара лестница, доставленная по приказанию Наполеона и Снежока. Они объяснили, что последние три месяца, когда они изучали прописи, им, свиньям, удалось сформулировать в семи заповедях принципы анимализма. Эти семь заповедей будут запечатлены на стене; и в них найдут отражение непререкаемые законы, по которым отныне и до скончания века будут жить все животные на ферме. С некоторыми трудностями (ибо свинье не так просто балансировать на лестнице) Снежок забрался наверх и принялся за работу; несколькими ступеньками ниже Визгун держал банку с краской. Заповеди были написаны на темной промасленной стене большими белыми буквами, видными с тридцати метров. Вот что они гласили:

Семь заповедей:

1. Каждый, кто ходит на двух ногах, — враг.
2. Каждый, кто ходит на четырех ногах или у кого есть крылья, — друг.
3. Животные не носят платья.
4. Животные не спят в кроватях.
5. Животные не пьют алкоголя.
6. Животное не может убить другое животное.
7. Все животные равны.

Написано все было очень аккуратно, не считая только, что вместо «друг» было «дург», а одно из «с» было развернуто в другую сторону, но в целом все было очень правильно. Чтобы собравшиеся твердо уяснили написанное, Снежок громко прочел заповеди. Все кивали в полном согласии, а самые сообразительные сразу же стали учить заповеди наизусть.

— А теперь, товарищи, — сказал Снежок, отбрасывая кисточку, — на нивы! Пусть для нас станет делом чести убрать урожай быстрее, чем Джонс и его рабы!

Но в этот момент три коровы, которые давно уже тоскливо переминались с ноги на ногу, стали громко мычать. Их не доили уже целые сутки, и все три вымени у них болели. Немного подумав, свиньи послали за ведрами и весьма успешно подоили коров, поскольку, как оказалось, свиные копытца были словно специально приспособлены для этой цели. Скоро пять ведер наполнились жирным парным молоком, на которое остальные животные смотрели с нескрываемым интересом.

— Что будем делать с этим молоком? — Спросил кто-то.

— Джонс иногда подмешивал его нам в кормушки, — сказала одна из кур.

— Не о молоке надо думать, товарищи! — Вскричал Наполеон, закрывая собой ведра. — О нем позаботятся. Урожай — вот что главное. Товарищ Снежок поведет вас. Я последую за вами через несколько минут. Вперед, товарищи! Жатва не ждет.

И животные двинулись на поля, где принялись за уборку, а когда вечером вернулись домой, то обнаружили, что молоко исчезло.

<...>

Глава 10

Шли годы. Приходили и уходили весны и осени. Уходили те, кому пришел срок их короткой жизни на земле. Настало время, когда не осталось почти нико-

го, кто помнил бы былые дни восстания, кроме Кловер, Бенджамина, ворона Мозуса и некоторых свиней.

Скончалась Мюриель; не было уже Блюбелл, Джесси и пинчера. Умер и Джонс — он скончался где-то далеко, в лечебнице для алкоголиков. Был забыт Снежок. Был забыт и Боксер — всеми, кроме некоторых, кто еще знал его. Кловер превратилась в старую кобылу с негнущимися ногами и гноящимися глазами. Она достигла пенсионного возраста два года назад, но никто из животных так пока и не вышел на пенсию. Разговоры, что угол пастбища будет отведен для тех, кто имеет право на заслуженный отдых, давно уже кончились. Наполеон стал матерым боровом весом в полтора центнера. Визгун так растолстел, что с трудом мог открывать глаза. Не изменился только старый Бенджамин; у него только поседела морда, и после смерти Боксера он еще больше помрачнел и замкнулся.

На ферме теперь жило много животных, хотя прирост оказался не так велик, как ожидалось в свое время. Для многих появившихся на свет восстание было далекой легендой, рассказы о котором передавались из уст в уста, а те, кто был куплен, никогда не слышали о том, что было до их появления на ферме. Кроме Кловер, на ферме теперь жили еще три лошади. Это были честные создания, добросовестные работники и хорошие товарищи, но отличались они крайней глупостью. Никто из них не освоил алфавит дальше буквы «В». Они соглашались со всем, что им рассказывали о восстании и принципах анимализма, особенно, если это была Кловер, к которой они относились с сыновьим почтением; но весьма сомнительно, понимали ли они что-нибудь.

Ферма процветала, на ней царил строгий порядок, она даже расширилась за счет двух участков, прикупленных у мистера Пилкингтона. Наконец мельница была успешно завершена, и теперь ферме принадлежали веялка и элеватор, не говоря уж о нескольких новых зданиях. Уимпер купил себе двуколку. Правда, электричества на ферме так и не появилось. На мельнице мололи муку, что давало ферме неплохие доходы. Животным пришлось немало потрудиться не только на строительстве мельницы; было сказано, что придется еще ставить динамомашину. Но о том изобилии, о котором когда-то мечтал Снежок — электрический свет в стойлах, горячая и холодная вода, трехдневная рабочая неделя, — больше не говорилось. Наполеон отказался от этих идей, как противоречащих духу анимализма. Истина, сказал он, заключается в непрестанном труде и умеренной жизни.

Порой начинало казаться, что хотя ферма богатеет, изобилие это не имеет никакого отношения к животным — кроме, конечно, свиней и собак. Возможно, такое впечатление частично складывалось из-за того, что на ферме было много свиней и много собак. Конечно, они не отлынивали от работы. Они были загружены, как не уставал объяснять Визгун, бесконечными обязанностями по контролю и организации работ на ферме. Много из того, что они делали, было просто недоступно пониманию животных. Например, Визгун объяснял, что свиньи каждодневно корпят над такими таинственными вещами, как «сводки», «отчеты», «протоколы» и «памятные записки». Они представляли собой большие, густо исписанные листы бумаги, и, по мере того как они заполнялись, листы сжигались в печке. От этой работы зависит процветание фермы, объяснил Визгун. Но все же ни свиньи, ни собаки не создавали своим трудом ника-

кой пищи; а их обширный коллектив всегда отличался отменным аппетитом.

Что же касается образа жизни остальных, насколько им было известно, они всегда жили именно так. Они испытывали постоянный голод, они спали на соломе, пили из колод и трудились на полях; зимой они страдали от холода, а летом от оводов. Порой старики, роясь в глубинах памяти, пытались разобраться, лучше или хуже им жилось в ранние дни восстания, сразу же после изгнания Джонса. Вспомнить они не могли. Им не с чем было сравнивать свою теперешнюю жизнь: единственное, что у них было, это сообщения Визгуна, который, вооружившись цифрами, убедительно доказывал им, что дела идут лучше и лучше. Животные чувствовали, что проблема неразрешима; во всяком случае, у них почти не оставалось времени, чтобы говорить на подобные темы. Только старый Бенджамин мог вспомнить каждый штрих своей долгой жизни, и он знал, что дела всегда шли таким образом, ни лучше, ни хуже — голод, лишения, разочарования; таков, говорил он, неопровержимый закон жизни.

И все же животных не покидала надежда. Более того, они никогда ни на минуту не теряли чувства гордости за ту честь, что была им предоставлена — быть членами скотского хутора. Они все еще продолжали оставаться единственной фермой в стране — во всей Англии! — Которая принадлежала и которой руководили сами животные. Никто из них, даже самые молодые, даже ново-прибывшие, которые были куплены на фермах в десяти или двадцати милях от скотского хутора, не теряли ощущения чуда, к которому они были причастны. И когда они слышали грохот револьверного салюта, видели, как трепещет на мачте зеленый флаг, сердца их трепетали от чувства непреходящей гордости, и они неизменно вспоминали далекие легендарные дни, когда был изгнан Джонс, запечатлены семь заповедей, великие сражения, в которых человечество потерпело решительное поражение. Никто не был забыт, и ничто не было забыто. Вера в предсказанную майором республику животных, раскинувшуюся на зеленых полях Англии, на которые не ступит нога человека, продолжала жить. Когда-нибудь это время наступит: возможно, не скоро, возможно, никто из ныне живущих не увидит этих дней, но они придут. Порой тут и там тишком звучала мелодия «Скотов Англии», во всяком случае, все обитатели фермы знали ее, хотя никто не осмелился бы исполнить ее вслух. Да, жизнь была трудна, и не все их надежды сбылись; но они понимали, что отличаются от всех прочих. Если они голодали, то не потому, что кормили тиранов-людей; если их ждал тяжелый труд, то, в конце концов, они работали для себя. Никто из них не ходил на двух ногах. Никто не знал, как звучит «Хозяин»! Все были равны.

<...>

В один прекрасный вечер, как раз после возвращения овец, когда животные кончили работать и неторопливо шли на ферму, они услышали доносящееся со двора испуганное ржание. Животные остановились в удивлении. Это был голос Кlover. Она снова заржала, и тогда все галопом поскакали на ферму. Ворвавшись во двор, они увидели то, что предстало глазам Кlover.

Это была свинья, шествовавшая на задних ногах.

Да, это был Визгун. Несколько скованно, так как он не привык нести свой живот в таком положении, но довольно ловко балансируя, он пересек двор. А

через минуту из дверей фермы вышла вереница свиней — все на задних ногах. У некоторых это получалось лучше, у других хуже, кое-кто был так неустойчив, что, казалось, ему требуется подпорка, но все успешно совершили круг по двору. И наконец раздался собачий лай и торжественное кукареканье черного петуха, что оповестило о появлении самого Наполеона. Надменно глядя по сторонам, он величественно прошел через двор в окружении собак.

Между копытами у него был зажат хлыст.

Наступила мертвая тишина. Смущенные и напуганные животные, сбившись в кучу, наблюдали, как по двору медленно движется вереница свиней. Казалось, что мир перевернулся вверх ногами. Но, наконец, настал момент, когда исчез первый шок и, когда, несмотря ни на что — ни на страх перед собаками, ни на привычку, воспитанную долгими годами, никогда не жаловаться, никогда не критиковать, что бы ни случилось — раздались слова протеста. Но как раз в этот момент, словно по сигналу, овцы хором начали громогласно блеять:

— Четыре ноги хорошо, две ноги лучше! Четыре ноги хорошо, две ноги лучше! Четыре ноги хорошо, две ноги лучше!

И так без остановки продолжалось минут пять. И когда овцы наконец смолкли, время для протестов уже было упущено, поскольку свиньи уже двигались обратно на ферму.

Бенджамин почувствовал, как кто-то ткнул носом ему в плечо. Он оглянулся. Это была Кловер. Ее старые глаза помутнели еще больше. Не говоря ни слова, она осторожно потянула его за гриву и повела к той стене большого амбара, на которой были написаны семь заповедей. Через пару минут они уже стояли у стены с белыми буквами на ней.

— Зрение слабеет, — сказала она наконец. — Но даже когда я была молода, то все равно не могла прочесть, что здесь написано. Но мне кажется, что стена несколько изменилась. Не изменились ли семь заповедей, Бенджамин?

Единственный раз Бенджамин согласился нарушить свои правила и прочел ей то, что было написано на стене. Все было по-старому — кроме одной заповеди. Она гласила:

Все животные равны.

Но некоторые животные равны более, чем другие.

После этого уже не показалось странным, когда на следующий день свиньи, надзиравшие за работами на ферме, обзавелись хлыстами. Не показалось странным и то, что свиньи купили для себя радиоприемники, провели телефон и подписались на «Джон Буль», «Тит-бит» и «Дейли Миррор». Не показалось странным, что теперь можно было увидеть Наполеона, прогуливающимся в саду фермы с трубкой во рту — и даже то, что свиньи стали использовать по прямому назначению гардероб мистера Джонса. Наполеон облачился в черный пиджак, охотничьи бриджи и кожаные наколенники, а его любимая свиноматка одела шелковое платье, которое миссис Джонс носила по воскресеньям.

Через неделю, примерно около полудня, на ферме появилось несколько дрожек. Это явилась делегация с соседних ферм, приглашенная для знакомства с фермой. Они осмотрели все с начала до конца и выразили свое глубокое восхищение

увиденным, особенно мельницей. Животные выпалывали сорняки на свекольном поле. Они работали с предельным старанием, почти не отрывая глаз от земли и не зная, кого надо бояться больше — то ли свиней, то ли людей-визитеров.

Вечером с фермы доносились звуки пения и громкий смех. Внезапно, слушая эту мешанину голосов, животные испытали прилив острого любопытства. Что может произойти, когда животные и люди в первый раз встретились на равных? В едином порыве все стали тихонько скапливаться в саду фермы. Миновав калитку, они было остановились в испуге, но Кlover повела их за собой. На цыпочках они подошли к дому, и те, у кого хватало роста, заглянули в окна столовой. Здесь за круглым столом сидело полдюжины фермеров и такое же количество самых именитых свиней. Наполеон занимал почетное место во главе стола. Свиньи непринужденно развалились в креслах. Компания развлекалась игрой в карты, время от времени отвлекаясь от этого занятия для очередного тоста. По кругу ходил большой кувшин, из которого кружки регулярно наполнялись пивом. Никто не обратил внимания на удивленные физиономии, прижавшиеся к стеклу.

С кружкой в руке поднялся мистер Пилкингтон из Фоксвуда. Я прошу, сказал он, почтенную компанию присоединиться к моему тосту. Но предварительно он должен сказать несколько слов, которые рвутся наружу.

С чувством большого удовлетворения надо отметить, — сказал мистер Пилкингтон, — и, он уверен, к нему присоединятся все остальные — что долгий период недоразумений и недоверия ушел в прошлое. Наступает время — и так считает не только он, но его чувства разделяют все присутствующие — когда уважаемые владельцы скотского хутора будут относиться к своим соседям не только без враждебности, но и с определенным доверием. Все неприятные инциденты забыты, порочные идеи отвергнуты. В свое время бытовало мнение, что существование фермы, которой владеют и управляют свиньи, представляет собой ненормальное явление, оказывающее плохое влияние на соседей. Многие фермеры были безоговорочно уверены, что на ферме царит дух вседозволенности и распущенности. Они были обеспокоены тем влиянием, какое данная ферма может оказать на их собственный скот и даже на их работников. Но ныне не существует никаких сомнений и тревог. Сегодня он лично и его друзья, посетив ферму, досконально осмотрели ее собственными глазами — и что же они обнаружили? Для всех фермеров могут служить вдохновляющим примером не только современные методы хозяйствования, но и установившиеся здесь дисциплина и порядок. Он уверен, что не будет ошибкой утверждать, что здесь рабочий скот трудится больше, а потребляет пищи меньше, чем на какой-либо другой ферме в округе. И он, и его друзья сегодня видели на ферме много нововведений, которые они постараются незамедлительно внедрить в своих хозяйствах.

Хотелось бы закончить свое выступление, сказал он, еще раз подчеркнуть те дружеские связи, которые ныне должны существовать между скотским хутором и его соседями. Между свиньями и людьми ныне нет и не может быть коренных противоречий. У них одни и те же заботы и трудности, одни и те же проблемы, в частности, касающиеся работы. В этом месте мистер Пилкингтон хотел бросить собравшимся тщательно подготовленную концовку, но он слишком перенапрягся от волнения и оказался не в состоянии сделать это. Справив-

шись с замешательством, отчего его многочисленные подбородки побагровели, он наконец произнес: «Если у вас есть рабочий скот, — сказал он, — то у нас есть рабочий класс!»

Этот каламбур вызвал за столом восторженный рев; а мистер Пилкингтон еще раз поблагодарил свиней за то, что с их помощью они смогут решить проблемы малого рациона, длинного рабочего дня и жесткой системы управления, которые они сегодня наблюдали на ферме.

А теперь, сказал он, он просит общество подняться, предварительно убедившись, что кружки наполнены. «Джентельмены, — завершая выступление, сказал он, — я предлагаю тост: за процветание скотского хутора!»

Все дружно и весело встали на ноги. В приливе благодарности Наполеон даже покинул свое место и обошел вокруг стола, чтобы чокнуться с мистером Пилкингтоном своей кружкой, прежде чем осушить ее. Когда веселье несколько стихло, Наполеон, оставшийся стоять, заявил, что он тоже хочет сказать несколько слов.

Как и все выступления Наполеона, речь его была краткой и деловой. Он тоже, сказал Наполеон, счастлив, что период недоразумений подошел к концу. В течение долгого времени ходили слухи — распускаявшиеся, как у него есть основания считать, нашими злостными врагами — что и он сам, и его коллеги придерживаются подозрительных и даже революционных воззрений. Что они, якобы, ставят себе целью вызвать волнения среди животных на соседних фермах. Но ничего нет более далекого от правды! Их единственное желание — и сейчас и в прошлом — жить в мире и поддерживать нормальные деловые отношения со своими соседями. Ферма, которой он имеет честь руководить, представляет собой кооперативное предприятие. Находящийся в его владении документ, определяющий право собственности, закрепляет это право за свиньями сообща.

Он не считает, сказал Наполеон, что какие-то старые подозрения еще могут иметь место, но, тем не менее, на ферме будут немедленно проведены определенные изменения, которые должны укрепить намечающийся между нами процесс сближения. Так, животные на ферме имеют дурацкую привычку обращаться друг к другу «товарищ». С этим будет покончено. Кроме того, существует очень странный обычай, истоки которого остаются неизвестными, по утрам в воскресенье маршировать мимо черепа старого хряка, прибитого гвоздями к палке. С этим тоже придется покончить, а череп, как полагается, предать погребению. Посетители также могли видеть развевающийся на мачте зеленый флаг. И они должны были обратить внимание, что, если раньше на нем красовались белые рог и копыто, то сейчас их уже нет. Отныне будет только чистое зеленое полотнище.

У него есть только одно замечание, сказал Наполеон, по поводу прекрасной, проникнутой духом добрососедства речи мистера Пилкингтона. Говоря о скотском хуторе, он, конечно, не знал, — поскольку Наполеон только сейчас сообщает об этом — что название «Скотский хутор» отныне не существует. Отныне будет известна «Ферма “Усадьба”» — что, как он уверен, является ее истинным и правильным именем.

— Джентельмены, — завершил свое выступление Наполеон. — Я хочу вам предложить тот же самый тост, но несколько в иной форме. Наполните ваши стаканы до краев. Джентельмены, вот мой тост — за процветание «Фермы “Усадьба”»!

Этот гост был встречен таким же, как и раньше, взрывом веселья. Кружки были осушены до последней капли. Но тем, кто снаружи наблюдал эту сцену, начало казаться, что происходят странные вещи. Что изменилось в физиономиях свиней? Старые подслеповатые глаза Кловер перебежали с одного лица на другое. Одно было украшено пятью подбородками, другое — четырьмя, у коекого было по три подбородка. Но почему лица эти расплывались перед ее глазами, меняя свое выражение? После того, как стихли аплодисменты и компания вернулась к картам, продолжая прерванную игру, животные тихо удалились.

Но не пройдя и двадцати метров, они остановились. С фермы до них донесся рев голосов. Кинувшись обратно, они снова приникли к окнам. Да, в гостинной разгорелась жестокая ссора. Раздавались крики, грохотали удары по столу, летели злобные взгляды, сыпались оскорбления. Источником волнения явилось то, что и Наполеон, и мистер Пилкингтон одновременно выбросили на стол по тузу пик.

Двенадцать голосов кричали одновременно, но все они были похожи. Теперь было ясно, что случилось со свиньями. Оставшиеся снаружи переводили взгляды от свиней к людям, от людей к свиньям, снова и снова всматривались они в лица тех и других, но уже было невозможно определить, кто есть кто.

1984

I

Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать. Уткнув подбородок в грудь, чтобы спастись от злого ветра, Уинстон Смит торопливо шмыгнул за стеклянную дверь жилого дома «Победа», но все-таки впустил за собой вихрь зернистой пыли.

В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. Против входа на стене висел цветной плакат, слишком большой для помещения. На плакате было изображено громадное, больше метра в ширину, лицо, — лицо человека лет сорока пяти, с густыми черными усами, грубое, но по-мужски привлекательное. Уинстон направился к лестнице. К лифту не стоило и подходить. Он даже в лучшие времена редко работал, а теперь, в дневное время, электричество вообще отключали. Действовал режим экономии — готовились к Неделе ненависти. Уинстону предстояло одолеть семь маршей; ему шел сороковой год, над щиколоткой у него была варикозная язва: он поднимался медленно и несколько раз останавливался передохнуть. На каждой площадке со стены глядело все то же лицо. Портрет был выполнен так, что, куда бы ты ни стал, глаза тебя не отпускали.

СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ, — гласила подпись.

В квартире сочный голос что-то говорил о производстве чугуна, зачитывал цифры. Голос шел из заделанной в правую стену продолговатой металлической пластины, похожей на мутное зеркало. Уинстон повернул ручку,

голос ослаб, но речь по-прежнему звучала внятно. Аппарат этот (он назывался телекран) притушить было можно, полностью же выключить — нельзя. Уинстон отошел к окну; невысокий тщедушный человек, он казался еще более щуплым в синем форменном комбинезоне партийца. Волосы у него были совсем светлые, а румяное лицо шелушилось от скверного мыла, тупых лезвий и холода только что кончившейся зимы.

Мир снаружи, за закрытыми окнами, дышал холодом. Ветер закручивал спиралями пыль и обрывки бумаги; и, хотя светило солнце, а небо было резко голубым, все в городе выглядело бесцветным — кроме расклеенных повсюду плакатов. С каждого заметного угла смотрело лицо черноусого. С дома напротив тоже.

СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ, — говорила подпись, и темные глаза глядели в глаза Уинстону. Внизу, над тротуаром трепался на ветру плакат с оторванным углом, то пряча, то открывая единственное слово: АНГСОЦ. Вдалеке между крышами скользнул вертолет, завис на мгновение, как трупная муха, и по кривой унесся прочь. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули в счет не шли. В счет шла только полиция мыслей.

За спиной Уинстона голос из телекрана все еще болтал о выплавке чугуна и перевыполнении девятого трехлетнего плана. Телекран работал на прием и на передачу. Он ловил каждое слово, если его произносили не слишком тихим шепотом; мало того, куда Уинстон оставался в поле зрения мутной пластины, он был не только слышен, но и виден. Конечно, никто не знал, наблюдают за ним в данную минуту или нет. Часто ли и по какому расписанию подключается к твоему кабелю полиция мыслей — об этом можно было только гадать. Не исключено, что следили за каждым — и круглые сутки. Во всяком случае, подключиться могли когда угодно. Приходилось жить — и ты жил, по привычке, которая превратилась в инстинкт, — с сознанием того, что каждое твое слово подслушивают и каждое твое движение, пока не погас свет, наблюдают.

Уинстон держался к телекрану спиной. Так безопаснее; хотя — он знал это — спина тоже выдает. В километре от его окна громоздилось над чумазым городом белое здание министерства правды — место его службы. Вот он, со смутным отращением подумал Уинстон, вот он, Лондон, главный город Взлетной полосы I, третьей по населению провинции государства Океания. Он обратился к детству — попытался вспомнить, всегда ли был таким Лондон. Всегда ли тянулись вдаль эти вереницы обветшалых домов XIX века, подпертых бревнами, с залатанными картоном окнами, лоскутными крышами, пьяными стенками палисадников? И эти прогалины от бомбежек, где вилась алебастровая пыль и кипрей карабкался по грудам обломков; и большие пустыри, где бомбы расчистили место для целой грибной семьи убогих дощатых хибарок, похожих на курятники? Но — без толку, вспомнить он не мог; ничего не осталось от детства, кроме отрывочных ярко освещенных сцен, лишенных фона и чаще всего невразумительных.

Министерство правды — на новоязе Миниправ — разительно отличалось от всего, что лежало вокруг. Это исполинское пирамидальное здание, сияющее белым бетоном, вздымалось, уступ за уступом, на трехсотметровую высоту. Из своего окна Уинстон мог прочесть на белом фасаде написанные элегантно шрифтом три партийных лозунга:

ВОЙНА — ЭТО МИР
СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ — СИЛА

По слухам, министерство правды заключало в себе три тысячи кабинетов над поверхностью земли и соответствующую корневую систему в недрах. В разных концах Лондона стояли лишь три еще здания подобного вида и размеров. Они настолько возвышались над городом, что с крыши жилого дома «Победа» можно было видеть все четыре разом. В них помещались четыре министерства, весь государственный аппарат: министерство правды, ведавшее информацией, образованием, досугом и искусствами; министерство мира, ведавшее войной; министерство любви, ведавшее охраной порядка, и министерство изобилия, отвечающее за экономику. На новоязе: миниправ, минимир, минилюб и минизо.

Министерство любви внушало страх. В здании отсутствовали окна. Уинстон ни разу не переступал его порога, ни разу не подходил к нему ближе чем на полкилометра. Попастъ туда можно было только по официальному делу, да и то преодолев целый лабиринт колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Даже на улицах, ведущих к внешнему кольцу ограждений, патрулировали охранники в черной форме, с лицами горилл, вооруженные суставчатыми дубинками

Уинстон резко повернулся. Он придал лицу выражение спокойного оптимизма, наиболее уместное перед телекраном, и прошел в другой конец комнаты, к крохотной кухоньке. Покинув в этот час министерство, он пожертвовал обедом в столовой, а дома никакой еды не было — кроме ломтя черного хлеба, который надо было поберечь до завтрашнего утра. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой: «Джин Победа». Запах у джина был противный, маслянистый, как у китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с духом и проглотил, точно лекарство.

Лицо у него сразу покраснело, а из глаз потекли слезы. Напиток был похож на азотную кислоту; мало того: после глотка ощущение было такое, будто тебя огрели по спине резиновой дубинкой. Но вскоре жжение в желудке утихло, а мир стал выглядеть веселее. Он вытянул сигарету из мятой пачки с надписью «Сигареты Победа», по рассеянности держа ее вертикально, в результате весь табак из сигареты высыпался на пол. Со следующей Уинстон обошелся аккуратнее. Он вернулся в комнату и сел за столик слева от телекрана. Из ящика стола он вынул ручку, пузырек с чернилами и толстую книгу для записей с красным корешком и переплетом под мрамор.

По неизвестной причине телекран в комнате был установлен не так, как принято. Он помещался не в торцовой стене, откуда мог бы обозревать всю комнату, а в длинной, напротив окна. Сбоку от него была неглубокая ниша, предназначенная, вероятно, для книжных полок, — там и сидел сейчас Уинстон. Сев в ней поглубже, он оказывался недосыгаемым для телекрана, вернее, невидимым. Подслушивать его, конечно, могли, но наблюдать, пока он сидел там, — нет. Эта несколько необычная планировка комнаты, возможно, и натолкнула его на мысль заняться тем, чем он намерен был сейчас заняться.

Но кроме того, натолкнула книга в мраморном переплете. Книга была удивительно красива. Гладкая кремовая бумага чуть пожелтела от старости — та-

кой бумаги не выпускали уже лет сорок, а то и больше. Уинстон подозревал, что книга еще древнее. Он заметил ее на витрине старьевщика в трущобном районе (где именно, он уже забыл) и загорелся желанием купить. Членам партии не полагалось ходить в обыкновенные магазины (это называлось «приобретать товары на свободном рынке»), но запретом часто пренебрегали: множество вещей, таких, как шнурки и бритвенные лезвия, раздобыть иным способом было невозможно. Уинстон быстро оглянулся по сторонам, нырнул в лавку и купил книгу за два доллара пятьдесят. Зачем — он сам еще не знал. Он воровато принес ее домой в портфеле. Даже пустая, она компрометировала владельца.

Намеревался же он теперь — начать дневник. Это не было противозаконным поступком (противозаконного вообще ничего не существовало, поскольку не существовало больше самих законов), но если дневник обнаружат, Уинстона ожидает смерть или, в лучшем случае, двадцать пять лет каторжного лагеря. Уинстон вставил в ручку перо и облизнул, чтобы снять смазку. Ручка была архаическим инструментом, ими даже расписывались редко, и Уинстон раздобыл свою тайком и не без труда: эта красивая кремовая бумага, казалось ему, заслуживает того, чтобы по ней писали настоящими чернилами, а не корябали чернильным карандашом. Вообще-то он не привык писать рукой. Кроме самых коротких заметок, он все диктовал в речепис, но тут диктовка, понятно, не годилась. Он обмакнул перо и замешкался. У него схватило живот. Коснуться пером бумаги — бесповоротный шаг. Мелкими корявыми буквами он вывел:

4 апреля 1984 года

И откинулся. Им овладело чувство полной беспомощности. Прежде всего он не знал, правда ли, что год — 1984-й. Около этого — несомненно: он был почти уверен, что ему 39 лет, а родился он в 1944-м или 45-м; но теперь невозможно установить никакую дату точнее, чем с ошибкой в год или два.

А для кого, вдруг озадачился он, пишется этот дневник? Для будущего, для тех, кто еще не родился. Мысль его покружила над сомнительной датой, записанной на листе, и вдруг наткнулась на новоязовское слово двоемыслие. И впервые ему стал виден весь масштаб его затеи. С будущим как общаться? Это по самой сути невозможно. Либо завтра будет похоже на сегодня и тогда не станет его слушать, либо оно будет другим, и невзгоды Уинстона ничего ему не скажут.

Уинстон сидел, бессмысленно уставясь на бумагу. Из телекрана ударила резкая военная музыка. Любопытно: он не только потерял способность выражать свои мысли, но даже забыл, что ему хотелось сказать. Сколько недель готовился он к этой минуте, и ему даже в голову не пришло, что потребуются тут не одна храбрость. Только записать — чего проще? Перенести на бумагу нескончаемый тревожный монолог, который звучит у него в голове годы, годы. И вот даже этот монолог иссяк. А язва над щиколоткой зудела невыносимо. Он боялся почесать ногу — от этого всегда начиналось воспаление. Секунды капали. Только белизна бумаги, да зуд над щиколоткой, да гремучая музыка, да легкий хмель в голове — вот и все, что воспринимали сейчас его чувства.

И вдруг он начал писать — просто от паники, очень смутно сознавая, что идет из-под пера. Бисерные, но по-детски корявые строки ползли то вверх, то вниз по листу, теряя сперва заглавные буквы, а потом и точки.

4 апреля 1984 года. Вчера в кино. Сплошь военные фильмы. Один очень хороший где-то в Средиземном море бомбят судно с беженцами. Публику забавляют кадры, где пробует уплыть громадный толстенный мужчина а его преследует вертолет. сперва мы видим как он по-дельфиньи бултыхается в воде, потом видим его с вертолета через прицел потом он весь продырявлен и море вокруг него розовое и сразу тонет словно через дыры набрал воды. когда он пошел на дно зрители загоготали. Потом шлюпка полная детей и над ней вьется вертолет. там на носу сидела женщина средних лет похожая на еврейку а на руках у нее мальчик лет трех. Мальчик кричит от страха и прячет голову у нее на груди как будто хочет в нее ввинтиться а она его успокаивает и прикрывает руками хотя сама посинела от страха. все время старается закрыть его руками получше, как будто может заслонить от пуль. потом вертолет сбросил на них 20 килограммовую бомбу ужасный взрыв и лодка разлетелась в щепки. потом замечательный кадр детская рука летит вверх, вверх прямо в небо наверно ее снимали из стеклянного носа вертолета и в партийных рядах громко аплодировали но там где сидели пролы какая-то женщина подняла скандал и крик, что этого нельзя показывать при детях куда это годится куда это годится при детях и скандалила пока полицейские не вывели не вывели ее вряд ли ей что-нибудь сделают мало ли что говорят пролы типичная проловская реакция на это никто не обращает...

Уинстон перестал писать, отчасти из-за того, что у него свело руку. Он сам не понимал, почему выплеснул на бумагу этот вздор. Но любопытно, что, пока он водил пером, в памяти у него отстоялось совсем другое происшествие, да так, что хоть сейчас записывай. Ему стало понятно, что из-за этого происшествия он и решил вдруг пойти домой и начать дневник сегодня.

Случилось оно утром в министерстве — если о такой туманности можно сказать «случилась».

Время приближалось к одиннадцати-ноль-ноль, и в отделе документации, где работал Уинстон, сотрудники выносили стулья из кабин и расставляли в середине холла перед большим телекраном — собирались на двухминутку ненависти. Уинстон приготовился занять свое место в средних рядах, и тут неожиданно появились еще двое: лица знакомые, но разговаривать с ними ему не приходилось. Девицу он часто встречал в коридорах. Как ее зовут, он не знал, зная только, что она работает в отделе литературы. Судя по тому, что иногда он видел ее с гаечным ключом и масляными руками, она обслуживала одну из машин для сочинения романов. Она была веснушчатая, с густыми темными волосами, лет двадцати семи; держалась самоуверенно, двигалась по-спортивному стремительно. Алый кушак — эмблема Молодежного антиполового союза, — туго обернутый несколько раз вокруг талии комбинезона, подчеркивал крутые бедра. Уинстон с первого взгляда невзлюбил ее. И знал, за что. От нее веяло духом хоккейных полей, холодных купаний, туристских вылазок и вооб-

ще правоверности. Он не любил почти всех женщин, в особенности молодых и хорошеньких. Именно женщины, и молодые в первую очередь, были самыми фанатичными приверженцами партии, глотателями лозунгов, добровольными шпионами и вынюхивателями ереси. А эта казалась ему даже опаснее других. Однажды она повстречалась ему в коридоре, взглянула искоса — будто пронзила взглядом, — и в душу ему вполз черный страх. У него даже мелькнуло подозрение, что она служит в полиции мыслей. Впрочем, это было маловероятно. Тем не менее всякий раз, когда она оказывалась рядом, Уинстон испытывал неловкое чувство, к которому примешивались и враждебность, и страх.

Одновременно с женщиной вошел О'Брайен, член внутренней партии, занимавший настолько высокий и удаленный пост, что Уинстон имел о нем лишь самое смутное представление. Увидев черный комбинезон члена внутренней партии, люди, сидевшие перед телекраном, на миг затихли. О'Брайен был рослый плотный мужчина с толстой шеей и грубым насмешливым лицом.

Несмотря на грозную внешность, он был не лишен обаяния. Он имел привычку поправлять очки на носу, и в этом характерном жесте было что-то до странности обезоруживающее, что-то неуловимо интеллигентное. Дворянин восемнадцатого века, предлагающий свою табакерку, — вот что пришло бы на ум тому, кто еще способен был бы мыслить такими сравнениями. Лет за десять Уинстон видел О'Брайена, наверно, с десятков, раз. Его тянуло к О'Брайену, но не только потому, что озадачивал этот контраст между воспитанностью и телосложением боксера-тяжеловеса. В глубине души Уинстон подозревал — а может быть, не подозревал, а лишь надеялся, — что О'Брайен политически не вполне правоверен. Его лицо наводило на такие мысли. Но опять-таки возможно, что на лице было написано не сомнение в догмах, а просто ум. Так или иначе, он производил впечатление человека, с которым можно поговорить — если остаться с ним наедине и укрыться от телекрана. Уинстон ни разу не попытался проверить эту догадку; да и не в его это было силах. О'Брайен взглянул на свои часы, увидел, что время — почти 11.00, и решил остаться на двухминутку ненависти в отделе документации. Он сел в одном ряду с Уинстоном, за два места от него. Между ними расположилась маленькая рыжеватая женщина, работавшая по соседству с Уинстоном. Темноволосая села прямо за ним.

И вот из большого телекрана в стене вырвался отвратительный вой и скрежет — словно запустили какую-то чудовищную несмазанную машину. От этого звука вставали дыбом волосы и ломило зубы. Ненависть началась.

Как всегда, на экране появился враг народа Эммануэль Голдстейн. Зрители зашикали. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами взвизгнула от страха и омерзения. Голдстейн, отступник и ренегат, когда-то, давным-давно (так давно, что никто уже и не помнил, когда), был одним из руководителей партии, почти равным самому Старшему Брату, а потом встал на путь контрреволюции, был приговорен к смертной казни и таинственным образом сбежал, исчез. Программа двухминутки каждый день менялась, но главным действующим лицом в ней всегда был Голдстейн. Первый изменник, главный осквернитель партийной чистоты. Из его теорий произрастали все дальнейшие преступления против партии, все вредительства, предательства, ереси, уклоны. Неведомо, где он все еще жил и ковал крамолу: возможно, за

морем, под защитой своих иностранных хозяев, а возможно — ходили и такие слухи, — здесь, в Океании, в подполье.

Уинстону стало трудно дышать. Лицо Голдстейна всегда вызывало у него сложное и мучительное чувство. Сухое еврейское лицо в ореоле легких седых волос, козлиная борода — умное лицо и вместе с тем необъяснимо отталкивающее; и было что-то сенильное в этом длинном хрящеватом носе с очками, съехавшими почти на самый кончик. Он напоминал овцу, и в голосе его слышалось бляение. Как всегда, Голдстейн злобно обрушился на партийные доктрины; нападки были настолько вздорными и несуразными, что не обманули бы и ребенка, но при этом не лишены убедительности, и слушатель невольно опасался, что другие люди, менее трезвые, чем он, могут Голдстейну поверить. Он поносил Старшего Брата, он обличал диктатуру партии. Требовал немедленного мира с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли; он истерически кричал, что революцию предали, — и все скороговоркой, с составными словами, будто пародируя стиль партийных ораторов, даже с новоязовскими словами, причем у него они встречались чаще, чем в речи любого партийца. И все время, дабы не было сомнений в том, что стоит за лицемерными разглагольствованиями Голдстейна, позади его лица на экране маршировали бесконечные евразийские колонны: шеренга за шеренгой кряжистые солдаты с невозмутимыми азиатскими физиономиями выплывали из глубины на поверхность и растворялись, уступая место точно таким же. Глухой мерный топот солдатских сапог аккомпанировал бляению Голдстейна.

Ненависть началась каких-нибудь тридцать секунд назад, а половина зрителей уже не могла сдерживать яростных восклицаний. Невыносимо было видеть это самодовольное овечьё лицо и за ним — устрашающую мощь евразийских войск; кроме того, при виде Голдстейна и даже при мысли о нем страх и гнев возникали рефлекторно. Ненависть к нему была постояннее, чем к Евразии и Остазии, ибо когда Океания воевала с одной из них, с другой она обыкновенно заключала мир. Но вот что удивительно: хотя Голдстейна ненавидели и презирали все, хотя каждый день, по тысяче раз на дню, его учение опровергали, громили, уничтожали, высмеивали как жалкий вздор, влияние его нисколько не убывало. Все время находились новые простофили, только и дожидавшиеся, чтобы он их совратил. Не проходило и дня без того, чтобы полиция мыслей не разоблачала шпионов и вредителей, действовавших по его указке. Он командовал огромной подпольной армией, сетью заговорщиков, стремящихся к свержению строя. Предполагалось, что она называется Братство. Поговаривали шепотом и об ужасной книге, своде всех ересей — автором ее был Голдстейн, и распространялась она нелегально. Заглавия у книги не было. В разговорах о ней упоминали — если упоминали вообще — просто как о книге. Но о таких вещах было известно только по неясным слухам. Член партии по возможности старался не говорить ни о Братстве, ни о книге.

Ко второй минуте ненависть перешла в иступление. Люди вскакивали с мест и кричали во все горло, чтобы заглушить непереносимый бляющий голос Голдстейна. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами стала пунцовой и разевала рот, как рыба на суше. Тяжелое лицо О'Брайена тоже побагровело. Он

сидел выпрямившись, и его мощная грудь вздымалась и содрогалась, словно в нее бил прибор. Темноволосая девица позади Уинстона закричала: «Подлец! Подлец! Подлец!» — а потом схватила тяжелый словарь новояза и запустила им в телекран. Словарь угодил Голдстейну в нос и отлетел. Но голос был неистребим. В какой-то миг просветления Уинстон осознал, что сам кричит вместе с остальными и яростно лягает перекладину стула. Ужасным в двухминутке ненависти было не то, что ты должен разыгрывать роль, а то, что ты просто не мог остаться в стороне. Какие-нибудь тридцать секунд — и притворяться тебе уже не надо. Словно от электрического разряда, напали на все собрание гнусные корчи страха и мстительности, исступленное желание убивать, терзать, крушить лица молотом: люди гримасничали и вопили, превращались в сумасшедших. При этом ярость была абстрактной и ненацеленной, ее можно было повернуть в любую сторону, как пламя паяльной лампы. И вдруг оказывалось, что ненависть Уинстона обращена вовсе не на Голдстейна, а наоборот, на Старшего Брата, на партию, на полицию мыслей; в такие мгновения сердцем он был с этим одиноким осмеянным еретиком, единственным хранителем здравого смысла и правды в мире лжи. А через секунду он был уже заодно с остальными, и правдой ему казалось все, что говорят о Голдстейне. Тогда тайное отвращение к Старшему Брату превращалось в обожание, и Старший Брат возносился над всеми — неуязвимый, бесстрашный защитник, скалою вставший перед азийскими ордами, а Голдстейн, несмотря на его изгойство и беспомощность, несмотря на сомнения в том, что он вообще еще жив, представлялся зловещим колдуном, способным одной только силой голоса разрушить здание цивилизации.

А иногда можно было, напрягшись, сознательно обратить свою ненависть на тот или иной предмет. Каким-то бешеным усилием воли, как отрываешь голову от подушки во время кошмара, Уинстон переключил ненависть с экранного лица на темноволосую девицу позади. В воображении замелькали прекрасные отчетливые картины. Он забьет ее резиновой дубинкой. Голую привяжет к столбу, истычет стрелами, как святого Себастьяна. Изнасилует и в последних судорогах перережет глотку. И яснее, чем прежде, он понял, за что ее ненавидит. За то, что молодая, красивая и бесполоая; за то, что он хочет с ней спать и никогда этого не добьется; за то, что на нежной тонкой талии, будто созданной для того, чтобы ее обнимали, — не его рука, а этот алый кушак, воинствующий символ непорочности.

Ненависть кончалась в судорогах. Речь Голдстейна превратилась в натуральное блеяние, а его лицо на миг вытеснила овечья морда. Потом морда растворилась в евразийском солдате: огромный и ужасный, он шел на них, паля из автомата, грозя прорвать поверхность экрана, — так что многие отпрянули на своих стульях. Но тут же с облегчением вздохнули: фигуру врага заслонила наплывом голова Старшего Брата, черноволосая, черноусая, полная силы и таинственные спокойствия, такая огромная, что заняла почти весь экран. Что говорит Старший Брат, никто не расслышал. Всего несколько слов ободрения, вроде тех, которые произносит вождь в громе битвы, — сами по себе пускай невнятные, они вселяют уверенность одним тем, что их произнесли. Потом лицо Старшего Брата потускнело, и выступила четкая крупная надпись — три партийных лозунга:

ВОЙНА — ЭТО МИР
СВОБОДА — ЭТО РАВСТВО
НЕЗНАНИЕ — СИЛА

Но еще несколько мгновений лицо Старшего Брата как бы держалось на экране: так ярок был отпечаток, оставленный им в глазу, что не мог стертаться сразу. Маленькая женщина с рыжеватыми волосами навалилась на спинку переднего стула. Всхлипывающим шепотом она произнесла что-то вроде: «Спаситель мой!» — и простерла руки к телекрану. Потом закрыла лицо ладонями. По-видимому, она молилась.

Тут все собрание принялось медленно, мерно, низкими голосами скандировать: «ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!» — снова и снова, втягивая, с долгой паузой между «ЭС» и «БЭ», и было в этом тяжелом волнообразном звуке что-то странно первобытное — мерещился за ним топот босых ног и рокот больших барабанов. Продолжалось это с полминуты. Вообще такое нередко происходило в те мгновения, когда чувства достигали особенного накала. Отчасти это был гимн величию и мудрости Старшего Брата, но в большей степени самогипноз — люди топили свой разум в ритмическом шуме. Уинстон ощутил холод в животе. На двухминутках ненависти он не мог не отдаваться всеобщему безумию, но этот дикарский клич «ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!» всегда внушал ему ужас. Конечно, он скандировал с остальными, иначе было нельзя. Скрывать чувства, владеть лицом, делать то же, что другие, — все это стало инстинктом. Но был такой промежуток секунды в две, когда его вполне могло выдать выражение глаз. Как раз в это время и произошло удивительное событие — если вправду произошло.

Он встретился взглядом с О'Брайеном. О'Брайен уже встал. Он снял очки и сейчас, надев их, поправлял на носу характерным жестом. Но на какую-то долю секунды их взгляды пересеклись, и за это короткое мгновение Уинстон понял — да, понял! — что О'Брайен думает о том же самом. Сигнал нельзя было истолковать иначе. Как будто их умы раскрылись и мысли потекли от одного к другому через глаза. «Я с вами. — будто говорил О'Брайен. — Я отлично знаю, что вы чувствуете. Знаю о вашем презрении, вашей ненависти, вашем отвращении. Не тревожьтесь, я на вашей стороне!» Но этот проблеск ума погас, и лицо у О'Брайена стало таким же непроницаемым, как у остальных.

Вот и все — и Уинстон уже сомневался, было ли это на самом деле. Такие случаи не имели продолжения. Одно только: они поддерживали в нем веру — или надежду, — что есть еще, кроме него, враги у партии. Может быть, слухи о разветвленных заговорах все-таки верны — может быть, Братство впрямь существует! Ведь, несмотря на бесконечные аресты, признания, казни, не было уверенности, что Братство — не миф. Иной день он верил в это, иной день — нет. Доказательств не было — только взгляды мельком, которые могли означать все, что угодно и ничего не означать, обрывки чужих разговоров, полустертые надписи в уборных, а однажды, когда при нем встретились двое незнакомых, он заметил легкое движение рук, в котором можно было усмотреть приветствие. Только догадки; весьма возможно, что все это — плод воображения. Он ушел в свою кабину, не взглянув на О'Брайена. О том, чтобы развить мимолетную связь, он и не думал. Даже если бы он знал, как к этому подступиться, такая попытка была бы невообразимо опасной. За секунду они успели обменяться дву-

смысленным взглядом — вот и все. Но даже это было памятным событием для человека, чья жизнь проходит под замком одиночества.

Уинстон встряхнулся, сел прямо. Он рыгнул. Джин бунтовал в желудке.

Глаза его снова сфокусировались на странице. Оказалось, что, пока он был занят беспомощными размышлениями, рука продолжала писать автоматически. Но не судорожные каракули, как вначале. Перо сладострастно скользило по глянцевої бумаге, крупными печатными буквами выводило:

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА

раз за разом, и уже исписана была половина страницы.

На него напал панический страх. Бессмысленный, конечно: написать эти слова ничуть не опаснее, чем просто завести дневник; тем не менее у него возникло искушение разорвать испорченные страницы и отказаться от своей затеи совсем.

Но он не сделал этого, он знал, что это бесполезно. Напишет он ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА или не напишет — разницы никакой. Будет продолжать дневник или не будет — разницы никакой. Полиция мыслей и так и так до него доберется. Он совершил — и если бы не коснулся бумаги пером, все равно совершил бы — абсолютное преступление, содержащее в себе все остальные. Мыслепреступление — вот как оно называлось. Мыслепреступление нельзя скрывать вечно. Изворачиваться какое-то время ты можешь, и даже не один год, но рано или поздно до тебя доберутся.

Бывало это всегда по ночам — арестовывали по ночам. Внезапно будят, грубая рука трясет тебя за плечи, светят в глаза, кровать окружили суровые лица. Как правило, суда не бывало, об аресте нигде не сообщалось. Люди просто исчезали, и всегда — ночью. Твое имя вынута из списков, все упоминания о том, что ты делал, стерты, факт твоего существования отрицается и будет забыт. Ты отменен, уничтожен: как принято говорить, распылен.

На минуту он поддался истерике. Торопливыми кривыми буквами стал писать:

*меня расстреляют мне все равно пускай выстрелят в затылок
мне все равно долой старшего брата всегда стреляют в затылок
мне все равно долой старшего брата.*

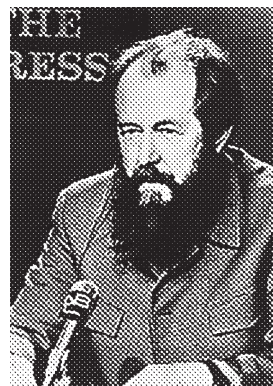
С легким стыдом он оторвался от стола и положил ручку. И тут же вздрогнул всем телом. Постучали в дверь.

Уже! Он затаился, как мышь, в надежде, что, не достучавшись с первого раза, они уйдут. Но нет, стук повторился. Самое скверное тут — мешкать.

Его сердце бухало, как барабан, но лицо от долгой привычки, наверное, осталось невозмутимым. Он встал и с трудом пошел к двери.

<...>

Солженицын Александр Исаевич (Род. 1918)



Писатель.

Родился в Кисловодске в 1918 г. В 1924 г. с матерью переехал в Ростов-на-Дону. В 1941 г. закончил физико-математический факультет Ростовского университета. Одновременно с 1939 г. заочно учится в МИФЛИ (Московский институт истории, философии и литературы), однако закончить институт ему помешала война. В октябре 1941 г. был призван в армию. После года в военном училище Солженицын в звании лейтенанта был отправлен на фронт командовать батареей звуковой разведки. С конца 1942 г. и до ареста в феврале 1945 г. воевал, был награжден двумя орденами.

В 1945 г. Солженицын был арестован. Поводом к аресту послужили резкие высказывания о Сталине в переписке с другом детства (содержание писем стало известно контрразведке при перлюстрации). Осужден по 58-ой статье на восемь лет лагерей и вечную ссылку. Срок отбывал в лагере в Новом Иерусалиме под Москвой, на стройке на Калужской заставе в Москве, в Марфинской «шарашке» (секретном научно-исследовательском институте, где работали заключенные), в Экибастузском лагере в Казахстане. По окончании срока заключения (февраль 1953 г.) Солженицын был отправлен в бессрочную ссылку. Он стал преподавать математику в районном центре Кок-Терек Джамбульской области Казахстана.

После реабилитации в 1956 г. Солженицын вернулся в Россию, работал учителем в сельской школе под Рязанью, затем в Рязани.

Литературное призвание Солженицын осознал очень рано, однако жизненные обстоятельства долго не позволяли его реализовать. В лагере он заучивал наизусть написанные пьесы, поэмы, фрагменты будущих романов. Жизнь подпольного писателя описана в книге «Бодался теленок с дубом».

Литературный дебют в «Новом мире», где в 1962 г. была напечатана повесть «Один день Ивана Денисовича», принес автору всесоюзную и всемирную известность: его принимают в Союз писателей, выдвигают на соискание Ленинской премии. В 1963-66 гг. в «Новом мире» были опубликованы еще три рассказа Солженицына («Случай на станции Кречетовка», «Для пользы дела», «Захар-Калита»). Однако на дальнейшую публикацию произведений Солженицына был наложен запрет после ареста его архива КГБ в 1965 г.: с 1966 г. его полностью перестают печатать. В «Новом мире» был рассыпан уже набранный тираж с романом «Раковый корпус», роман «В круге первом» отвергается всеми журналами и издательствами, из библиотек изымаются уже опубликованные произведения.

В 1967 г. Солженицын написал письмо IV съезду писателей СССР о цензуре, идеологическом диктате КПСС и свободе слова (см. т. 2, стр. 80). Это письмо, широко разошедшееся в Самиздате, наряду с неопубликованными романами и другими произведениями, явилось началом открытого противостояния писателя с режимом и бесконечной травли его всеми средствами массовой информации, дошедшей до своего

апогея после присуждения ему Нобелевской премии по литературе в 1970 г. Когда же в конце 1973 г. в парижском издательстве ИМКА-ПРЕСС вышел первый том «Архипелага ГУЛАГ», судьба Солженицына была предreshена. В начале 1974 г. писатель с семьей по решению ЦК КПСС был лишен советского гражданства и выслан из СССР (см. т. 3, стр. 7).

После непродолжительного пребывания в Швейцарии Солженицын переехал в США, штат Вермонт. Там он продолжает начатую еще в СССР работу над фундаментальной исторической эпопеей «Красное колесо», которую завершает лишь к началу 90-х.

В 1994 г. Солженицын триумфально возвращается на родину, проехав на поезде всю страну от Владивостока до Москвы. В настоящее время живет под Москвой, в Троицко-Лыкове.

ПРАВАЯ КИСТЬ

В ту зиму я приехал в Ташкент почти уже мертвецом. Я так и приехал сюда — умирать.

А меня вернули пожить еще.

Это был месяц, месяц и еще месяц. Непуганая ташкентская весна прошла за окнами, вступила в лето, повсюду густо уже зеленело и совсем было тепло, когда стал и я выходить погулять неуверенными ногами.

Еще не смея сам себе признаться, что я выздоравливаю, еще в самых залетных мечтах измеряя добавленный мне срок жизни не годами, а месяцами, — я медленно переступал по гравийным и асфальтовым дорожкам парка, разросшегося меж корпусов медицинского института. Мне надо было часто присаживаться, а иногда, от разбирающей рентгеновской тошноты, и прилечь, понижее спустив голову.

Я был и таким, да не таким, как окружающие меня больные: я был много бесправнее их и вынужденно безмолвней их. К ним приходили на свидания, о них плакали родственники, и одна была их забота, одна цель — выздороветь. А мне выздоравливать было почти что и не для чего: у тридцатипятилетнего, у меня не было во всем мире никого родного в ту весну. Еще не было у меня — паспорта, и если б я теперь выздоровел, то надо было мне покинуть эту зелень, эту многоплодную сторону и возвращаться к себе в пустыню, куда я сослан был навечно, под гласный надзор, с отметками каждые две недели, и откуда комендатура долго не удабривалась меня и умирающего выпустить на лечение.

Обо всем этом я не мог рассказать окружающим меня вольным больным.

Если б и рассказал, они б не поняли...

Но зато, держа за плечами десять лет медлительных размышлений, я уже знал ту истину, что подлинный вкус жизни постигается не во многом, а в малом. Вот в этом неуверенном перестуке еще слабыми ногами. В осторожном, чтоб не вызвать укола в груди, вдохе. В одной, не побитой морозом картофелине, выловленной из супа.

Так весна эта была для меня самой мучительной и самой прекрасной в жизни.

Все было для меня забыто или не видано, все интересно: даже тележка с мороженым; даже подметальщик с брандспойтом; даже торговки с пучками продолговатой редиски; и уж тем более — жеребенок, забредший на травку через пролом в стене.

День ото дня я отваживался отходить от своей клиники и дальше — по парку, посаженному, должно быть, еще в конце прошлого века, когда клались и эти добротные кирпичные здания с открытой расшивкою швов. С восхода торжественного солнца весь южный день напролет и еще глубоко в желто-электрический вечер парк был наполнен оживленным движением. Быстро сновали здоровые, неспешно расхаживали больные.

Там, где несколько аллей стекались в одну, идущую к главным воротам, белел большой алебастровый Сталин с каменной усмешкой в усах. Дальше по пути к воротам с равномерной разрядкой расставлены были и другие вожди, поменьше.

Затем стоял писчебумажный киоск. Продавались в нем пластмассовые карандашики и заманчивые записные книжечки. Но не только деньги мои были сурово считанные — а и книжки записные у меня уже в жизни бывали, потом попали не туда, и рассудил я, что лучше их никогда не иметь.

У самых же ворот располагались фруктовый ларек и чайхана. Нас, больных, в полосатых наших пижамах, в чайхану не пускали, но загородка была открытая, и через нее можно было смотреть. Живой чайханы я в жизни не видал — этих отдельных для каждого чайников с зеленым или черным чаем. Была в чайхане европейская часть, со столиками, и узбекская — со сплошным помостом. За столиками ели-пили быстро, в испитой пиале оставляли мелочь для расплаты и уходили. На помосте же, на циновках под камышовым тентом, натянутым с жарких дней, сидели и полеживали часами, кто и днями, выпивали чайник за чайником, играли в кости, и как будто ни к каким обязанностям не призывал их долгий день.

Фруктовый ларек торговал и для больных тоже — но мои ссыльные копеечки поеживались от цен. Я рассматривал со вниманием горки урюка, изюма, свежей черешни — и отходил.

Дальше шла высокая стена, за ворота больных тоже не выпускали. Через эту стену по два и по три раза на день переваливались в медицинский городок оркестровые траурные марши (потому что город — миллионный, а кладбище было тут, рядом). Минут по десять они здесь звучали, пока медленное шествие миновало городок. Удары барабана отбивали отрешенный ритм. На толпу этот ритм не действовал, ее подергивания были чаще. Здоровые лишь чуть оглядывались и снова спешили, куда было нужно им (они все хорошо знали, что было нужно). А больные при этих маршах останавливались, долго слушали, высывались из окон корпусов.

Чем явственней я освобождался от болезни, чем верней становилось, что останусь жив, тем тоскливей я озирался вокруг: мне уже было жаль это все покидать.

На стадионе медиков белые фигуры перебрасывались белыми теннисными мячами. Всю жизнь мне хотелось играть в теннис — и никогда не привелось. Под крутым берегом клокотал мутно-желтый бешеный Салар. В парке жили осеняющие клены, раскидистые дубы, нежные японские акации. И восьмигранный фонтан взбрасывал тонкие свежие серебрянки струй — к вершинам. А что за трава была на газонах! — сочная, давно забытая (в лагерях ее велели выпалывать как врага, в ссылке моей не росла никакая). Просто лежать на ней ничком, мирно вдыхать травяной запах и солнцем нагретые воспарения — было уже блаженство.

Тут, в траве, я лежал не один. Там и сям зубрили мило свои пухлые учебники студентки мединститута. Или, захлебываясь в рассказах, шли с зачета. Или, гибкие, покачивая спортивными чемоданчиками, — из душевой стадиона. Вечерами неразличимые, а потому тройне притягательные, девушки в нетроганных и троганных платяцах обходили фонтан и шуршали гравием аллеек.

Мне было кого-то разрывающе жаль: не то сверстников моих, перемороженных под Демьянском, сожженных в Освенциме, истравленных в Джезказгане, домирающих в тайге, — что не нам достанутся эти девушки. Или девушек этих — за то, чего мне им никогда не рассказать, а им не узнать никогда.

И целый день гравийными и асфальтовыми дорожками лились женщины, женщины, женщины! — молодые врачи, медицинские сестры, лаборантки, регистраторши, кастелянши, раздатчицы и родственницы, посещающие больных. Они проходили мимо меня в снежно-строгих халатах и в ярких южных платьях, часто полупрозрачных, кто побогаче — вращая над головами на бамбуковых палочках модные китайские зонтики — солнечные, голубые, розовые. Каждая из них, промелькнув за секунду, составляла целый сюжет: ее прожитой жизни до меня, ее возможного (невозможного) знакомства со мной.

Я был жалок. Исхудалое лицо мое несло на себе пережитое — морщины лагерной вынужденной угрюмости, пепельную мертвизну задубенелой кожи, недавнее отравление ядами болезни и ядами лекарств, отчего к цвету щек добавилась еще и зелень. От охранительной привычки подчиняться и прятаться спина моя была пригорблена. Полосатая шутовская курточка едва доходила мне до живота, полосатые брюки кончались выше щиколоток, из тупоносых лагерных кирзовых ботинок вывешивались уголки портянок, коричневых от времени.

Последняя из этих женщин не решилась бы пройти со мною рядом!.. Но я не видел сам себя. А глаза мои не менее прозрачно, чем у них, пропускали внутрь меня — мир.

Так однажды перед вечером я стоял у главных ворот и смотрел. Мимо стремился обычный поток, покачивались зонтики, мелькали шелковые платья, чесучовые брюки на светлых поясах, вышитые рубахи и тюбетейки. Смешивались голоса, торговали фруктами, за загородкою пили чай, металы кубики — а у загородки, привалившись к ней, стоял нескладный маленький человечек, вроде нищего, и задыхающимся голосом иногда обращался:

— Товарищи... Товарищи...

Пестрая занятая толпа не слушала его. Я подошел:

— Что скажешь, браток?

У этого человека был непомерный живот, больше, чем у беременной, — мешком обвисший, распирающий грязно-защитную гимнастерку и грязно-защитные брюки. Сапоги его с подбитыми подошвами были тяжелы и пыльны. Не по погоде отягощало плечи толстое расстегнутое пальто с засаленным воротником и затертыми обшлагами. На голове лежала стародавняя истрепанная кепка, достойная огородного пугала.

Отечные глаза его были мутны.

Он с трудом приподнял одну кисть, сжатую в кулак, и я вытянул из нее потную измятую бумажку. Это было угловато написанное цепляющимся по бумаге пером заявление от гражданина Боброва с просьбой определить его в

больницу — и на заявлении искоса две визы, синими и красными чернилами. Синие чернила были горздравские и выражали разумно-мотивированный отказ. Красные же чернила приказывали клинике мединститута принять больного в стационар. Синие чернила были вчера, а красные—сегодня.

— Ну что ж, — громко растолковывал я ему, как глухому. — В приемный покой вам надо, в первый корпус. Пойдете, вот, значит, прямо мимо этих... памятников...

Но тут я заметил, что у самой цели силы оставили его, что не только спрашивать дальше и передвигать ноги по гладкому асфальту, но держать в руке полуторакилограммовый затасканный мешочек ему было невмочь. И я решил:

— Ладно, папаша, провожу, пошли. Мешочек-то давай.

Слышал он хорошо. С облегчением он передал мне мешочек, налег на мою подставленную руку и, почти не поднимая ног, полозя сапогами по асфальту, двинулся. Я повел его под локоть через пальто, порывевшее от пыли. Раздувшийся живот будто перевешивал старика к переду. Он часто тяжело выдыхал.

Так мы пошли, два обтрепыша, тою самой аллеей, где я в мыслях брал под руку красивейших девушек Ташкента. Долго, медленно мы тащились мимо тупых алебастровых бюстов.

Наконец свернули. По нашему пути стояла скамья с прислоном. Мой спутник попросил посидеть. Меня тоже уже начинало подташнивать, я перестоял лишку. Мы сели. Отсюда и фонтан было видно тот самый.

Еще по дороге старик мне сказал несколько фраз и теперь, отдышавшись, добавил. Ему нужно было на Урал, и прописка в паспорте у него была уральская, в этом вся беда. А болезнь прихватила его где-то под Тахиа-Ташем (где, я помнил, какой-то великий канал начинали строить, бросили потом). В Ургенче его месяц держали в больнице, выпускали воду из живота и из ног, хуже сделали — и выписали. В Чарджоу он с поезда сходил и в Урсатьевский — но нигде его лечить не принимали, слали на Урал, по месту прописки. Ехать же в поезде никак ему сил не было, и денег не осталось на билет. И вот теперь в Ташкенте добился за два дня, чтобы положили.

Что он делал на юге, зачем его сюда занесло — уж я не спрашивал. Болезнь его была по медицинским справкам запетлистая, а если посмотреть на самого, так — последняя болезнь. Наглядысь на многих больных, я различал ясно, что в нем уже не оставалось жизненной силы. Губы его расслабились, речь была маловнятна, и какая-то тускловатость находила на глаза.

Даже кепка томила его, с трудом подняв руку, он стянул ее на колени. Опять с трудом подняв руку, нечистым рукавом вытер со лба пот. Куполок его головы пролысел, а кругом, по темени, сохранились нечесаные, сбитые пылью волосы, еще русые. Не старость его довела, а болезнь.

На его шее, до жалкости потончавшей, цыплячьей, висело много кожи лишней и отдельно ходил спереди трехгранный кадык.

На чем было и голове держаться? Едва мы сели, она свалилась к нему на грудь, упершись подбородком.

Так он замер, с кепкой на коленях, с закрытыми глазами. Он, кажется, забыл, что мы только на минутку присели отдохнуть и что ему надо в приемный покой.

Вблизи перед нами серебряной нитью взвивалась почти бесшумная фонтан-

ная струя. По ту сторону прошли две девушки рядом. Я проводил их в спину. Одна была в оранжевой юбке, другая в бордовой. Обе мне очень понравились.

Сосед мой слышно вздохнул, перекатил голову по груди и, приподняв желто-серые веки, посмотрел на меня снизу сбоку:

– А курить у вас не найдется, товарищ?

– И из головы выкинь, папаша! — прикрикнул я. — Нам с тобой хоть не куря бы еще землю сапогами погрести. В зеркало на себя посмотри. Курить!

(Я сам-то курить бросил месяц назад, еле оторвался.) Он засопел. И опять посмотрел на меня из-под желтых век снизу вверх, как-то по-собачьему.

– Все ж таки дай рубля три, товарищ!

Я задумался, дать или не дать. Что ни говори, я оставался еще зэк, а он был как-никак вольный. Сколько я лет там работал — мне ничего не платили. А когда стали платить, так вычитали: за конвой, за освещение зоны, за ищеек, за начальство, за баланду.

Из маленького нагрудного кармана своей шутовской курточки я достал клеенчатый кошелек, пересмотрел бумажки в нем. Вздохнул, протянул старику трешницу.

– Спасибо, — просипел он.

С трудом держа руку приподнятой, взял эту трешницу, заложил ее в карман — и тут же его освобожденная рука шлепнулась на колено. А голова опять уперлась подбородком в грудь.

Помолчали.

Перед нами за это время прошла женщина, потом еще две студентки. Все трое мне очень понравились.

Годами так бывало, что ни голоса их не услышишь, ни стука каблочки.

– Еще удачно получилось, что вам резолюцию поставили. А то б и неделю тут околачивались. Простое дело. Многие так.

Он оторвал подбородок от груди и повернулся ко мне. В глазах его просветился смысл, дрогнул голос, и речь стала разборчивее:

– Сынок! Меня кладут потому, что я заслуженный человек. Я ветеран революции. Мне Сергей Мироныч Киров под Царицыном лично руку пожал. Мне персональную пенсию должны платить.

Слабое движение щек и губ — тень гордой улыбки — выразились на его небритом лице.

Я оглядел его тряпье и еще раз его самого.

– Почему ж не платят?

– Жизнь так полегла, — вздохнул он. — Теперь меня не признают. Какие архивы сгорели, какие потеряны. И свидетелей не собрать. И Сергей Мироныча убили... Сам я виноват, справок не скопил... Одна вот только есть...

Правую кисть — суставы пальцев ее были кругло-опухшие, и пальцы мешали друг другу — он донес до кармана, стал туда втискивать, — но тут короткое оживление его прервалось, он опять уронил руку, голову и замер.

Солнце уже западало за здания корпусов, и в приемный покой (до него оставалась сотня шагов) надо было поспешить: в клиниках никогда не было легко с местами.

Я взял старика за плечо:

— Папаша! Очнись! Вон, видишь дверь? Видишь? Я пойду подтолкну пока. А ты сможешь — сам дойди, нет — меня подожди. Мешочек твой я заберу.

Он кивнул, будто понял.

В приемном покое — куске большого обшарпанного зала, отгороженном грубыми перегородками (за ними где-то была здесь баня, передевальня, парикмахерская), — днем всегда теснились больные и измирили долгие часы, пока их примут. Но сейчас, на удивленье, не было ни души. Я постучал в закрытое фанерное окошечко. Его растворила очень молодая сестра с носом-туфелькой, с губами, накрашенными не красной, а густолиловой помадой.

— Вам чего? — Она сидела за столом и читала, по всей видимости, комикс про шпионов.

Быстренькие такие у нее были глазки.

Я подал ей заявление с двумя резолюциями и сказал:

— Он еле ходит. Сейчас я его доведу.

— Не смейте никого вести! — резко вскрикнула она, даже не посмотрев бумажку. — Не знаете порядка? Больных принимаем только с девяти утра!

Это она не знала «порядка». Я просунул в форточку голову и, сколько поместилось, руку, чтоб она меня не прихлопнула. Там, отвесив криво нижнюю губу и скорчив физиономию гориллы, сказал блатным голосом, пришипывая:

— Слушай, барышня! Между прочим, я у тебя не в шестерках. Она сробела, отодвинула стул в глубь своей комнаты и сбавила:

— Приема нет, гражданин! В девять утра.

— Ты — прочти бумажку! — очень посоветовал я ей низким недоброезлапательным голосом. Она прочла.

— Ну и что ж! Порядок общий. И завтра, может, мест не будет. Сегодня утром — не было.

Она даже как бы с удовольствием это выговорила, что сегодня утром мест не было, как бы укалывая этим меня.

Но человек — проездом, понимаете? Ему деться некуда.

По мере того, как я выбирался из форточки назад и переставал говорить с лагерной ухваткой, лицо ее принимало прежнее жестоко-веселое выражение:

— У нас все приезжие! Куда их ложить? Ждут! Пусть на квартиру станет!

— Но вы выйдите, посмотрите, в каком он состоянии.

— Еще чего! Буду я ходить больных собирать! Я не санитарка! И гордо дрогнула своим носом-туфелькой. Она так бойко-быстро отвечала, как будто была пружиной заведена на ответы.

— Так для кого вы тут сидите?! — хлопнул я ладонью по фанерной стенке, и посыпалась мелкая пыльца побелки. — Тогда заприте двери!

— Вас не спросили!! Нахал! — взорвалась она, вскочила, обежала кругом и появилась из коридорчика. — Кто вы такой? Не учите меня! Нам «скорая помощь» привозит!

Если б не эти грубо-лиловые губы и такой же лиловый маникюр, она была бы совсем недурна. Носик ее украшал. И бровями она водила очень значительно. Халат на груди был широко отложен из-за духоты — и виднелась косынка, розовенькая, славная, и комсомольский значок.

— Как? Если б он не сам к вам пришел, а его б на улице подобрала «скорая» — вы б его приняли? Есть такое правило?

Она высокомерно оглядела мою нелепую фигуру, я — оглядел ее. Я совсем забыл, что у меня портянки высовываются из ботинок. Она фыркнула, но приняла сухой вид и окончила:

— Да, больной! Есть такое правило.

И ушла за перегородку.

Шорох послышался позади меня. Я оглянулся. Мой спутник уже стоял здесь. Он слышал и понял. Придерживаясь за стену и перетягиваясь к большой садовой скамье, поставленной для посетителей, он чуть помахивал правой кистью, держа в ней истертый бумажник.

— Вот... — изможденно выговаривал он, — ...вот, покажите ей... пусть она... вот...

Я успел его поддержать — опустил на скамью. Он беспомощными пальцами пытался вытянуть из бумажника свою единственную справку и никак не мог.

Я принял от него эту ветхую бумажку, подклеенную по сгибам от рассыпания, и развернул. Пишущей машинкой отпечатаны были фиолетовые строчки с буквами, пляшущими из ряда то вверх, то вниз:

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Справка

Дана сия товарищу Боброву Н. К в том, что в 1921 году он действительно состоял в славном -овском губернском Отряде Особого Назначения имени Мировой Революции и своей рукой много порубал оставшихся гадов

Комиссар

Подпись.

И бледная фиолетовая печать.

Поглаживая рукою грудь, я спросил тихо:

— Это что ж — Особого Назначения? Какой?

— Ага,— ответил он, едва придерживая веки незакрытыми. — Покажите ей.

Я видел его руку, его правую кисть — такую маленькую, со вздувшимися бурыми венами, с кругло-опухшими суставами, почти не способную вытянуть справку из бумажника. И вспомнил эту моду — как пешего рубили с коня наискосок.

Странно... На полном размахе руки доворачивала саблю и сносила голову, шею, часть плеча эта правая кисть. А сейчас не могла удержать — бумажника...

Подойдя к фанерной форточке, я опять надавил ее. Регистраторша, не поднимая головы, читала свой комикс. На странице вверх ногами я увидел благородного чекиста, прыгнувшего на подоконник с пистолетом.

Я тихо положил ей надорванную справку поверх книги и, обернувшись, все время поглаживая грудь от тошноты, пошел к выходу. Мне надо было лечь быстрее, головою пониже.

— Чего это бумажки раскладываете? Заберите, больной! — стрельнула девица через форточку мне вслед.

Ветеран глубоко ушел в скамью. Голова и даже плечи его как бы осели в туловище. Раздвинуто повисли беспомощные пальцы. Свисало распахнутое пальто. Круглый раздутый живот неправдоподобно лежал в гибели на бедрах.

1960

Осип Мандельштам
(Справку см. т. 1, кн. 1, стр. 61)

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОЗА

«Четвертая проза» – очерк-памфлет, написанный в 1930 г., как отклик на травлю, развязанную против поэта в 1929-1930 гг. в связи с так называемым «делом о переводе романа «Тиль Уленшпигель»» (Мандельштам, обработавший по заданию издательства «Земля и фабрика» два уже имевшихся перевода романа, был обвинен в плагиате). Рукопись «Четвертой прозы», провозглашавшей демонстративный разрыв поэта с советской литературной средой и острое неприятие складывавшегося в СССР политического режима («советская земля» была названа там «кровавой»), хранилась Мандельштамом в глубокой тайне (круг слушателей был весьма узок, точно известны имена восьми человек, которым поэт и его жена читали или показывали это произведение). Основной список «Четвертой прозы» хранился у Л. Назаревской. Жена О. Мандельштама Н.Я. Мандельштам несколько раз переписывала и уничтожала текст, и в конце концов выучила его наизусть (сохранился один из списков, сделанных ею в 1940-е гг.). Только в начале 1960-х гг. (после XXII съезда КПСС – пика антисталинской политики Хрущева) вдова Мандельштама стала распространять «Четвертую прозу» (не предлагая ее в советскую печать), с этого же времени «Четвертая проза» стала циркулировать в СССР в Самиздате. Попавшая в середине 1960-х гг. за границу (вероятно, переданная Ю.Г. Оксманом), «Четвертая проза» была опубликована во втором томе Собрания сочинений Мандельштама (Нью-Йорк, 1966. – С.215-230).

Однако в СССР еще четверть века не предпринималось даже попыток предложить «Четвертую прозу» к опубликованию, ввиду явной неприемлемости текста для советской цензуры. Впервые была опубликована в СССР в двух прибалтийских журналах (Радуга. – Таллин, 1988, №3; Родник. – Рига, 1988, №6).

1

Веньямин Федорович Каган подошел к этому делу с мудрой расчетливостью волхва и одесского ньютона-математика. Вся заговорщицкая деятельность Веньямина Федоровича покоилась на основе бесконечно-малых. Закон спасения Веньямина Федорович видел в черепаших темпах. Он позволял вытряхивать себя из профессорской коробки, подходил к телефону во всякое время, не зарекался, не отнекивался, но главным образом старался задержать опасное течение болезни.

Наличие профессора, да еще математика, в невероятном деле спасения пятерых жизней путем умпостигаемых, совершенно невесомых интегральных ходов, именуемых хлопотами, вызывало всеобщее удовлетворение. Исай Бенедиктович с первых же шагов повел себя так, будто болезнь заразительна, прилипчива — вроде скарлатины — так что и его — Исая Бенедиктовича — могут, чего доброго, расстрелять. Хлопотал Исай Бенедиктович без всякого толку. Он как бы метался по докторам и умолял о скорейшей дезинфекции.

Если бы дать Исаю Бенедиктовичу волю, он бы взял такси и носился бы по Москве наобум, без всякого плана, воображая, что таков ритуал.

Исай Бенедиктович твердил и все время помнил, что в Петербурге у него осталась жена. Он даже завел себе вроде секретарши — маленькую, строгую и очень толковую спутницу-родственницу, которая уже нянчилась с ним — Исаем Бенедиктовичем. Короче говоря, обращаясь к разным лицам и в разное время, Исай Бенедиктович как бы делал себе прививку от расстрела.

Все родственники Исаия Бенедиктовича умерли на ореховых еврейских кроватях. Как турок ездит к черному камню Каабы, так эти петербургские буржуа, происходящие от раввинов патрицианской крови и прикоснувшись через переводчика Исаия к Анатолию Франсу, паломничали в самые что ни на есть тургеневские и лермонтовские курорты, подготавливая себя лечением к переходу в потусторонний мир.

В Петербурге Исай Бенедиктович жил благочестивым французом, кушал свой потаж, знакомых выбирал безобидных как гренки в бульоне, и ходил, сообразно профессии, к двум скупщикам переводного барахла.

Исай Бенедиктович был хорош только в самом начале хлопот, когда происходила мобилизация и, так сказать, боевая тревога. Потом он слинял, смяк, высунул язык, и сами родственники вскладчину отправили его в Петербург. Меня всегда интересовал вопрос, откуда берется у буржуа брезгливость и так называемая порядочность. Порядочность — это то, что роднит буржуа с животным. Многие партийцы отдыхают в обществе буржуа по той же причине, почему взрослые нуждаются в общении с розовощекими детьми.

Буржуа, конечно, невиннее пролетария, ближе к утробному миру, к младенцу, котенку, ангелу, херувиму. В России очень мало невинных буржуа, и это плохо влияет на пищеварение подлинных революционеров. Надо сохранить буржуазию в ее невинном облике, надо занять ее самодеятельными играми, баюкать на пультмановских рессорах, заворачивать в конверты белоснежного железнодорожного сна.

2

Мальчик в козловых сапожках, в плисовой поддевочке, с зачесанными височками стоит в окружении мамушек, бабушек, нянюшек, а рядом с ним стоит поваренок или кучеренок — мальчишка из дворни. И вся эта свора сюсюкающих, улюлюкающих и пришептывающих архангелов насаждает на барчука:

– Вдарь, Васенька, вдарь!

Сейчас Васенька вдарит, и старые девы, гнусные жабы, подталкивают друг друга и придерживают паршивого кучеренка:

– Вдарь, Васенька, вдарь, а мы покуда кучерявого придержим, мы покуда вокруг попляшем...

Что это? Жанровая картинка по Венецианову? Этуод крепостного живописца?

Нет, это тренировка вихрастого малютки комсомола под руководством агит-мамушек, бабушек, нянюшек, чтобы он, Васенька, топнул, чтобы он, Васенька, вдарил, а мы покуда чернявого придержим, мы покуда вокруг попляшем...

– Вдарь, Васенька, вдарь...

3

Девушка-хромоножка пришла к нам с улицы, длинной, как бестрамвайная ночь. Она кладет свой костыль в сторону и торопится поскорее сесть, чтобы быть похожей на всех. Кто эта безмужница? — Легкая кавалерия...

Мы стреляем друг у друга папиросы и правим свою китайщину, зашифровывая в животно-трусливые формулы великое, могучее, запретное понятие класса.

Животный страх стучит на машинках, животный страх ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежачим, требует казни для пленников. Как мальчишки топят всенародно котенка на Москва-реке, так наши взрослые ребята играючи нажимают, на большой перемене масло жмут: — Эй, навались, жми, да так, чтобы не видно было того самого, кого жмут, — таково освященное правило самосуда.

Приказчик на Ордынке работницу обвесил — убей его!

Кассирша обсчиталась на пятак — убей ее!

Директор сдуру подмахнул чепуху — убей его!

Мужик припрятал в амбар рожь — убей его!

К нам ходит девушка, волочась на костыле. Одна нога у нее укороченная, и грубый башмак-протез напоминает деревянное копыто.

Кто мы такие? Мы школьники, которые не учатся. Мы комсомольская вольница. Мы бузотеры с разрешения всех святых.

У Филиппа Филиппыча разболелись зубы. Филипп Филиппыч не пришел и не придет в класс. Наше понятие учебы так же относится к науке, как копыто к ноге, но это нас не смущает.

Я пришел к вам, мои парнокопытные друзья, стучать деревяшкой в желтом социалистическом пассаже-комбинате, созданном оголтелой фантазией лихача-хозяйственника Гибера из элементов шикарной гостиницы на Тверской, ночного телеграфа или телефонной станции, из мечты о всемирном блаженстве, воплощаемом как перманентное фойе с буфетом, из непрерывной конторы с салютующими клерками, из почтово-телеграфной сухости воздуха, от которого першит в горле.

Здесь непрерывная бухгалтерская ночь под желтым пламенем вокзальных ламп второго класса. Здесь, как в пушкинской сказке, жида с лягушкой венчают, то есть происходит непрерывная свадьба козлоногого ферта, мечущего театральную икру, с парным для него из той же бани нечистым — московским редактором-гробовщиком, изготавливающим глазетовые гробы на понедельник, вторник, среду и четверг. Он саваном бумажным шелестит. Он отворяет жилы месяцам христианского года, еще хранящим свои пастушески-греческие названия — январю, февралю и марту... Он страшный и безграмотный коновал происшествий, смертей и событий и рад-радешенек, когда брызжет фонтаном черная лошадиная кровь эпохи.

4

Я поступил на службу в газету «Московский Комсомолец» прямо из караван-сарая Цекубу. Там было двенадцать пар наушников, почти все испорчен-

ные, и читальный зал, переделанный из церкви, без книг, где спали улитками на круглых диванчиках.

Меня ненавидела прислуга в Цекубу за мои соломенные корзинки и за то, что я не профессор.

Днем я ходил смотреть на паводок и твердо верил, что матерные воды Москва-реки зальют ученую Кропоткинскую набережную и в Цекубу по телефону вызовут лодку.

По утрам я пил стерилизованные сливки прямо на улице из горлышка бутылки. Я брал на профессорских полочках чужое мыло и умывался по ночам, и ни разу не был пойман.

Туда приезжали люди из Харькова и из Воронежа, и все хотели ехать в Алма-Ату. Они принимали меня за своего и советовались, какая республика выгоднее.

Ночью Цекубу запирали, как крепость, и я стучал палкой в окно.

Всякому порядочному человеку звонили в Цекубу по телефону, и прислуга подавала ему вечером записку, как поминальный листок попу. Там жил писатель Грин, которому прислуга чистила щеткой платье. Я жил в Цекубу как все, и никто меня не трогал, пока я сам не съехал в середине лета.

Когда я переезжал на другую квартиру, моя шуба лежала поперек пролетки, как это бывает у покидающих после долгого пребывания больницу или у выпущенных из тюрьмы.

5

Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост:

И до самой кости ранено

Все ущелье криком сокола — вот что мне надо.

Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда.

Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей — ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать — в то время как отцы запроданы рябому черту на три поколения вперед.

Вот это литературная страничка. У меня нет рукописей, нет записных книжек, архивов. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голосу, а вокруг густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!

Зато карандашей у меня много и все краденые и разноцветные. Их можно точить бритвочкой «жиллет».

Пластиночка бритвы жиллет с чуть зазубренным косеньким краем всегда казалась мне одним из благороднейших изделий стальной промышленности.

Хорошая бритва жиллет режет как трава-осока, гнется, а не ломается в руке — не то визитная карточка марсианина, не то записка от корректного черта с просверленной дырочкой в середине.

Пластиночка бритвы жиллет — изделие мертвого треста, куда входят пайщиками стаи американских и шведских волков.

7

Я китаец, никто меня не понимает. Халды-балды! Поедем в Алма-Ату, где ходят люди с изюмными глазами, где ходит перс с глазами как яичница, где ходит сарт с бараньими глазами.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!

Был у меня покровитель — нарком Мравьян-Муравьян, муравьиный нарком земли армянской, этой младшей сестры земли иудейской. Он прислал мне телеграмму.

Умер мой покровитель — нарком Мравьян-Муравьян. В муравейнике эриванском не стало черного наркома. Он уже не приедет в Москву в международном вагоне, наивный и любопытный, как священник из турецкой деревни.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!

У меня было письмо к наркому Мравьяну. Я понес его секретарям в армянский особняк на самой чистой, посольской улице Москвы. Я чуть было не поехал в Эривань с командировкой от древнего Наркомпроса читать круглоголовым юношам в бедном монастыре-университете страшный курс-семинарий.

Если бы я поехал в Эривань, три дня и три ночи я бы сходил на станциях в большие буфеты и ел бутерброды с черной икрой.

Халды-балды!

Я бы читал по дороге самую лучшую книгу Зоценко, и я бы радовался как татарин, укравший сто рублей.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!

Я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым ворохом пахнущего щелоком белья, а моя шуба висела бы на золотом гвозде. И я бы вышел на вокзале в Эривани с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой — моим еврейским посохом — в другой.

8

Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого, как наваждение, рассыпается рогатая нечисть.

Угадайте, друзья, этот стих — он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату:

...не расстреливал несчастных по темницам... Вот символ веры, вот подлинный канон настоящего писателя, смертельного врага литературы.

В Доме Герцена один молочный вегетарианец, филолог с головенкой китаяца — этакий ходя, хао-хао, шанго-шанго, когда рубят головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской земле, некий Митька Благой — лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, — сторожит в специальном музее веревку удушенника Сережи Есенина.

А я говорю — к китайцам Благого, в Шанхай его — к китаезам — там ему место! Чем была матушка филология и чем стала... Была вся кровь, вся непримиримость, а стала псякрев, стала всетерпимость...

9

К числу убийц русских поэтов или кандидатов в эти убийцы прибавилось тусклое имя Горнфельда. Этот паралитический Дантес, этот дядя Моня с Басейной, проповедующий нравственность и государственность, выполнил заказ совершенно чуждого ему режима, который он воспринимает приблизительно как несварение желудка.

Погибнуть от Горнфельда так же глупо, как от велосипеда или от клюва попугая. Но литературный убийца может быть и попугаем. Меня, например, чуть не убил попка имени его величества короля Альберта и Владимира Галактионовича Короленко. Я очень рад, что мой убийца жив и в некотором роде меня пережил. Я кормлю его сахаром и с удовольствием слушаю, как он твердит из Уленшпигеля: «Пепел стучит в мое сердце», перемежая эту фразу с другой, не менее красивой: «Нет на свете мук сильнее муки слова»... Человек, способный назвать свою книгу «Муки слова», рожден с каиновой печатью литературного убийцы на лбу.

Я только однажды встретился с Горнфельдом в грязной редакции какого-то безыдейного журнальчика, где толпились, как в буфете Квисисана, какие-то призрачные фигуры. Тогда еще не было идеологии и некому было жаловаться, если тебя кто обидит. Когда я вспоминаю то сиротство — как мы могли тогда жить! — крупные слезы наворачиваются на глаза... Кто-то познакомил меня с двуногим критиком, и я пожал ему Руку.

Дяденька Горнфельд, зачем ты пошел жаловаться в Биржевку, то есть в Вечернюю Красную Газету, в двадцать девятом советском году? Ты бы лучше поплакал господину Пропперу в чистый еврейский литературный жилет. Ты бы лучше поведал свое горе банкиру с ишиасом, кугелем и талесом...

10

У Николая Ивановича есть секретарша — правда, правдочка, совершенная белочка, маленький грызунок. Она грызет орешек с каждым посетителем и к телефону подбегает как очень неопытная молодая мать к больному ребенку.

Один мерзавец мне сказал, что правда по-гречески значит мрия.

Вот эта беляночка — настоящая правда с большой буквы по-гречески, и вместе с тем она та, другая, правда — та жестокая партийная девственница — правда-партия...

Секретарша, испуганная и жалостливая, как сестра милосердия, не служит, а живет в преддверьи к кабинету, в телефонном предбанничке. Бедная Мрия из проходной комнаты с телефоном и классической газетой!

Эта секретарша отличается от других тем, что сиделкой сидит на пороге власти, охраняя носителя власти как тяжелобольного.

11

Нет, уж позвольте мне судиться! Уж разрешите занести в протокол!..

Дайте мне, так сказать, приобрести себя к делу. Не отнимайте у меня, убедительно вас прошу, моего процесса... Судопроизводство еще не кончилось и, смею вас заверить, никогда не кончится. То, что было прежде, только увертюра. Сама певица Бозио будет петь в моем процессе. Бородатые студенты в клетчатых пледах, смешавшись с жандармами в пелеринах, предводительствуемые козлом регентом, в буйном восторге выводя, как плясовую, вечную память, вынесут полицейский гроб с останками моего дела из продымленной залы окружного суда.

Папа, папа, папочка,
Где же твоя мамочка?
Черная оспа
Пошла от Фоспа.
Твоя мама окривела,
Мертвой ниткой шьется дело...

Александр Иванович Герцен!.. Разрешите представиться... Кажется, в вашем доме... Вы, как хозяин, в некотором роде отвечаете...

Изволили выехать за границу?.. Здесь пока что случилась неприятность... Александр Иванович! барин! как же быть?! Совершенно не к кому обратиться!

12

На каком-то году моей жизни взрослые мужчины из того племени, которое я ненавижу всеми своими душевными силами и к которому не хочу и никогда не буду принадлежать, возымели намерение совершить надо мной коллективно безобразный и гнусный ритуал. Имя этому ритуалу — литературное обрезание или обесчещенье, которое совершается согласно обычаю и календарным потребностям писательского племени, причем жертва намечается по выбору старейшин.

Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе и в особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского племени. Еще ребенком меня похитил скрипучий табор немых романев и сколько-то лет проваландал по своим похабным маршрутам, тщетно сияясь меня обучить своему единственному ремеслу, единственному искусству — краже.

Писательство — это раса с противным запахом кожи и самыми грязными способами приготовления пищи. Это раса, кочующая и ночующая на своей блевотине, изгнанная из городов, преследуемая в деревнях, но везде и всюду близкая к власти, которая ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам. Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными.

Писатель — это помесь попугая и попа. Он попка в самом высоком значении

этого слова. Он говорит по-французски, если его хозяин француз, но, проданный в Персию, скажет по-персидски: «попка-дурак» или «попка хочет сахару». Попугай не имеет возраста, не знает дня и ночи. Если хозяину надоест, его накрывают черным платком, и это является для литературы суррогатом ночи.

13

Было два брата Шенье — презренный младший весь принадлежит литературе, казненный старший сам ее казнил.

Тюремщики любят читать романы и больше, чем кто-либо, нуждаются в литературе.

На таком-то году моей жизни бородастые взрослые мужчины в рогатых меховых шапках занесли надо мной кремневый нож с целью меня оскопить. Судя по всему, это были священники своего племени: от них пахло луком, романами и козлятиной.

И все было страшно, как в младенческом сне. *Nel mezzo del cammin di nostra vita* — на середине жизненной дороги я был остановлен в дремучем советском лесу разбойниками, которые назвали моими судьями. То были старцы с жилистыми шеями и маленькими гусиными головами, недостойными носить бремя лет.

Первый и единственный раз в жизни я понадобился литературе, и она меня мяла, лапала и тискала, и все было страшно, как в младенческом сне.

14

Я несу моральную ответственность за то, что издательство ЗИФ не договорилось с переводчиками Горнфельдом и Карякиным. Я — скорняк драгоценных мехов, едва не задохнувшийся от литературной пушнины, несу моральную ответственность за то, что внушил петербургскому хаму желание процитировать как пасквильный анекдот жаркую гоголевскую шубу, сорванную ночью на площади с плеч старейшего комсомольца — Акакия Акакиевича. Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами. Я в одном пиджачке в тридцатиградусный мороз три раза пробегу по бульварным кольцам Москвы. Я убегу из желтой больницы комсомольского пассажа навстречу смертельной простуде, лишь бы не видеть двенадцать освещенных иудиных окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона сребреников и счета печатных листов.

15

Уважаемые романее с Тверского бульвара, мы с вами вместе написали роман, который вам даже не снился. Я очень люблю встречать свое имя в официальных бумагах, повестках от судебного исполнителя и прочих жестких документах. Здесь имя звучит вполне объективно: звук, новый для слуха и, надо сказать, весьма интересный. Мне и самому подчас любопытно: что это я все не так делаю. Что это за фрукт такой этот Мандельштам, который столько-то лет должен что-то такое сделать и все, подлец, изворачивается?..

Долго ли он еще будет изворачиваться? Оттого-то мне и годы впрок не идут —

другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот — обратное течение времени.

Я виноват. Двух мнений здесь быть не может. Из виновности не вылезая. В неоплатности живу. Изворачиванием спасаюсь. Долго ли мне еще изворачиваться?

Когда приходит жестяная повестка или греческое в своей простоте напоминание от общественной организации, когда от меня требуют, чтобы я выдал сообщников, прекратил вороватую деятельность, указал, где беру фальшивые деньги, и дал расписку о невыезде из предначертанных мне границ, я моментально соглашаюсь, но тотчас, как ни в чем не бывало, снова начинаю изворачиваться — и так без конца.

Во-первых, я откуда-то сбежал, и меня нужно вернуть, водворить, разыскать и направить. Во-вторых, меня принимают за кого-то другого.

Удостоверить нету сил. В карманах дрянь: прошлогодние шифрованные записки, телефоны умерших родственников и неизвестно чьи адреса. В-третьих, я подписал с Вельзевулом или ГИЗ'ом грандиозный, невыполнимый договор на ватманской бумаге, подмазанной горчицей с перцем — наждачным порошком, в котором обязался вернуть в двойном размере все приобретенное, отрыгнуть в четверном размере все незаконно присвоенное и шестнадцать раз кряду проделать то невозможное, то немислимое, то единственное, которое могло бы меня частично оправдать.

С каждым годом я все прожженнее. Как стальными кондукторскими щипцами, я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией. Когда меня называют по имени-отчеству, я каждый раз вздрагиваю — никак не могу привыкнуть — какая честь! Хоть бы раз Иван Моисеич в жизни кто назвал!.. Эй, Иван, чеши собак! Мандельштам, чеши собак! Французику — шер-мэтр, дорогой учитель, а мне: Мандельштам, чеши собак! Каждому свое.

Я — стареющий человек — огрызком сердца чешу господских собак — и все им мало, все им мало... С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подохни! Откуда же эта лакейская злоба, это холуйское презрение к имени моему? У цыгана хоть лошадь была, а я в одной персоне и лошадь, и цыган...

Жестяные повесточки под подушечку... Сорок шестой договорчик вместо венчика и сто тысяч зажженных папиросочек вместо свечечек...

16

Сколько бы я ни трудился, если бы я носил на спине лошадей, если бы крутил мельничьи жернова, все равно никогда я не стану трудящимся. Мой труд, в чем бы он ни выражался, воспринимается как озорство, как беззаконие, как случайность. Но такова моя воля, и я на это согласен. Подписываю обеими руками.

Здесь разный подход: для меня в бублике ценна дырка. А как же быть с бубличным тестом? Бублик можно слопать, а дырка останется.

Настоящий труд это — брусельское кружево, в нем главное — то на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы.

А ведь мне, братишки, труд впрок не идет, он мне в стаж не зачитывается. У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зоценко.

Единственного человека, который показал нам трудящегося, мы втоптали в грязь. А я требую памятников для Зощенко по всем городам и местечкам Советского Союза или по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем Саду.

Вот у кого прогулы дышат, вот у кого брюссельское кружево живет!

Ночью на Ильинке, когда Гум'ы и тресты спят и разговаривают на родном китайском языке, ночью по Ильинке ходят анекдоты. Ходят Ленин с Троцким в обнимку, как ни в чем ни бывало. У одного ведрышко и константинопольская удочка в руке. Ходят два еврея, неразлучные двое — один вопрошающий, другой отвечающий, и один все спрашивает, все спрашивает, а другой все крутит, все крутит, и никак им не разойтись.

Ходит немец-шарманщик с пубертовским леерка-стеном, такой неудачник, такой шаромыжник... Ich bin arm. Я беден.

Спи, моя милая... Эм-эс-пэ-о...

Вий читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне веки...

Дайте Цека...

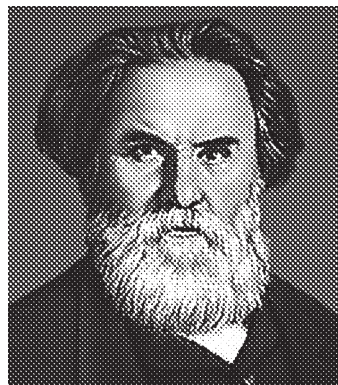
Ходят армяне из города Эривани с зелеными крашеными селедками. Ich bin arm — я беден.

А в Армавире на городском гербе написано: собака лает, ветер носит.

Источник: О.Э. Мандельштам. Собрание сочинений в четырех томах. М.: «ТЕРРА-TERRA», 1991.

**ПУБЛИЦИСТИКА,
ДОКУМЕНТЫ,
ЭССЕ, МЕМУАРЫ**

Короленко
Владимир Галактионович
(1853–1921)



Писатель, публицист.

Родился в Житомире в семье уездного судьи. Хотел стать адвокатом, чтобы защищать обездоленных, однако, не имея к этому средств, поступил в 1871 г. в Петербургский технологический институт, в 1874 г. перевелся в Петровскую земледельческую и лесную академию (ныне академия им. Тимирязева). В годы учебы в академии увлекся народническими идеями, участвовал в организации студенческого выступления, за что был исключен в 1876 г. и выслан в Кронштадт под надзор. В 1879 г., уже участь в петербургском горном институте, Короленко был арестован и в течение шести лет находился то в тюрьмах, то в ссылках. С этого же года начинают выходить его первые рассказы.

По возвращении из ссылки жил сначала в Нижнем Новгороде, затем в Петербурге, Полтаве. С 1885 г. Короленко много печатается в столичных журналах. Широкую известность приобрели его короткие рассказы о людях, встреченных им в ссылке и автобиографический труд «Записки моего современника». Короленко активно выступал с публицистическими статьями, бесстрашно защищая права преследуемых, выступая против «дикой оргии» смертных казней, последовавшей за революцией 1905 г., против государственного антисемитизма (очерки «Бытовое явление» (1910), «Черты военного правосудия» (1910), «В успокоенной деревне» (1911), «Дело Бейлиса» (1913)).

Короленко с оптимизмом встретил Февральскую революцию, однако Октябрьскую революцию принял враждебно. В ходе Гражданской войны неоднократно протестовал против несправедливости и террора, допускавшимися всеми сторонами. Его переписка тех лет с наркомом просвещения А. Луначарским содержит массу примеров бесчинств большевиков и самого бескомпромиссного осуждения Советской власти. Опубликовано в 1922 г. в Париже издательством «Задруга».

Умер Короленко в Полтаве от воспаления мозга.

«Письма Луначарскому» ходили в Самиздате с начала 60-х годов.

Опубликованы в Москве в 1988 году в № 10 «Нового мира».

ПИСЬМА ЛУНАЧАРСКОМУ

Письмо первое

... Вы знаете, что в течение своей литературной жизни я «сеял не одни розы» (выражение Ваше в одной из статей обо мне). При царской власти я много писал о смертной казни и даже отвоёвал себе право говорить о ней печатно много больше, чем это вообще было дозволено цензурой. Порой мне удавалось даже спасти

уже обреченные жертвы военных судов, и были случаи, когда после приостановления казни получались доказательства невиновности и жертвы освобождались (напр. в деле Юсупова), хотя бывало, что эти доказательства приходили слишком поздно (в деле Глускера и др.).

Но казни без суда, казни в административном порядке – это бывало величайшей редкостью даже и тогда. Я помню только один случай, когда озверевший Скалон (варшавский генерал-губернатор) расстрелял без суда двух юношей. Но это возбудило такое негодование даже в военно-судных сферах, что только «одобрение» после факта неумного царя спасло Скалона от предания суду. Даже члены главного военного суда уверяли меня, что повторение этого более невозможно.

Много и в то время, и после этого творилось невероятных безобразий, но прямого признания, что позволительно соединять в одно следственную власть и власть, постановляющую приговоры (к смертной казни), даже тогда не бывало. Деятельность большевистских чрезвычайных следственных комиссий представляет пример может быть единственный в истории культурных народов. Однажды один из видных членов Всеукраинской ЧК, встретив меня в Полтавской ЧК, куда я часто приходил... с разными ходатайствами, спросил меня о моих впечатлениях. Я ответил: если бы при царевой власти окружные жандармские управления получили право не только ссылать в Сибирь, но и казнить смертью, то это было бы то самое, что мы видим теперь. На это мой собеседник ответил: – Но ведь это на благо народа.

Я думаю, что не всякие средства могут действительно обращаться на благо народа, и для меня несомненно, что административные расстрелы, возведенные в систему и продолжающиеся уже второй год, не принадлежат к их числу. ...

... Не говорите, что революция имеет свои законы. Были, конечно, взрывы страстей революционной толпы, обгабившей улицы кровью даже в XIX столетии, но это были вспышки стихийной, а не систематизированной ярости. И они надолго оставались (как расстрел заложников коммунарами) кровавыми маяками, вызывавшими не только лицемерное негодование версальцев, которые далеко превзошли в жестокости коммунаров, но и самих рабочих и их друзей... надолго это кидало омрачающую и заглушающую тень и на самое социалистическое движение.

... Это мрачное происшествие (речь идет о расстреле неких Аронова и Миркина по обвинению в хлебной спекуляции. Продовольственные власти не усмотрели в их действиях нарушения закона. – Ред.) напоминает общеизвестный эпизод великой французской революции. Тогда тоже была дороговизна. Объяснялось это тогда тоже самым близоруким образом – происками аристократов и спекулянтов, и возбуждало слепую ярость толпы. Конвент «пошел навстречу народному чувству», и головы тогдашних Ароновых и Миркиных летели десятками под ножом гильотины. Ничто, однако, не помогло, дороговизна только росла. Наконец, парижские рабочие первые очнулись от рокового угара. Они обратились к Конвенту с петицией, в которой говорили: «мы просим хлеба, а вы думаете нас накормить казнями». По мнению Мишле, историка-социалиста, из этого утомления казнями в С. Антуанском предместье взметнулись первые взрывы контрреволюции.... и... Мне горько думать, что и вы, А.В., вместо

призыва к отрезвлению, напоминания о справедливости, бережного отношения к человеческой жизни, которая стала теперь так дешева, в своей речи высказали как будто солидарность с этими «административными расстрелами». В передаче местных газет это звучит именно так. От души желаю, чтобы в вашем сердце зазвучали опять отголоски настроения, которое когда-то родило нас в главных вопросах, когда мы оба считали, что движение к социализму должно опираться на лучшие стороны человеческой природы, предполагая мужество в прямой борьбе и человечность даже к противникам. Пусть зверство и слепая несправедливость остаются целиком на долю прошлого, отжившего, не проникая в будущее.

Письмо второе

(Вл. Короленко описывает митинг в Чикаго, где представители различных партий и течений одновременно излагали свои программы и любой из участников двухсоттысячного митинга мог ознакомиться с ними, переходя от одной «платформы» к другой. На митинге Вл. Короленко обратился со следующим вопросом к видному представителю социалистической партии Чикаго Стоуну):

... – Желали бы вы, чтобы во всех этих головах повернулась сразу какая-то логическая машинка, и они, а, пожалуй, и весь народ обратился к вам, социалистам, и сказал бы: мы в вашей власти. Устраивайте нашу жизнь?

– Сохрани бог, – ответил американский социалист решительно.

– Почему же?

– Ни мы, ни эта толпа, ни учреждения Америки еще к этому не готовы. Я – марксист. По моему мнению, капитализм еще не закончил своего дела. Недавно здесь был Энгельс. Он говорил: «Ваш капитал отлично исполняет свою роль. Все эти дома-монстры отлично послужат будущему обществу. Но роль его еще далеко не закончена». И это правда... Что касается до всесторонней организации народного хозяйства огромной страны на социалистических началах, то эта задача для нашей партии еще не по силам... Мы, марксисты, отлично понимаем, что нам придется иметь дело не с людьми, сразу превратившимися в ангелов, а с миллионами отдельных, скажем даже здоровых эгоизмов, для примирения которых потребуются трудная выработка и душ, и переходных учреждений... Америка дает для этого отличную свободную почву, но пока и только.

... Нужно много условий, как политическая свобода, просвещение, нужна выработка новых общественных сплетений на прежней почве, нужны растущие перемены в учреждениях и в человеческих нравах. Словом нужно то, что один мой (Вл. Короленко – прим.) близкий знакомый и друг, основатель румынского социализма, истинный марксист Геря-Доброджану назвал «объективными и субъективными условиями социального переворота»...

На мой взгляд, это основа философии Маркса. И вот почему. Энгельс в самом конце прошлого столетия говорил, что даже Америка еще не готова для социального переворота.

(Из того, что «не передовая в развитии социализма Германия, где социалистические организации развиты более всех стран, а отсталая Россия, которая

до февральской революции не знала совсем легальных социалистических организаций, – выкинула знамя социальной революции», румынские возражатели Доброджану делали, как будто вывод): чем меньше «объективных и субъективных условий» в стране, тем она больше готова к социальному перевороту.

Эту аргументацию можно назвать чем угодно, только не марксизмом.

... Приезд делегации английских рабочих закончился горьким письмом к ним Ленина, которое звучит охлаждением и разочарованием (по поводу того, что английские тред-юнионы не хотят поддержать русскую революцию – Прим.). Зато с востока советская республика получает горячие приветствия. Но – следует только вдуматься, что знаменует эта холодность английских рабочих-социалистов и приветы фанатического востока, чтобы представить себе ясно их значение.

... Когда... вы захотите себе ясно представить картину... своеобразных восточных митингов на площадях перед мечетями, где странствующие дервиши призывают сидящих на корточках слушателей к священной войне с европейцами и вместе с тем к приветствию русской советской республики, то едва ли вы скажете, что тут речь идет о прогрессе в смысле Маркса и Энгельса... Скорее наоборот: Азия отзывается на то, что чувствует в нас родного, азиатского.

11 июля 1920 г.

Письмо третье

... Над Россией ход исторических судеб совершил почти волшебную и очень злую шутку. В миллионах русских голов в каких-нибудь два-три года повернулся внезапно какой-то логический винтик, и от слепого преклонения перед самодержавием, от полного равнодушия к политике наш народ сразу перешел... к коммунизму, по крайней мере к коммунистическому правительству.

Нравы остались прежние, уклад жизни тоже. Уровень просвещения за время войны сильно подняться не мог, однако выводы стали радикально противоположные. От диктатуры дворянства... мы перешли к «диктатуре пролетариата». Вы, партия «большевиков», провозгласили ее, и народ прямо от самодержавия перешел к вам и сказал: «устраивайте нашу жизнь».

Народ поверил, что вы можете это сделать. Вы не отказались. Вам это казалось легко, и вы непосредственно после политического переворота начали социальную революцию.

Известный вам английский историк Карлейль говорил, что правительства чаще всего погибают от лжи... Вашей диктатуре предшествовала диктатура дворянства. Она покоилась на огромной лжи, долго тяготевшей над Россией. Отчего у нас после крестьянской реформы богатство страны не растет, а идет на убыль, и страна впадает во все растущие голодовки? Дворянская диктатура отвечала: от мужицкой лени и пьянства. Голодовки растут не от того, что у нас воцарился мертвящий застой, что наша главная сила, земледелие, скована дурными земельными порядками, а исключительно от недостатка опеки над народом лентяев и пьяниц... .. Что у нас пьянства было много – это была правда, но правда только частичная. Основная же сущность крестьянства, как класса, состояла не в пьянстве, а в труде и притом труде, плохо вознаграждаемом и не

дававшим надежды на прочное улучшение положения. Вся политика последних десятилетий царизма была основана на этой лжи... Образованное общество пыталось с нею бороться... Но народные массы верили только царям и помогали им подавлять всякое освободительное движение. У самодержавного строя не было умных людей, которые поняли бы, как эта ложь, поддерживаемая слепой силой, самым реальным образом ведет строй к гибели... Вместо того чтобы внять истине и остановиться, оно (самодержавие) только усиливало ложь, дойдя, наконец, до чудовищной нелепости, «самодержавной конституции», т.е. до мечты обманом сохранить сущность абсолютизма в конституционной форме.

И строй рухнул.

Теперь я ставлю вопрос: все ли правда и в вашем строе? Нет ли следов такой же лжи в том, что вы успели теперь внушить народу?

По моему глубокому убеждению, такая ложь есть, и даже странным образом носит такой же широкий, «классовый» характер. Вы внушили восставшему и возбужденному народу, что так называемая «буржуазия» («буржуй») представляет только класс тунеядцев и грабителей, стригущих купоны – и ничего больше.

Правда ли это?.. Можете ли это говорить вы – марксисты?

... Когда вы, марксисты, вели ожесточенную полемику с народниками, вы доказывали, что России необходимо и благотельно пройти через «стадию капитализма»... Капиталистический класс вам тогда представлялся классом, худо ли, хорошо ли, организующим производство. Несмотря на все его недостатки, вы считали, совершенно согласно с учением Маркса, что такая организация благотельна для отсталых в промышленном отношении стран...

Почему же теперь иностранное слово «буржуа» – целое, огромное и сложное понятие, с вашей легкой руки превратилось в глазах нашего темного народа, до тех пор его не знавшего, в упрощенное представление о «буржее», исключительно тунеядце, грабителе, ничем не занятом, кроме стрижки купонов?

Совершенно так же, как ложь дворянской диктатуры, подменившая классовое значение крестьянства представлением о тунеядце и пьянице, ваша формула подменила роль организатора – представлением исключительно грабителя... Тактическим соображениям вы пожертвовали долгом перед истиной. Тактически вам было выгодно раздуть народную ненависть к капитализму и натравить народные массы на русский капитализм, как натравливают боевой отряд на крепость. И вы не остановились перед извращением истины. Частичную истину вы выдали за всю истину (ведь и пьянство тоже было). И теперь это принесло свои плоды. Крепость вами взята и отдана на поток и разграбление. Вы забыли только, что эта крепость – народное достояние, добытое «благотельным процессом», что в этом аппарате, созданном русским капитализмом, есть многое, подлежащее усовершенствованию, дальнейшему развитию, а не уничтожению. Вы внушили народу, что все это – только плод грабежа, подлежащий разграблению в свою очередь. Говоря это, я имею в виду не одни материальные ценности в виде созданных капитализмом фабрик, заводов, машин, железных дорог, но и те новые процессы и навыки, ту новую социальную структуру, которую вы, марксисты, сами имели в виду, когда доказывали благотельность «капиталистической стадии»...

... Своим лозунгом «грабь награбленное» вы сделали то, что деревенская грабежка, погубившая огромные количества сельскохозяйственного имущества без

всякой пользы для вашего коммунизма, перекинулась и в города, где быстро стал разрушаться созданный капиталистическим строем производственный аппарат.

... Теперь вы спохватились, но, к сожалению, слишком поздно, когда страна стоит в страшной опасности перед одним забытым вами фронтом. Фронт этот – враждебные силы природы.

Письмо четвертое

... Европейский пролетариат за вами не пошел, и его настроение в массе является настроением того американского социалиста Стоуна, мнение которого я приводил во втором письме. Они думают, что капитализм даже в Европе не завершил своего дела и что его работа еще может быть полезной для будущего, своего рода палладиум, который человечество добыло путем долгой и бесплодной борьбы и прогресса. Только мы, никогда не знавшие вполне этих свобод и не научившиеся пользоваться совместно с народом, объявляем их «буржуазным предрассудком», лишь тормозящим дело справедливости.

Это огромная ваша ошибка, еще и еще раз напоминающая славянофильский миф о нашем «народе богоносце» и еще более нашу национальную сказку об Иванушке, который без науки все науки превзошел и которому все удается без труда по щучьему велению. Сама легкость, с которой вам удалось повести за собой ваши народные массы, указывает не на нашу готовность к социалистическому строю, а наоборот, на незрелость нашего народа. Механика знает полезное и вредное сопротивление. Вредное мешает работе механизма и подлежит устранению. Но без полезного сопротивления механизм будет вращаться впустую, не производя нужной работы. Это именно случилось и у нас. Вы выкинули самые максималистские лозунги, вы воюете во имя социализма, вы побеждаете его именем на полях сражений, но вся эта суета во имя коммунизма нисколько не знаменует его победы....

... Не всякое отсутствие навыков буржуазного общества знаменует готовность к социализму... По натуре, по природным задаткам наш народ не уступает лучшим народам мира, и это заставляет любить его. Но он далеко отстал в воспитании нравственной культуры. У него нет того самоуважения, которое заставляет воздерживаться от известных поступков (речь идет, прежде всего, о воровстве в широком смысле слова – Прим.), даже когда этого никто не узнает. Это надо признать и надо вывести из этого необходимые последствия.

Нам надо пройти еще довольно долгую и суровую школу. Вы говорите о коммунизме. Не говоря о том, что коммунизм есть нечто неоформленное и неопределенное, и вы до сих пор не выяснили, что вы под ним подразумеваете, – для социального переворота в этом направлении нужны другие нравы...

... И это (отставание в нравственной культуре – Прим.) с тех пор, как вы провозгласили коммунизм, не ослабло, а усилилось в огромной степени... И никакими расстрелами вы с этой стихией не справитесь. Тут нужно нечто другое, и во всяком случае до коммунизма еще далеко...

Письмо пятое

Приходится задуматься о причинах явного разлада между западноевропейскими социалистами и вами, вождями российского пролетариата. Ваша монополярная печать объясняет это тем, что вожди социализма в западной Европе продались буржуазии. Но простите, это такая же пошлость, как и то, когда вас самих обвинили в подкупности со стороны Германии.

Нет надобности искать низких причин для объяснения факта этого разлада. Он коренится гораздо глубже – в огромной разнице настроений. Даже в том, что вожди европейского социализма в течение уже десятков лет руководили легально массовой борьбой своего пролетариата, проникли в эти массы, создали широкую и стройную организацию, добились ее легального признания.

Вы никогда не были в таком положении. Вы только конспирировали, и самое большее, руководили конспирацией, пытавшейся проникнуть в рабочую среду. Это создает совершенно другое настроение, другую психологию.

Европейские руководители социализма, принимая то или другое решение, рекомендуя его своим последователям, привыкли взвешивать все стороны этого шага. Когда, например, объявлялась стачка, то вождям приходилось обдумывать все, не только ее агитационное значение, но и всесторонние последствия ее для самой рабочей среды, в том числе данное состояние промышленности. Сможет ли масса выдержать стачку, в состоянии ли капитал уступить без расстройств самого производства, которое отразится опять на тех же рабочих? Одним словом, они принимали ответственность не только за самую борьбу, но и за то, как отразится рекомендуемая ими мера на благосостоянии рабочих. Они привыкли чувствовать взаимную зависимость между капиталом и трудом.

Вы в таком положении никогда не были, потому что благодаря бессмысленному давлению самодержавия, никогда не выступали легально. Вам лично приходилось тоже рисковать, приходилось сидеть в тюрьмах за то, что во всей Европе было признано правом массы и правом ее вождей, и этот риск тюрьмы, ссылки, каторги заменял для вас в ваших собственных глазах и в глазах рабочих всякую иную ответственность. Если от ошибки в том или другом вашем плане рабочим и их семьям приходилось напрасно голодать и терпеть крайнюю нужду, то и вы получали свою долю страдания в другой форме.

И вот почему вы привыкли звать всегда к самым крайним мерам, к последнему выводу из схемы, к конечному результату. Вот почему вы не могли выработать чутья к жизни, к сложным возможностям самой борьбы, и вот откуда у вас одностороннее представление о капитале, как исключительно о хищнике, без усложняющего представления об его роли в организации производства.

И отсюда ваше разочарование и горечь по отношению к западноевропейскому социализму.

Рабочие вначале пошли за вами.... Они ринулись за вами, т.е. за мечтой немедленного осуществления социализма.

Но действительность остается действительностью. Для рабочей массы тут все-таки не простая схема, не один конечный результат, как для вас, а вопрос непосредственной жизни их и их семей. И рабочая масса прежде всех почувствовала на себе последствия вашей схематичности. Вы победили капитал, и он

теперь у ваших ног, изувеченный и разбитый. Вы не заметили только, что он соединен еще с производством такими живыми нитями, что, убив его, вы убили также производство....

... И вот рабочая среда начинает чувствовать вашу основную ошибку и в ней являются настроения, которые вы так осуждаете в огромном большинстве западноевропейских социалистов: в ней явно усиливается меньшевизм, т.е. социализм, но не максималистского типа.... Он признает, что некоторые достижения буржуазного строя представляют общенародное достояние. Вы боретесь с этим настроением. Когда-то признавалось, что Россией самодержавно правит воля царя. Но едва где-нибудь проявлялась воля этого бедняги-самодержца, не вполне согласная с намерением правящей бюрократии, у последней были тысячи способов привести самодержца к повиновению. Не то же ли с таким же беднягой нынешним «диктатором»? Как вы узнаете и как вы выражаете его волю? Свободной печати у нас нет, свободы голосования – также. Свободная печать, по-вашему, только буржуазный предрассудок. Между тем отсутствие свободной печати делает вас глухими и слепыми на явления жизни. В ваших официозах царствует внутреннее благополучие, в то время, когда люди слепо «бредут врозь» от голода. Провозглашается победа коммунизма в украинской деревне в то время, когда сельская Украина кипит ненавистью и гневом, и чрезвычайки уже подумывают о расстреле заложников. В городах начался голод, идет грозная зима, а вы заботитесь только о фальсификации мнения пролетариата. Чуть где-нибудь начинает проявляться самостоятельная мысль в среде рабочих, не вполне согласная с направлением вашей политики, коммунисты тотчас же принимают свои меры. Данное правление профессионального союза получает наименование белого или желтого, члены его арестовываются, само правление распускается, а затем является торжествующая статья в вашем официозе: «дорогу красному печатнику» или иной красной группе рабочих, которые до тех пор были в меньшинстве. Из суммы таких явлений и слагается то, что вы зовете «диктатурой пролетариата»....

... Когда-то еще при самодержавии... в одном юмористическом органе был изображен самодержец, сидящий на штыках. Подпись – «неудобное положение» или что-то в этом роде.

В таком же неудобном положении находится теперь ваша коммунистическая правящая партия. Положение ее в деревне прямо трагическое.... Ваша партия утешает себя тем, что это только куркули (деревенские богачи), что не мешает вам выжигать целые деревни сплошь – и богачей, и бедных одинаково. Но и в городах вы держитесь только военной силой, иначе ваше представительство быстро изменилось бы. Ближайшие ваши союзники, социалисты-меньшевики, сидят в тюрьмах....

... Одно время шел вопрос о расстреле Навроцкого (рабочий-печатник, по видимому меньшевик, бывший в ссылке сначала при царизме, а затем – сосланный в северные губернии ЧК) за его речь против новых притеснений свободы мнений в рабочей среде. Чего доброго, это легко могло случиться, и тогда была бы ярко подчеркнута разница чрезвычайки и прежних жандармских управлений. Последние не имели права расстреливать, – ваши чрезвычайки имеют это право и пользуются им с ужасающей свободой и легкостью.

Письмо шестое

В чем вы разошлись с вождями европейского социализма и начинаете все больше и больше расходиться с собственной рабочей средой? Ответ на этот вопрос я дал выше: он в вашем максимализме.

Логически это положение самое легкое: требуй всего сразу, и всех, кто оттаивается сразу перед сложностью и порой исполнимостью задачи, называй непоследовательным, глупым, а порой и изменником делу социализма, соглашателем, колчаковцем, деникинцем, вообще изменником...

Неудобство этого приема состоит в том, что и вы сами не можете осуществить всего сразу...

... Логика – одно из могучих средств мысли, но далеко не единственное. Есть еще воображение, дающее возможность охватывать сложность конкретных явлений. Это свойство необходимо для такого дела, как управление огромной страной. У вас схема совершенно подавила воображение. Вы не представляете сложности действительности... Вы – только математики социализма, его логики и схематики...

... Стране грозят неслыханные бедствия. Первой жертвой явится интеллигенция. Потом – городские рабочие. Дольше всех будут держаться хорошо устроенные коммунисты и квасная армия. Но уже и в этой среде среди добросовестных людей заметны признаки обнищания. Лучше всех живет всякого рода грабителям. И это естественно: вы строите все на эгоизме, а сами требуете самоотвержения...

... Вы с легким сердцем приступили к своему схематическому эксперименту в надежде, что это будет только сигналом для всемирной максимальной революции. Вы должны уже сами видеть, что в этом вы ошиблись... Вам приходится довольствоваться легкой победой последовательного схематического оптимизма над «соглашателями», но уже ясно, что в общем рабочая Европа не пойдет вашим путем, и Россия, привыкшая подчиняться всякому угнетению, не выработавшая формы для выражения своего истинного мнения, вынуждена идти этим печальным, мрачным путем в полном одиночестве.

Куда? Что представляет ваш фантастический коммунизм?

Известно, что еще в прошедшем столетии являлись попытки перевести коммунистическую мечту в действительность. Вы знаете, чем они кончились. ... Все они кончились печальной неудачей, раздорами, трагедиями для инициаторов... И все эти благородные мечтатели (Вл. Короленко упоминает Оуэна, фурьеристов, сен-симонистов и т.д. – Прим.) кончали сознанием, что человечество должно переродиться прежде, чем уничтожить (капитализм – Прим.) (если вообще коммуна осуществима)...

... Вообще процесс... распределения, за который вы взялись с таким легким сердцем, представляет процесс долгой и трудной подготовки «объективных и субъективных условий», для которого необходимо все напряжение общей самостоятельности и, главное, свободы. Только такая самостоятельность, только свобода всяких опытов могут указать, что выдержит критику практической жизни и что обречено на гибель.

... Вы ввели свой коммунизм в казармы (достаточно вспомнить «милитаризацию труда»). По обыкновению самоуверенно, недолго раздумывая над разграничительной чертой, вы нарушили неприкосновенность и свободу частной

жизни... Не создав почти ничего, вы разрушили очень многое, иначе сказать, вводя немедленный коммунизм, вы надолго отбили охоту даже от простого социализма, введение которого составляет насущнейшую задачу современности.

... Души должны переродиться. А для этого нужно, чтобы сначала перерождались учреждения. А это, в свою очередь, требует свободы мысли и начинания для новых форм жизни. Силой задерживать эту самодеятельность в обществе и в народе – это преступление, которое совершало наше недавнее павшее правительство. Но есть и другое, пожалуй, не меньшее – это силой навязывать новые формы жизни, удобства которых народ еще не сознал и с которыми не мог еще ознакомиться на творческом опыте. И вы в нем виноваты. Инстинкт вы заменили приказом и ждете, что по вашему приказу изменится природа человека. За это посягательство на свободу самоопределения народа вас ждет расплата.

Социальная справедливость – дело очень важное, и вы справедливо указываете, что без нее нет и полной свободы. Но и без свободы невозможно достигнуть справедливости. Корабль будущего приходится провести между Сциллой рабства и Харибдой несправедливости, никогда не теряя из виду обоих вместе. Сколько бы вы ни утверждали, что буржуазная свобода является только обманом, закрепощающим рабочий класс, в этом вам не удастся убедить европейских рабочих... Политических революций было много, социальной не было еще ни одной. Вы являете первый опыт введения социализма посредством подавления свободы.

Что из этого может выйти? Не желал бы быть пророком, но сердце у меня сжимается предчувствием, что мы еще только у порога таких бедствий, перед которыми померкнет все то, что испытываем теперь...

... Народ, который не научился еще владеть аппаратом голосования, который не умеет формулировать преобладающее в нем мнение, который приступает к устройству социальной справедливости через индивидуальные грабежи (ваше: грабь награбленное), который начинает царство справедливости допущением массовых бессудных расстрелов, длящихся уже годы, такой народ еще далек от того, чтобы стать во главе лучших стремлений человечества. Ему нужно еще учиться, а не учить других.

Вы победили добровольцев Деникина, победили Юденича, Колчака, поляков, победите и Врангеля. Возможно, что вооруженное вмешательство Антанты тоже окончилось бы вашей победой: оно пробудило бы в народе дух патриотизма, который напрасно старались убить во имя интернационализма, забывая, что идея отечества до сих пор еще является наибольшим достижением на пути человечества к единству, которое, наверно, будет достигнуто только объединением отечеств. Одним словом, на всех фронтах вы являетесь победителями, не замечая внутреннего недуга, делающего вас бессильными перед фронтом природы...

Россия стоит в раздумьи между двумя утопиями: утопией прошлого и утопией будущего, выбирая, в какую утопию ей ринуться.

Внешнее вмешательство только затемнило бы опыт...

... Понадобилось бы все напряжение честности и добросовестности для того, чтобы признать свою огромную ошибку. Подавить свое самолюбие и свернуть на другую дорогу – на дорогу, которую вы называете соглашательством...

... Этот путь представляется мне единственным, дающим России достойный выход из настоящего невозможного положения.

... Давно сказано, что всякий народ заслуживает того правительства, которое имеет. В этом смысле можно сказать, что Россия вас заслужила... Вы являетесь только настоящим выражением ее прошлого, с рабской покорностью перед самодержавием даже в то время, когда, истощив все творческие силы в крестьянской реформе и еще нескольких, за ней последовавших, оно перешло к слепой реакции и много лет подавляло органический рост страны. В это время народ был на его стороне, а Россия была обречена на гниль и разложение. Нормально, чтобы в стране были представлены все оттенки мысли, даже самые крайние, даже порой неразумные.

Живая борьба препятствует гниению и претворяет даже неразумные стремления в своего рода прививку: то, что неразумно и вредно для данного времени, часто сохраняет силу для будущего.

Но под влиянием упорно ретроградского правительства у нас было не то. Общественная мысль прекращалась и насильно подгонялась под ранжир. В земледелии воцарился безнадежный застой, нарастающие слои промышленных рабочих оставались вне возможности борьбы за улучшение своего положения. Дружественная трудящемуся народу интеллигенция загонялась в подполье, в Сибирь, в эмиграцию и вела мечтательно озлобленную жизнь вне открытых связей с родной действительностью. А это в свою очередь извращало интеллигентную мысль, направляя ее на путь схематизма и максимализма.

Затем случайности истории внезапно разрушили эту перегородку между народом, жившим так долго без политической мысли, и интеллигенцией, жившей без народа, т.е. без связи с действительностью. И вот, когда перегородка внезапно рухнула, смесь чуждых так долго элементов вышла ядовитой. Произошел взрыв, но не тот плодотворный взрыв, который разрушает только то, что мешало нормальному развитию страны, а глубоко задевший живые ткани общественного организма. И вы явились единственными представителями русского народа с его привычкой к произволу, с его наивными ожиданиями «всего сразу», с отсутствием даже начатков организации и творчества...

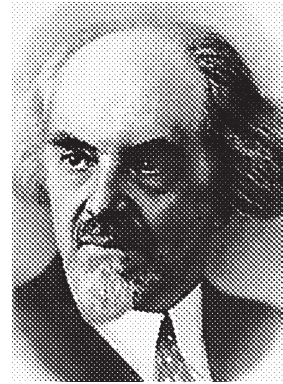
И вот истинное благотворное чудо состояло бы в том, чтобы вы, наконец, сознали свое одиночество не только среди европейского социализма, но начавшийся уже уход от вас вашей собственной рабочей среды, не говоря уже о положительной ненависти деревни к вашему коммунизму, – сознались бы и отказались бы от губительного пути насилия. Но это дано делать честно и полно. Может быть у вас еще достаточно власти, чтобы повернуть на новый путь. Вы должны прямо признать свои ошибки, которые вы совершили вместе с вашим народом. И главная из них та, что многое в капиталистическом строе вы устранили преждевременно и возможная мера социализма может войти только в свободную страну.

Правительства погибали ото лжи... Может быть, есть еще время вернуться к правде, и я уверен, что народ, слепо следовавший за вами по пути насилия, с радостью просыпающегося сознания пойдет по пути возвращения к свободе. Если не для вас и вашего правительства, то это будет благотельно для страны и для роста в ней социалистического сознания. Но... возможно ли это для вас? Не поздно ли, если бы вы даже захотели это сделать?

22 сентября 1922 г.

Источник: самиздатская рукопись.

Бердяев
Николай Александрович
(1874–1948)



Философ, писатель.

Родился в Киеве в семье генерала. Изучал право в Киевском университете. За революционную деятельность и марксистскую пропаганду в 1908 г. выслан в Вологду. После учебы в Германии в 1904 г. вернулся в Россию. Отошел от марксизма и создал концепцию «философии свободы». Был одним из инициаторов и авторов сборников «Вехи» (1909) и «Из глубины» (1918) (см. т. 1, кн. 1, стр. 270, 289). Выслан из России в 1922 г. Обосновался во Франции. Принимал активное участие в эмигрантской прессе, один из основателей YMCA-PRESS, издавшего большинство произведений русских мыслителей и писателей живших за пределами России, а в последствии и множество текстов Самиздата. Один из наиболее известных русских философов на Западе.

Основные труды:

«Философия свободы» (1911), «Смысл творчества» (1916), «Судьба России» (1918), «О назначении человека» (1931), «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937), «Самопознание» (1949).

ИСТОКИ И СМЫСЛ РУССКОГО КОММУНИЗМА

Глава VI

Русский коммунизм и революция

1.

Русская революция универсалистична по своим принципам, как и всякая большая революция, она совершалась под символикой интернационала, но она же и глубоко национальна и национализуется все более и более по своим результатам. Трудность суждений о коммунизме определяется именно его двойственным характером, русским и международным. Только в России могла произойти коммунистическая революция. Русский коммунизм должен представляться людям Запада коммунизмом азиатским. И вряд ли такого рода коммунистическая революция возможна в странах Западной Европы, там, конечно, все будет по иному. Самый интернационализм русской коммунистической революции — чисто русский, национальный. Я склонен думать, что даже активное участие евреев в русском коммунизме очень

характерно для России и для русского народа. Русский мессианизм родствен еврейскому мессианизму. Ленин был типически русский человек. В его характерном, выразительном лице было что-то русско-монгольское. В характере Ленина были типически русские черты и не специально интеллигенции, а русского народа: простота, цельность, грубоватость, нелюбовь к прикрасам и к риторике, практичность мысли, склонность к нигилистическому цинизму на моральной основе. По некоторым чертам своим он напоминает тот же русский тип, который нашел себе гениальное выражение в Л. Толстом, хотя он не обладал сложностью внутренней жизни Толстого. Ленин сделан из одного куска, он монолитен. Роль Ленина есть замечательная демонстрация роли личности в исторических событиях. Ленин потому мог стать вождем революции и реализовать свой давно выработанный план, что он не был типическим русским интеллигентом. В нем черты русского интеллигента-сектанта сочетались с чертами русских людей, собиравших и строивших русское государство. Он соединял в себе черты Чернышевского, Нечаева, Ткачева, Желябова с чертами великих князей московских, Петра Великого и русских государственных деятелей деспотического типа. В этом оригинальность его физиономии. Ленин был революционер-максималист и государственный человек. Он соединял в себе предельный максимализм революционной идеи, тоталитарного революционного миросозерцания с гибкостью и оппортунизмом в средствах борьбы, в практической политике. Только такие люди успевают и побеждают. Он соединял в себе простоту, прямоту и нигилистический аскетизм с хитростью, почти с коварством. В Ленине не было ничего от революционной богемы, которой он терпеть не мог. В этом он противоположен таким людям, как Троцкий или Мартов, лидер левого крыла меньшевиков.

В своей личной жизни Ленин любил порядок и дисциплину, был хороший семьянин, любил сидеть дома и работать, не любил бесконечных споров в кафе, к которым имела такую склонность русская радикальная интеллигенция. В нем не было ничего анархического и он терпеть не мог анархизма, реакционный характер которого он всегда изобличал. Он терпеть не мог революционной романтики и революционного фразерства. Будучи председателем совета народных комиссаров, вождем советской России, он постоянно изобличал эти черты в коммунистической среде. Он громил коммунистическое чванство и коммунистическое вранье. Он восставал против «детской болезни левизны» в коммунистической партии. В 1918 году, когда России грозил хаос и анархия, в речах своих Ленин делает нечеловеческие усилия дисциплинировать русский народ и самих коммунистов. Он призывает к элементарным вещам, к труду, к дисциплине, к ответственности, к знанию и к учению, к положительному строительству, а не к одному разрушению, он громит революционное фразерство, обличает анархические наклонности, он совершает настоящие заклинания над бездной. И он остановил хаотический распад России, остановил деспотическим, тираническим путем. В этом есть черта сходства с Петром.

Ленин проповедовал жестокую политику, но лично он не был жестоким человеком. Он не любил, когда ему жаловались на жестокости Чека, говорил, что это не его дело, что это в революции неизбежно. Но сам он вероятно не мог бы управлять Чека. В личной жизни у него было много благодушия. Он любил

животных, любил шутить и смеяться, трогательно заботился о матери своей жены, которой часто делал подарки. Эта черта подала повод Малапарту характеризовать его, как мелкого буржуа, что не совсем верно. В молодости Ленин поклонялся Плеханову, относился к нему почти с благоговением и ждал первого свидания с Плехановым со страстным волнением. Разочарование в Плеханове, в котором он увидел мелкие черты самолюбия, честолюбия, горделиво-презрительного отношения к товарищам, было для Ленина разочарованием в людях вообще. Но первым толчком, который определил революционное отношение Ленина к миру и жизни, была казнь его брата, замешанного в террористическом деле. Отец Ленина был провинциальный чиновник, дослужившийся до генеральского чина и дворянства. Когда брат его был казнен по политическому делу, то окружающее общество отвернулось от семьи Ленина. Это также было для юного Ленина разочарованием в людях. У него выработалось циническо-равнодушное отношение к людям. Он не верил в человека, но хотел так организовать жизнь, чтобы людям было легче жить, чтобы не было угнетения человека человеком. В философии, в искусстве, в духовной культуре Ленин был очень отсталый и элементарный человек, у него были вкусы и симпатии людей 60-х и 70-х годов прошлого века. Он соединял социальную революционность с духовной реакционностью.

Ленин настаивал на оригинальном, национально-своеобразном характере русской революции. Он всегда говорил, что русская революция будет не такой, какой представляли ее себе доктринеры марксизма. Этим он всегда вносил корректив к марксизму. И он построил теорию и тактику русской революции и осуществил ее. Он обвинял меньшевиков в педантическом следовании марксизму и отвлеченном перенесении его принципов на русскую почву. Ленин не теоретик марксизма, как Плеханов, а теоретик революции. Все, что он писал, было лишь разработкой теории и практики революции. Он никогда не разрабатывал программы, он интересовался лишь одной темой, которая менее всего интересовала русских революционеров, темой о захвате власти, о стяжании для этого силы. Поэтому он и победил. Все мирозерцание Ленина было приспособлено к технике революционной борьбы. Он один, заранее, задолго до революции, думал о том, что будет, когда власть будет завоевана, как организовать власть. Ленин — империалист, а не анархист. Все мышление его было империалистическим, деспотическим. С этим связана прямолинейность, узость его мирозерцания, сосредоточенность на одном, бедность и аскетичность мысли, элементарность лозунгов, обращенных к земле. Тип культуры Ленина был невысокий, многое ему было недоступно и неизвестно. Всякая рафинированность мысли и духовной жизни его отталкивала. Он много читал, много учился, но у него не было обширных знаний, не было большой умственной культуры. Он приобретал знания для определенной цели, для борьбы и действия. В нем не было способности к созерцанию. Он хорошо знал марксизм, имел некоторые экономические знания. По философии он читал исключительно для борьбы, для сведения счетов с ересями и уклонами в марксизме. Для обличения Маха и Авенариуса, которыми увлечены были марксисты-большевики Богданов и Луначарский, Ленин прочел целую философскую литературу. Но у него не было философской культуры, меньше, чем у Плеханова. Он всю жизнь боролся за

целостное, тоталитарное миросозерцание, которое необходимо было для борьбы, которое должно сосредоточать революционную энергию. Из этой тоталитарной системы он не позволял вынуть ни одного кирпича, он требовал принятия всего целиком. И со своей точки зрения он был прав. Он был прав, что увлечение Авенариусом и Махом или Ницше нарушает целостность большевистского миросозерцания и ослабляет в борьбе. Он боролся за целостность и последовательность в борьбе, она невозможна без целостного, догматического вероисповедания, без ортодоксии. Он требовал сознательности и организованности в борьбе против всякой стихийности. Это основной у него мотив. И он допускал все средства для борьбы, для достижения целей революции. Добро было для него все, что служит революции, зло—все, что ей мешает. Революционность Ленина имела моральный источник, он не мог вынести несправедливости, угнетения, эксплуатации. Но став одержимым максималистической революционной идеей, он в конце концов потерял непосредственное различие между добром и злом, потерял непосредственное отношение к живым людям, допуская обман, ложь, насилие, жестокость. Ленин не был дурным человеком, в нем было и много хорошего. Он был бескорыстный человек, абсолютно преданный идее, он даже не был особенно честолюбивым и властолюбивым человеком, он мало думал о себе. Но исключительная одержимость одной идеей привела к страшному сужению сознания и к нравственному перерождению, к допущению совершенно безнравственных средств в борьбе. Ленин был человеком судьбы, роковой человек, в этом его сила.

Ленин был революционер до мозга костей именно потому, что всю жизнь исповедывал и защищал целостное, тоталитарное миросозерцание, не допускал никаких нарушений этой целостности. Отсюда же непонятная на первый взгляд страстность и ярость, с которой он борется против малейших отклонений от того, в чем он видел марксистскую ортодоксию. Он требует ортодоксальных, согласных с тоталитарностью миросозерцания, т. е. революционных, взглядов на познание, на материю, на диалектику и т. п. от всякого, кто себя считает марксистом, кто хочет служить делу социальной революции. Если вы не диалектический материалист, если вы в чисто философских, гносеологических вопросах предпочитаете взгляды Маха, то вы изменяете тоталитарной, целостной революционности и должны быть исключены. Когда Луначарский пробовал заговорить о богоискательстве и богостроительстве, то, хотя это носило совершенно атеистический характер, Ленин с яростью набросился на Луначарского, который принадлежал к фракции большевиков. Луначарский вносил усложнение в целостное марксистское миросозерцание, он не был диалектическим материалистом, этого было достаточно для его отлучения. Пусть меньшевики имели тот же конечный идеал, что и Ленин, пусть они также преданы рабочему классу, но у них нет целостности, они не тоталитарны в своем отношении к революции. Они усложняли дело разговорами о том, что в России сначала нужна буржуазная революция, что социализм осуществим лишь после периода капиталистического развития, что нужно ждать развития сознания рабочего класса, что крестьянство класс реакционный и пр. Меньшевики также не придавали особенного значения целостному миросозерцанию, обязательному исповеданию диалектического материализма, некоторые из них были

обыкновенными позитивистами и даже, что уже совсем ужасно, неокантианцами, т. е. держались за «буржуазную» философию. Все это ослабляло революционную волю. Для Ленина марксизм есть прежде всего учение о диктатуре пролетариата. Большевики же считали невозможной диктатуру пролетариата в сельскохозяйственной, крестьянской стране. Большевики хотели быть демократами, хотели опираться на большинство. Ленин не демократ, он утверждает не принцип большинства, а принцип подобранного меньшинства. Поэтому ему часто бросали упрек в бланкизм. Он строил план революции и революционного захвата власти, совсем не опираясь на развитие сознания огромных масс рабочих и на объективный экономический процесс. Диктатура вытекала из всего миросозерцания Ленина, он даже строил свое миросозерцание в применении к диктатуре. Он утверждал диктатуру даже в философии, требуя диктатуры диалектического материализма над мыслью.

Целью Ленина, которую он преследовал с необычайной последовательностью, было создание сильной партии, представляющей хорошо организованное и железно-дисциплинированное меньшинство, опирающееся на цельное революционно-марксистское миросозерцание. Партия должна иметь доктрину, в которой ничего нельзя изменить, и она должна готовить диктатуру над всей полнотой жизни. Сама организация партии, крайне централизованная, была уже диктатурой в малых размерах. Каждый член партии был подчинен этой диктатуре центра. Большевистская партия, которую в течение многих лет создавал Ленин, должна была дать образец грядущей организации всей России. И Россия действительно была организована по образцу организации большевистской партии. Вся Россия, весь русский народ оказался подчиненным не только диктатуре коммунистической партии, ее центральному органу, но и доктрине коммунистического диктатора в своей мысли и своей совести. Ленин отрицал свободу внутри партии и это отрицание свободы было перенесено на всю Россию. Это и есть диктатура миросозерцания, которую готовил Ленин. Ленин мог это сделать только потому, что он соединял в себе две традиции — традицию русской революционной интеллигенции в ее наиболее максималистических течениях и традицию русской исторической власти в ее наиболее деспотических проявлениях. Социал-демократы, меньшевики и социалисты-революционеры остались лишь в первой традиции, да и то смягченной. Но соединив в себе две традиции, которые находились в XIX веке в смертельной вражде и борьбе, Ленин мог начертать план организации коммунистического государства и осуществить его. Как это парадоксально ни звучит, но большевизм есть третье явление русской великодержавности, русского империализма, — первым явлением было московское царство, вторым явлением петровская империя. Большевизм — за сильное, централизованное государство. Произошло соединение воли к социальной правде с волей к государственному могуществу и вторая воля оказалась сильнее. Большевизм вошел в русскую жизнь, как в высшей степени милитаризованная сила. Но старое русское государство всегда было милитаризованным. Проблема власти была основной у Ленина и у всех следовавших за ним. Это отличало большевиков от всех других революционеров. И они создали полицейское государство, по способам управления очень похожее на старое русское государство. Но организовать власть, подчинить себе рабоче-крестьянские массы нельзя одной

силой оружия, чистым насилием. Нужна целостная доктрина, целостное миросозерцание, нужны скрепляющие символы. В Московском царстве и в империи народ держался единством религиозных верований. Новая единая вера для народных масс должна быть выражена в элементарных символах. По-русски трансформированный марксизм оказался для этого вполне пригодным. Для понимания подготовки диктатуры пролетариата, которая есть диктатура коммунистической партии, чрезвычайный интерес представляет книжка Ленина «Что делать?», написанная еще в 1902 году, когда не было еще раскола на большевиков и меньшевиков, и представляющей блестящий образец революционной полемики. В ней Ленин боролся главным образом с так называемым «экономизмом» и стихийностью в понимании подготовки революции. Экономизм был отрицанием целостного революционного миросозерцания и революционного действия. Стихийности Ленин противопоставлял сознательность революционного меньшинства, которое призвано господствовать над общественным процессом. Он требует организации сверху, а не снизу, т. е. организации не демократического, а диктаторского типа. Ленин издевался над теми марксистами, которые всего ждут от стихийно-общественного развития. Он утверждал не диктатуру эмпирического пролетариата, который в России был очень слаб, а диктатуру идеи пролетариата, которой может быть проникнуто незначительное меньшинство. Ленин всегда был антиэволюционистом и в сущности был и антидемократом, что сказалось на молодой коммунистической философии. Будучи материалистом, Ленин совсем не был релятивистом и ненавидел релятивизм и скептицизм, как порождение буржуазного духа. Ленин — абсолютист, он верит в абсолютную истину. Материализму очень трудно построить теорию познания, допускающую абсолютную истину, но Ленина это не беспокоит. Его невероятная наивность в философии определяется его целостной революционной волей. Абсолютную истину утверждает не познание, не мышление, а напряженная революционная воля. И он хочет подобрать людей этой напряженной революционной воли. Тоталитарный марксизм, диалектический марксизм есть абсолютная истина. Эта абсолютная истина есть орудие революции и организации диктатуры. Но учение, обосновывающее тоталитарную доктрину охватывающую всю полноту жизни — не только политику и экономику, но и мысль, и сознание, и все творчество культуры — может быть лишь предметом веры.

Вся история русской интеллигенции подготовляла коммунизм. В коммунизм вошли знакомые черты: жажда социальной справедливости и равенства, признание классов трудящихся высшим человеческим типом, отвращение к капитализму и буржуазии, стремление к целостному миросозерцанию и целостному отношению к жизни, сектантская нетерпимость, подозрительное и враждебное отношение к культурной элите, исключительная посюсторонность, отрицание духа и духовных ценностей, придание материализму почти теологического характера. Все эти черты всегда были свойственны русской революционной и даже просто радикальной интеллигенции. Если остатки старой интеллигенции, не примкнувшей к большевизму, не узнали своих собственных черт в тех, против кого они восстали, то это историческая аберация, потеря памяти от эмоциональной реакции. Старая революционная интеллигенция просто не думала о том, какой она будет, когда получит власть, она привыкла воспринимать себя безвластной и угнетенной и

властность и угнетательство показалось ей порождением совершенно другого, чуждого ей типа, в то время как то было и их порождением. В этом парадокс исхода русской интеллигенции, ее трансформирования после победоносной революции. Часть ее превратилась в коммунистов и приспособила свою психику к новым условиям, другая же часть ее не приняла социалистической революции, забыв свое прошлое. Уже война выработала новый душевный тип, тип, склонный переносить военные методы на устройство жизни, готовый практиковать методическое насилие, властолюбивый и поклоняющийся силе. Это — мировое явление, одинаково обнаружившееся в коммунизме и фашизме. В России появился новый антропологический тип, новое выражение лиц. У людей этого типа иная поступь, иные жесты, чем в типе старых интеллигентов. Подобно тому, как в 60-х годах, при появлении нигилистов, более мягкий тип идеалистов 40-х годов заменен был более жестким типом, в стихии победоносной революции, вышедшей из стихии войны, тот же процесс произошел в более грандиозных размерах. При этом старая интеллигенция, генетически связанная с «мыслящими реалистами» нигилистической эпохи, играет ту же роль, которую в 60-ые годы играли идеалисты 40-х годов, и представляет более мягкий тип. Вследствие ослабления памяти, под влиянием аффекта, она забывает, что произошла от Чернышевского, который презирал Герцена, как мягкого идеалиста 40-х годов по своему происхождению. Коммунисты с презрением называли старую революционную и радикальную интеллигенцию буржуазной, как нигилисты и социалисты 60-х годов называли интеллигенцию 40-х годов дворянской, барской. В новом коммунистическом типе мотивы силы и власти вытеснили старые мотивы правдолюбия и сострадательности. В этом типе выработалась жесткость, переходящая в жестокость. Этот новый душевный тип оказался очень благоприятным плану Ленина, он стал материалом организации коммунистической партаи, он стал властвовать над огромной страной. Новый душевный тип, призванный к господству в революции, поставляется из рабоче-крестьянской среды, он прошел через дисциплину военную и партийную. Новые люди, пришедшие снизу, были чужды традициям русской культуры, их отцы и деды были безграмотны, лишены всякой культуры и жили исключительно верой. Этим людям свойственно было *ressentiment* по отношению к людям старой культуры, которое в момент торжества перешло в чувство мести. Этим многое психологически объясняется. Народ в прошлом чувствовал неправду социального строя, основанного на угнетении и эксплуатации трудящихся, но он кротко и смиренно нес свою страдальческую долю. Но наступил час, когда он не пожелал больше терпеть, и весь строй души народной перевернулся. Это типический процесс. Кротость и смиренность может перейти в свирепость и разъяренность. Ленин не мог бы осуществить своего плана революции и захвата власти без переворота в душе народа. Переворот этот был так велик, что народ, живший иррациональными верованиями и покорный иррациональной судьбе, вдруг почти помешался на рационализации всей жизни, поверил в возможность рационализации без всякого иррационального остатка, поверил в машину вместо Бога. Русский народ из периода теллургического, когда он жил под мистической властью земли, перешел в период технический, когда он поверил во всемогущество машины и по старому инстинкту стал относиться к машине, как к тотему. Такие переключения возможны в душе народа.

Ленин был марксист и верил в исключительную миссию пролетариата. Он верил, что мир вступил в эпоху пролетарских революций. Но он был русский и делал революцию в России, стране совсем особой. Он обладал исключительной чуткостью к исторической ситуации. Он почувствовал, что его час настал, настал благодаря войне, перешедшей в разложение старого строя. Нужно было сделать первую в мире пролетарскую революцию в крестьянской стране. И он почувствовал себя свободным от всякого марксистского доктринерства, с которым ему надоедали марксисты-меньшевики. Он провозгласил рабоче-крестьянскую революцию и рабоче-крестьянскую республику. Он решил воспользоваться крестьянством для пролетарской революции и он успел в этом деле, столь смущавшем марксистов-доктринеров. Ленин совершил прежде всего аграрную революцию, воспользовавшись многим, что раньше утверждали социалисты-народники. В ленинизм вошли в преобразенном виде элементы революционного народничества и бунтарства. Социалисты-революционеры, представители старой традиции, оказались ненужными и вытесненными. Ленин сделал все лучше, скорее и более радикально, он дал больше. Это сопровождалось провозглашением новой революционной морали, соответствующей новому психическому типу и новым условиям. Она оказалась уже иной, чем у старой революционной интеллигенции, менее гуманной, не стесняющейся никакой жестокостью. Ленин — антигуманист, как и антидемократ. В этом он человек новой эпохи, эпохи не только коммунистических, но и фашистских переворотов. Ленинизм есть вождизм нового типа, он выдвигает вождя масс, наделенного диктаторской властью. Этому будут подражать Муссолини и Гитлер. Сталин будет законченным типом вождя-диктатора. Ленинизм не есть, конечно, фашизм, но сталинизм уже очень походит на фашизм.

В 1917 году, т. е. через пятнадцать лет после книги «Что делать?», Ленин пишет книгу «Государство и революция», быть может самое интересное из всего им написанного. В этой книге Ленин начертал план организации революции и организации революционной власти, план рассчитанный на долгое время. Замечательно не то, что он этот план начертил, замечательно то, что он его осуществил, он ясно предвидел, каким путем все пойдет. В этой книге Ленин строит теорию роли государства в переходный период от капитализма к коммунизму, который может быть более или менее длителен. Этого у самого Маркса не было, который не предвидел конкретно, как будет осуществляться коммунизм, какие формы примет диктатура пролетариата. Мы видели, что для Ленина марксизм есть прежде всего теория и практика диктатуры пролетариата. Из Маркса можно было сделать анархические выводы, отрицающие государство совсем. Ленин решительно восстает против этих анархических выводов, явно неблагоприятных для организации революционной власти, для диктатуры пролетариата. В будущем государство действительно должно отмереть за ненадобностью, но в переходной период роль государства должна еще более возрасти. Диктатура пролетариата, т. е. диктатура коммунистической партии, означает государственную власть более сильную и деспотическую, чем в буржуазных государствах. Согласно марксистской теории, государство всегда было организацией классового господства, диктатурой господствующих классов над классами угнетенными и эксплуатируемыми. Государство отомрет и окончательно заменится организованным обществом после исчезновения классов. Государство существует пока существуют классы. Но полное

исчезновение классов происходит не сразу после победы революционного пролетариата. Ленин совсем не думал, что после октябрьской революции в России окончательно осуществятся коммунистическое общество. Предстоит еще подготовительный процесс и жестокая борьба. Во время этого подготовительного периода, когда общество не стало еще совершенно бесклассовым, государство с сильной централизованной властью нужно для диктатуры пролетариата над буржуазными классами, для их подавления. Ленин говорит, что «буржуазное» государство нужно уничтожать путем революционного насилия, вновь же образовавшееся «пролетарское» государство постепенно отомрет, по мере осуществления бесклассового коммунистического общества. В прошлом было подавление пролетариата буржуазией, в переходной период пролетарского государства, управляемого диктатурой, должно происходить подавление буржуазии пролетариатом. В этом периоде чиновники будут исполнять приказы рабочих. Ленин опирается в своей книге, главным образом, на Энгельса и постоянно его цитирует. «Пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников», пишет Энгельс Бебелю в 1875 году. Тут Энгельс является явным предшественником Ленина. По Ленину демократия совсем не нужна для пролетариата и для осуществлений коммунизма. Она не есть путь к пролетарской революции. Буржуазная демократия не может эволюционировать к коммунизму, буржуазное демократическое государство должно быть уничтожено для осуществления коммунизма. И демократия не нужна и вредна после победы пролетарской революции, ибо противоположна диктатуре. Демократические свободы лишь мешают осуществлению царства коммунизма. Да и Ленин не верил в реальное существование демократических свобод, они лишь прикрывают интересы буржуазии и ее господство. В буржуазных демократиях также существуют диктатуры, диктатура капитала, денег. И в этом бесспорно есть доля истины. При социализме отомрет всякая демократия. Первые фазисы в осуществлении коммунизма, не могут быть свобода и равенство. Ленин это прямо говорил. Диктатура пролетариата будет жестоким насилием и неравенством. Вопреки доктринерскому пониманию марксизма, Ленин утверждал явный примат политики над экономикой. Проблема сильной власти для него основная. Вопреки доктринерскому марксизму меньшевиков, Ленин видел в политической и экономической отсталости России преимущество для осуществления социальной революции. В стране самодержавной монархии, не привыкшей к правам и свободам гражданина, легче осуществить диктатуру пролетариата, чем в западных демократиях. Это бесспорно верно. Вековыми инстинктами покорности нужно воспользоваться для пролетарского государства. Это предвидел К. Леонтьев. В стране индустриально отсталой, с мало развитым капитализмом, легче будет организовать экономическую жизнь согласно коммунистическому плану. Тут Ленин находится в традициях русского народнического социализма, он утверждает, что революция произойдет в России оригинально, не по западному, т. е. в сущности не по Марксу, не по доктринерскому пониманию Маркса. Но все должно произойти во имя Маркса.

Как и почему прекратится то насилие и принуждение, то отсутствие всякой свободы, которые характеризуют переходной к коммунизму период, период пролетарской диктатуры? Ответ Ленина очень простой, слишком простой. Сначала нужно пройти через муштровку, через принуждение, через железную диктатуру

сверху. Принуждение будет не только по отношению к остаткам старой буржуазии, но и по отношению к рабоче-крестьянским массам, к самому пролетариату, который объявляется диктатором. Потом, говорит Ленин, люди привыкнут соблюдать элементарные условия общественности, приспособятся к новым условиям, тогда уничтожится насилие над людьми, государство отомрет, диктатура кончится. Тут мы встречаемся с очень интересным явлением. Ленин не верил в человека, не признавал в нем никакого внутреннего начала, не верил в дух и свободу духа. Но он бесконечно верил в общественную муштровку человека, верил, что принудительная общественная организация может создать какого угодно нового человека, совершенного социального человека, не нуждающегося больше в насилии. Так и Маркс верил, что новый человек фабрикуется на фабриках. В этом был утопизм Ленина, но утопизм реализуемый и реализованный. Одного он не предвидел. Он не предвидел, что классовое угнетение может принять совершенно новые формы, не похожие на капиталистические. Диктатура пролетариата, усилив государственную власть, развивает колоссальную бюрократию, охватывающую, как паутина, всю страну и все себе подчиняющую. Эта новая советская бюрократия, более сильная, чем бюрократия царская, есть новый привилегированный класс, который может жестоко эксплуатировать народные массы. Это и происходит. Простой рабочий сплошь и рядом получает 75 рублей в месяц, советский же чиновник, специалист 1500 рублей в месяц. И это чудовищное неравенство существует в коммунистическом государстве. Советская Россия есть страна государственного капитализма, который может эксплуатировать не менее частного капитализма. Переходной период может затянуться до бесконечности. Те, которые в нем властвуют, войдут во вкус властвования и не захотят изменений, которые, неизбежны для окончательного осуществления коммунизма. Воля к власти станет самодавлеющей и за нее будут бороться, как за цель, а не как за средство. Все это было вне кругозора Ленина. Тут он особенно утопичен, очень наивен. Советское государство стало таким же, как всякое деспотическое государство, оно действует теми же средствами, ложью и насилием. Это прежде всего государство военно-полицейское. Его международная политика как две капли воды напоминает дипломатию буржуазных государств. Коммунистическая революция была оригинально русской, но чуда рождения новой жизни не произошло, ветхий Адам остался и продолжает действовать, лишь трансформируя себя. Русская революция совершалась под символикой марксизма-ленинизма, а не народнического социализма, который имел за собой старые традиции. Но к моменту революции народнический социализм утерял в России свою целостность и революционную энергию, он выдохся, он был половинчат, он мог играть роль в февральской, интеллигентской, все еще буржуазной революции, он дорожил более принципами демократии, чем принципами социализма, и не может уже играть роли в революции октябрьской, т.е. вполне созревшей, народной, социалистической. Марксизм-ленинизм впитал в себя все необходимые элементы народнического социализма, но отбросил его большую человечность, его моральную щепетильность, как помеху для завоевания власти. Он оказался ближе к морали старой деспотической власти.

<...>

Источник: электронная библиотека Якова Кротова (<http://www.krotov.org>)

Бухарин
Николай Иванович
(1906–1938)



Партийный и государственный деятель, экономист, философ, публицист, писатель, редактор. Родился в Москве в семье учителя, надворного советника. В 1906 г. примкнул к большевикам. Изучал экономику в Московском университете. После 1917 г. занимал высшие руководящие посты в партии и государстве (член Политбюро, редактор «Правды», «Известий»). Как главный обвиняемый на процессе «Право-троцкистского Центра» приговорен к расстрелу — «высшей мере социальной защиты», прославляемой в свое время самим Бухариным. Именно ему принадлежат такие слова: «Расстрел — это метод воспитания человечества». В 1988 г. Верховный Суд СССР реабилитировал Бухарина вместе с остальными участниками процесса.

Письмо «Будущему поколению руководителей партии» ходило в Самиздате с конца 50-х годов.

После реабилитации были опубликованы избранные экономические труды и роман Бухарина, написанный в тюрьме.

Литература:

Н. Бухарин. Времена: роман. М.: Издательская группа «Прогресс», «Культура», 1994 г.

Анна Ларина (Бухарина). Незабываемое. М.: Издательство АПН. 1989.

С. Коэн. Бухарин. Политическая биография, 1988-1938. Перевод с английского. М.: «ПРОГРЕСС», 1988.

БУДУЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАРТИИ

По словам А. Лариной, жены Бухарина, это письмо было написано Бухариным во время февральско-мартовского Пленума ЦК в 1937 г. Вопрос о Бухарине, Рыкове пленум обсуждал не один день. По ходу пленума Н.И. уже видел, что рассчитывать на хороший исход нельзя. До ареста Бухарина уже прошло два процесса. Отчаявшись оправдаться при жизни, Бухарин написал это письмо за 2-3 дня до ареста. Он был арестован 27/II-1937 г., письмо просил меня передать будущему руководителю партии. В ожидании ареста и обыска, боясь, что письмо будет обнаружено, и его последние слова не смогут дойти до партии, и, опасаясь, что в случае обнаружения этого письма жену подвергнут репрессии, Бухарин поручил ей выучить текст наизусть. Убедившись, что письмо жена запомнила твердо, Бухарин рукопись уничтожил.

По свидетельству А. Лариной, все годы заключения и ссылки она как молитву повторяла это письмо, поэтому сохранилось оно у нее в памяти точно.

* * *

Ухожу из жизни, опустив голову перед пролетарской секирой, которая должна быть беспощадной и целеустремленной. Чувствую свою беспомощность перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, методами средневековья, обладает исполинской силой, фабрикует организованную клевету, действует смело и уверенно.

Нет Дзержинского, постепенно ушли в прошлое замечательные традиции ЧК, когда революционная идея руководителя всеми ее действиями оправдывала жестокость к врагам, охраняла государство от всяческой контрреволюции. Поэтому органы ЧК заслужили особое доверие, особый почет, авторитет, уважение. В настоящее время в своем большинстве т.н. органы НКВД это переродившаяся организация безыдейных, разложившихся, хорошо обеспеченных чиновников, которые, пользуясь былым авторитетом ЧК, в угоду болезненной подозрительности Ст. – боюсь сказать больше – в погоне за орденами и славой, творят свои гнусные дела, кстати, не понимая, что одновременно уничтожают сами себя.

История не терпит свидетелей грязных дел. Любого члена ЦК, любого члена партии эти чудодейственные органы могут стереть в порошок, превратить в предателя, террориста, диверсанта, шпиона. Если бы Ст. усомнился в самом себе, подтверждение последовало бы мгновенно. Грязные тучи нависли над партией. Одна моя ни в чем не повинная голова потянет еще тысячи невинных.

Ведь нужно же создать организацию, Бухаринскую организацию, в действительности ее не существовало не только теперь, когда уже седьмой год у меня нет ни тени разногласий с партией, но и не существовавшую и тогда, в годы правой оппозиции. О тайных организациях Рютина, Угланова мне ничего известно не было, я свои взгляды излагал вместе с Рыковым с Томским открыто.

С 18-летнего возраста я в партии и всегда целью моей жизни была борьба за интересы рабочего класса, за победу социализма. В эти дни газета со святым названием «Правда» печатает гнусную ложь, что якобы я – Николай Бухарин – хотел уничтожить завоевания Октября, реставрировать капитализм. Это неслыханная наглость, это ложь, адекватная которой по наглости и безответственности была бы такая: обнаружилось, что Николай Романов всю свою жизнь посвятил борьбе с капитализмом и монархией, борьбе за осуществление пролетарской революции.

Если в методах социализма я не раз ошибался, пусть потомки не судят меня строже, чем это делал Владимир Ильич. Мы шли к единой цели, еще не проторенным путем, другое было время, другие нравы. В «Правде» начался дискуссионный листок, все спорили, искали путей, ссорились и мирились и шли дальше вперед вместе.

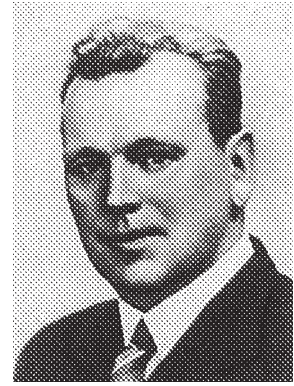
Обращаясь к Вам, будущее поколение руководителей партии, на исторической миссии которых лежит обязанность распутать чудовищный клубок преступлений, которые в эти страшные дни становятся все грандиознее, разгораются как пламя и душат партию, ко всем членам партии обращаюсь! В эти, быть

может, последние дни своей жизни, я уверен, что фильтр истории рано или поздно сотрет грязь с моей головы.

Никогда я не был предателем, за жизнь Ленина без колебаний я заплатил бы собственной, любил Кирова, ничего не затевал против Сталина. Прошу новое молодое и честное поколение руководителей партии зачитать мое письмо на пленуме ЦК, оправдать и восстановить меня в партии. Знайте, товарищи, что на том знамени, которое вы понесете в победоносном шествии к коммунизму, есть и моя капля крови.

Источник: самиздатская рукопись.

Раскольников (Ильин)
Федор Федорович
(1892–1939)



Политический и военный деятель, дипломат, писатель.

Родился в С.-Петербурге. Внебрачный сын протоиерея Сергеевского. Учился на экономическом отделении Петербургского политехнического института и на Отдельных гардемаринских классах. Член РСДРП, большевик с 1910 г. Руководил кронштадтскими моряками, ведущей силой, поддержавшей большевиков во время Октябрьского переворота 1917 года. Раскольников несет личную ответственность за расстрел множества офицеров царского флота, отказавшихся изменить присяге. Столь же жестоко моряки под его руководством расправились с антибольшевистским восстанием в Москве. В 1918 г. Раскольников — заместитель наркома по Морским Делах, в 1920-21 гг. командует морскими силами Каспийского и Балтийского флотов, в 1921-23 гг. — посол РСФСР в Афганистане, первой стране, установившей дипломатические отношения с Красной Россией. В 1924-30 гг. Раскольников работает главным редактором журнала «Молодая гвардия». Будучи председателем Главного репертуарного комитета, он активно способствовал запрещению к показу пьес М. Булгакова. С 1930 г. вновь на дипломатической работе. В 1938 г. становится невозвращенцем, опасаясь репрессий по возвращении в СССР. В результате Раскольников был лишен советского гражданства и объявлен вне закона как враг народа. В 1939 г. он опубликовал «Открытое письмо Сталину», получившее широкую известность в мировой прессе как наиболее резкое и обоснованное обвинение Сталина в массовых репрессиях. Смерть Расколникова произошла при загадочных обстоятельствах (выпал из окна или выброшен агентами НКВД). Реабилитирован в 1963 г.

«Открытое письмо Сталину» ходило в Самиздате с середины 50-х годов.

Некоторые произведения Расколникова появились в печати в середине 60-х гг. (На боевых постах — 1964 и др.), однако «Открытое письмо Сталину» было опубликовано в журнале «Смена» и газете «Неделя» только в 1988 г.

Наиболее полное собрание литературного наследия Расколникова:

Ф. Раскольников. О времени и о себе: воспоминания, письма, документы. Лениздат, 1989.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СТАЛИНУ

Я правду о тебе порасскажу такую,
что хуже всякой лжи.

Сталин, вы объявили меня «вне закона». Этим актом вы уравнили меня в правах — точнее, в бесправии, — со всеми советскими гражданами, которые под вашим владычеством живут вне закона.

Со своей стороны, отвечаю полной взаимностью: возвращаю вам входной билет в построенное вами «царство социализма» и порываю с вашим режимом.

Ваш «социализм», при торжестве которого его строителям нашлось место лишь за тюремной решеткой, так же далек от истинного социализма, как производившейся личной диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата.

Вам не поможет, если награжденный орденом уважаемый революционер-народоволец Н.А. Морозов подтвердит, что именно за такой «социализм» он провел 20 лет своей жизни под сводами Шлиссельбургской крепости.

Стихийный рост недовольства рабочих, крестьян, интеллигенции властно требовал крутого политического маневра наподобие ленинского перехода к нэпу в 1921 году. Под напором советского народа вы «даровали» демократическую конституцию. Она была принята всей страной с неподдельным энтузиазмом.

Честное проведение в жизнь демократических принципов конституции 1936 года, воплотившей надежды и чаяния всего народа, ознаменовало бы новый этап расширения советской демократии.

Но в вашем понимании всякий политический маневр — синоним надувательства и обмана. Вы культивируете политику без этики, власть без честности, социализм без любви к человеку.

Что сделали вы с конституцией, Сталин?

Испугавшись свободы выборов, как «прыжка в неизвестность», угрожавшего вашей личной власти, вы растоптали конституцию, как клочок бумаги, выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну-единственную кандидатуру, а сессии Верховного Совета наполнили акафистами и овациями в честь самого себя. В промежутках между сессиями вы бесшумно уничтожаете «зафинтивших» депутатов, насмехаясь над их неприкосновенностью и напоминая, что хозяин земли советской не Верховный Совет, а вы. Вы сделали все, чтобы дискредитировать советскую демократию, как дискредитировали социализм. Вместо того чтобы идти по линии намеченного конституцией поворота, вы подавляете растущее недовольство насильем и террором. Постепенно заменив диктатуру пролетариата режимом вашей личной диктатуры, вы открыли новый этап, который войдет в историю нашей революции под именем «эпохи террора».

Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста. Никому нет пощады. Правый и виноватый, герой Октября и враг революции, старый большевик и беспартийный, колхозный крестьянин и полпред, народный комиссар и рабочий, интеллигент и Маршал Советского Союза — все в равной мере подвержены ударам вашего бича, все кружатся в дьявольской кровавой карусели.

Как во время извержения вулкана огромные глыбы с треском и грохотом рушатся в жерло кратера, так целые пласты советского общества срываются и падают в пропасть.

Вы начали кровавые расправы с бывших троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев, потом перешли к истреблению старых большевиков, затем уничтожили партийные и беспартийные кадры, выросшие во время гражданской войны и вынесшие на своих плечах строительство первых пятилеток, и организовали избиение комсомола.

Вы прикрываетесь лозунгом борьбы с «троцкистско-бухаринскими шпио-

нами». Но власть в ваших руках не со вчерашнего дня. Никто не мог «пробраться» на ответственный пост без вашего разрешения.

— Кто насаждал так называемых «врагов народа» на самые ответственные посты государства, партии, армии и дипломатии?

— Иосиф Сталин.

— Кто внедрил так называемых «вредителей» во все поры советского и партийного аппарата?

— Иосиф Сталин.

Перечитайте старые протоколы Политбюро: они пестрят назначениями и перемещениями только одних «троцкистско-бухаринских шпионов», «вредителей» и «диверсантов», а под ними красуется подпись: И. Сталин.

Вы притворяетесь доверчивым простофилей, которого годами водили за нос какие-то карнавальные чудовища в масках.

— Ищите и обряцете козлов отпущения, — шепчете вы своим приближенным и нагружаете пойманные, обреченные на заклятие жертвы своими собственными грехами.

Вы сковали страну жутким страхом террора, даже смельчак не может бросить вам в лицо правду.

Волны самокритики «не взирая на лица» почтительно замирают у подножия вашего престола.

Вы непогрешимы, как папа! Вы никогда не ошибаетесь!

Но советский народ отлично знает, что за все отвечаете вы, «кузнец всеобщего счастья».

С помощью грязных подлогов вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинений знакомые вам по семинарским учебникам средневековые процессы ведьм.

Вы сами знаете, что Пятаков не летал в Осло, Максим Горький умер естественной смертью и Троцкий не сбрасывал поезда под откос.

Зная, что все ложь, вы поощряете своих клеветников:

— Клеветайте, клеветайте, от клеветы всегда что-нибудь остается.

Как вам известно, я никогда не был троцкистом. Напротив, я идейно боролся со всеми оппозициями в печати и на широких собраниях. И сейчас я не согласен с политической позицией Троцкого, с его программой и тактикой. Принципиально расходясь с Троцким, я считаю его честным революционером. Я не верю и никогда не поверю в его «сговор» с Гитлером или Гессом.

Вы — повар, готовящий острые блюда; для нормального человеческого желудка они несъедобны.

Над гробом Ленина вы принесли торжественную клятву выполнить его завещание и хранить как зеницу ока единство партии.

Клятвопреступник, вы нарушили и это завещание Ленина.

Вы оболгали, обесчестили и расстреляли многолетних соратников Ленина: Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и др., невиновность которых вам была хорошо известна. Перед смертью вы заставили их каяться в преступлениях, которых они никогда не совершали, и мазать себя грязью с ног до головы.

А где герои Октябрьской революции? Где Бубнов? Где Крыленко? Где Антонов-Овсеенко? Где Дыбенко?

Вы арестовали их, Сталин.

Где старая гвардия? Ее нет в живых.

Вы расстреляли ее, Сталин. Вы растлили и загадили души ваших соратников. Вы заставили идущих за вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей.

В лживой истории партии, написанной под вашим руководством, вы обокрали мертвых, убитых и опозоренных вами людей и присвоили себе их подвиги и заслуги.

Вы уничтожили партию Ленина, а на ее костях построили новую «партию Ленина — Сталина», которая служит удобным прикрытием вашего единодержавия. Вы создали ее не на базе общей программы и тактики, как строится всякая партия, а на безыдейной основе личной любви и преданности вам. Знание программы новой партии объявлено необязательным для ее членов, но зато обязательна любовь к Сталину, ежедневно подогреваемая печатью. Признание партийной программы заменяется объяснением в любви Сталину.

Вы — ренегат, порвавший со своим вчерашним днем, предавший дело Ленина.

Вы торжественно провозгласили лозунг выдвижения новых кадров. Но сколько этих молодых выдвиженцев уже гниет в ваших казематах? Скольких из них вы расстреляли, Сталин?

С жестокостью садиста вы избиваете кадры, полезные и нужные стране: они кажутся вам опасными с точки зрения вашей личной диктатуры.

Накануне войны вы разрушаете Красную Армию, любовь и гордость страны, оплот ее мощи.

Вы обезглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы убили самых талантливых полководцев, воспитанных на опыте мировой и гражданской войн, во главе с блестящим маршалом Тухачевским.

Вы истребили героев гражданской войны, которые преобразовали Красную Армию по последнему слову военной техники и сделали ее непобедимой.

В момент величайшей военной опасности вы продолжаете истреблять руководителей армии, средний командный состав и младших командиров.

Где маршал Блюхер? Где маршал Егоров?

Вы арестовали их, Сталин.

Для успокоения взволнованных умов вы обманываете страну, что ослабленная арестами и казнями Красная Армия стала еще сильнее.

Зная, что закон военной науки требует единоначалия в армии от главнокомандующего до взводного командира, вы воскресили институт политических комиссаров, который возник на заре Красной Армии и Красного Флота, когда у нас еще не было своих командиров, а над военными специалистами старой армии нужен был политический контроль.

Не доверяя красным командирам, вы вносите в армию двоевластие и разрушаете воинскую дисциплину.

Под нажимом советского народа вы лицемерно воскрешаете культ исторических русских героев Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова, надеясь, что в будущей войне они помогут вам больше, чем казенные маршалы и генералы.

Пользуясь тем, что вы никому не доверяете, настоящие агенты гестапо и

японской разведки с успехом ловят рыбу в мутной, взбаламученной вами воде, в изобилии подбрасывают вам подложные документы, порочащие самых лучших, талантливых и честных людей.

В созданной вами гнилой атмосфере подозрительности, взаимного недоверия, всеобщего сыска и всемогущества Наркомвнудела, которому вы отдали на растерзание Красную Армию и всю страну, любому «перехваченному» документу верят — или притворяются, что верят, — как неоспоримому доказательству.

Подсовывая агентам Ежова фальшивые документы, компрометирующие честных работников миссии, «внутренняя линия» РОВСа, в лице капитана Фосса, добилась разгрома нашего полпредства в Болгарии от шофера М.И. Казакова до военного атташе полковника В.Т. Сухорукова.

Вы уничтожаете одно за другим важнейшие завоевания Октября. Под видом борьбы с «текучестью рабочей силы» вы отменили свободу труда, закалили советских рабочих и прикрепили их к фабрикам и заводам. Вы разрушили хозяйственный организм страны, дезорганизовали промышленность и транспорт, подорвали авторитет директора, инженера и мастера, сопровождая бесконечную чехарду смещений и назначений арестами и травлей инженеров, директоров и рабочих как «скрытых, еще не разоблаченных вредителей».

Сделав невозможной нормальную работу, вы под видом борьбы с «прогулами» и «опозданиями» трудящихся заставляете их работать бичами и скорпионами жестких и антипролетарских декретов.

Ваши бесчеловечные репрессии делают нестерпимой жизнь советских трудящихся, которых за малейшую провинность с волчьим паспортом увольняют с работы и выгоняют с квартиры.

Рабочий класс с самоотверженным героизмом нес тяготы напряженного труда, недоедания, голода, скудной заработной платы, жилищной тесноты и отсутствия необходимых товаров. Он верил, что вы ведете к социализму, но вы обманули его доверие. Он надеялся, что с победой социализма в нашей стране, когда осуществится мечта светлых умов человечества о великом братстве людей, всем будет житья радостно и легко.

Вы отняли даже эту надежду: вы объявили социализм построенным до конца.

И рабочие с недоумением, шепотом спрашивают друг друга:

— Если это социализм, то за что боролись, товарищи?

Извращая теорию Ленина об отмирании государства, как извратили всю теорию марксизма-ленинизма, вы устами ваших безграмотных доморожденных «теоретиков», занявших вакантные места Бухарина, Каменева и Луначарского, обещаете даже при коммунизме сохранить власть ГПУ.

Вы отняли у колхозных крестьян всякий стимул к работе. Под видом борьбы с «разбазариванием колхозной земли» вы разоряете приусадебные участки, чтобы заставить крестьян работать на колхозных полях. Организатор голода, грубостью и жестокостью неразборчивых методов, отличающих вашу тактику, вы сделали все, что бы дискредитировать в глазах крестьян ленинскую идею коллективизации.

Лицемерно провозглашая интеллигенцию «солью земли», вы лишили минимум внутренней свободы труд писателя, ученого, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет и вымирает. Неистовства запуганной вами цензуры и понятная робость редакторов, за все отвеча-

ющих своей головой, привели к окостенению и параличу советской литературы. Писатель не может печататься, драматург не может ставить пьесы на сцене театра, критик не может высказать свое личное мнение, не отмеченное казенным штампом.

Вы душили советское искусство, требуя от него придворного лизоблюдства, но оно предпочитает молчать, чтобы не петь вам «осанну». Вы насаждаете псевдоискусство, которое с надоедливym однообразием воспекает вашу пресловутую, набившую оскомину «гениальность».

Бездарные графоманы славословят вас, как полубога, «рожденного от луны и солнца», а вы, как восточный деспот, наслаждаетесь фимиамом грубой лести.

Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично вам неудобных русских писателей.

Где Борис Пильняк? Где Сергей Третьяков? Где Александр Аросев? Где Михаил Кольцов? Где Тарасов-Родионов? Где Галина Серебрякова, виновная в том, что была женой Сокольников?

Вы арестовали их, Сталин!

Вслед за Гитлером вы воскресили средневековое сжигание книг.

Я видел своими глазами рассылаемые советским библиотекам огромные списки книг, подлежащих немедленному и безусловному уничтожению. Когда я был полпредом в Болгарии, то в 1937 году в полученном мною списке обреченной огню запретной литературы я нашел мою книгу исторических воспоминаний «Кронштадт и Питер в 1917 году». Против фамилий многих авторов значилось «уничтожить все книги, брошюры и портреты».

Вы лишили советских ученых, особенно в области гуманитарных наук, минимума свободы научной мысли, без которого творческая работа исследователя становится невозможной.

Самоуверенные невежды интригами, склоками и травлей не дают работать ученым в университетах, лабораториях и институтах.

Выдающихся русских ученых с мировым именем академиком Ипатьева и Чичибабина вы на весь мир провозгласили «невозвращенцами», наивно думая их обесславить, но опозорили только себя, доведя до сведения всей страны и мирового общественного мнения постыдный для вашего режима факт, что лучшие ученые бегут из вашего рая, оставляя вам ваши благодеяния: квартиру, автомобиль и карточку на обеды в совнаркомовской столовой.

Вы истребляете талантливых русских ученых.

Где лучший конструктор советских аэропланов Туполев? Вы не пощадили даже его. Вы арестовали Туполева, Сталин!

Нет области, нет уголка, где можно спокойно заниматься любимым делом. Директор театра, замечательный режиссер, выдающийся деятель искусства Всеволод Мейерхольд не занимался политикой. Но вы арестовали и Мейерхольда, Сталин.

Зная, что при нашей бедности кадрами особенно ценен каждый культурный и опытный дипломат, вы заманили в Москву и уничтожили одного за другим почти всех советских полпредов. Вы разрушили дотла весь аппарат народного комиссариата иностранных дел.

Уничтожая везде и повсюду золотой фонд страны, ее молодые кадры, вы истребили во цвете лет талантливых и многообещающих дипломатов.

В грозный час военной опасности, когда острое фашизма направлено против Советского Союза, когда борьба за Данциг и война в Китае — лишь подготовка плацдарма для будущей интервенции против СССР, когда главный объект германо-японской агрессии — наша родина, когда единственная возможность предотвращения войны — открытое вступление Союза Советов в международный блок демократических государств, скорейшее заключение военного и политического союза с Англией и Францией, вы колеблетесь, выжидаете и качаетесь, как маятник между «осями».

Во всех расчетах вашей внешней и внутренней политики вы исходите не из любви к родине, которая вам чужда, а из животного страха потерять личную власть.

Ваша беспринципная диктатура, как гнилая колода, лежит поперек дороги нашей страны.

«Отец народов», вы предали побежденных испанских революционеров, бросили их на произвол судьбы и предоставили заботу о них другим государствам. Великодушное спасение человеческих жизней не в ваших принципах. Горе побежденным! Они вам больше не нужны.

Еврейских рабочих, интеллигентов, ремесленников, бегущих от фашистского варварства, вы равнодушно предоставили гибели, захлопнув перед ними двери нашей страны, которая на своих огромных просторах может гостеприимно приютить многие тысячи эмигрантов.

Как все советские патриоты, я работал, на многое закрывая глаза. Я слишком долго молчал. Мне было трудно рвать последние связи не с вами, не с вашим обреченным режимом, а с остатками старой ленинской партии, в которой я пробыл без малого 30 лет, а вы разгромили ее в три года. Мне было мучительно больно лишиться моей родины.

Чем дальше, тем больше интересы вашей личной диктатуры вступают в непримиримый конфликт с интересами рабочих, крестьян, интеллигенции, с интересами всей страны, над которой вы измываетесь, как тиран, дорвавшийся до единоличной власти.

Ваша социальная база суживается с каждым днем. В судорожных поисках опоры вы лицемерно расточаете комплименты «беспартийным большевикам», создаете одну за другой новые привилегированные группы, осыпаете их милостями, кормите подачками, но не в состоянии гарантировать новым «калифам на час» не только их привилегии, но даже право на жизнь.

Ваша безумная вакханалия не может продолжаться долго.

Бесконечен список ваших преступлений! Бесконечен свиток имен ваших жертв! Нет возможности все перечислить.

Рано или поздно советский народ посадит вас на скамью подсудимых, как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов.

Источник: сайт Вячеслава Игрунова (<http://www.igrunov.ru>).

Алданов (Ландау)
Марк Александрович
(1886–1957)



Писатель.

Родился в Киеве. Получил техническое образование. В 1919 г. эмигрировал во Францию, где работал инженером-химиком.

Широкую известность принесли ему изданные в Берлине в 1923-27 гг. исторические романы, составившие тетралогию «Мыслитель» : «Девятое термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена, маленький остров». В последующие годы опубликованы: «Истоки», «Пуншевая водка», «Современники», «Самоубийство» и др., а также ряд исторических портретов и очерков. Фрагменты этих произведений ходили в Самиздате.

В России произведения М. Алданова публикуются с 1988 года.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ И ОЧЕРКИ

ГИТЛЕР

Следующая ниже статья появилась в печати задолго до прихода Гитлера к власти. Мне отказываться от нее не от чего и теперь. В ту пору и в Германии, и вне ее было обязательно говорить о нынешнем диктаторе не иначе, как о человеке ничтожном и неумном. Мысль о том, что его планы могут увенчаться успехом, ничего, кроме смеха, тогда не вызывала. Последовавшие события показали, как неоснователен был такой взгляд, — и тогда казавшийся мне странным.

То, что теперь, в 1936 году, можно было бы сказать о правительственной работе Гитлера, ничего не изменило бы, думаю, в его портрете. Благодаря хитрости и смелости, он добился немалых результатов в области внешней политики. Германия вооружилась, и разговор с ней стал у всех другой. Но мощная армия, флот, аэропланы все-таки лишь средство, а не цель. Самый процесс пользования властью — речи, приемы, смотры, маневры, интриги, постоянные комментарии в иностранной печати, — должен доставлять великое наслаждение такому человеку, как Гитлер. Рисковать потерей всего этого, рисковать властью и головой — дело нешуточное и для природного кондотьера. И все же задача остается прежней: надо так или иначе добиться коренной перемены в территориальных условиях Версальского мира. Вероятность войны в Европе теперь неизмеримо больше, чем была четверть века тому назад.

Во внутренней политике Гитлера сюрпризов оказалось немного. Некоторым

сюрпризом было отношение к евреям. Когда я писал настоящую статью, мне казалось, что это ловко и искусно выбранная карта, на которой в Германии очень выгодно сыграть хитрому человеку, и карта эта стала ненужной, даже невыгодной. Между тем игра на ней превратилась в дело постоянное, нелепое и чаще всего комическое. Очевидно, этот человек и в самом деле вполне серьезно верил в свою гениальную расовую теорию!..

Бойня же 30 июня, убийство Шлейхера, дела гестапо сюрпризом не были. Большевики достаточно наглядно показали, что «все позволено». Поданный ими урок не мог пройти бесследно. От всего этого человечеству придется лечиться не годами, а столетиями. Вылечится ли оно, — я не знаю.

Огромная зала полна сверх меры. Все десять тысяч билетов распроданы задолго до митинга. Перед входом на улице стоит густая толпа людей, которым не удалось попасть в залу. Они жадно ждут: может быть, кто-нибудь выйдет, упадет в обморок от жары, продаст или уступит место.

Ровно в восемь часов вечера раздаются трубные звуки. В залу торжественно входит оркестр, играя военный марш. За ним следует «взвод знаменосцев», далее «ударный отряд» из людей в коричневых рубашках, с засученными рукавами, и, наконец, конвой «телохранителей вождя». У телохранителей на головах каски с изображением черепа. Раздается команда: «Глаза направо!..» Весь зал встает, следуя, кто как умеет, военной команде. На пороге между двумя взводами конвоя появляется Гитлер. Громовые рукоплескания длятся несколько минут. Невысокий, мертвенно-бледный человек, со злыми сверкающими глазами, в полувоенной форме, украшенной индусским значком, занимает место на трибуне.

«Для того чтобы понять гитлеровщину, — говорит беспристрастный и осведомленный французский журналист, описывающий эту сцену, — надо знать, что как оратор Гитлер не имеет себе равных в современной Германии. Он зачаровывает толпу, которая с наслаждением слушает все расточаемые им грубости, его декламацию против предателей, мошенников, продажных людей. Никто таким языком никогда не говорил в Германии».

«Каждая фраза его речи, — пишет очевидец, — прерывается бешеными рукоплесканиями. Толпа встает, как один человек, и начинает петь». Ей вторит орган большой бреславльской залы. Гитлер рычал более часа. Раздавленный неслыханным усилием, он падает в кресло и лежит неподвижно несколько мгновений. Затем, овладев собой, бросается в другую залу, где его ждало еще десять тысяч человек. В полночь он в третий раз произнесет ту же речь перед 6—7-тысячной толпой, ждущей его на улице, жаждущей увидеть спасителя, которого зовут в Германии Христом!..»

Что он говорит, всем достаточно известно. Во всяком большом движении, каково бы оно ни было, есть беспрестанно повторяющийся лейтмотив. Разные это бывают лейтмотивы, — многие из них нам особенно памяты: «без аннексий и контрибуций», «вся власть советам», «братание трудящихся», «грабь награбленное». Лейтмотив гитлеровщины более сложный: «Германская армия побеждала на всех фронтах, но германская революция вонзила ей кинжал в спину!» Отсюда делаются выводы, тоже всем известные.

Лозунги Ленина в 1917 году были еще лучше, но и этот придуман недурно.

Гитлер обращается преимущественно к молодежи, которая в войне не участвовала и знает о ней мало. У молодых немцев осталось о событиях 1914—1918 гг. общее впечатление, которое почти совпадает с тем, что говорит Гитлер. Германские войска в самом деле побеждали на всех фронтах. Потом вспыхнула революция — и все погибло. Значит, Германию погубили люди, ныне стоящие у власти. Хронологией молодежь не занимается, а без хронологии как доказать, что в утверждении Гитлера нет ни слова правды?

<...>

Адольф Гитлер родился в 1889 году в маленьком австрийском городке Браунау, расположенном у баварской границы и памятном нам всем по «Войне и миру». Отец нынешнего главы расистов был таможенным чиновником. Он умер тогда, когда сыну было тринадцать лет. Смерть отца, человека либеральных взглядов («гражданин мира», — вспоминает сам Гитлер), изменила всю жизнь Гитлера. С детских лет он хотел стать художником; отец же требовал, чтобы сын продолжал учиться в реальном училище и со временем поступил на службу. Очень рано Гитлер получил полную свободу, — умерла и его мать, оставив семью без средств.

Бросив реальное училище, Гитлер отправился в Вену. Живописи надо было бы учиться очень долго. Поступить в Архитектурную школу было невозможно без аттестата зрелости. Последние деньги разошлись. Гитлер стал маляром и так прожил несколько лет. Если он когда-либо будет причиной мировой катастрофы, то человечество поплатится отчасти за эти годы, проведенные Гитлером на венских постройках.

Свою жизнь Гитлер подробно рассказал в двухтомной книге, озаглавленной «Моя борьба». В ней много «теории», и теория эта столь же скучна, сколь бестолкова. Но автобиографические главы весьма интересны, хотя Гитлер лишен литературного таланта. Это очень неглупый человек, самоуверенный, злой, мстительный и беспредельно честолюбивый. Думаю, что он искренен и бескорыстен. В совокупности эти свойства образуют «фанатика», — понятие весьма неопределенное. Германию Гитлер любит фанатически, хоть в отдельности, должно быть, ненавидит громадное большинство знакомых ему немцев. Не знаю, популярен ли он в своем ближайшем политическом окружении, как был популярен среди большевиков Ленин, ухитрявшийся твердо держать в руках партию и вместе с тем оставаться «Ильичем». Гитлер в «Ильичи» мало годится: он, по душевному складу, гораздо ближе к Троцкому, которому, однако, уступает в дарованиях, за исключением дара организационного. Вполне допускаю, что настоящий «удар в спину» он получит именно от «своих». Так оно было и с Троцким. Я в своих очерках не ставлю себе никаких политических целей и стараюсь соблюдать совершенное беспристрастие. Скажу поэтому, что Гитлер человек выдающийся. Ему одному в современной Германии удалось создать большое движение: как это ни печально, он делает историю.

Не отбыв в Австрии воинской повинности, Гитлер переехал в Мюнхен. Там его застала война. Он записался добровольцем в германскую армию. По закону он, собственно, должен был бы вернуться в Австрию и служить там. Гитлер говорит, что не хотел служить в армии того государства, которое уже тогда каза-

лось ему обреченным. Враги же его утверждают, что он предпочел престиж добровольца в Германии обязательной службе в Австрии, где его рассматривали бы в лучшем случае как «ненадежного кантониста» (таково было официальное выражение). Во всяком случае, этот грех Гитлера очень незначителен. Воевал он мужественно, был ранен, затем отравлен ядовитыми газами. В ту пору, когда он находился на излечении в больнице, пришло известие о конце войны. Гитлер немедленно сделал строго логический вывод: «С евреями никакого соглашения быть не может... Я решил стать политическим деятелем».

Он ненавидит евреев, социалистов и Францию, — это три основных предмета ненависти Гитлера. Но есть и еще много других, — такой запас злобы можно найти разве только у большевиков. Ненавидит Гитлер и Россию, — точнее, он считает русский народ низшей расой, вдобавок обреченной на гибель. Россия, по убеждению вождя национал-социалистов, целиком создана немцами. «Организация русского государственного здания, — пишет он, — не была результатом государственно-политического творчества славянского элемента в России. Она скорее является удивительным примером государственно-творческой работы германского элемента над низшей расой... Низшие народы, имеющие немцев в качестве вождей и организаторов, нередко создавали могущественные образования». Теперь немецкий элемент в России искоренен, а потому Россия должна погибнуть: «конец еврейского владычества в России будет концом и русского государства».

Ненавидит Гитлер и интеллигенцию. В одной из глав своей книги он говорит о том пренебрежении, с которым относились к нему, как к человеку, не получившему высшего образования. Эти страницы дышат неподдельной, жгучей яростью. Здесь, по-видимому, одна из характерных черт гитлеровского движения. Теперь в нем принимает участие очень много всевозможных «докторов философии»; но в начале характер движения был несколько иной. Подеревский как-то назвал большевизм «восстанием людей, не употребляющих зубной щетки, против людей, употребляющих зубную щетку». В том же метафорическом смысле можно было бы сказать, что ранняя гитлеровщина была бунтом полунинтеллигентов против интеллигенции.

<...>

СТАЛИН

Разгром революции 1905 года был тяжелым ударом для большевиков. Из всех планов Ленина не вышло ровно ничего — потерпели крушение и его теоретические идеи, и его практические замыслы.

В таких случаях обычно во всем мире происходит так называемая переоценка ценностей. Тем более следовало бы ей произойти в политических условиях России: переоценка ценностей (неизменно начинающаяся с переоценки людей) была испокон веков любимейшим занятием русской интеллигенции. Однако большевики и в этом случае составили исключение: несмотря на свое жестокое поражение, Ленин как был партийным божеством, так партийным божеством и остался.

Надо ли говорить, что самому Ленину не пришло в голову заняться пересмотром своей доктрины: его доктрина ошибаться не могла. Но несколько прак-

тических уроков из революции 1905 года Ленин, несомненно, извлек. Один из его выводов заключался в том, что материальные средства, с которыми завязала борьбу партия, были чересчур ничтожны.

Вопрос о средствах в политических партиях всегда был неприятным вопросом. Но в прежние времена на Западе он разрешался относительно просто. Когда у германских социал-демократов не хватало в партийной кассе денег, партруководитель после основательных размышлений и кропотливых подсчетов, обращался к бесчисленным геноссам с мотивированным предложением сделать в кассу единовременный и экстраординарный взнос в размере, скажем, восьмидесяти пяти пфенигов с ревизской партийной души, и геноссы вносили деньги в твердой — совершенно справедливой — уверенности, что фатер Бебель не стал бы требовать восемьдесят пять пфенигов, — если б можно было обойтись восьмьюдесятью. Когда не хватало денег у английских консерваторов, лидер партии отправлялся к герцогу Нортумберландскому или к графу Дарби и привозил нужную сумму. Теперь дело и на Западе стало значительно сложнее. В Германии партийные взносы взыскиваются далеко не без труда. В Англии Ллойд Джордж открыл в партийной лавочке беспатентную продажу титулов. Герцоги стали беднее, да и жертвуют они, в нынешней запутанной обстановке, часто не на то, на что им следовало бы жертвовать. Теперь в каждой стране существуют такие герцоги — и особенно такие герцогини, — которые в меру сил субсидируют предприятия, специально занимающиеся разрушением государства.

<...>

В России таких герцогов — разных, разумеется: земельных, нефтяных, чайных, сахарных, полотняных — при самом строе было довольно много. История большевистской кассы никогда не будет написана. Жаль: это была бы книга занимательная во всех отношениях — в историческом, в бытовом, в психологическом. Кто только не давал денег большевикам?! Не решаюсь утверждать, но, по некоторым моим соображениям, линия одного из крупных взносов в кассу будущих екатеринбургских убийц ведет к детям людей, обязанных своим богатством щедротам Александра III. Мотивы у разных жертвователей были, конечно, разные. Большинство давало потому, что «как же не дать?». Давал Максим Горький, — он, вероятно, сочувствовал, да и очень уж шумно в ту пору реял над Россией «буревестник, черной молнии подобный». Савва Морозов субсидировал большевиков оттого, что ему чрезвычайно опротивели люди вообще, а люди его круга в особенности. Н.Г. Михайловский-Гарин тоже их поддерживал, ибо он, милый, вечно юный Тема Карташев, никому не мог отказать, когда были деньги: он отвалил 25 тысяч большевикам на социальную революцию, как бросал деньги цыганкам в Стрельне на счастье или саратовскому самородку на изобретение *perpetuum mobile*. «Широк русский человек, я бы сузил», — сказал, кажется, Достоевский.

Другие русские партии существовали преимущественно на средства, которые жертвовались примыкавшими к ним богатыми людьми. У большевиков это было не в обычае. Во всяком случае, большевики и близкие им значительных сумм собрать не могли, так как в громадном большинстве были чрезвычайно

бедны. Сам Ленин жил с семьей в одной нищенски обставленной комнате. Троцкий в своих воспоминаниях юмористически описывает, как он однажды в Париже отправился в оперу — в ботинках, уступленных ему Лениным.

<...>

Рокамболь знал тридцать три способа добывания денег. Ленин для обогащения партии пустил в ход только три, но зато каждый из них сделал бы честь Рокамболлю.

Первый способ был старый, классический, освященный традицией, которая через века идет от предприимчивых финикийян к князю Виндишгрецу и его соучастникам. Способ этот заключался в подделке денег. Первоначально была сделана попытка организовать печатанье фальшивых ассигнаций в Петербурге при содействии служащих Экспедиции изготовления государственных бумаг. Но в последнюю минуту служащие, с которыми велись переговоры, отказались от дела. Тогда Ленин перенес его в Берлин и поручил, в величайшем от всех секрете, «Никитичу» (Красину). Однако маг и волшебник большевистской партии, так изумительно сочетавший полное доверие Ленина с полным доверием фирмы «Сименс», оказался на этот раз на высоте своей репутации. Или, вернее, на высоте своей репутации оказалась германская полиция. Раскрытое ею дело вызвало в ту пору немало шума. «Спрашивается, как быть с ними в одной партии? Воображаю, как возмущены немцы», — с негодованием писал в частном письме Мартов. Чичерин (в ту пору еще большевик) потребовал назначения партийной следственной комиссии. Ленин охотно согласился на строжайшее расследование дела, — организованного по его прямому предписанию. Глава партии имел основание рассчитывать, что концы прекрасно спрятаны в воду. Однако Чичерин неожиданно проявил способности следователя. Заручившись серией фотографий своих товарищей по партии, он представил их тому немцу, которому была заказана бумага с водяными знаками, годная для подделки ассигнаций. «При предъявлении фабриканту карточки Л.Б. Красина он признал в нем то лицо, которое заказало ему бумагу с водяными знаками... Когда расследование Чичерина добралось до этих «деталей», Ленин восторженно и провел в ЦК постановление о передаче расследования заграничному бюро ЦК, в котором добытые Чичериным материалы, разумеется, бесследно погибли».

Второй способ, изобретенный Лениным для пополнения партийной кассы, был гораздо менее банален. Скажу о нем лишь весьма кратко: Ленин поручил своим товарищам по партии жениться на двух указанных им богатых дамах и передать затем приданое в большевистскую кассу. Дело было сделано артистически: оба большевика благополучно женились, но заминка вышла после свадьбы: один из счастливых мужей счел более удобным деньги оставить за собою. Забавно то, что по делу этому состоялся суд чести; рассказ о нем я слышал от одного из судей, не большевика, человека весьма известного и безупречного. Впрочем, независимо от суда Ленин довольно недвусмысленно грозил, в случае неполучения денег, подослать убийц к не оправдавшему его доверия товарищу. Об этом глухое указание (вполне совпадающее со слышанным мною рассказом) есть в изданных не так давно письмах Мартова. Краткое, зато весьма живописное упоминание обо всей этой истории сохранилось и в рассказе самого Ленина. В. Войтинский в своих воспоминаниях

пишет: «Рожнов передавал мне, что однажды он обратил внимание Ленина на подвиги одного московского большевика, которого характеризовал как прожженного негодяя. Ленин ответил со смехом:

— Тем-то он и хорош, что ни перед чем не остановится. Вот вы, скажите прямо, могли бы за деньги пойти на содержание к богатой купчихе? Нет? И я не пошел бы, не мог бы себя пересилить. А Виктор пошел. Это человек незаменимый».

В результате суда Ленин получил немалую сумму денег. Но матримониальный способ пополнения кассы был, разумеется, лишь вспомогательным. Главное свое внимание вождь большевиков после провала первой революции устремил на то, что тогда игриво называлось «эксами» или «эксакциями» (в брошюрах того времени часто употребляется и глагол «эксировать»). В этой области ближайшим сотрудником и правой рукой Ленина стал уже в ту пору весьма известный кавказский боевик, по революционной кличке «Коба», он же «Давид», он же «Нижерадзе», он же «Чижиков», он же «Иванович», он же нынешний всемогущий русский диктатор Иосиф Виссарионович Сталин-Джугашвили.

<...>

Мне крайне трудно объективно писать о большевиках. Скажу, однако, тут же: это человек выдающийся, бесспорно, самый выдающийся во всей ленинской гвардии. Сталин залит кровью так густо, как никто другой из ныне живущих людей, за исключением Троцкого и Зиновьева. Но свойств редкой силы воли и бесстрашия я, по совести, отрицать в нем не могу. Для Сталина не только чужая жизнь копейка, но и его собственная — этим он резко отличается от многих других большевиков.

Как большинство современных диктаторов, он вышел из «низов». Мустафа-Кемал родился в очень бедной семье. Стамбулийский вырос в избе пастуха. Отец Муссолини был кузнецом. Мать Энвера мыла трупы в мертвецкой. Талаат попал в великие визири из почтальона. Иосиф Сталин — сын тифлисского сапожника. Многие считают его осетином. Это неверно — он коренной грузин.

Люди, когда-то к нему близкие, говорили мне, что он прошел в юности очень суровую школу бедности и лишений, что он вырос среди тифлиских «кинто», от которых приобрел свойства грубости и циничного остроумия. Политическая биография Джугашвили начинается с тифлисской семинарии; в нее отдал его отец, готовивший сына к духовному званию. Сталин — священник!.. Из семинарии он был исключен за неблагонадежность девятнадцати лет от роду. В том же (1898) году он вступил в Российскую социал-демократическую партию и был последовательно членом Тифлисского, Батумского, Бакинского комитетов, редактировал разные партийные издания («Борьба пролетариата», «Дро», «Бакинский рабочий»), написал несколько марксистских книжек. К большевистской фракции он примкнул с самого момента раскола в среде социал-демократов и очень скоро стал признанным главой немногочисленных кавказских большевиков. Шесть раз его арестовывали и шесть раз отправляли в ссылку на поселение: в Восточную Сибирь (1903 г.), в Сольвычегодск (1908 г.), снова в Сольвычегодск (1908 г.), в Вологду (1911 г.), в Нарымский край (1912 г.) и в Туруханский край (1913 г.). Из всех этих мест (за исключением последнего) он бежал, не засиживаясь долго, чаще всего через месяц-другой по водворении на

жительство. Жизнь Сталина поистине может служить уроком смирения для деятелей департамента полиции. Хороша была ссылка, из которой человек мог бежать пять раз. Недурно было и то, что Сталина мирно отправляли в ссылку. В вину ему департамент полиции вменил какую-то «маевку», устройство уличных демонстраций, нелегальные издания, руководство экономической забастовкой на батумских предприятиях Ротшильдов, что-то еще в таком же роде. Эти тяжкие преступления должны были вызывать усмешку у людей, знавших настоящую работу Сталина.

Он был верховным вождем так называемых боевиков Закавказья. Я не знаю и, кажется, никто, кроме самого Сталина, не знает точно, сколько именно «экссов» было организовано по его предначертаниям. Высшим партийным достижением в этой области была памятная экспроприация в Тифлисе, обеспечившая большевистской партии несколько лет полезной работы.

13 июня 1907 года, в 10 1/2 часов утра, кассир Тифлисского отделения Государственного банка Курдюмов и счетовод Головня получили на почте присланную отделению из столицы большую сумму денег и повезли ее в банк в фаэтоне, за которым следовал другой фаэтон с двумя вооруженными стрелками. Оба экипажа были окружены казачьим конвоем. В центре города вблизи дворца наместника, когда передние казаки конвоя свернули с Эриванской площади на Сололакскую улицу, с крыши дома князя Сумбатова в поезд был брошен снаряд страшной силы, от разрыва которого разлетелись вдребезги стекла окон на версту в округе. Почти одновременно в конвой с тротуаров полетело еще несколько бомб и какие-то прохожие открыли по нему пальбу из револьверов. На людной площади началось смятение, перешедшее в отчаянную панику. Что произошло с деньгами, никто из очевидцев толком следствию объяснить не мог. Кассир и счетовод были выброшены из фаэтона первым же снарядом. Лошади бешено понесли уцелевший чудом фаэтон. На другом конце площади высокий «прохожий» ринулся наперерез к мчавшимся лошадям и швырнул им под ноги бомбу. Раздался новый оглушительный взрыв — и все исчезло в облаке дыма. Один из свидетелей видел, однако, что человек в офицерском мундире, проезжавший на рысаке по площади, соскочил с пролетки, бросился к разбитому дымящемуся фаэтону, схватил в нем что-то и умчался, паля наудачу из револьвера по сторонам.

В этом знаменитейшем из «экссов» было убито и ранено около 50 человек. Деньги найдены не были, полиция никого не схватила, и следствие ничего не выяснило. Теперь мы знаем, что тщательная слежка за деньгами велась большевиками еще из столицы. В Тифлисе около почты за кассиром следили две женщины (Пация Голдава и Анкета Суламлидзе), которые и подали условный сигнал отряду экспроприаторов, дожидавшемуся в ресторане «Тилипучури». Человек, переодетый офицером, был известный Петросян, ученик и помощник Сталина, прозванный им Камо. Он упрятал деньги в такое место, которое едва ли могло вызвать подозрения самой лучшей в мире полиции: кредитные билеты были заделаны в диване заведующего Кавказской обсерваторией! Чем не Рокамболь?

Роль Сталина в тифлисской экспроприации до сих пор в подробностях не выяснена. По одной версии, именно он бросил в поезд первый снаряд. Но это едва ли верно: Сталин занимал уже тогда слишком высокое положение в партии

для того, чтобы исполнять роль рядового террориста. По-видимому, ему принадлежало высшее руководство делом. Бомбы же для экспроприации были присланы из Финляндии самим Лениным. Ленину, для нужд партий, и были позднее отвезены похищенные деньги. Ни Сталин, ни Камо, в отличие от многих других экспроприаторов, не пользовались «эксами» для личного обогащения.

Что и говорить, мы, европейцы, за последние столетия несколько отвыкли от государственных деятелей этого рода. Однако ведь были времена, когда в Европе власть почти всегда принадлежала таким людям — как она принадлежит им и теперь на огромных внеевропейских территориях. В настоящее время в России к правителям предъявляются весьма пониженные требования в отношении «*casier judiciaire*» (сведений о судимости, фр.) Это, разумеется, не всегда так будет. Но я боюсь, что это так будет еще довольно долго.

<...>

У Троцкого идей никогда не было и не будет. В 1905 году он свои откровения взял взаймы у Парвуса, в 1917 году — у Ленина. Его нынешняя оппозиционная критика — общие места эмигрантской печати. С «идеями» Троцкому особенно не везло в революции. Он клялся защищать Учредительное собрание за два месяца до того, как оно было разогнано. Он писал: «Ликвидация государственного спаиванья народа вошла в железный инвентарь завоеваний революции» — перед восстановлением в сов. России казенной продажи вина. Но в большом актерском искусстве, как в уме и хитрости, Троцкому, конечно, отказать нельзя. Великий артист — для невзыскательной публики. Иванов-Козельский русской революции.

Вся Октябрьская революция была, так сказать, бенефисом Троцкого. По крайней мере, он, говоря о ней в ту пору и впоследствии, неизменно держал себя как «бенефициант», — как бенефициант подчеркнуто-скромный и растроганно-тактичный. Он взволнованно раскланивался с современниками и историей, взволнованно принимал букеты и часть их передавал другим участникам спектакля, заботливо выбирая для этого букетики похуже и участников победарней. В своих книгах, посвященных Октябрю 1917 г., Троцкий отечески расхвалил самых серых революционеров, принимавших участие в перевороте, — вплоть до фельдшера Лазимира, вплоть до какого-то матроса Маркина. Более видных людей он старательно оставил в тени. Разумеется, Ленина никак нельзя было обойти молчанием — льстиво-коварная книга Троцкого о Ленине достаточно известна. Но о Сталине Троцкий совершенно забыл упомянуть — Сталину ни малейшего букетика не досталось. Двухтомный труд Троцкого о 1917 годе украшен портретами Свердлова, Иоффе, Антонова-Овсеенко, Подвойского, Крыленко, — портрет Сталина так и не попал в книгу. Между тем роль нынешнего диктатора в Октябрьской революции была чрезвычайно велика: он входил и в «пятерку», ведавшую политической стороной восстания, и в «семерку», ведавшую стороной организационной.

Как бы то ни было, с первых месяцев революции эти два человека — несомненно, наиболее выдающиеся в большевистской партии — пошли каждый своей дорогой. Троцкий и в дальнейшем приискивал для себя бенефисные роли. До заключения мира с немцами наиболее выигрышным и эффектным постом в советском пра-

вительстве была должность министра иностранных дел. Она досталась Троцкому, и он «на глазах у всего цивилизованного мира» разыграл Брестское представление, закончив спектакль коленцем, правда, не вполне удавшимся, зато с сотворения мира невиданным — «войну прекращаем, мира не заключаем». С началом гражданской войны самой бенефисной ролью стала роль главнокомандующего Красной Армией. Троцкий оказался военным комиссаром, председателем Реввоенсовета, русским Карно и «электризатором революции». Какова была его действительная роль в гражданской войне, сказать в настоящее время трудно. После первого разрыва с Троцким большевики (то есть Сталин) опубликовали несколько документов, из которых как будто неопровержимо следует, что эта была довольно скромной и что «красный Наполеон» далеко не всегда вел себя по-наполеоновски. История этот вопрос (в отличие от большинства других) сумеет выяснить точно. Во всяком случае, для легенды Троцким было сделано все возможное. Он «прошел курс Академии Генерального штаба», ездил в царском поезде с вагоном-типографией, возил на фронт Демьяна Бедного и даже орден ему пожаловал — «отважному кавалеристу слова» (кто же мог предвидеть со стороны кавалериста слова такую черную неблагодарность?). На всех решительных фронтах он произносил пламенные речи. Каждая его речь была непременно с «восклицаниями». От Троцкого останется десять тысяч восклицаний — все больше образные. После покушения Доры Каплан он воскликнул: «Мы и прежде знали, что у товарища Ленина в груди металл!» Где-то на Волге, в Казани или в Саратове, он в порыве энтузиазма прокричал «глухим голосом»: «Если буржуазия хочет взять для себя все место под солнцем, мы потушим солнце!» Галерка ревела от восторга, как некогда на спектаклях Иванова-Козельского. При всем своем актерстве Троцкий не подделывается под публику — он не умеет говорить иначе. Впрочем, так говорят иные талантливые ораторы и не в Саратове. Покойный Вивiani, например, тоже был мастер на восклицания: «La France marchant la tete plus haut que les etoiles...» (Франция шла вперед, задрав голову выше звезд). Анатолий Франс от его образов затыкал уши, но в «нижнем этаже французской культуры этот блеск второго сорта имел шумный успех. Троцкий вдобавок — «блестящий писатель», — по твердому убеждению людей, не имеющих ничего общего с литературой. Никто не умел лучше, чем он, разоблачать в статьях «империалистическое копыто г. Милюкова»; никто так эффектно не предписывал «сэру Бьюкенену»: «Потрудитесь убрать ноги со стола». Троцкому в совершенстве удаются все тонкости ремесла: и «что сей сон означает?», и «унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекала», и «тенденция, проходящая красной нитью», и «победить или умереть!». Клише большевистской типографии он умеет разнообразить стопудовой иронией: «В тех горных сферах, где ведутся приходе-расходные книги божественного промысла, решено было в известный момент перевести Николая на ответственный пост отставной козы барабанщика, а бразды правления вручить Родзянке, Милюкову и Керенскому».

В последние годы Троцкий, видимо, ослабел и вел себя значительно ниже своей репутации ловкого человека. За самыми горделивыми его позами следовали самые унижительные покаяния. Ему явно изменила основная способность революционера — умение рассчитывать свои и вражеские силы. На чью поддержку он надеялся? Сойдет ли навсегда со сцены освищенный актером? Троцкий всю свою жизнь прожил перед зеркалом, для исторической галерки. Если он когда-либо покончит с собой или погибнет «на баррикаде» («баррикаду» он склонял

во всех падежах тридцать лет), это тоже будет сделано для галерки — для того биографического труда, который о нем напишет Клара Цеткин 27-го столетия.

Перед зеркалом проводят дни разные люди — часто очень талантливые. Но поэтам, артистам легко так жить. Воевать перед зеркалом гораздо менее удобно, и на боевых постах обычно имеют успех люди, на зеркало не оглядывающиеся. Таков был Ленин. Таков и нынешний всероссийский диктатор.

Сталин, в отличие от Троцкого, не играл бенефисных ролей. В течение четырех лет он был народным комиссаром по делам национальностей — должность, впоследствии упраздненная за полной ее ненужностью. Побывал и главой Рабоче-Крестьянской инспекции — этот пост, вероятно, в том же роде: неудобно ведь Сталину контролировать Сталина. Как ближайший сотрудник Ленина, он мог, конечно, получить более выигрышные должности. По-видимому, основная мысль Джугашвили заключалась в том, что в условиях большевистской революции дело не в государственных постах, а в партийном аппарате. Сталин стал членом Политбюро еще в мае 1917 года; позднее он прошел в Секретариат Центрального Комитета и наконец оказался генеральным секретарем РКП. Это дало ему возможность убрать с самых блистательных постов и Троцкого, и Зиновьева, и Каменева. Не помешало Сталину даже завещание Ленина — заgrabное письмо ревизора. Ленин его назвал «грубым человеком, нетерпимым в должности генсека». Однако с должности этой его при жизни не убрал. Почему? О нынешних своих противниках сам Сталин сказал: «Вы слышали здесь, как старательно ругали оппозиционеры Сталина. Объясняется это тем, что Сталин, быть может, знает лучше, чем другие, все плутни оппозиции». Сталин не «вдохновенный оратор» и не «блестящий писатель» — вероятно, он на это и не претендует. Но диктаторское ремесло он понимает недурно. Я отнюдь не считаю его новым Наполеоном. Роль Сталина в большевистской революции в последнем счете, почти наверное, окажется не слишком выигрышной. Как поведет он себя «на финише», очень трудно сказать. Чего именно не хватает Сталину? Культуры? Не думаю: зачем этим людям культура? Их штамповальный мыслительный аппарат работает сам собою — у всех приблизительно одинаково. «Теоретиков» Сталин всегда найдет сколько угодно, чего бы он ни захотел. Знает ли он только сам, чего именно он хочет?

Та линия, по которой он, вначале не без колебаний, шел к захвату власти над партией, была, по-видимому, правильной. Я говорю: по-видимому, так как все-таки дело еще не решено окончательно. Фокус Колумбова яйца после Колумба могли усвоить другие — и пост Генерального секретаря Коммунистической партии не является, в конце концов, пожизненным. При некотором счастье роль главы оппозиции может оказаться очень выгодной. «Только мертвые не возвращаются», — сказал знаменитый деятель того термидора. Сталин, вероятно, понимает, что ветер в современной России меняется часто и что при первой перемене ветра почти вся его свора (за редким исключением, вроде блаженного Бухарина, коммунистического Пфуля) с полной готовностью переметнется к Троцкому. Признаюсь, я «с захватывающим интересом» жду: что сделает Сталин в этом трудном экзамене на трудную историческую роль?

<...>

— Но их идеи? Ведь за каждым из них стоят определенные социальные группы? Да, идеи, социальные группы...

Жорес говорил, что философия истории Карла Маркса представляет собою сочетание гениальной интуиции с детской наивностью: всецело поглощенный идеей борьбы классов, Маркс проглядел за ней борьбу партий в пределах одного класса и борьбу личностей в пределах одной партии. Жорес объяснял это тем, что Марксу не приходилось наблюдать вблизи, как в министерских кабинетах и в кулуарах парламентов творится настоящая практическая политика.

Разумеется, социологи-марксисты совершенно неуязвимы в отношении этого критического указания и «поверхностной критики» вообще. Они, как известно, глядят глубже, в самый корень. «Кто — как мудрый и кто понимает значение вещей? — сказал царь Соломон. — Сердце мудрого знает и время, и устав». Марксисты все знают: и устав, и время, и значение вещей. При некотором навыке для каждой партии, для каждой фракции, даже для каждого отдельного деятеля легко подобрать соответствующую «классовую подоплеку». Нет, например, ничего проще, чем уложить в термины классовой борьбы распрю, происходящую ныне в большевистской партии. Терминология разработана богато: батраки, бедняки, середняки, кулаки, пролетариат, полупролетариат, люмпенпролетариат — можно еще прихватить «спецов», «деклассированную интеллигенцию» и т. д. Были бы терминологии и бумага, а марксисты и подоплека найдутся. Социологи выяснят точно, чьи классовые чаянья выражал Сталин и какие классовые группы поддерживали Троцкого.

Мы останемся, однако, при «поверхностной» точке зрения. То, что происходит сейчас в России, это борьба, борьба личная, почти такая борьба, какая ведется в животном царстве. Я утверждаю, то все положения Сталина можно найти у Троцкого — и обратно: надо только взять их речи и статьи не за несколько недель, а за несколько лет. В коммунистической партии идет беспрестанное *chasse-croise*. Люди, стоявшие за «бедняков», теперь отстаивают интересы «кулаков», но с полной готовностью снова свяжутся с «бедняками», если этим способом будет почему-либо удобнее свернуть шею противникам. Зиновьев прежде со Сталиным громил Троцкого, теперь он с Троцким громит Сталина — чья классовая подоплека изменилась? Сам Сталин был (при Ленине) противником «новой экономической политики». Наша печать не без причины теряется в догадках: кто из большевистских вождей левее, кто правее? (Бухарин, идущий ныне со Сталиным, прежде считался самым левым); и не опираются ли левые вожди на правые массы (что в самом деле граничило бы с чудом)? Вожди, вероятно, и сами всего этого не знают, как не знают они и того, каким опытом займутся, когда покончат с конкурентами. Достаточно прочесть их дискуссионные листки. Троцкий, шипя от бешенства, швыряет в «аппаратчиков» Чан-Кай-Шеном, Перселлем, кулаками, «социализмом в одной стране». Ему кричат задыхающиеся голоса: «Шпана ты этакая!.. Презренный меньшевик!.. Какая гнусность! Долой гада!» Не надо быть большим психологом, чтобы сквозь стенограмму почувствовать обстановку этого заседания, характер этой «политической дискуссии». Нет, здесь не Чан-Кай-Шен и не Перселль! Здесь не идейные разногласия. Здесь личная ненависть, ненависть звериная — ненависть по тому идейному признаку, что Ворошилов и Ярославский не могут смотреть без ярости на самую физиономию Троцкого...

Пожелаем же им всем того, чего они желают друг другу. Я не знаю, кто из них будет смеяться последний. Самыми последними посмеемся мы. Меня не слишком утешает эта перспектива последнего смеха на развалинах. Сказано, однако, в гениальной книге: «Время плакать и время смеяться... Время разбрасывать камни и время собирать камни... Время раздирать и время сшивать... Время любить и время ненавидеть...»

Алданов М.А. Самоубийство: Роман. Армагеддон: Из записной книжки. Исторические портреты и очерки. М.: ТЕРРА, 1995.

Евгений Евтушенко

(Справку см. стр. 39)

АВТОБИОГРАФИЯ

<...>

Тогда я еще не мог представить, какую роль может сыграть поэзия в борьбе за это очищение. Борьбой я занимался на трибунах литературных дискуссий, произнося злые, колючие речи, а мои стихи были тихими, мягкими, интимными. Конечно, это тоже было своеобразная форма борьбы, — писать такие стихи, но борьба пассивная. Мне казалось, что сам я обязан ввязываться в социальную борьбу, как гражданин, а моя поэзия должна быть выше этого. Таким образом все мои мысли по поводу социальной борьбы и моя поэзия существовали отдельно. Мои стихи стали находить теплый отклик у читателей, теплый, но не больше.

— Все это хорошо, — сказал мне Слуцкий, когда я ему однажды прочитал кипу стихов о любви, — но в наше время для того, чтобы быть поэтом, мало быть только поэтом. Я тогда, кажется, не особенно понял. Пятого марта 1953 года произошло событие, которое потрясло Россию — умер Сталин. Представить его мертвым было для меня почти невозможным — насколько он мне казался неотъемлемой частью жизни. Было какое-то всеобщее оцепенение. Люди были приучены к тому, что Сталин думает о них о всех, и растерялись, оставшись без него. Вся Россия плакала, и я тоже. Это были искренние слезы горя, и, может быть, слезы страха за будущее. На писательском митинге поэты прерывающимися от рыдания голосами читали стихи о Сталине. Голос Твардовского — большого и сильного человека — дрожал. Никогда не забуду, как люди шли к гробу Сталина. Я был в толпе на Трубной площади. Дыхание десятков тысяч прижатых друг к другу людей, поднимавшееся над толпой белым облаком, было настолько плотным, что на нем отражались и покачивались тени голых мартовских деревьев. Это было жуткое фантастическое зрелище. Люди, вливавшиеся сзади в этот поток, напирали и напирали. Толпа превратилась в страшный водоворот. Я увидел, как меня несет на столб светофора. Столб светофора неумолимо двигался на меня. Вдруг я увидел, как толпа прижала к столбу маленьку девушку. Ее лицо искривилось отчаянным криком, которого не было слышно в общих криках и столах. Меня притиснуло движением к этой девушке и вдруг я не услышал, а телом почувствовал, как хрустят ее хрупки кости, разламываемые о светофор. Я закрыл глаза от ужаса, не в состоянии видеть ее безумно выкаченные детские голубые глаза... И меня понесло мимо.

Когда я открыл глаза, то девушки уже не было видно. Ее, наверное, подмяла под себя толпа. Прижатый к светофору, корчился какой-то другой человек, протирая руки, как на распятии. Вдруг я почувствовал, что иду по мягкому. Это было человеческое тело. Я поджал ноги, и так меня понесла толпа. Я долго боялся опустить ноги. Толпа все сжималась и сжималась. Меня спас лишь мой рост. Люди маленького роста задыхались и погибали. Мы были сдавлены, с одной стороны стенами зданий, с другой стороны, поставленными в ряд военными грузовиками.

— Уберите грузовики! Уберите! — истошно вопили в толпе.

— Не могу, указания нет! — растерянно кричал молоденький белобрысый офи-

цер милиции с грузовика, чуть не плача от отчаяния. Люди, швыряемые волной движения к грузовикам, разбивали головы о борта. Борты грузовиков были в крови. И вдруг я ощутил дикую ненависть ко всему, что породило это «указания нет», когда из-за чьей-то тупости погибали люди. И в этот момент я подумал о том человеке, которого мы хоронили, впервые с ненавистью. Он не мог быть невиноват в этом. Именно это «указания нет!» и породило весь этот кровавый хаос на его похоронах. Но отныне я навсегда понял, что нечего ждать указаний, если от этого зависят жизни человеческие – надо действовать. Не знаю – откуда во мне взялись силы, но я, энергично работая локтями и руками, стал расшвыривать людей и кричать им:

– Делайте цепочки! Делайте цепочки! Меня не понимали. Тогда я стал совывать руки людей друг другу, ругаясь самыми страшными словами из моего геологического лексикона. Несколько крепких парней стали помогать мне. И люди поняли. Люди стали братья за руки, образовывая цепочки. Эти парни и я продолжали действовать. Водоворот стал утихать. Толпа перестала быть зверем.

– Женщины и дети в грузовики! – заорал один из парней. И над головами, передаваемые из рук в руки, поплыли в кузова грузовиков женщины и дети. Одна из передаваемых на руках женщин билась в истерике, что-то выкрикивая. Офицер милиции, приняв женщину в руки, гладил ее по голове, неумело успокаивая. Вдруг женщина вздрогнула несколько раз и затихла. Офицер снял фуражку с белобрысой головы и, закрыв застывшее лицо женщины, заревел, как ребенок. А я увидел, что где-то впереди продолжается водоворот. Мы пошли туда с этими парнями.

При помощи мата и кулаков мы снова стали организовывать людей в цепочки, чтобы спасти их. Милиция, наконец, тоже стала помогать нам. Все успокоилось.

– Вам бы, товарищи, в милиции надо работать. Нам такие люди нужны, — сказал мне старшина милиции, вытирая пот платком после этой нелегкой работы.

– Ладно, поберегу это предложение на будущее, — мрачно отметил я.

Мне уже почему-то не хотелось идти к гробу Сталина.

Я взял одного из этих парней, которые организовали цепочки, мы купили бутылку водки и пошли ко мне домой.

– Ты видел Сталина? – спросила мама.

– Видел, — обобщительно отметил я, чокаясь с этим парнем граненым стаканом.

Я не соврал маме. Я действительно видел Сталина потому, что все происшедшее – это и был Сталин.

Этот день был переломным в моей жизни, а значит, и в моей поэзии.

Я понял, что за нас больше никто не думает, а может быть, за нас никто не думал и раньше. Я понял, что надо много думать самим, думать, думать, думать... Сознание ответственности не только за самого себя, но за всю страну со страшной тяжестью легло на мои плечи. Я не хочу сказать, что тогда я мгновенно осмыслил всю степень вины Сталина. Я еще продолжал некоторое время несколько идеализировать его. Многие сталинские преступления были еще неизвестны. Но для меня стало ясно одно – в России созрело огромное количество проблем и не участвовать в разрешении этих проблем – преступление.

<...>

Источник:самиздатская рукопись.

<Выступление на собрании творческой интеллигенции>

Я решил придти сюда, в эту непривычную для меня аудиторию, наполовину театральную, состоящую в основном из научных работников, потому, что мне кажется, сейчас наступило время дать себе отчет серьезный в том, что у нас происходит.

Тема собрания – «Традиции и новаторство» – дает повод говорить об этих серьезных вещах.

Передо мной темпераментно и хорошо выступил главный режиссер Воронежского театра т. Добротин. Он всем своим существом протестует против остатков сталинизма в сознании.

Он рассказал о районном начальстве, которое после выпивки развели костер на террасе санатория, да еще закатали выговор культработнику санатория за попытку протестовать. Яркий пример. Но тут же тов. Добротин советует вызвать т. Леонова в ЦК и предложить ему написать пьесу. А если у Леонова сейчас другие творческие замыслы? Если он сейчас не хочет работать в театре? По Добротину выходит, что если просит ЦК партии, то Леонов сейчас же послушно напишет хорошую пьесу. А других путей нет.

Вы не замечаете, т. Добротин, что этот путь рассуждения тоже от старых навыков? Что это чуточку похоже на сожжение костра на веранде? (аплодисменты).

По дороге вы обрушились на современные танцы, что под Новый Год ваш актер Попов танцевал западный танец. Я никогда в жизни не танцевал, просто не умею танцевать ни вальс, ни мазурку, ни па-де-патинер. Но мне кажется, что легче танцевать в маленькой комнате западный танец, чем мазурку, потому что для нее комната мала.

В течение многих лет пытаются изобрести настоящий советский танец. Изобрели. Он называется «прогулка» и требует очень больших площадей. Объяснения по телевидению некоторых позиций этого танца заняли четыре сеанса. Но никто из зрителей не усвоил тонкостей. А вот Попов сразу выучился танцевать. Очевидно, танец прост. Я хотел бы знать, много ли и какого танца натащивал там Попов в Новогоднюю ночь?

Заодно тов. Добротин обрушился на безголосых певцов. А вот я люблю безголосых певцов. Мне больше нравится Бернес и вообще певцы, которые почти говорят и меньше поют, чем певцы, которые широко раскрывают рот и издают «тремоло». Разумеется, арию «Прости, небесное создание» нужно петь хорошо поставленным тенором, а «Ходит по полю девчонка» как раз наоборот. Мне нравится в искусстве все выразительное.

У нас действительно создались некоторые навыки, с которыми следует бо-

* Михаил Ильич Ромм (1901-1971) — известный советский кинорежиссер. Картины: «Ленин в Октябре», «Убийство на улице Данте», «Девять дней одного года», «Обыкновенный фашизм» и др.

роться. Я согласен с т. Добротиним, согласен бороться с собственными пережитками. Именно поэтому, прежде чем говорить о традициях, новаторстве, – хотелось бы разобраться в некоторых традициях, которые сложились у нас. Есть очень хорошие традиции, а есть и совсем нехорошие. Вот у нас традиция: исполнять два раза в году увертюру Чайковского «1812 год».

Товарищи, насколько я понимаю, эта увертюра несет в себе ясно выраженную политическую идею – идею торжества православия и самодержавия над революцией.

Ведь это дурная увертюра, написанная Чайковским по заказу. Это случай, которого, вероятно, в конце своей жизни Петр Ильич сам стыдился. Я не специалист по истории музыки, но убежден, что увертюра написана по конъюнктурным соображениям, с явным намерением польстить церкви и монархии. Зачем Советской власти под колокольный звон унижать «Марсельезу», великолепный гимн французской революции? Зачем утверждать торжество царского черносотенного гимна? А ведь исполнение увертюры вошло в традицию. Впервые после Октябрьской революции эта увертюра была исполнена в те годы, когда выдуманы были слова «безродный космополит», которым заменялось слово «жид». Впрочем, в некоторых случаях и это слово было напечатано на обложке «Крокодила»: в те годы был изображен «безродный космополит» с ярко выраженной еврейской внешностью, который держал книгу, а на книге крупно написано: «жид». Не Андре Жид, а просто «жид». Но художник, который нарисовал эту карикатуру, никто из тех, кто позволил себе эту хулиганскую выходку, нами не осужден. Мы предпочитаем забыть об этом, как будто можно забыть, что десятки наших крупнейших деятелей театра и кино были объявлены безродными космополитами, в частности, сидящие здесь Юткевич, Леонид Трауберг, Сутырин, Коварский, Блейман и др., а в театре – Бояджиев, Юзовский. Они восстановлены – кто в партии, кто в союзе своем, восстановлены на работе, в правах. Но разве можно вылечить, разве можно забыть, что в течение ряда лет чувствовал человек, когда его топтали ногами, втоптывали в землю?!

А люди, которые с наслаждением, с вдохновением руководили этой позорной компанией, изобретали – что бы еще выдумать и кого бы еще подвести под петлю? – разве они что-нибудь потерпели? Их даже попрекнуть не решились – сочли неделикатным.

Журнал «Октябрь», возглавляемый Кочетовым, в последнее время занялся кинематографом. В 4-х номерах, начиная с января по ноябрь, появляются статьи, в которых обливаются помоями все передовое, что создает советская кинематография, берутся под политическое подозрение крупные художники советского кино и старшего и более молодого поколений, эти статьи вдохновляются теми же самыми людьми, которым кажется, что нам не следует все-таки забывать то, что было.

Сейчас многие начинают писать пьесы, ставить спектакли и делать сценарий картин, разоблачающих сталинскую эпоху и культ личности, потому, что это нужно и стало можно, хотя еще года 3 или 4 назад считалось, что достаточно выступления Никиты Сергеевича на XX съезде. Мне прямо сказал один более или менее руководящий работник: «Слушайте, партия проявила безграничную смелость. Проштудуйте выступление т. Хрущева и довольно. Что вы в эти дела лезете?!»

Сейчас окончательно выяснилось, что этого недостаточно, что надо самим и думать, и говорить, и писать. Разоблачать Сталина и сталинизм в себе самом, – оглянуться вокруг себя, дать оценку событиям, которые происходят в общественной жизни искусства.

Наше совещание проходит в хороших, спокойных, академических тонах, и в это время очень энергичная группа довольно плохих литераторов в журнале «Октябрь» производит «расчистку» кинематографа и ей пока никто не ответил. Она производит «расчистку» и молодой литературы, и в этом вопросе ей тоже никто по-настоящему не отвечает. Но стоило Евтушенко опубликовать стихотворение «Бабий Яр», как эта группа немедленно отвечает через газету «Литература и жизнь».

Мне недавно довелось быть в Италии, и в Америке, и должен сказать, что не самое стихотворение Евтушенко, а именно ответы на него стали скандальной сенсацией на Западе. Мне тамошние журналисты задавали вопрос: «Как Вы относитесь к новой волне антисемитизма в СССР?»

Я с недоумением спросил, о какой волне идет речь? Оказалось, что речь идет о статье Старикова и стихах Маркова. Этот номер газеты «Литература и жизнь» – это наш позор. Так же, как наш позор последние номера журнала «Октябрь». Поскольку статьи в «Октябре» направлены в мой адрес, мне и трудно и неприятно отвечать. Трудно, но нужно.

Нападение на кинематограф, которое ведет «Октябрь» началось с январского номера, в котором помещена статья о фильме «Мир входящему», написанная в совершенно беспардонных тонах политического доноса. Единственный просчет редакции был в том, что доносить-то сейчас некому. После такой статьи еще десять лет назад человека надо было закопать, лишить права работать в кинематографе, выгнать из режиссуры, послать в дальние края. Но дело в том, что времена сейчас другие и донос на «Неотправленное письмо», «Летят журавли», «А если это любовь?» и «Девять дней одного года»...

Обвинение было старое и давно известное: в «Девяти днях» герой с ущербинкой, в «Летят журавли» – героиня с ущербинкой, в «Неотправленном письме» – упаднический пессимизм. У Райзмана и герои с моральными изъянами, и безнравственность, и упадничество. За такие изъяны раньше сурово карали. Сейчас донос остался без ответа. Его просто не прочитали в соответствующих инстанциях, да и этих инстанций уже нет. Поэтому ни Калатозов, ни я, ни Райзман не были изгнаны из кино, и это рассердило журнал.

В 10-м и 11-м номерах появились статьи совсем уже страшненькие, с повальным обвинением всех и вся. Только слово «космополит» не было пущено в ход, а в остальном удивительное сходство со статьями пятнадцатилетней давности.

Автор статьи, помещенной в 11-м номере «Октября», в частности, пишет: «В то время как сами итальянцы признают, что итальянский неореализм умер, Ромм продолжает его восхвалять. Он ориентирует тем самым нашу молодежь на запад».

Неореализм действительно умер. Он умер не без помощи и американского и итальянского капитала. Художники итальянского неореализма создали такие картины, как «Машинист» Пьетро Джерми, «Похитители велосипедов» де Сика, «Два гроша надежды», «Рим в 11 часов» и другие действительно великие, незабываемые произведения. В условиях буржуазной действительности

кинематограф нигде и никогда ничего подобного не создавал, во всяком случае, в таком мощном кулаке, в таком стройном единстве. Против итальянского неореализма были мобилизованы все силы: цензура, подкуп, переман, угрозы, саботаж проката, всевозможное насилие – все, чтобы разрушить, расколоть, раздавить эту группу художников итальянского неореализма. Вся мировая реакция ополчилась на него. В это время у нас появилась только одна статья, к сожалению, статья Полевого, человека, которого я уважаю. В этой статье Полевой «приложил руку» к итальянскому неореализму. Мне было стыдно читать эту статью, стыдно за нас. Это было 6 лет назад. Мы не помогали этому течению, очень близкому к итальянской компартии, многие из режиссеров которого были коммунистами. Неореализм душили, а мы его поругивали. Ведь только совсем недавно Соловьева написала, наконец, книгу об итальянском неореализме, написала тогда, когда о нем уже приходится говорить как об истории.

Я позволил себе три года назад заступиться за итальянский неореализм. И до сих пор люди, которые настаивают на верности традициям, напоминают мне этот мой грех – как я смел заступиться за итальянский неореализм? Как я мог признать, что это течение оказало влияние на нашу молодежь?

А, по-моему, если оно оказало влияние на молодежь, то этого нельзя не признать. Почему мы до бесконечности врем? Если оказало – значит оказало, а дальше нужно разобраться – почему оказало? насколько оказало? какое влияние – полезное или вредное?

Я знаю нашу молодежь. Знаю, какое действие произвели итальянские картины, я здесь свидетель и утверждаю – оказало.

Почему мы по-прежнему хвастаемся за так называемый авторитет во всех областях? Я вовсе не уверен, что приоритет всегда хорош. Представьте себе, что какой-нибудь американский одинокий гений изобрел бы граммофон, а мы бы его осуществили. Кому надо было бы гордиться? По-моему – нам, потому что гений остался в Америке непризнанным, а граммофон построили мы. А мы кичимся тем, что выдумали все – и обезьяну, и граммофон, и электрическую лампочку, и телефон, а только сделали американцы, ну, что в этом хорошего? Мы ищем в своей истории людей, которые изобрели паровоз до Стефенсона, хотя он не был нами построен. Нечего кичиться своей неделовитостью, своей отсталостью. Кто первый построил паровоз, кто первый полетел, тот и прав. Надо гордиться тем, что сегодня МЫ первые в космосе, что у нас величайшие в мире электростанции, а не тем, что было двести лет назад, кто сказал «Э» – Добчинский или Бобчинский!

Отставая, а подчас и выдумывая это право первородства во что бы то ни стало, мы черт знает чего натворили, и еще десять лет назад старались начисто отгородиться от западной культуры. Это тоже прикрывалось словом «традиция».

Мне приятно было слышать, что т. Юткевич, говоря сегодня о новаторстве, уделил большое место Западу. Мы отвыкли от того, что на Западе кое-что существует. А ведь, между прочим, Россия была страной, в которой больше, чем где бы то ни было в мире, переводилась иностранная литература. Русская интеллигенция была, в частности, тем сильна, что она читала всю мировую литературу, была на первом месте по знанию мировой культуры. Это тоже наша традиция, очень хорошая традиция и о ней стоит сегодня вспомнить.

Много лет считалось, что итальянский неореализм есть что-то преступное

только потому, что это – западное течение. Но сами итальянские неореалисты учились в итальянском экспериментальном центре кинематографии – в Риме, директором которого в годы фашизма был подпольный коммунист. Они смотрели советские картины, они учились на них, они воспитывались коммунистом-директором, из них вышли коммунисты-режиссеры, которые сразу после крушения режима Муссолини подняли знамя передового пролетарского искусства, очень близкого нам. Мы же в это время переживали наиболее тяжелый этап сталинизма, мы разоблачали «безродных космополитов» и пытались отпихнуть от себя итальянский неореализм, нанеся этим серьезный ущерб самим себе на многие годы.

Давайте хотя бы эту истину вспомним для того, чтобы вспоминать, на каком свете мы живем!

И сегодня, когда компания, предавшая публичной казни «безродных космополитов», как Кочетов, Сафронов и им подобные, совершают открытую диверсию, нападают на все новое, что появляется в советской кинематографии, – мне кажется, что придерживаться в это время академического спокойствия и ждать, что будет – не следует.

Нападение началось с кинематографа, но я не сомневаюсь, что оно заденет и другие области искусства, если этим субъектам не дать по рукам. Что касается меня, то я не одобряю в этом деле равнодушие и считаю что застыть в позе олимпийского спокойствия и глупо и недостойно советского человека.

Иные рассуждают так: «В конце концов, сейчас никого не арестовывают и пока Хрущев жив, не будут арестовывать (аплодисменты). Это совершенно ясно. Сажать никого не будут, работать не запретят, из Москвы не выгонят и зарплаты не лишат. И вообще больших неприятностей таких, как в те времена, не будет. И Кочетов и компания пусть себе хулиганят. Начальство разберется».

Но ведь такая позиция – это тоже пережиток психологии времени культа. Нельзя, чтобы на террасе нашего дома жгли костер, мы имеем дело с ничтожной группкой, но она распоясалась, она ведет явно не партийную линию, которая резко противоречит установкам нашей партии.

В это дело пока никто не вмешивается. Нам самим предоставлено право разобратся. Об этом неоднократно говорил Н.С. Хрущев: «Разбирайтесь сами».

Так давайте же разберемся в том, что сейчас происходит. Довольно отмалчиваться. Я позволил себе взять слово только для этого заявления.

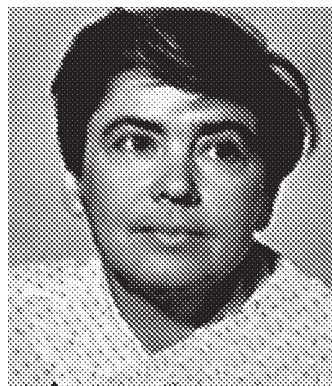
Больше ничего.

(Бурные аплодисменты).

23.11 — 63 г.

Источник: самиздатская рукопись.

Вигдорова
Фрида Абрамовна
(1915–1965)



Писательница.

Родилась в Орше, в семье учителя. В 1937 г. закончила Московский педагогический институт, работала учителем русского языка и литературы в школе, сначала в Магнитогорске, затем в Москве. С 1938 г. начала заниматься журналистикой и писательской деятельностью. В течение нескольких лет была депутатом Моссовета. Первая книга Вигдоровой «Двенадцать отважных» (написанная в соавторстве с Т. Печерниковой) была опубликована в 1948 г. Затем вышли повести «Мой класс» (1949), «Дорога в жизнь» (1954). В центральной прессе печатались ее очерки о школе, а также статьи о судьбах людей, в отношении которых была допущена та или иная несправедливость. Ряд ее публикаций собраны в книге «Дорогая редакция» (1963).

Хлопоты Вигдоровой о людях, попавших в тяжелое положение, не ограничивались публикациями в газетах. Она обращалась в различные инстанции, инициировала аналогичные обращения других людей. Среди ее подопечных были Н.Я. Мандельштам, которая не без участия Вигдоровой получила московскую прописку, падчерица Б. Пастернака Ирина Емельянова, осужденная вместе со своей матерью О.В. Ивинской в 1961 г. (благодаря усилиям Вигдоровой она была досрочно освобождена) и многие другие.

23 октября 1956 г. Вигдорова присутствовала на обсуждении романа Дудинцева «Не хлебом единым» и записала знаменитую речь К. Паустовского (*см. т. 1, кн. 1, стр. 421*), вскоре широко распространившуюся в Самиздате (возможно, именно в записи Вигдоровой).

Запись, сделанная в ходе процесса над Иосифом Бродским, была названа Вигдоровой «Белая книга». В сущности, именно с этого документа начинается история правозащитного движения в СССР (*см. также статью об Иосифе Бродском, стр. 47*).

После этого Вигдорову пытались исключить из СП СССР, однако после снятия Хрущева дело заглохло. Вскоре Вигдорова умерла от рака, не дожив до досрочного освобождения Бродского одного месяца.

ЗАПИСИ СУДА НАД ИОСИФОМ БРОДСКИМ, СДЕЛАННЫЕ Ф.А.ВИГДОРОВОЙ

ВТОРОЙ СУД НАД И. БРОДСКИМ

Фонтанка, 22, зал Клуба строителей. 13 марта 1964 года
(Запись Ф. Вигдоровой)

<...>

Судья: В части так называемых его стихов учтем, а в части его личной тетради — изымать ее нет надобности. Гражданин Бродский, с 1956 года вы переменили 13 мест работы. Вы работали на заводе год, потом полгода не работали. Летом были в геологической партии, а потом 4 месяца не работали... (Перечисляет места работы и следовавшие за этим перерывы). Объясните суду, почему вы в перерывах не работали и вели паразитический образ жизни?

Бродский: Я в перерывах работал. Я занимался тем, чем занимаюсь и сейчас: я писал стихи.

Судья: Значит, вы писали свои так называемые стихи? А что полезного в том, что вы часто меняли место работы?

Бродский: Я начал работать с 15 лет. Мне все было интересно. Я менял работу потому, что хотел как можно больше знать о жизни и людях.

Судья: А что вы делали полезного для родины?

Бродский: Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден... я верю, что то, что я написал, сослужит людям службу, и не только сейчас, но и будущим поколениям.

Голос из публики: Подумаешь. Воображает.

Другой голос: Он поэт, он должен так думать.

Судья: Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?

Бродский: А почему вы говорите про стихи «так называемые»?

Судья: Мы называем ваши стихи «так называемые» потому, что иного понятия о них у нас нет.

Сорокин: Вы говорите, что у вас сильно развита любознательность. Почему же вы не захотели служить в Советской армии?

Бродский: Я не буду отвечать на такие вопросы.

Судья: Отвечайте.

Бродский: Я был освобожден от военной службы. Не «не захотел», а был освобожден. Это разные вещи. Меня освобождали дважды. В первый раз потому, что болел отец, во второй раз из-за моей болезни.

Сорокин: Можно ли жить на те суммы, что вы зарабатываете?

Бродский: Можно. Находясь в тюрьме, я каждый раз расписывался в том, что на меня израсходовано в день 40 копеек. А я зарабатывал больше, чем по 40 копеек в день.

Сорокин: Но надо же обуваться, одеваться.

Бродский: У меня один костюм — старый, но уж какой есть. И другого мне не надо.

Адвокат: Оценивали ли ваши стихи специалисты?

Бродский: Да. Чуковский и Маршак очень хорошо говорили о моих переводах. Лучше, чем я заслуживаю.

Адвокат: Была ли у вас связь с секцией переводов Союза писателей?

Бродский: Да. Я выступал в альманахе, который называется «Впервые на русском языке», и читал переводы с польского.

Судья (защитнице): Вы должны спрашивать его о полезной работе, а вы спрашиваете о выступлениях.

Адвокат: Его переводы и есть его полезная работа.

Судья: Лучше, Бродский, объясните суду, почему вы в перерывах между работами не трудились?

Бродский: Я работал. Я писал стихи.

Судья: Но это не мешало вам трудиться.

Бродский: А я трудился. Я писал стихи.

Судья: Но ведь есть люди, которые работают на заводе и пишут стихи. Что вам мешало так поступать?

Бродский: Но ведь люди не похожи друг на друга. Даже цветом волос, выражением лица.

Судья: Это не ваше открытие. Это всем известно. А лучше объясните, как расценить ваше участие в нашем великом поступательном движении к коммунизму?

Бродский: Строительство коммунизма — это не только стояние у станка и пахота земли. Это и интеллигентный труд, который...

Судья: Оставьте высокие фразы. Лучше ответьте, как вы думаете строить свою трудовую деятельность на будущее.

Бродский: Я хотел писать стихи и переводить. Но если это противоречит каким-то общепринятым нормам, я поступлю на постоянную работу и все равно буду писать стихи.

Заседатель Тяглый: У нас каждый человек трудится. Как же вы бездельничали столько времени?

Бродский: Вы не считаете трудом мой труд. Я писал стихи, я считаю это трудом.

Судья: Вы сделали для себя выводы из выступления печати?

Бродский: Статья Лернера была лживой. Вот единственный вывод, который я сделал.

Судья: Значит, вы других выводов не сделали?

Бродский: Не сделал. Я не считаю себя человеком, ведущим паразитический образ жизни.

Адвокат: Вы сказали, что статья «Окололитературный трутень», опубликованная в газете «Вечерний Ленинград», неверна. Чем?

Бродский: Там только имя и фамилия верны. Даже возраст неверен. Даже стихи не мои. Там моими друзьями названы люди, которых я едва знаю или не знаю совсем. Как же я могу считать эту статью верной и делать из нее выводы?

Адвокат: Вы считаете свой труд полезным. Смогут ли это подтвердить вызванные мною свидетели?

Судья (адвокату, иронически): Вы только для этого свидетелей и вызвали?

Сорокин (общественный обвинитель, Бродскому): Как вы могли самостоятельно, не используя чужой труд, сделать перевод с сербского?

Бродский: Вы задаете вопрос невежественно. Договор иногда предполагает подстрочник. Я знаю польский, сербский знаю меньше, но это родственные языки, и с помощью подстрочника я смог сделать свой перевод.

Судья: Свидетельница Грудина.

Грудина: Я руковожу работой начинающих поэтов более 11 лет. В течение семи лет была членом комиссии по работе с молодыми авторами. Сейчас руковожу поэтами-старшеклассниками во Дворце пионеров и кружком молодых литераторов завода «Светлана». По просьбе издательства составила и редактировала 4 коллективных сборника молодых поэтов, куда вошло более 200 новых имен. Таким образом, практически я знаю работу почти всех молодых поэтов города.

Работа Бродского как начинающего поэта известна мне по его стихам 1959 и 1960 годов. Это были еще несовершенные стихи, но с яркими находками и образами. Я не включила их в сборники, однако считала автора способным. До осени 1963 года с Бродским лично не встречалась. После опубликования статьи «Окололитературный трутень» в «Вечернем Ленинграде» я вызвала к себе Бродского для разговора, так как молодежь осаждала меня просьбами вмешаться в дело оклеветанного человека. Бродский на мой вопрос — чем он занимается сейчас? — ответил, что изучает языки и работает над художественными переводами около полутора лет. Я взяла у него рукописи переводов для ознакомления.

Как профессиональный поэт и литературовед по образованию я утверждаю, что переводы Бродского сделаны на высоком профессиональном уровне. Бродский обладает специфическим, не часто встречающимся талантом художественного перевода стихов. Он представил мне работу из 368 стихотворных строк, кроме того, я прочла 120 строк его переводных стихов, напечатанных в московских изданиях.

По личному опыту художественного перевода я знаю, что такой объем работы требует от автора не менее полугода уплотненного рабочего времени, не считая хлопот по изданию стихов и консультаций специалистов. Время, нужное для таких хлопот, учету, как известно, не поддается. Если расценить даже по самым низким издательским расценкам те переводы, которые я видела собственными глазами, то у Бродского уже наработано 350 рублей новыми деньгами, и вопрос лишь в том, когда будет напечатано полностью все сделанное.

Кроме договоров на переводы, Бродский представил мне договоры на работы по радио и телевидению, работа по которым уже выполнена, но также еще полностью не оплачена.

Из разговора с Бродским и людьми, его знающими, я знаю, что живет Бродский очень скромно, отказывает себе в одежде и развлечениях, основную часть времени просиживает за рабочим столом. Получаемые за свою работу деньги вносит в семью.

Адвокат: Нужно ли для художественного перевода стихов знать творчество автора вообще?

Грудина: Да, для хороших переводов, подобных переводам Бродского, надо знать творчество автора и вникнуть в его голос.

Адвокат: Уменьшается ли оплата за переводы, если переводил по подстрочникам?

Грудина: Да, уменьшается. Переводя по подстрочникам венгерских поэтов, я получала за строчку на рубль (старыми деньгами) меньше.

Адвокат: Практикуется ли переводчиками работа по подстрочнику?

Грудинина: Да, повсеместно. Один из крупнейших ленинградских переводчиков, А. Гитович, переводит с древнекитайского по подстрочникам.

Заседатель Лебедева: Можно ли самоучкой выучить чужой язык?

Грудинина: Я изучила самоучкой два языка в дополнение к тем, которые изучила в университете.

Адвокат: Если Бродский не знает сербского языка, может ли он, несмотря на это, сделать высокохудожественный перевод?

Грудинина: Да, конечно.

Адвокат: А не считаете ли вы подстрочник предосудительным использованием чужого труда?

Грудинина: Боже сохрани.

Заседатель Лебедева: Вот я смотрю книжку. Тут же у Бродского всего два маленьких стишка.

Грудинина: Я хотела бы дать некоторые разъяснения, касающиеся специфики литературного труда. Дело в том...

Судья: Нет, не надо. Так, значит, какое ваше мнение о стихах Бродского?

Грудинина: Мое мнение, что как поэт он очень талантлив и наголову выше многих, кто считается профессиональным переводчиком.

Судья: А почему он работает в одиночку и не посещает никаких литобъединений?

Грудинина: В 1958 году он просил принять его в мое литобъединение. Но я слышала о нем как об истеричном юноше и не приняла его, оттолкнув собственными руками. Это была ошибка, я очень о ней жалею. Сейчас я охотно возьму его в свое объединение и буду с ним работать, если он этого захочет.

Заседатель Тяглый: Вы сами когда-нибудь лично видели, как он лично трудится над стихами, или он пользовался чужим трудом?

Грудинина: Я не видела, как Бродский сидит и пишет. Но я не видела и как Шолохов сидит за письменным столом и пишет. Однако это не значит, что...

Судья: Неудобно сравнивать Шолохова и Бродского. Неужели вы не разъяснили молодежи, что государство требует, чтобы молодежь училась? Ведь у Бродского всего семь классов.

Грудинина: Объем знаний у него очень большой. Я в этом убедилась, читая его переводы.

Сорокин: Читали ли вы его нехорошие, порнографические стихи?

Грудинина: Нет, никогда.

Адвокат: Вот о чем я хочу вас спросить, свидетельница. Продукция Бродского за 1963 год такая: стихи в книге «Заря над Кубой», переводы стихов Галчинского (правда, еще не опубликованные), стихи в книге «Югославские поэты», песни гаучо и публикации в «Костре». Можно ли считать это серьезной работой?

Грудинина: Да, несомненно. Это наполненный работой год. А деньги эта работа может принести не сегодня, а несколько лет спустя. Неправильно определять труд молодого поэта суммой полученных в данный момент гонораров. Молодого автора может постичь неудача, может потребоваться новая длительная работа. Есть такая шутка: разница между тунеядцем и молодым поэтом в том, что тунеядец не работает и ест, а молодой поэт работает, но не всегда ест.

Судья: Нам не понравилось это ваше заявление. В нашей стране каждый человек получает по своему труду, и потому не может быть, чтобы он работал много, а получал мало. В нашей стране, где такое большое участие уделяется молодым поэтам, вы говорите, что они голодают. Почему вы сказали, что молодые поэты не едят?

Грудинина: Я так не сказала. Я предупредила, что это шутка, в которой есть доля правды. У молодых поэтов очень неравномерный заработок.

Судья: Ну, это уж от них зависит. Нам этого не надо разъяснять. Ладно, вы разъяснили, что ваши слова шутка. Примем это объяснение.

Вызывается новый свидетель — Эткинд Ефим Григорьевич.

Судья: Дайте ваш паспорт, поскольку ваша фамилия как-то неясно произносится. (Берет паспорт.) Эткинд... Ефим Гиршевич... Мы вас слушаем.

Эткинд (он член Союза писателей, преподаватель Института имени Герцена): По роду моей общественно-литературной работы, связанной с воспитанием начинающих переводчиков, мне часто приходится читать и слушать переводы молодых литераторов. Около года назад мне довелось познакомиться с работами И. Бродского. Это были переводы стихов польского поэта Галчинского, стихи которого у нас еще мало известны и почти не переводились. На меня произвели сильное впечатление ясность поэтических оборотов, музыкальность, страстность и энергия стиха. Поразило меня и то, что Бродский самостоятельно, без всякой посторонней помощи изучил польский язык. Стихи Галчинского он прочел по-польски с таким же увлечением, с каким он читал свои русские переводы. Я понял, что имею дело с человеком редкой одаренности и — что не менее важно — трудоспособности и усидчивости. Переводы, которые я имел случай читать позднее, укрепили меня в этом мнении. Это, например, переводы из кубинского поэта Фернандеса, опубликованные в книге «Заря над Кубой», и из современных югославских поэтов, печатаемые в сборнике Гослитиздата. Я много беседовал с Бродским и удивился его познаниям в области американской, английской и польской литературы.

Перевод стихов — труднейшая работа, требующая усердия, знаний, таланта. На этом пути литератора могут ожидать бесчисленные неудачи, а материальный доход — дело далекого будущего. Можно несколько лет переводить стихи и не заработать этим ни рубля. Такой труд требует самоотверженной любви к поэзии и к самому труду. Изучение языков, истории, культуры другого народа — все это дается далеко не сразу. Все, что я знаю о работе Бродского, убеждает меня, что перед ним как поэтом-переводчиком большое будущее. Это не только мое мнение. Бюро секции переводчиков, узнав о том, что издательство расторгло с Бродским заключенные с ним договоры, приняло единодушное решение ходатайствовать перед директором издательства о привлечении Бродского к работе, о восстановлении с ним договорных отношений.

Мне доподлинно известно, что такого же мнения придерживаются крупные авторитеты в области поэтического перевода Маршак и Чуковский, которые...

Судья: Говорите только о себе.

Эткинд: Бродскому нужно предоставить возможность работать как поэту-переводчику. Вдали от большого города, где нет ни нужных книг, ни литературной среды, это очень трудно, почти невозможно: на этом пути, по

моему глубокому убеждению, его ждет большое будущее. Должен сказать, что я очень удивился, увидев объявление: «Суд над тунеядцем Бродским».

Судья: Вы же знали это сочетание.

Эткинд: Знал. Но никогда не думал, что такое сочетание будет принято судом. При стихотворной технике Бродского ему ничего не мешало бы халтурить, он мог бы переводить сотни строк, если бы он работал легко, облегченно. Тот факт, что он зарабатывал мало денег, не означает, что он не трудолюбив.

Судья: А почему он не состоит ни в каком коллективе?

Эткинд: Он бывал на наших переводческих семинарах...

Судья: Ну, семинары...

Эткинд: Он входит в этот семинар в том смысле...

Судья: А если без смысла? (Смех в зале). То есть я хочу спросить: почему он не входил ни в какое объединение?

Эткинд: У нас нет членства, поэтому я не могу сказать «входил». Но он ходил к нам, читал свои переводы.

Судья (Эткинду): Были ли у вас недоразумения в работе, в вашей личной жизни?

Эткинд (с удивлением): Нет. Впрочем, я уже два дня не был в Институте. Может быть, там что-нибудь и произошло.

(Вопрос аудитории и, по-видимому, свидетелю остался непонятым.)

Судья: Почему вы, говоря о познаниях Бродского, напирали на иностранную литературу? А почему вы не говорите про нашу, отечественную литературу?

Эткинд: Я говорил с ним как с переводчиком и поэтому интересовался его познаниями в области американской, английской, польской литературы. Они велики, разнообразны и не поверхностны.

Смирнов (свидетель обвинения, начальник Дома обороны): Я лично с Бродским не знаком, но хочу сказать, что, если бы все граждане относились к накоплению материальных ценностей, как Бродский, нам бы коммунизм долго не построить. Разум — оружие опасное для его владельца. Все говорили, что он умный и чуть ли не гениальный. Но никто не сказал, каков он человек. Выросши в интеллигентной семье, он имеет только семилетнее образование. Вот тут пусть присутствующие скажут, хотели бы они сына, который имеет только семилетку? В армию он не пошел, потому что был единственный кормилец семьи. А какой же он кормилец? Тут говорят — талантливый переводчик, а почему никто не говорит, что у него много путаницы в голове? И антисоветские строчки?

Бродский: Это неправда.

Смирнов: Ему надо изменить многие свои мысли. Я подвергаю сомнению справку, которую дали Бродскому в нервном диспансере насчет нервной болезни. Это сиятельные друзья стали звонить во все колокола и требовать — ах, спасите молодого человека. А его надо лечить принудительным трудом, и никто ему не поможет, никакие сиятельные друзья. Я лично его не знаю. Знаю про него из печати. И со справками знаком. Я медицинскую справку, которая освободила его от службы в армии, подвергаю сомнению. Я не медицина, но подвергаю сомнению.

Бродский: Когда меня освободили как единственного кормильца, отец болел, он лежал после инфаркта, а я работал и зарабатывал. А потом болел я. Откуда вы обо мне знаете, чтоб так обо мне говорить?

Смирнов: Я познакомился с вашим дневником.

Бродский: На каком основании?

Судья: Я снимаю этот вопрос.

Смирнов: Я читал его стихи.

Адвокат: Вот в деле оказались стихи, не принадлежащие Бродскому. А откуда вы знаете, что стихи, прочитанные вами, действительно его стихи? Ведь вы говорите о стихах неопубликованных.

Смирнов: Знаю, и все.

Судья: Свидетель Логунов.

Логунов (заместитель директора Эрмитажа по хозяйственной части): С Бродским я лично не знаком. Впервые я его встретил здесь, в суде. Так жить, как живет Бродский, больше нельзя. Я не позавидовал бы родителям, у которых такой сын. Я работал с писателями, я среди них вращался. Я сравниваю Бродского с Олегом Шестинским — Олег ездил с агитбригадой, он окончил Ленинградский государственный университет и университет в Софии. И еще Олег работал в шахте. Я хотел выступить в том плане, что надо трудиться, отдавать все культурные навыки. И стихи, которые составляет Бродский, были бы тогда настоящими стихами. Бродский должен начать свою жизнь по-новому.

Адвокат: Надо же все-таки, чтобы свидетели говорили о фактах. А они...

Судья: Вы можете потом дать оценку свидетельским показаниям. Свидетель Денисов.

Денисов (трубоукладчик УНР-20): Я Бродского лично не знаю. Я знаком с ним по выступлениям нашей печати. Я выступаю как гражданин и представитель общественности. Я после выступления газеты возмущен работой Бродского. Я захотел познакомиться с его книгами. Пошел в библиотеки — нет его книг. Спрашивал знакомых: знают ли они такого? Нет, не знают. Я рабочий. Я сменил за свою жизнь только две работы. А Бродский? Меня не удовлетворяют показания Бродского, что он знал много специальностей. Ни одну специальность за такой короткий срок не изучить. Говорят, что Бродский представляет собою что-то как поэт. Почему же он не был членом ни одного объединения? Он не согласен с диалектическим материализмом? Ведь Энгельс считает, что труд создал человека. А Бродского эта формулировка не удовлетворяет. Он считает иначе. Может, он очень талантливый, но почему же он не находит дороги в нашей литературе? Почему он не работает? Я хочу подсказать мнение, что меня его трудовая деятельность как рабочего не удовлетворяет.

Судья: Свидетель Николаев.

Николаев (пенсионер): Я лично с Бродским не знаком. Я хочу сказать, что знаю о нем три года по тому тлетворному влиянию, которое он оказывает на своих сверстников. Я отец. Я на своем примере убедился, как тяжело иметь такого сына, который не работает. Я у моего сына не однажды видел стихи Бродского. Поэму в 42 главах и разрозненные стихи. Я знаю Бродского по делу Уманского. Есть пословица: скажи, кто твои друзья. Я Уманского знал лично. Он отъявленный антисоветчик. Слушая Бродского, я узнавал своего сына. Мой сын тоже говорил, что считает себя гением. Он, как Бродский, не хочет работать. Люди, подобные Бродскому и Уманскому, оказывают тлетворное влияние на своих сверстников. Я удивляюсь родителям Бродского. Они, видимо, подпева-

ли ему. Они пели ему в унисон. По форме стиха видно, что Бродский может сочинять стихи. Но нет, кроме вреда, эти стихи ничего не приносили. Бродский не просто тунеядец. Он — воинствующий тунеядец. С людьми, подобными Бродскому, надо действовать без пощады. (Аплодисменты.)

Заседатель Тяглый: Вы считаете, что на вашего сына повлияли стихи Бродского?

Николаев: Да.

Судья: Отрицательно повлияли?

Николаев: Да.

Адвокат: Откуда вы знаете, что это стихи Бродского?

Николаев: Там была папка, а на папке написано «Иосиф Бродский».

Адвокат: Ваш сын был знаком с Уманским?

Николаев: Да.

Адвокат: Почему же вы думаете, что это Бродский, а не Уманский тлетворно повлиял на вашего сына?

Николаев: Бродский и иже с ним. У Бродского стихи позорные и антисоветские.

Бродский: Назовите мои антисоветские стихи. Скажите хоть строчку из них.

Судья: Цитировать не позволю.

Бродский: Но я же хочу знать, о каких стихах идет речь. Может, они не мои?

Николаев: Если бы я знал, что буду выступать в суде, я бы сфотографировал и принес.

Судья: Свидетельница Ромашова.

Ромашова (преподавательница марксизма-ленинизма в училище имени Мухиной): Я лично Бродского не знаю. Но его так называемая деятельность мне известна. Пушкин говорил, что талант — это прежде всего труд. А Бродский? Разве он трудится? Разве он работает над тем, чтобы сделать свои стихи понятными народу? Меня удивляет, что мои коллеги создают такой ореол вокруг него. Ведь это только в Советском Союзе может быть, чтобы суд так доброжелательно говорил с поэтом, так по-товарищески советовал ему учиться. Я как секретарь партийной организации училища имени Мухиной могу сказать, что он плохо влияет на молодежь.

Адвокат: Вы когда-нибудь видели Бродского?

Ромашова: Никогда. Но так называемая деятельность Бродского позволяет мне судить о нем.

Судья: А факты вы можете какие-нибудь привести?

Ромашова: Я как воспитательница молодежи знаю отзывы молодежи о стихах Бродского.

Адвокат: А сами вы знакомы со стихами Бродского?

Ромашова: Знакома. Это у-ужас. Не считаю возможным их повторять. Они ужа-а-сны.

Судья: Свидетель Адмони. Если можно, ваш паспорт, поскольку фамилия необычная.

Адмони (профессор Института имени Герцена, лингвист, литературовед, переводчик): Когда я узнал, что Иосифа Бродского привлекают к суду по обвинению в тунеядстве, я счел своим долгом высказать перед судом и свое мнение.

Я считаю себя вправе сделать это в силу того, что 30 лет работаю с молодежью как преподаватель вузов, в силу того, что я давно занимаюсь переводами.

С И. Бродским я почти не знаком. Мы здороваемся, но, кажется, не обменялись даже двумя фразами. Однако в течение примерно последнего года или несколько больше я пристально слежу за его переводческими работами — по его выступлениям на переводческих вечерах, по публикациям. Потому что это переводы талантливые, яркие. И на основании этих переводов из Галчинского, Фернандеса и других я могу со всей ответственностью сказать, что они требовали чрезвычайно большой работы со стороны автора. Они свидетельствуют о большом мастерстве и культуре переводчика. А чудес не бывает. Сами собой ни мастерство, ни культура не приходят. Для этого нужна постоянная и упорная работа. Даже если переводчик работает по подстрочнику, он должен, чтобы перевод был полноценным, составить себе представление о том языке, с которого он переводит, почувствовать строй этого языка, должен узнать жизнь и культуру народа и так далее. А Иосиф Бродский, кроме того, изучил и сами языки. Поэтому для меня ясно, что он трудится — трудится напряженно и упорно. А когда я сегодня — только сегодня — узнал, что он вообще кончил только семь классов, то для меня стало ясно, что он должен был вести поистине гигантскую работу, чтобы приобрести такое мастерство и такую культуру, которыми он обладает. К работе поэта-переводчика относится то, что Маяковский говорил о работе поэта: «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды».

Тот указ, по которому привлечен к ответственности Бродский, направлен против тех, кто мало работает, а не против тех, кто мало зарабатывает. Тунеядцы это те, кто мало работает. Поэтому обвинение И. Бродского в тунеядстве является нелепостью. Нельзя обвинить в тунеядстве человека, который работает так, как И. Бродский, работает упорно, много, не думая о больших заработках, готовый ограничить себя самым необходимым, чтобы только совершенствоваться в своем искусстве и создавать полноценные художественные произведения.

Судья: Что вы говорили о том, что не надо судить тех, кто мало зарабатывает?

Адмони: Я говорил: суть указа в том, чтобы судить тех, кто мало работает, а не тех, кто мало зарабатывает.

Судья: Что же вы хотите этим сказать? А вы читали указ от 4 мая? Коммунизм создается только трудом миллионов.

Адмони: Всякий труд, полезный для общества, должен быть уважаем.

Заседатель Тяглый: Где Бродский читал свои переводы и на каких иностранных языках он читал?

Адмони (улыбнувшись): Он читал по-русски. Он переводит с иностранного языка на русский.

Судья: Если вас спрашивает простой человек, вы должны ему объяснить, а не улыбаться.

Адмони: Я и объясняю, что он переводит с польского и сербского на русский.

Судья: Говорите суду, а не публике.

Адмони: Прошу простить меня. Это профессорская привычка — говорить, обращаясь к аудитории.

Судья: Свидетель Воеводин. Вы лично Бродского знаете?

Воеводин (член Союза писателей): Нет. Я только полгода работаю в Союзе.

Я лично с ним знаком не был. Он мало бывает в Союзе, только на переводческих вечерах. Он, видимо, понимал, как встретят его стихи, и потому не ходил на другие объединения. Я читал его эпиграммы. Вы покраснели бы, товарищи судьи, если бы их прочитали. Здесь говорили о таланте Бродского. Талант измеряется только народным признанием. А этого признания нет и быть не может.

В Союз писателей была передана папка стихов Бродского. В них три темы: первая тема — отрешенности от мира, вторая — порнографическая, третья тема — тема нелюбви к родине, к народу, где Бродский говорит о родине чужой. Погодите, сейчас вспомню... «однообразна русская толпа». Пусть эти безобразные стихи останутся на его совести. Поэта Бродского не существует. Переводчик, может, и есть, а поэта не существует. Я абсолютно поддерживаю мнение товарища, который говорил о своем сыне, на которого Бродский влиял тлетворно. Бродский отрывает молодежь от труда, от мира и жизни. В этом большая антиобщественная роль Бродского.

Судья: Обсуждали вы на комиссии талант Бродского?

Воеводин: Было одно короткое собрание, на котором речь шла о Бродском. Но обсуждение не вылилось в широкую дискуссию. Повторяю, Бродский ограничивался полупохабными эпиграммами, а в Союз ходил редко. Мой друг, поэт Куклин, однажды громогласно с эстрады заявил о своем возмущении стихами Бродского.

Адвокат: Справку, которую вы написали о Бродском, разделяет вся комиссия?

Воеводин: С Эткингом, который придерживается другого мнения, мы справку не согласовывали.

Адвокат: А остальным членам комиссии содержание вашей справки известно?

Воеводин: Нет, она известна не всем членам комиссии.

Бродский: А каким образом у вас оказались мои стихи и мой дневник?

Судья: Я этот вопрос снимаю. Гражданин Бродский, вы работали от случая к случаю. Почему?

Бродский: Я уже говорил: я работал все время. Штатно, а потом писал стихи. (С отчаянием.) Это работа — писать стихи.

Судья: Но ваш заработок очень невелик. Вы говорите, за год получаете 250 рублей, а по справкам, которые представила милиция, — сто рублей.

Адвокат: На предыдущем суде было постановлено, чтобы милиция проверила справки о зарплате, а это не было сделано.

Судья: Вот в деле есть договор, который прислали из издательства. Так ведь это просто бумажка, никем не подписанная.

(Из публики посылают судье записку о том, что договоры сначала подписывает автор, а потом руководители издательства.)

Судья: Прошу мне больше записок не посылать.

Сорокин (общественный обвинитель): Наш великий народ строит коммунизм. В советском человеке развивается замечательное качество — наслаждение общественно полезным трудом. Процветает только то общество, где нет безделья. Бродский далек от патриотизма. Он забыл главный принцип — кто не работает, тот не ест. А Бродский на протяжении многих лет ведет жизнь тунеядца. В 1956 году он бросил школу и поступил на завод. Ему было 15 лет. В том же году увольняется. (Повторяет послушной спи-

сок и перерывы в штатной работе снова объясняет бездельем. Будто и не звучали все объяснения свидетелей защиты о том, что литературный труд — тоже работа.)

Мы проверили, что Бродский за одну работу получил только 37 рублей, а он говорит — 150 рублей.

Бродский: Это аванс. Это только аванс. Часть того, что я потом получу.

Судья: Молчите, Бродский.

Сорокин: Там, где Бродский работал, он всех возмущал своей недисциплинированностью и нежеланием работать. Статья в «Вечернем Ленинграде» вызвала большой отклик. Особенно много писем поступило от молодежи. Она резко осудила поведение Бродского. (Читает письма). Молодежь считает, что ему не место в Ленинграде. Что он должен быть сурово наказан. У него полностью отсутствует понятие о совести и долге. Каждый человек считает счастьем служить в армии. А он уклонился. Отец Бродского послал своего сына на консультацию в диспансер, и он приносит оттуда справку, которую принял легковерный военкомат. Еще до вызова в военкомат Бродский пишет своему другу Шахматову, ныне осужденному: «Предстоит свидание с комитетом обороны. Твой стол станет надежным убежищем моих ямбов».

Он принадлежал к компании, которая сатанинским хохотом встречала слово «труд» и с почтением слушала своего фюрера Уманского. Бродского объединяет с ним ненависть к труду и советской литературе. Особенным успехом пользуется здесь набор порнографических слов и понятий. Шахматова Бродский называл сэром. Не иначе. Шахматов был осужден. Вот из какого зловонного местечка появился Бродский. Говорят об одаренности Бродского. Но кто это говорит? Люди, подобные Бродскому и Шахматову.

Выкрик из зала: Кто? Чуковский и Маршак подобны Шахматову?

(Дружинники выводят кричавшего.)

Сорокин: Бродского защищают прощелыги, тунеядцы, мокрицы и жучки. Бродский не поэт, а человек, пытающийся писать стихи. Он забыл, что в нашей стране человек должен трудиться, создавать ценности: станки, хлеб. Бродского надо заставить трудиться насильно. Надо выселить его из города-героя. Он — тунеядец, хам, прощелыга, идейно грязный человек. Почитатели Бродского брызжут слюной. А Некрасов сказал:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

Мы сегодня судим не поэта, а тунеядца. Почему тут защищали человека, ненавидящего свою родину? Надо проверить моральный облик тех, кто его защищал. Он писал в своих стихах: «Люблю я родину чужую». В его дневниках есть запись: «Я уже давно думал насчет выхода за красную черту. В моей рыжей голове созревают конструктивные мысли». Он писал еще так: «Стокгольмская ратуша внушает мне больше уважения, чем пражский Кремль». Маркса он называет так: «Старый чревоугодник, обрамленный венком из еловых шишек». В одном письме он пишет: «Плывать я хотел на Москву».

Вот чего стоит Бродский и все, кто его защищает.

(Затем цитируется письмо одной девушки, которая с неуважением пишет о Ленине. Какое отношение ее письмо имеет к Бродскому, совершенно нам неясно. Оно не им написано и не ему адресовано.)

В эту минуту судья обращается ко мне: «Прекратите записывать».

Я: Товарищ судья, я прошу разрешить мне записывать.

Судья: Нет.

Я: Я журналист, член Союза писателей, я пишу о воспитании молодежи, я прошу разрешить мне записывать.

Судья: Я не знаю, что вы там записываете. Прекратите.

Из публики: Отнять у нее записи.

Сорокин продолжает свою речь, потом говорит защитница, речь которой я могу изложить только тезисно, поскольку писать мне запретили.

<...>

Источник: «Самиздат века». Минск-М.: «Полифакт», 1997.

Эткинд
Ефим Григорьевич
(1918–1999)



Литературный критик, переводчик, литературовед.

Родился в Ленинграде в 1918 г. Окончил ЛГУ в 1941 г. Участник Великой Отечественной войны. Доктор филологических наук (1965). Выступал свидетелем защиты на процессе И. Бродского. В 1974 г. за антисоветскую деятельность был лишен ученых степеней и званий, исключен из Союза писателей, уволен с работы. Эмигрировал во Францию, преподавал в Нантервском университете под Парижем.

В эмиграции опубликовал множество работ по теории перевода, истории и теории стиха, стилистике и психопэтике.

Труды:

«Записки незаговорщика» — воспоминания (1977), «Форма как содержание: Избранные статьи» (1977), «Материя стиха» (1978, 2-е изд. 1985), «Стихи и люди» (1988), «Там внутри, о русской поэзии XX века» (1996) и др.

ОТСТУПЛЕНИЕ О ВЗБЕСИВШЕЙСЯ ФОРМЕ*

<...>

Мы расходились, подавленные произволом грубой силы, ощущением бесправия, цинизмом судебного спектакля. Только что мы были участниками фантастического действия, в котором принималась в расчет одна только форма. Да, судебное заседание развивалось по всем правилам: на возвышении, на стульях с высокими спинками, где вырезан в дереве герб Советского Союза, восседали народный судья, законно избранный — тайным голосованием, и двое народных заседателей, законно назначенных общественными организациями. Все шло как полагается: допрос подсудимого, выступления свидетелей защиты и свидетелей обвинения, речь общественного обвинителя и речь адвоката, совещание судей в специальной совещательной комнате, торжественное оглашение приговора — «Именем Российской Федеративной Социалистической Республики...», даже аплодисменты публики после приговора и уход обвиняемого конвоирами.

Все шло по плану, но немного наспех...

* Текст был написан позже того времени, к которому относится хождение в Самиздате прочих текстов, включенных в этот том. Однако мы поместили его именно сюда — как дополнение к предшествующей записи суда над И. Бродским.

Содержания как бы не существовало, во всяком случае, оно не имело значения. Судья в существе дела ничего не понимала. Заседатели, призванные разобраться в специфике литературной профессии, никогда о ней слыхом не слыхали. Свидетели обвинения ни о чем не свидетельствовали, потому что не знали ни обвиняемого, ни его сочинений. Прокурор строил свою речь на поддельной справке, чужих стихах и неизвестно откуда добытых дневниках и письмах. Судьи, конечно, совещались, но и это было пустой формой, поскольку приговор был продиктован заранее и здесь, в зале суда, только оглашался. Установленную форму можно наполнить любым и, в сущности, каким угодно содержанием — никто на это внимания не обратит. Привычка к авторитету государственной формы настолько велика, что она уже сама по себе становится содержанием.

На ближайшем общем перевыборном собрании ленинградские писатели тайным голосованием свалили Прокофьева, избрали на его место Гранина, а нас всех троих — Грудинину, Адмони и Эткинда — избрали членами правления. Первое же заседание нового секретариата рассматривало в нашем присутствии наш казус; было единогласно постановлено снять с нас несправедливое порицание, и Д. Гранин, новый руководитель Союза, торжественно принес нам извинения секретариата.

Все рассказанное происходило еще в то время, как Бродский был в своей северной деревне, где «Бог живет не по углам». Разумеется, это увеличивало ценность нашей победы. Мы не ожидали торжества столь полного и безоговорочного. Противник внезапно испарился: даже П. Капица, казалось, всегда знал, что правы были мы; даже Н. Браун, в своей суровой и подчеркнуто-честной манере поддерживавший на том секретариате Прокофьева, теперь не сомневался в нашей правоте и вроде бы совсем забыл, как прежде настаивал на общественном порицании.

Прошло несколько месяцев, Иосиф Бродский был возвращен в Ленинград и реабилитирован, а суд прислал в Союз писателей беспрецедентную бумагу, в которой признавал, что частные определения, вынесенные по нашему поводу, были ошибочны.

То был 1964 год. Ровно десять лет спустя, в 1974 году, в справке КГБ обо мне и моей «антисоветской деятельности» дело Бродского всплыло снова в первоначальном своем виде — словно ничего не произошло, словно и приговор, и частное определение, и общественное порицание сохранили свою силу и не были отменены. И секретариат 1974 года ни о чем не вспомнил, ничего не опроверг, ничего даже не спросил.

Таково наше правосудие.

Источник: «Самиздат века». Минск-М.: «Полифакт», 1997.

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ «ИЗВЕСТИЙ» от Захаровой А.Ф.

Я, Захарова Анна Филипповна, сотрудник Министерства Охраны общественного порядка с 1950 года. Была комсомолкой, с 1956 г. — коммунист. Прочитав произведение А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», была возмущена до глубины души так же, как, я думаю, все читатели — сотрудники МООП.

Я хотела сразу писать в Государств. Изд-ство Худ. Литературы в Москву о своем возмущении, но все как-то времени не было свободного. А прочитав еще произведение Б. Дьякова о том же самом — «Повесть о пережитом», — решила написать, хотя и дорого время. Обсуждая статью, вернее, данные произведения с читателями — работниками МООП, я слышала ото всех только возмущение, горячее, негодующее. И у меня уже не стало терпения молчать.

Ну, поймите, чем виноваты сотрудники, офицерский состав, которых так порочат бывшие заключенные, хотя они и были невинно осуждены? Тем, что они призваны партией и народом нести самое тяжелое бремя нашего времени — работу с преступным миром? Мы, сотрудники, живя на периферии, лишены всех элементарных человеческих условий против жителей городов и районов. У нас подчас нет достаточного питания, жилья, не говоря уже о благоустроенных квартирах. Настоящих школ, библиотек. О театрах и различных спортивных учреждениях уж и речи не надо вести. Это для нас роскошь.

Мы работаем, собственно, с отходами общества — преступниками. Ведь представьте себе. Работает в одном из коллективов человек. Пьянствует, дебоширит, ворует, грабит, убивает и т. д. С ним коллектив помучается, помучается и как худшего из худших, мешающего нормально жить и работать, передает его в суд. И вот эти «сливки» общества в лагере, можете себе представить, какво с ними работать? А нам приходится. А мы что, не такие же советские люди, чтобы нормально жить и работать? Разве мы не такие же, как все, не должны пользоваться благами, которые завоевали наши отцы и деды? Мы тоже хотим жить спокойно, красиво, среди нормальных условий, среди нормальных советских людей, но нас призвала партия, народ вверил нам наитяжелейшую участь, и мы несем ее ради блага всего народа, ради спокойствия его. Так почему же нас чернят? И почему наши органы разрешают издеваться над работниками МООП? Втаптывать в грязь все их заслуги? Это нечестно! Ведь у нас многие офицеры — старые коммунисты, отслужили свое и ушли на пенсию с инвалидностью от этой ужасно трудной работы. И вот оскорбляют теперь его благородный труд, на котором он оставил свое здоровье, да и собственно — жизнь, да за что?

<...>

Я уверена, что все сотрудники, кто прочитал эти произведения, возмущены до глубины души. Но не откликаются или потому, что, как и я, не могут выразить это на бумаге, или некогда, так как работа по перевоспитанию осужденных занимает очень много времени. Ведь у нас многие сотрудники работают не по семь часов в сутки, как предусмотрено законом о труде, а по 10-12—14 часов в сутки. Иначе не перевоспитаешь тех закоренелых преступников, которые находятся у нас. Все свое и рабочее, и личное время сотрудники почти це-

ликом отдают зоне, большая часть, как я ранее сказала. Я 13 с половиной лет на трассе работаю с заключенными, так же, как и мой муж майор Захаров, он уже здоровье потерял, работая с преступным миром, так как здесь вся работа поставлена на нервах. Мы бы и рады уже отдохнуть, так как муж уже отслужил свое, но не отпускают. Коммунист-офицер, долг службы обязывает. А разве мы не имеем права жить и трудиться среди положительных советских людей? Разве мы не имеем права дать своим детям настоящего воспитания, если сами ничего не видели? У меня две дочери учатся в шестом классе. Я бы хотела, чтобы они занимались — одна в балетной, другая в музыкальной школе, участвовали в различных спортивных школах, т. е. воспитывались в ногу с нашим временем. Но здесь ничего подобного нет. И нам приходится мириться. Сознание того, что ты коммунист и должен работать там, где тебя партия найдет нужным поставить, заставляет мириться с недостатками.

А нас теперь за все наши невзгоды чернят, отбивают нам руки в дальнейшем работать. Как это несправедливо!

Перейду непосредственно к произведению Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Солженицын называет оперативного уполномоченного «кумом». Что это значит? — кто ему дал право оскорблять должность, названную по штатам МООН РСФСР? Или так положено у писателей — искажать? На этой должности кто-то, обязательно офицер, большей частью коммунист. И в настоящее время они есть. И действительно он насчет «кума» загнул, как сам писатель выражается. По Солженицыну выходит, что если кто-то из заключенных более сознательных и осознал свою вину перед Родиной, сделает, как ему совесть позволит, т. е. скажет оперативному уполномоченному, что кто-то из преступников замышляет или побег, или убийство, или еще какое преступление, то Солженицын считает, что это «береженье на чужой крови». Вот это патриот, нечего сказать.

Я работала с контингентом 58-ой статьи, и ничего подобного не было, как пишет Солженицын. Только то и было, что некоторые заключенные, как я выше сказала, более сознательные, вскрывали оперативному уполномоченному еще ряд преступлений перед Родиной — убийц, полицаев, предателей и т. д. Так за это советский народ должен сказать только спасибо этим осознавшим заключенным. А Солженицыну, видите ли, это не нравится.

Теперь о подъеме и отбое. Подъем и отбой — это распорядок дня, и без этого в лагере нельзя. Не будет распорядка дня — не будет и порядка в лагере. Распорядок дня также предусмотрен определенной инструкцией, и как было раньше, так продолжается и теперь. Да иначе и нельзя. А Солженицын хотел, вероятно, чтобы в лагере был хаос, не существовало никакого порядка. Такого быть не может.

А вот насчет градусника Солженицын часть правильно написал. Заключенные только и поглядывают на градусник, чтобы их побольше было, на работу не ходить. Это точно. А почему же вольные граждане и в 40—45 градусов работали? А заключенные уже знали, что им положено в 40 градусов не выходить на работу, и отступлений не было. Многие саботировали, не хотели вообще трудиться, честно искупать свою вину перед Родиной. Они знают, что хоть и пролежат, но их накормят. Страна наша богатая, даст хлеба, хоть и не заработанного, что его еще трудом зарабатывать. И конечно, абсурд, что в зоне обязатель-

но администрация повесит плохой градусник. Это выдумки заключенных.

А насчет надзирателей, как Солженицын отзывается. «Раздевшись до грязных гимнастеров». Можно подумать, что это были не в формах, предусмотренных МООП РСФСР, а какие-то бродяги, которые живут на необитаемом острове без начальства, командиров и т. д.

И что значит «надзиратели — дураки»? Они службу несут, и что от них требуют, они обязаны выполнять.

<...>

Теперь о «шмоне» или обысках, как правильно нужно выражаться. Они и сейчас есть, иначе нельзя. Ведь заключенные все, что можно, стремятся унести за зону и продать или променять на чай, водку и т. д. Вокруг нас работают разные вольные люди, чаще всего такие же бывшие заключенные, и они любыми средствами хотят помешать лагерной администрации строить правильную работу в лагере. Поэтому заключенные стремятся унести лагерное имущество, а ведь оно государственное, разные письма с клеветническим характером на коммунистическую партию и советское правительство, а также по разным преступным связям и т.д. И администрация обязана оградить от этого, иначе она свою миссию не выполнит, не выполнит те указания, которые predeterminedены о режиме и содержании заключенных. А если бы это разрешили и не делали обыска, то заключенные бы наделали таких преступлений, что народ долго бы помнил о своей ошибке все разрешать заключенным. Ведь сами авторы пишут, что были и преступники в лагере — грабители, убийцы, контрреволюционеры и невинные, а как администрация должна была отличать, кто виноват, а кто нет? Сейчас вон у нас сидят такие закоренелые преступники, по несколько судимостей, а спроси у них, за что они сидят, они вам скажут и не моргнут, что осуждены невинно, что это суд напридумывал им преступления. И 10% примерно из всех скажут честно, что он осужден за дело. Администрация имеет приговор и обязана ему верить, только приговору, который, собственно, и исполняет.

<...>

И какой вздор пишет Солженицын, что начальник режима носил плетку, чтобы бить заключенных! Не знаю, где такое было. Я с 1950 года до 1954-го работала с политзаключенными, и у нас наоборот, с ними только гуманные отношения были. Попробуй только кто из администрации скажи что-нибудь на них грубое, так сразу с работы снимут или еще что, не то что телесные наказания. Ведь мы все прекрасно знаем, что телесные наказания отменены с приходом советской власти, а здесь Солженицын придумывает такое, что в лагерях было такое незаконье, бесконтрольность и издевательства, как будто бы здесь работали не советские люди. Надо понимать так, что он специально натравливает народ на органы МООП, будучи сам озлобленным на них.

Или о конвое что пишет? Да как же иначе? Ему бы доверили этот участок, он точно так же нес бы службу, а если бы распустил всех с лагеря, значит, оставил бы партбилет, отдали бы под суд и т. д. Это вполне понятно. Конвою поручена охрана преступников, и за каждого человека он несет ответственность. Над чем здесь издеваться? Каждый советский человек на своем посту и обязан отве-

чать за это. По Солженицыну должно быть, чтобы конвой распустил всех на волю, а сам сел на их место. А народ страдай. Что бы тогда было, если бы всех преступников распустить?

Или солдат он называет «попками». Да что это значит? Советский солдат — и попка. Да что это за издевательство? Их призвали в ряды советской армии, одних направили в авиацию, других во флот, этих в охрану. Не по их воле или желанию. Им зачитан устав, и они как военнослужащие обязаны подчиняться воинскому уставу, где бы они ни были. А Солженицын над ними насмехается. И сейчас также существуют конвойные войска, также несут службу по охране преступников. Выходит, солдаты виноваты в том, что их при распределении направили в лагеря? Все равно кто-то должен здесь быть. Да и мне кажется, не позорно охранять мирный труд советских людей. А по Солженицыну получается, что ниже позора быть не может.

Как Солженицын унижает ряды советской армии? И почему это ему позволили? Наши доблестные советские войска, как их народ возвеличал, у Солженицына стали попками. Народ гордится своими солдатами, а Солженицын ненавидит их, унижает, оскорбляет. Патриот Родины!

И почему так агрессивны настроены авторы этих произведений на администрацию лагерей? Они, видимо, сами не особенно отличались здесь. Ведь не особенно нужно ума, чтобы понять, что администрация не виновник того произвола, что творился во времена культа личности. И разве авторы и их герои не могли себя поставить на место администрации? Ведь и они точно так же исполняли бы те указания, которые поступали свыше. А у этих писателей получается опять по русской пословице: «стрелочник всегда виноват».

Или еще один момент хочется отметить по произведению Солженицына. Как он говорит о питании заключенных? «Из земли еды не выколотишь, больше, чем начальник тебе выпишет, не получишь». Пишет так, как будто бы начальник лагеря в этом хозяин. Существует единая норма всесоюзная, и начальник здесь никакого отношения не имеет, ему самому сколько выпишут на заключенных, столько он и получит. Будет вдвое больше норма, будет и начальник выписывать вдвое больше. Неужели, еще раз повторяю, здесь нужно иметь очень умную голову, чтобы додуматься хотя бы до этого?

Просто удивляешься, сколько желчи в этом произведении против администрации лагеря, насмешек, издевательств, унижений и т. д. Дальше об этом же. «Здесь воруют, и еще раньше на складе воруют»... Как будто бы вольнонаемные, советские люди, работающие в лагере, все собрались воры, как будто бы здесь и честных людей нет, контроля и т. д. Здесь, наоборот, каждый работает и знает, с кем имеет дело. И сам никогда на это не пойдет, потому что уверен, что и сам там же будет. Если кто и своровал где-то, может, и были такие случаи по Союзу, в Озерном, я знаю, не было, там такие работники давно сами за проволокой. А Солженицын всех подряд обливает грязью и называет ворами.

<...>

1 октября 1964 года, г. Москва

Источник: Слово пробивает себе дорогу. Сборник статей и документов об А.И. Солженицыне. М.: Изд-во «Русский путь». 1998.

Дзюба
Иван Михайлович
(Род. 1931)



Писатель, критик. Родился в 1931 г. В 60-е — 70-е — видный деятель украинского национального движения. В 1965 г. вышла его книга «Інтернаціоналізм чи русифікація?», которая была издана ограниченным тиражом и распространялась среди партийных чиновников Украины. (Книга была написана как приложение к заявлению в ЦК КПУ по поводу национальной политики. По словам Людмилы Алексеевой («История инакомыслия в СССР», глава «Украинское национальное движение»), «есть версия, что Дзюбе предложил написать эту книгу тогдашний секретарь по идеологической работе ЦК КПУ Андрей Скоба»). Впоследствии тираж был изъят, и книга разошлась в Самиздате, а потом и в тамиздате. В 1972 г. Дзюба был арестован по обвинению в «антисоветской агитации» и приговорен к 5 годам лагерей и 5 годам ссылки. В 1973 г. выпущен на свободу после написания им покаянной статьи в газете.

В настоящее время Дзюба — академик-секретарь отделения литературы, языка и искусствоведения Национальной академии наук Украины, главный редактор журнала «Сучасність», глава Комитета национальных премий имени Тараса Шевченко.

Ниже приводится вступительное слово к книге «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Перевод с украинского выполнен составителями.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ ИЛИ РУСИФИКАЦИЯ?

<...>

У одного молодого украинского поэта есть стихи с такими горькими словами:

Я не питаю зла ни к одному народу,
Ни к одному народу в мире зла я не питаю,
Что же тогда все тяжелее мне
На свете жить среди множества культур?

Это боль многих украинцев.

Украинский народ никогда не был агрессивным и нетерпимым по отношению к иным народам, никогда в своей истории не поработал другие народы. Подавляющему большинству украинской интеллигенции вследствие ее демократизма всегда был чужд узкий национализм и вовсе не свойственен шовинизм. Тем более чужды они подавляющему большинству украинцев сегодня, после горьких уроков истории, сегодня, когда мировоззрением украинца нераздельно стало социалистическое мировоззрение, общее с мировоззрением десятков

народов великого социалистического содружества. И тем досаднее и тяжелее украинцу (если он хоть немного чувствует себя украинцем) видеть сегодня, что с его социалистической нацией творится нечто непонятное и недостойное. Не все украинцы одинаково замечают и осознают то, что происходит (так как и сами эти процессы по своей сути таковы, что не лежат на поверхности и не очевидны), но почти все ощущают, что творится «что-то» нехорошее... Марксизм-ленинизм определяет нации как исторически сформированное сообщество, характеризующееся единством территории, экономической жизни, исторической судьбы и психического склада, который проявляется в культуре. По всем этим пунктам украинская нация переживает теперь не «расцвет», как это официально заявляется, а кризис, и этого нельзя не признать при хоть сколько-нибудь честном взгляде на реальную действительность.

Единство и суверенность территории понемногу, и чем дальше, тем больше, теряется из-за массового переселения («оргнаборы» и т.п.) украинского населения в Сибирь, на Север и пр., где оно исчисляется миллионами, но быстро денационализируется; из-за массового и не всегда экономически оправданного и экономическими мотивами обусловленного организованного переселения в Украину русских (как это, например, сделано во времена Сталина, в частности относительно городов Западной Украины); из-за формальности административного деления и сомнительности суверенитета правительства Украинской ССР на территории Украины. По этим причинам и по причинам чрезмерной централизации — полнейшего подчинения всесоюзным учреждениям в Москве — тяжело говорить и про целостность, суверенность экономической жизни украинской нации. Общность исторической судьбы также теряется из-за того, что украинская нация все больше рассеивается по Союзу, и из-за того, что все больше теряется знание и ощущение исторической национальной традиции, исторического прошлого вследствие полнейшего отсутствия национального воспитания в школе и обществе вообще. Украинская национальная культура содержится на довольно провинциальном положении и практически трактуется как «второсортная». Ее прошлые великие достижения мало пропагандируются в обществе. Украинский язык оттеснен на второй план и в городах Украины, в сущности, не используется. В конце концов, на протяжении последних десятилетий украинская нация, в сущности, лишена нормального естественного прироста, который присущ современным нациям. Еще в 1913 году речь шла о «37-миллионном украинском народе» [1]. Перепись 1926 года дает в Украине около 29 миллионов украинцев. Если прибавить свыше 7 миллионов украинцев в РСФСР (эта цифра называлась на XII съезде РКП(б) в 1923 году), то получается тоже около 37 миллионов. Те самые 37 миллионов, которые дает и перепись 1959 года. Даже при минимальном естественном приросте (не говоря уже об официальных таблицах естественного прироста для Украины) [2] число украинцев, включая потери войн, должно было бы увеличиться на 10-20 миллионов. Ведь общее количество населения в современных границах СССР выросло с 159 миллионов в 1913 году до 209 миллионов в 1959 году, а число русских, несмотря на потери войны, удвоилось (1897 — 55,4 миллиона, 1913 — 60-70 миллионов, 1959 — 114,1 миллиона).

Даже если бы не было никаких других тревожных фактов, то одного этого было бы довольно, чтобы стало понятно, что нация переживает кризис. Но есть и множество других фактов. О них — о различных аспектах национального кризиса, который переживает украинский народ, — мы и будем говорить в этой статье. Особенно будем говорить о том, как этот кризис оказался следствием нарушения ленинской национальной политики и подмены ее сталинской великодержавностью и хрущевским прагматизмом, несовместимыми с научным коммунизмом.

Однако сначала хотелось бы сказать несколько слов тем, кто не понимает, почему нас должна беспокоить перспектива денационализации того или другого народа, почему вообще надо придавать значение вопросу о национальности.

Есть разного рода отрицательные отношения к этому вопросу. Есть такое возражение против национальности, которое порождается элементарным невежеством и полнейшей глухотой к духовным интересам. Есть возражения, которые в своей основе питаются инстинктивным ощущением опасности, связанной с идеями национальности («политика»), но не признаются и самим себе, что рождено оно страхом, а ищет «благородной» мотивации. Есть, в конце концов, возражение, которое возникает от недоразумения, от поверхностного понимания национальности как чего-то такого, что противостоит так или иначе человечеству, общечеловеческой идее и, следовательно, тянет человечество назад. Все эти точки зрения объединяет то, что, во-первых, те, кто их отстаивает, считают свою позицию весьма благородной и с нелепым презрением считают за «национализм» всякий интерес к национальному делу, не замечая, что таким «национализмом» пронизана вся человеческая культура. Во-вторых, как показывает история, всякое равнодушие к национальному делу, небрежение им, затемнение его или невнимание к нему всегда и всюду были так или иначе связаны с общественной реакционностью, антиобщественностью или упадком общественных устоев. Одним словом, их общий источник — общественный деспотизм, несвобода. Такие взгляды в значительной мере перешли нам в наследство от мещанства Российской Империи, где господствовал величайший в мире социальный и национальный гнет, а потому и наибольший национальный нигилизм. Причем характерно, что этот национальный нигилизм предполагаемого «всечеловечества» и «общерусскости» проповедовался именно реакционерами и крепостниками, учеными «столпами отечества», тогда как демократы и революционеры, такие как Чернышевский, Добролюбов, Герцен, Бакунин, Прыжов и др. подчеркивали общечеловеческую и общекультурную ценность национальностей и колоссальное значение национальных движений на широком революционно-демократическом фронте борьбы против деспотической империи российских царей. Всеми силами они поддерживали революционный дух нерусских народов против Российской империи, став тем самым настоящими интернационалистами и истинными сынами русского народа, его честью и совестью. (Вспомним слова В.И. Ленина о том, что Герцен один спас честь российской демократии, став на защиту Польши против российского царизма).

Великий Герцен, с присущей ему социальной чувствительностью и безошибочным угадыванием любой фальши и несправедливости, остро ощущал и подчеркивал внутреннюю связь между политическим деспотизмом и антинационализмом. Он первый показал политическую суть того целенаправленного обезличивания и искусственного «скрещивания» наций, которое российский

царизм проводил под лозунгами «единства», «общего отечества», «единокровия», «братства» и тому подобными официальными формулами. В его «Колоколе», в частности, об этом писалось:

«Наше правительство, не любя чистых национальностей, всегда старалось мешать и тасовать их елико возможно. Разрозненные племена бывают кротче, и, видно, правительственный желудок удобнее переваривает смешанную кровь, в ней меньше остроты»[3].

Герценский «Колокол» постоянно подчеркивает реакционный характер официальной «общерусскости», бюрократической «безнациональности» и с горьким сарказмом говорит о всеильном и тупом казенном начале, которое стирает национальность и личность во имя чиновничьего «удобообразия».

«Неужели, вы, литераторы, публицисты, профессора, до сих пор еще не поняли, что чем превыше всякой национальности, что он сглаживает и уравнивает все народные особенности и недостатки, абстрагируя и потенцируя бренную человеческую личность? Неужели вы еще не знаете великого таинства государственного помазания, в силу которого и евреи, и магометанин, дослужившийся до полковника, может не только учить своих русских подчиненных христианским обязанностям, но и управлять их религиозною совестью? Да где вы живете, на какой планете? Идеал чиновника — не помнящий родства. Или вы полагаете, что только русский способен дойти до такого незлобия сердца?»

Интересно, что эти саркастические [4] пассажи перекликаются с аналогичными словами Маркса (например, о «негодях», что «продают свою национальность» за привилегии преимущества и чины) [5] и Ленина («Буржуазия, которая более всего выдвигает принцип: «Где хорошо, там и родина», буржуазия, которая относительно денег всегда была интернациональной...»[6]).

Обращаясь снова к людям, которые далеки от того, чтобы сознательно «продавать свою национальность», но считают интерес к национальному делу несовместимым с человеческим благородством и хотят чувствовать себя «просто людьми», вне всякой национальности, — хочется сказать, что они глубоко (хотя, возможно, и искренне) ошибаются, когда именно такую позицию принимают за последнюю цель всечеловеческой культуры. Совсем наоборот. Все великие деятели мировой культуры — философы, социологи, историки, писатели, художники — видели свою принадлежность к человечеству и труд для него именно в принадлежности к своей нации и труде для нее. Все они свой гуманистической пафос выводили из своего высокоразвитого национального чувства, национального сознания, без которых не видели настоящего интернационализма.

Можно было бы приводить десятки и сотни соответствующих ответных высказываний великих людей, крупных авторитетов (поскольку мы обращаемся в этом случае к тем, для кого авторитеты имеют значение), но это заняло бы много места.

Поэтому ограничимся только тем, что процитируем своеобразный вывод, которое сделал после обзора всех таких суждений выдающийся исследователь национального вопроса, русский российский ученый, профессор А.Д. Градовский, который далеко не был «националистом», но был добросовестным ученым и хорошо знал достижения европейской мысли. Обратив внимание на печальную необразованность и легкомыслие современной ему публики относительно национального

дела, А.Д. Градовский так обобщает ходячие возражения против национальности, наиболее распространенные аргументы «антинационалистов»:

«Культура едина: результаты ее везде должны быть одни и те же. Каждый народ, хотя бы своим путем, но должен придти к одинаковым результатам. Если результаты должны быть общие, то зачем хлопотать о различных путях? Не лучше ли, не проще ли усвоить себе учреждения, методы и средства народов, дальше нас ушедших в цивилизации? К чему напрягать ум свой, когда другие думали о том же предмете раньше и лучше нас? Начало национальности, льстящее нашему самолюбию, поведет нас к отчуждению от общекультурного движения цивилизованного человечества. Мы придем к убеждению, что все наше безмерно выше всего чужого потому только, что оно чужое. Самый источник чувства народности (т.е. национальности. — И. Дз.) сомнителен. Не заключается ли оно в затаенной вражде к другим народностям? Цивилизация должна привести все народы к общению и к возможному единству. Цивилизация дает нам всеобщий мир, упрочит всеобщее благосостояние. Что же делает ваше начало народности? Оно порождает вражду и зависть между племенами, оно источник бесконечных войн, оно отвлекает народы от производительной работы над своими внутренними задачами. Подавим в себе эти чувства, приличные разве племенам диким, изгоним их во имя высших требований культуры.

Таковы ходячие мнения; таковы возражения, которые недавно еще можно было слышать на каждом шагу; мы услышим их — будьте уверены — в недалеком будущем. Но не только на эти ходячие мнения намерен я возражать. Нам необходимо дойти до корня дела, остановиться на том, что дает душу этим ходячим мнениям, которые являются только особым отзвуком, симптомом, так сказать, более глубокого мирозерцания» [7].

Рассмотрев это «антинациональное» мировоззрение, А.Д. Градовский справедливо приходит к выводу, что он является порождением либо поверхностного мышления, либо стремления оправдать режим национального угнетения. На основании, с одной стороны, всемирно-исторического процесса, а с другой стороны — взглядов и учений великих философов, историков и социологов, обобщая этот большой материал, Градовский так резюмирует произведенное выработанное наукой XIX столетия (и, добавим, принятое и развитое в у более поздний пор современной наукой) понятие о соотношении наций и человечества, национальной, индивидуальной человеческой и всечеловеческой жизни:

«Каждый мыслящий человек не может не заметить следующего знаменательного факта.

По мере того, как европейские государства принимают более свободные формы, по мере того, как в них утверждается начало равноправности, развивается просвещение, увеличивается самостоятельность общества и его участие в политических делах, — в каждом обществе укрепляется сознание его индивидуальных особенностей.

Католическая и феодальная Европа средних веков не знала национального вопроса. Не знала его и Европа, созданная вестфальским миром, Европа искусственных государств...

Национальный вопрос поставлен и формулирован в XIX веке. Он вытекает из факта признания в народе нравственной и свободной личности, имеющей

право на самостоятельную историю, следовательно на свое государство. Этот философский и политический принцип подкрепляется выводами наук, созданных в наше время: антропологии и науки о языке; он подтверждается выводами истории, получившей такое развитие в XIX веке. До того времени, как сложились антропология и наука о языке, до современных успехов истории, — «человечество» представлялось какой-то бесформенной массой «неделимых», мало чем различавшихся друг от друга. Теперь человечество представляется как система разнородных человеческих групп, громко заявляющих свое право на самобытное существование...

Разнообразие национальных особенностей есть коренное условие правильного хода общечеловеческой цивилизации. Отдельный народ, как бы ни были велики его способности и богаты его материальные средства, может осуществить только одну из сторон человеческой жизни вообще. Лишить человечество его разнообразных органов — значит лишить его возможности проявить во всемирной истории все богатство содержания человеческого духа. Единство и исключительность цивилизации, однообразие культурных форм противны всем условиям человеческого прогресса. Наука не отвергает понятия общечеловеческой цивилизации в том смысле, что важнейшие результаты умственной, нравственной и экономической жизни каждого народа становятся достоянием всех других. Но философия истории неопровержимыми данными доказывает, что каждый из этих результатов мог быть добыт только на почве национальной истории, что статуи Фидия и философия Платона были греческим созданием, что римское право есть продукт римской истории, конституция Англии есть ее национальное достояние...

Во имя полноты человеческой цивилизации все народности призваны к деятельности, жизни, одинаково удаленной и от замкнутого отчуждения, и от слепого подражания. Каждая народность должна дать человечеству то, что скрыто в силах ее духовно-нравственной природы. Народное творчество — вот последняя цель, указываемая каждому народу самой природой, — цель, без которой не может быть достигнуто совершенство рода человеческого... Подчинение всех рас одной «всеспасающей» цивилизации так же пагубно действует на международную жизнь, как «всеспасающая» административная централизация на внутреннюю жизнь страны...

Человек, лишенный чувства национальности, неспособен к разумной духовной жизни...

Только народ, говорящий своим языком, способен к прогрессу в умственной жизни... Только человек, победивший в себе чувство своекорыстия и бездушного космополитизма, отдавший себя народному делу, верящий в силу и призвание своего народа, способен к творчеству и к истинно великим делам; потому что он действует в виду живой вечности народа, со всем его прошедшим и будущим. При таких условиях народ, привыкший к серьезной, упорной работе над собой, не будет стремиться к внешнему преобладанию; всеобщий труд вызовет действительное уважение одного народа к личности другого, и национальная свобода сделается законом общечеловеческой жизни...

Национальность и труд, национальность и творчество, национальность и школа, национальность и свобода — эти слова должны сделаться однозначными...

Провозглашение национального принципа есть дело великой культуры, общей работы всех народов Европы. Он провозглашен во имя цивилизации и для цивилизации...

Самосознание. Вот великое слово...»[8].

Повторяем: подобных суждений очень авторитетных и компетентных людей можно привести множество, так как это не чей-то личный вывод, а, как справедливо указал Градовский, «дело вековой культуры, общей работы всех народов Европы». Марксизм-ленинизм, как известно, возник не вследствие игнорирования идеи «вековой культуры», а вследствие овладения ею и ее переработки. В частности, он не отверг огромного исторического общественно-культурного значения и ценности наций, национального самопознания и самоосознания, национальной мысли и материального творчества, национально-освободительной борьбы и т.д. Вот как резюмирует отношение научного коммунизма к национальному вопросу современный американский философ-марксист Г. Селзам:

«Часто задают вопрос: почему надо сохранять национальные группы и национальную культуру вообще? Почему бы не стремиться к созданию мировой культуры, одного языка, одной исторической традиции? Все эти вопросы поднимают те доктринеры, которые видят в национализме лишь препятствие для развития некоего мирового общества и понимают под национализмом лишь его наиболее плохое проявление в форме буржуазно-националистического шовинизма... С нациями дело обстоит так же, как и с индивидами. Здоровое общество держится не на регламентации индивидов и причисывании всех под одну гребенку, а на наиболее полном и свободном развитии каждого индивида в интересах всех. Построение здорового мирового общества потребует не стирания определенных национальных отличий, а их поощрения и их взаимодействия, создания всеобщей культуры на основе специфических достижений каждого народа»[9].

Марксизм-ленинизм связал национальный вопрос с революционной классовой борьбой пролетариата, с борьбой за новое и справедливое бесклассовое общество — коммунизм. К. Маркс в письме к З. Майеру и А. Фогту от 9 апреля 1870 года:

«...Интернационал должен поставить себе задачу — всюду выдвигать на первый план конфликт между Англией и Ирландией и всюду открыто становиться на сторону Ирландии. Специальное задание Центрального Комитета в Лондоне — пробудить в английском рабочем классе сознание того, что национальное освобождение Ирландии для него не абстрактный вопрос справедливости и человеколюбия, но первое условие его собственного социального освобождения».

Ф. Энгельс к К. Марксу 15 августа 1870 г.:

«Мне кажется, что дело обстоит таким образом: Германию Баденге вовлек в войну за ее национальное существование. Если победит Баденге, то бонапартизм укрепитя на много лет, а Германии на много лет, возможно, на целые поколения, конец. О самостоятельном немецком рабочем движении в таком случае не будет и речи, борьба за восстановление национального существования отнимет все силы. И, в лучшем случае, немецкие рабочие окажутся на буксире у французских... Вся масса немецкого народа, всех классов поняла, что в первую очередь дело идет именно о национальном существовании, и потому сразу проявила готовность выступить».

И дальше:

«Я думаю, наши могли бы: 1) присоединиться к национальному движению...»

Ф. Энгельс к К. Каутскому 12 сентября 1882 года:

«По моему мнению, собственно колонии, т.е. земли, занятые европейским населением, Канада, Кап. Австралия, все станут самостоятельными; наоборот, только подчиненные земли, занятые туземцами, Индия, Алжир, голландские, португальские, испанские владения пролетариату придется на время взять под контроль и как можно скорее привести к самостоятельности... Победивший пролетариат не может никакому чужому народу навязывать какое-либо счастье, не подрывая этим своей собственной победы».

Ф. Энгельс к Ф. Мерингу 14 июля 1893 года:

«Начинается, в больших масштабах, разграбление германских земель. Это для немцев чрезвычайно позорное сравнение, но именно поэтому оно особенно поучительно, а с того времени, как наши рабочие снова выдвинули Германию в первые ряды исторического движения, нам стало немного легче мириться с позором прошлого».

Марксизм-ленинизм создал колоссальное богатство идей применительно к национальному вопросу, и если нам в самом деле дороги интересы коммунизма, интересы народа, а не всяческая политическая конъюнктура, мы не имеем права их забывать или перелицовывать для текущих нужд. Марксизм-ленинизм, подчинив национальное дело в целом пролетарскому делу, делу революции и коммунизма, тем самым не преуменьшил, а увеличил его значение и вес, поскольку ясно установил, что без справедливого его решения невозможно справедливое общество — коммунизм, и обязал нас заботиться об обогащении и приумножении национально-культурных достижений, которые составят общечеловеческое богатство, а не пресекать их рост и обрубить корни.

Маркс, Энгельс, Ленин явили образцы огромной чуткости и человечности, широкого гуманистического подхода и светлого понимания заветных нужд каждой нации и перспектив наиболее благоприятного всемирно-исторического развития человечества. Когда же оказывалось, что тот или другой вывод был сделан поспешно, без достаточного ознакомления с делом, так что тот или другой взгляд мог быть использован для нанесения вреда национальному делу того или иного народа, — они без колебаний делали все необходимые поправки, а то и меняли свой взгляд. Вспомним эволюцию взглядов Маркса и Энгельса по ирландскому вопросу или уточнения, которые они вносили в свое отношение к славянским делам России. Вспомним, как Энгельс, чрезвычайно благосклонный к польским революционерам, отказался, однако, поддержать польские претензии на земли «по эту сторону Двины и Днепра», как только узнал, что «все крестьяне там украинцы, а поляками являются только дворяне и отчасти горожане» [10].

Вспомним, как В.И. Ленин, увидев нарастание русского шовинизма в Советской стране, ударил в набат и объявил ему «бой не на жизнь, а на смерть». Вспомним, как он советовал шире привлекать «националов» к выработке национальной политики и ее практического осуществления на местах, советоваться с ними, прислушиваться к ним и следовать их инициативе.

Национальное дело — это дело всего народа и дело каждого гражданина: это коренный интерес всего народа и всех граждан, совесть каждого из нас; оно

не отодвигаает всех других дел, интересов и идеалов, но неразрывно с ними связано, и никто не имеет права молчать, когда вокруг видит нечто недостойное, равно как никто не имеет права оставаться глухим к тревожным голосам.

- [1] Ленін В. І. Повн. збір. тв., т. 24, с. 8.
- [2] Наулко В. І. Етнічний склад населення Української РСР. К., 1965.
- [3] Герцен А. И. Освобождение крестьян в России и польское восстание, «Колокол», Лондон, 1865, ч. 195, с. 1602.
- [4] Герцен А. И. Освобождение крестьян в России и польское восстание. «Колокол», Лондон, 1865, ч. 195, с. 1602.
- [5] Див. лист К. Маркса до Л. Кугельмана від 17 лютого 1870 року. У кн.: К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори, т. 82, с. 512 — 513.
- [6] Ленін В. І. Повне збір. тв., т. 38, с. 185.
- [7] Градовский А. Д. Национальный вопрос в истории и литературе. — Собр. соч., Санкт-Петербург. 1901, с. 228.
- [8] Градовский А. Д. Национальный вопрос в истории и литературе.— Собр. соч., Санкт-Петербург. 1901, с. 263.
- [9] Селзам Г. Марксизм и мораль. Москва, 1962, с. 251 — 252.
- [10] Див. лист Ф. Енгельса до І. Вайдемейера від 12 квітня 1853 року. — К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори, т. 28, с. 459.

Источник: Дзюба І. М. Інтернаціоналізм чи русифікація? — К. : Видавничий дім «КМ Аcaademia», 1998.

Авторханов
Абдурахман Геназович
(1908–1997)



Историк, писатель.

Родился в Чечне. Из-за семейных неурядиц покинул родной дом. В 1918 г. вступил в Комсомол, с 1927 по 1937 г. был членом ВКП(б). Окончил Институт красной профессуры в 1937 г., но в том же году был арестован как «враг народа». В заключении с перерывом пробыл до 1942 г. Затем вернулся в Чечню, где попал в плен и был депортирован в Германию. После войны остался в Германии. Защитил докторскую диссертацию по политологии, преподавал историю России, СССР, КПСС в западногерманских университетах. В 1991 г. получил почетное гражданство в Чечено-Ингушетии.

Основные произведения:

«История культа личности в СССР» (курс лекций по радио «Свобода»);

«Технология власти» (1959);

«Происхождение партократии» (1973);

«Загадка смерти Сталина» (1976);

«Сила и бессилие Брежнева» (1979);

«Мемуары» (1983);

«От Андропова к Горбачеву» (1986);

«Империя Кремля. Советский тип колониализма» (1988).

ТЕХНОЛОГИЯ ВЛАСТИ

Сталин как «политик нового типа»

<...>

Обычно было принято считать Сталина «серой скотинкой» в руководстве большевистской партии и человеком «посредственных способностей» — в политике. В лучшем случае в Сталине признавали «исправного исполнителя» чужой воли. Таким его рисует Троцкий. Таким его привыкли видеть при Ленине, таким его продолжали считать и после Ленина. Но Сталин оказался сфинксом даже для его ближайших друзей и бывших единомышленников. Нужна была смерть Ленина, чтобы «сфинкс» начал обрисовываться. У сталинцев свое особое понимание политики, тактики и стратегии. Да и партию свою они считали и считают партией особого, «нового типа». Чтобы до конца понять и смело лавировать в темнейших лабиринтах этой специфической «новой политики», надо было обладать одним неременным качеством: свободой от старой политики. Сталин, конечно, знал и «старую

политику», но знал лишь «посредственно» и в этом тоже было его величайшее преимущество. Меньше болел «детской болезнью» наивности в политике. Был свободен от всех морально-этических условностей в политической игре.

Троцкий не признавал Сталина и как теоретика партии. В марксизме, как политической доктрине коммунистов, его считали круглым невеждой. И это тоже было преимуществом Сталина. Он был свободен от догматических оков марксистской ортодоксии. «Существует марксизм догматический и марксизм творческий. Я стою на точке зрения последнего», — говорил Сталин на VI съезде партии, накануне Октябрьской революции.

В «новой политике» и «партии нового типа» Сталин не признавал ни романтики исторических воспоминаний, ни законов исторической преемственности. Приписывая Троцкому свои собственные намерения в будущем (к чему он довольно часто прибегал в других условиях и по другому поводу), говоря, что Троцкий хочет развенчать «старый большевизм», чтобы вычеркнуть из истории Ленина для утверждения собственного величия, Сталин сам был внутренне свободен от чинопочитания даже по отношению к Ленину. В «новой политике» Сталин держал курс на «новейшее». Очень характерны его слова на этот счет: «Возможно, что кой-кому из чинопочитателей не понравится подобная манера. Но какое мне до этого дело? Я вообще не любитель чинопочитателей». Поэтому Сталин признает и «старых большевиков» постольку, поскольку они способны стать «новыми». Вот и другие очень характерные его слова, произнесенные на том же апрельском пленуме:

«Если мы потому только называемся старыми большевиками, что мы старые, то плохи наши дела, товарищи. Старые большевики пользуются уважением не потому, что они старые, а потому, что они являются вместе с тем вечно новыми...»

Делая маленькое отступление, я должен тут же отметить общеизвестный факт: Сталин, конечно, признавал и вознаграждал чинопочитателей, но тех, которые коленопреклонялись только перед ним одним. И придя к власти, он доказал, что ставит себя выше Ленина и как теоретика, и как политического вождя. Вот чрезвычайно яркая иллюстрация к этому. В «Философском словаре» 1952 года, изданном под редакцией П. Юдина, есть косвенное сравнение Сталина с Лениным. О Ленине там сказано: «Ленин — величайший теоретик и вождь международного пролетариата». В том же «словаре» о Сталине говорится: «Сталин — гениальный теоретик и вождь международного пролетариата». Ленин — лишь «величайший», а Сталин — «гениальный»!

Возвращаясь к теме, нужно сказать, что и такая внутренняя свобода Сталина от ленинских норм, традиций и «чинопочитания» по отношению к Ленину тоже была сильнейшей стороной Сталина как «нового политика». Наконец, Сталин был невеждой в теоретических вопросах и не мог считаться теоретиком в смысле старого большевистского понимания «теории».

«Теоретиком» он стал, когда получил власть. Но в те годы Сталин сам хорошо понимал свое ничтожество в теории и никаких внешних амбиций в этом смысле не проявлял. Когда его бесчисленные поклонники обращались к нему, чтобы он высказывался по вопросам марксистской теории, философии, политической экономии, языка, литературы, искусства, то он совершенно серьезно сознавался в своей несостоятельности в области теории или марксистской кри-

тики. В его опубликованные сочинения вошли некоторые его ранние признания на этот счет. Так, в письме к писателю Безыменскому Сталин пишет:

«Я не знаток литературы и, конечно, не критик». В другом письме, к Максиму Горькому, он признается еще более откровенно: «Просьбу Камегулова удовлетворить не могу. Некогда! Кроме того, какой я критик, чёрт меня побери!»

Как бы это ни звучало парадоксально, слабость в теории тоже была сильной стороной Сталина, как политика «нового типа». Не находясь в догматических щупальцах Маркса и Ленина и не утруждая себя головоломными премудростями «научного социализма» будущего, в который он и не верил, Сталин оставался на почве реальности. В этой же реальности «социализм» означал не цель, а средство к цели — к власти любой ценой и при помощи любых методов. Разница между ним и Лениным была тоже существенная. Ленин пришел к власти в борьбе с враждебными партии классами. Сталин же добивался и добился ее в борьбе с собственной партией. Однако тот же Ленин учил (этому глубоко верил и Сталин), что получить власть — это еще полдела, самая важная и самая трудная задача — это удержаться у власти. Для успешного разрешения этой задачи Ленин видел только один путь: политическая изоляция, а потом и физическое уничтожение враждебных партии классов. Это учение Ленина Сталин целиком перенес на собственную партию — получить власть он мог относительно легко, но удержать ее он мог лишь по тому же ленинскому принципу: путем политической изоляции и физического уничтожения враждебных ему лиц и групп в большевистской партии. Пока что Сталин был занят разрешением «полдела» — захватом власти.

На апрельском пленуме Сталин и приступил к «политической изоляции» противников с тем, чтобы изолировать их и физически, когда новый режим личной диктатуры укрепитя окончательно. Читатель может сказать, что Ленин поступил бы точно так же, как и Сталин, если бы он имел дело с многочисленными противниками внутри партии. Обращаясь на пленуме к Томскому, Сталин так и заявил, что он, Сталин, и его группа в ЦК либеральнее Ленина: «Помните, что товарищ Ленин, — говорил Сталин, — из-за одной маленькой ошибки со стороны Томского угнал его в Туркестан».

На реплику Томского: «При благосклонном содействии Зиновьева и отчасти твоём», — Сталин ответил: ошибаешься, если думаешь, что Ленина можно было легко убедить в том, в чем он сам не был убежден.

Чтобы уничтожить при Ленине ленинскую гвардию, надо было сначала уничтожить самого Ленина. В этой гвардии был только один человек, способный на это — Сталин. В этом тоже было его исключительное преимущество.

Всего того, что было преимуществом Сталина, не хватало Бухарину. Сталинцы были правы, когда во всем этом видели «гениальность» Сталина. Остается добавить, что в этом именно и заключается «творческий» характер сталинского марксизма так же, как и секрет всепобеждающего мастерства сталинской диалектики. В этой сталинской диалектике первых лет борьбы с оппозицией террор еще не играл решающей роли. Решающую роль играла необыкновенная способность Сталина сказать в нужное время нужное слово, а сказав его, безоглядно приступить к осуществлению практического плана, если бы даже такой образ действия противоречил всем догмам и понятиям, которые до сих пор считались

«священными». При этом он действовал с точным учетом психологии рвущейся на сцену совершенно новой партийной элиты. Эта черта характера роднит Сталина с характером его исторического кумира — с Наполеоном.

«Я кончил войну в Вандее, — говорил последний, — когда стал католиком. Мое вступление в Египет было облегчено тем, что я объявил себя магометанином, а итальянских священников я завоевал на свою сторону, став ультра-монтанцем. Если бы я правил еврейским народом, я приказал бы восстановить храм Соломона».

Сталин не был теоретиком, как Бухарин, оратором, как Троцкий, даже интеллигентным человеком, как Рыков. Это тоже было его громаднейшим плюсом как лидера «нового типа».

<...>

Источник: А. Авторханов. Технология власти. М.: Советско-Британское совместное предприятие СЛОВО/SLOVO, 1991.

**Милован
Джилас
(1911–1995)**



Политический деятель, один из руководителей СФРЮ, сподвижник И.Б. Тито, писатель. Родился в Черногории. Изучал литературу и юриспруденцию в Белградском университете. В 1932 г. вступил в Компартию Югославии. Арестовывался и пробыл три года в заключении. С 1937 г. член ЦК КПЮ, с 1940 г. – член Исполкома ЦК КПЮ. Во время войны был одним из руководителей партизанского движения. После войны занимал высшие партийные и государственные посты, вплоть до председателя парламента (Союзной народной скупщины).

С конца 1953 г. выступает с публичной критикой И.Б. Тито и созданного им режима. После этого снят со всех партийных и государственных постов, арестован и приговорен сначала условно на 18 месяцев, затем осужден на 3, позднее на 7 лет тюрьмы. В октябре 1956 г. М. Джилас открыто поддержал венгерское восстание, подверг резкой критике коммунизм и режим, созданный Тито в Югославии, за что был осужден. В это время ему удается передать рукопись для опубликования.

Основные произведения: «Новый класс», «Беседы со Сталиным», «Страна без прав», «Несовершенное общество», «Партизанская война (Югославия, 1941-1945)», «Тито (опыт критической биографии)».

«Новый класс» ходил в Самиздате с начала 60-х годов. На суде над членами «Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа» (1967 г., Ленинград) «Новый класс» фигурировал в качестве вещественного доказательства. (Политический дневник, т. 1, стр. 310).

Работа представляет собой критический анализ практических результатов построения коммунистического общества в России и странах Восточной Европы, осуществленный с вполне ортодоксальных марксистских позиций. Впервые опубликована в России: Милован Джилас. Лицо тоталитаризма. – Пер. с сербохорватского. – М.: Изд-во «Новости», 1992.

НОВЫЙ КЛАСС

1

Уже подчеркивалось, что в Советском Союзе и других коммунистических странах все вышло не так, как предполагали вожди, притом наиболее авторитетные: Ленин, Сталин, а также Троцкий и Бухарин. По их представлениям, государственная машина в СССР должна была быстро ослабеть, а демократия окрепнуть. Случилось наоборот. В перспективе виделся быстрый подъем уров-

ня жизни, но он вырос незначительно, а в покоренных восточноевропейских государствах даже упал: во всяком случае, рост жизненного уровня не соответствовал поступи индустриализации, последняя ушла в отрыв. Бытовала уверенность, что противоречия между городом и деревней, умственным и физическим трудом станут постепенно нивелироваться, — они лишь углубились. Та же картина вырисовывалась в других областях, включая прогнозы развития окружающего некоммунистического мира.

Но величайшей из иллюзий являлось то, что с индустриализацией и коллективизацией, то есть с уничтожением капиталистической собственности, Советский Союз превратится в бесклассовое общество. Когда в 1936 году Сталин, приурочив это к принятию новой советской Конституции, провозгласил, что в СССР нет больше эксплуататорских классов, на самом деле был завершён уже процесс не только уничтожения капиталистов и других классов прежней системы, но и сформирован класс, не виданный ещё до той поры в истории.

И совершенно ясно, что этот класс, подобно любому до него, сам воспринял установление собственного господства и другим представил как окончательное торжество всеобщего счастья и свободы. По сравнению с другими классами разница тут единственная: к оспариванию насаждаемых иллюзий и своего права на господство этот класс относился более нетерпимо. Чем и доказывал, что господство его полновеснее любого из известных истории, а пропорционально этому велики и его классовые иллюзии и предрассудки.

Этот новый класс, бюрократия, а точнее всего сказать — политическая бюрократия, не только несет в себе все черты прежних классов из истории человеческого общества, но и выделяется определенной самобытностью, новизной. Уже само его появление, схожее, по сути, с рождением других классов, имеет свои особенности.

Другие классы в большинстве случаев также приобретали могущество и власть революционным путем, разрушая сложившиеся политические, общественные и другие отношения. Но все они, почти без исключений, добивались власти уже после того, как в старом обществе брали верх новые формы экономики. Иное дело — новый класс в коммунистических системах: к власти он приходит не за тем, чтобы завершить преобразования, а с намерением заложить фундамент новых экономических отношений и собственного господства над обществом.

В прежние эпохи приход к власти нового класса, части класса или некоей партии являлся итоговым актом формирования их самих и их сознания. В СССР произошло обратное: новый класс окончательно сформировался, уже будучи у власти. Да и развитие его сознания продвигалось — и должно было продвигаться — именно как результат того, что до тех пор он не успел прочно вписаться в жизнь нации, — с опережением ее экономических и физических возможностей, причем самой нации и ее роль, и картина мира преподносились в отретушированном, идеализированном виде. Это не снижало его практических возможностей. Напротив. Наряду с иллюзиями, и вопреки им, новый класс выступал носителем объективных тенденций индустриализации. Отсюда его практичность. Вера в обещанный им идеальный мир цементировала его ряды, сеяла иллюзии в массах, но и звала и вдохновляла их на гигантские практические свершения.

В силу того что новый класс не вышел из недр реальных общественно-экономических процессов, его зачатки могли находиться только внутри организации особого рода, опирающейся на сверхдисциплинированность и непреложное идейно-философское единообразие в своих рядах. Свои объективно слабые позиции в экономической и других сферах жизни общества зачатки нового класса должны были на первых порах компенсировать субъективными факторами особого порядка, то есть единством сознания и железной дисциплиной.

Корни нового класса находятся в партии особого – большевистского – типа. Воистину прав был Ленин, считавший свою партию уникальной в истории человечества, хотя ему и в голову не приходило, что она – начало нового класса.

Вернее всего, зачатки нового класса не находятся в партии большевистского типа как целом, а только в слое профессиональных революционеров, составлявшем партийное ядро еще до завоевания власти. Не случайно Ленин после поражения революции 1905 года утверждал, что единственно профессиональные революционеры, то есть люди, для которых революционная деятельность есть занятие, исключаящее все прочие, в состоянии создать партию нового большевистского типа. Еще менее случайно то, что именно Сталин, будущий творец нового класса, ярчайше выражал собой тип такого – профессионального – революционера. Эта крайне узкая прослойка революционеров и разовьется постепенно в новый правящий класс. Революционеры эти долгое время будут составлять его ядро. Троцкий заметил, что в предреволюционных профессиональных революционерах кроется зародыш будущего сталинистского бюрократизма. Он не понял лишь, что речь на деле шла о зародыше нового правящего эксплуататорского класса.

Но это не означает, что новая партия идентична новому классу. Партия — его ядро и основание. Практически очень трудно, невозможно даже определить границы нового класса и назвать всех, кто к нему принадлежит. Обобщая, к новому классу можно отнести тех, кто исключительно благодаря монополии на управление получает особые привилегии и материальные преимущества.

Вместе с тем поскольку управленчество есть вещь общественно необходимая, то случается, что в одной личности сочетаются полезные и паразитические функции. Очевидно, таким образом, что не каждый партиец вписывается в класс, как и буржум не является любой ремесленник или член буржуазной партии.

В широком контурном плане можно сказать следующее: по мере укрепления нового класса, когда все отчетливее вырисовывается его физиономия, роль самой партии неуклонно убывает. Внутри нее и на ее вершине, как и в государственных политических органах, вызревает ядро и основа нового класса. Некогда инициативная, живая, компактная, партия с неизбежностью превращается для олигархов нового класса в аморфный привычный довесок, все сильнее втягивающий в свои ряды жаждущих пробиться наверх, слиться с новым классом и отторгающий тех, кто по-прежнему верит в идеалы.

Партия рождает класс. Затем класс растет уже и собственными силами, используя партию – свое основание. Класс усиливается, партия слабеет – так она неотвратимая судьба каждой правящей коммунистической партии.

Никакая партия, не будучи материально заинтересованной в производстве, то есть потенциально и реально не неся в себе ни самого нового класса, ни его

собственности, не смогла бы заниматься такой идейной и моральной эквилибристикой, а тем более так долго оставаться у власти, как коммунистическая партия. По завершении первой пятилетки Сталин громогласно заявил, что, мол, не создай мы аппарат, мы бы провалились! А следовало сказать – «новый класс», и все было бы намного яснее.

То, что политическая партия может стать зародышем нового класса, выглядит не совсем стандартно. Обычно партии являются продуктом классов либо слоев, достигших духовного и экономического подъема. Но если разобраться в конкретике перипетий, с которыми столкнулась Россия, да и другие страны, где коммунизм победил главным образом внутринациональными силами, то выяснится, что именно партия такого типа и есть продукт реальных обстоятельств и что она не предстает в них чем-то необычным или случайным. Хотя верно, что корни большевизма находятся глубоко в недрах русской истории, он тем не менее еще и производная особой внешнеполитической ситуации, в которую российская национальная жизнь оказалась втянутой на рубеже XIX – XX веков. Современное развитие не оставляло России долее права на существование в виде абсолютной монархии, капитализм же там был слишком слаб, слишком зависим от интересов внешних сил, чтобы совершить промышленную революцию. На такое мог пойти только новый класс, но, разумеется, с иных – своих личных, собственнических позиций.

Этого класса еще не было.

Истории безразлично, кто поведет процесс, важно сделать необходимое. Так произошло и в России, и в других странах коммунистических революций. Революция создала силы: нужных ей предводителей, нужные организации и идеи. Новый класс произрастал из объективных условий – волей, мыслью и поступком его вождей.

2

Социально новый класс – пролетарского происхождения. Как из крестьянства вышла аристократия, а из среды средневековых торговцев, ремесленников и земледельцев – буржуазия, так главным образом из пролетариата появляется новый класс. В той или иной мере тут возможны расхождения, вызванные специфическими национальными условиями. Но «сырье», из которого произрастает, формируется новый класс, – это пролетариат слаборазвитой страны, и сам отсталый.

Между тем происхождение – не единственная, даже второстепенная причина того, почему новый класс всегда выступает от имени рабочего класса. На это его толкают и иные резоны. Во-первых, он, исповедующий антикапитализм, совершенно логично ищет поддержки в трудовых слоях, а во-вторых, – опирается на борьбу пролетариата и традиционную его веру в такое – социалистическое, коммунистическое – общество, где отсутствует brutальная эксплуатация. Кроме того, новый класс жизненно заинтересован в обеспечении нормального функционирования производства, что также одна из причин его стараний не утратить связи с пролетариатом. Но самое важное заключено в том, что он не в состоянии проводить индустриализацию и крепить таким путем собственную

мощь без рабочего класса, усматривающего, со своей стороны, в промышленном подъеме выход из нищеты и отчаяния, в которых погряз и он сам, и вся нация. Длительное время интересы, идеи, помыслы, надежды, вера нового класса и части рабочих и сельской бедноты совпадают, переплетаются. Прежде подобные слои обнаруживались и среди других классов. Не буржуазия ли, к примеру, представляла крестьян в их борьбе с феодалами?

Дорога нового класса к власти ведет, и должна вести, через участие в борьбе пролетариата, других обездоленных слоев – основной массовой опоры партии, читай: нового класса. Теснейшая взаимосвязь с его интересами сохраняется вплоть до момента, пока новый класс не установит в итоге своей власти, господства. После чего на пролетариат и бедноту обращают внимание лишь постольку, поскольку это диктуется нуждами производства и необходимостью удерживать в повиновении наиболее подвижные и мятежные слои общества.

Устанавливаемое новым классом от имени рабочего класса монопольное положение в обществе, представляющее собой в первую очередь монополию над самим рабочим классом – сначала духовную, в виде так называемого авангарда пролетариата, а затем и любую иную, – есть величайший обман, на который новому классу приходится идти. Но это же одновременно показывает, что источник могущества, как и сфера интересов нового класса, находится прежде всего в промышленности. Без нее он не в состоянии ни стабилизироваться, ни утвердить своего господства.

Бывшие сыны рабочего класса – это самый постоянный из элементов в составе нового класса. Отдавать господам наиболее прозорливых и талантливых своих представителей во все века было уделом рабов. В данном случае изнутри эксплуатируемого класса произрастает новый эксплуататорский и, по существу, собственнический класс.

3

При критическом анализе коммунистических систем обычно выделяют ключевую из присущих им черт – подчиненность народа особому сословию бюрократов. В широком смысле это верно. Но более детальный анализ покажет, что лишь конкретная бюрократическая прослойка, те, кто не является в действительности административным чиновником, составляют сердцевину господствующей бюрократии или – по моей терминологии – нового класса. На практике речь идет о партийной, то есть о политической бюрократии. Остальные служащие – лишь аппарат, ею контролируемый, раздутый, возможно, и неповоротливый, но так или иначе необходимый любому сообществу. Границу между первыми и вторыми возможно провести социологически, но в жизни она едва различима. Не потому только, что вся коммунистическая система, естественно, бюрократична, что в ней легко находит укрытие и политическая, и административная бюрократия, но и потому, что члены партии выполняют также и различные полезные административные функции. Кроме того, прослойка политических бюрократов не может сосредоточить в своих руках абсолютно всех привилегий и не поделиться крохами с другими бюрократическими категориями.

Далее здесь важно обратить внимание на определенные существенные различия между упомянутой политической властью и бюрократией, возникающей в процессе концентрации современного производства (монополии, компании, госсобственность). Не секрет, что в капиталистических монополиях неудержимо растет число служащих. Характерно это и для национализированных отраслей западной промышленности. Р. Дабин подчеркивает, что государственные служащие, занятые хозяйственной деятельностью, выделяются в особый слой:

«Функционеры живут с ощущением неделимости общей судьбы всех, кто трудится рядом. Единые интересы сплачивают, а особенно когда соперничество между собой не слишком выражено, ибо продвижение по службе зависит от количества отработанных лет. Вероятность внутригрупповых конфликтов, таким образом, сведена к минимуму, что, как полагают, позитивно действует на бюрократию. Но *esprit de corps* (дух цеховой солидарности, коллегиальность. — Прим. пер.) и достаточно неконкретное по форме, что типично для данных условий, общественное устройство часто приводит персонал к тому, что собственные узаконенные интересы он защищает с большим рвением, нежели печется о клиентах или высших чиновниках, ставших таковыми с занятием выборных должностей».

Хотя между ними много схожего, особенно тот самый *esprit de corps*, коммунистические бюрократы не тождественны упомянутому западным. Разница вот в чем: выделяясь спонтанно в особый слой, госслужащие и иные бюрократы в некоммунистических странах не определяют тем не менее судьбу собственности, как таковой, тогда как бюрократы коммунистические именно этим и занимаются. Над теми бюрократами стоят политические правители, обычно выборные, или же непосредственно хозяева, в то время как над коммунистами, кроме них самих, ни правителей, ни хозяев нет. Там мы видим все же чиновников в современном государстве и современной капиталистической экономике, а здесь наблюдаем нечто иное, новое — новый класс.

Аналогично ситуации с любым собственническим классом, и в данном случае доказательством, что речь идет об особом классе, выступает собственность, а также особые взаимоотношения с другими классами. При этом и классовая принадлежность отдельного субъекта проверяется материальными и иными преимуществами, этой собственностью предоставляемыми.

Если понятие «собственность» рассматривать согласно формуле, воспринятой наукой еще из римского права, то есть как владение, пользование и распоряжение (*usus, fructus, abusus*) материальным продуктом, то упомянутая коммунистическая политическая бюрократия таким именно образом и поступает с национализированным имуществом. А если индивидуальную принадлежность к этой бюрократии, к новому собственническому классу, рассматривать как использование преимуществ, предоставляемых собственностью, в данном случае — национализированным материальным продуктом, то принадлежность партийной, политической бюрократии к новому классу выражается в материальном вознаграждении — большем, чем то, которым общество обязано было бы оплачивать определенные функции, равно как и в привилегированном общественном положении, которое само по себе приносит всевозможные преимущества. На деле собственность нового класса проявляется в виде исключительно

го права, монополии партийной, политической бюрократии на распределение национального дохода, регламентацию уровня зарплаток, выбор направлений хозяйственного развития, а также как распоряжение национализированным и другим имуществом, что в глазах обычного человека однозначно выглядит более удобной, обеспеченной и отнюдь не перегруженной трудом жизнью коммунистических функционеров.

Разрушая частную собственность в принципе, новый класс не мог базироваться на каком-нибудь вновь изобретенном ее подвиде. Частнособственнические отношения оказались не просто негодящими для реализации его господства, но и само их устранение являлось условием экономического преобразования нации. Свое могущество, привилегии, идеологию, привычки новый класс черпает из некоей особой, специальной формы собственности. Это – коллективная собственность, то есть та, которой он управляет и которую распределяет «от имени» нации, «от имени» общества.

Более любой иной формы собственности упомянутая коммунистическая тяготеет к исключительно определенным общественным отношениям. Имеются в виду отношения между монополизированным управлением, которое осуществляет узкий, во всех смыслах обособленный круг лиц, с одной стороны, и, с другой – бесправной массой производителей: крестьян, рабочих, интеллигентов. Хотя этим указанные отношения все же полностью не ограничиваются, поскольку коммунистическая бюрократия владеет еще и монополией на распоряжение материальным продуктом.

Отсюда следует, что любое ощутимое изменение подобных общественных отношений, то есть отношений между держателями монополии на управление и теми, кто трудится, неизбежно должно было отразиться также на отношениях собственности. И наоборот: ослабление либо устранение монополии на распоряжение материальным продуктом изменило бы и упомянутые общественные отношения, то есть ситуацию, при которой одним принадлежит исключительное право управлять, а другим – обязанность трудиться.

В коммунизме общественно-политические отношения и собственность (тоталитаризм власти и монополия на собственность) сопрягаются и дополняют друг друга куда эффективнее, чем при любой иной общественной системе.

Лишить коммунистов упомянутого права на собственность равнозначно упразднению их как класса. А добиться, чтобы они допустили и другие общественные силы к этой собственности, точнее – к решению ее судьбы (как было с капиталистами, которых стачки и парламент заставили допустить рабочих к распределению прибыли, то есть опосредованно к самой собственности), значило бы лишить их монополии и на собственность, и на идеологию, и на власть. С чего и началась бы демократия и свобода в коммунизме. Поэтому до поры, когда подобное могло бы состояться, убеждать людей, не относящихся легкомысленно к социологии и считающих политику не только способом разрешения частных, ситуационных затруднений, но и рычагом, содействующим дальнейшему поступательному движению общества, убеждать таких людей в достижимости серьезных, глубинных перемен в коммунизме – значит попусту тратить время. Глубинной переменной, таким образом, являлось бы устранение коммунистического монополизма и тоталитаризма. Пока, как говорится, этим и не пахнет.

Сама собственность нового класса, как и классовая принадлежность отдельных лиц, что уже было отмечено, реализуются через управленческие привилегии. Ими пронизана вся жизнь общества – от госадминистрации и хозяйственной сферы до спортивных и гуманитарных организаций. Политическое, партийное, так называемое «общее руководство» есть сердцевина системы, способа управлять в целом. Он-то и обеспечивает привилегии. А. Уралов пишет, что среднегодовой заработок советского рабочего составлял в 1935 году тысячу восемьсот рублей, тогда как секретарь райкома вкупе со всякими приплатами получал около 45 тысяч. С тех пор положение изменилось – и у рабочих, и у партфункционера. Но суть осталась прежней. Похожие данные приводит еще ряд авторов. А то, что отношения строятся таким именно образом, не могло укрыться и от глаз гостей, посетивших в течение последних лет СССР или одну из прочих коммунистических стран.

И в иных системах есть профессиональные политики. Об этой категории людей можно думать что угодно, хорошее и плохое, но их существование – необходимость. Общество не может обойтись без государства, без власти, а равно и без тех, кто за эту власть борется.

Но профессиональные политики в иных системах коренным образом отличаются от своих коммунистических собратьев. Первые в худшем случае используют власть, чтобы прибрать к рукам привилегии для себя и своих единомышленников или же блюсти в качестве основных экономических интересы определенных слоев общества. В коммунизме по-другому. Там само правление, сама власть равнозначны владению, пользованию и распоряжению почти всеми национальными ресурсами. Захвативший власть, считай, захватил и привилегии, а также – опосредованно – и собственность. Поэтому в коммунизме власть, политика как профессия, стала если уж не всеобщим идеалом (из-за реальной его недостижимости для большинства), то определенно вожделием для тех, кто либо не в состоянии справиться с мечтой о жизни, построенной на паразитировании за чужой счет, либо чувствует, что есть у него шанс «вписаться» в сферу такой жизни.

Отсюда и то, что до революции членство в коммунистической партии означало материальное бедствование, а принадлежность к когорте профессиональных революционеров – высшую честь, теперь же, когда партия закрепила у власти, первое равносильно принадлежности к правящему классу, а второе – к его ядру, к всемогущим эксплуататорам и господам.

Коммунистическая революция и коммунистическая система долго утаивают свою природу. Так и процесс образования нового класса прикрывался не только социалистическим фразерством, но и, что важнее, новыми – коллективными – формами собственности. Процессу индустриализации была поначалу необходима новая, коллективная, так называемая общественная социалистическая собственность, в которой фактически запрятана собственность политической бюрократии. Классовая сущность этой собственности скрывалась за ширмой общенациональных интересов.

4

Маркс – Ленин – Сталин – Хрущев: меняются вожди, меняются способы подачи идей. И Маркс обладал незаурядной волей, но ему даже в голову не при-

ходило ограничивать кого-то в изложении идей; Ленин сохранял еще терпимость к свободе дискуссий в своей партии и не считал делом партийных инстанций, тем более лидера партии, предписывать, что «идейно верно», а что «идейно ошибочно»; Сталин прекратил всякие внутрипартийные дискуссии, а исключительное право на идеологию «передал» центральной инстанции, то есть себе лично. Соответствовали этому и формы, в которые выливалось движение: Международное товарищество рабочих Маркса (так называемый I Интернационал) идейно не было марксистским, являлось объединением различных групп, принимавшим лишь резолюции, на которые имелось более-менее общее согласие; ленинская партия была авангардной группировкой с внутренней революционной моралью, идейной монолитностью и основанным на этих принципах определенным уровнем демократизма; под сталинской пятой партией стала массой в идейном смысле инертных людей (коль уж идея «спускается сверху»), но зато единодушной и ревностной защитницей системы, которая обеспечивала ее несомненную привилегированность. Маркс, по сути дела, никогда никакой партии не создал; Ленин уничтожил все партии, даже социалистические – кроме собственной; Сталин и большевистскую партию отодвинул на второй план, превратив ее ядро в ядро нового класса, а партию целиком – в привилегированный обезличенный и обесцвеченный слой.

Маркс придумал стройность теории о воздействии классов и классовой борьбы на развитие общества (хотя само по себе это не его открытие), а к людям, оценивая их, подходил преимущественно с точки зрения их классовой принадлежности. Но он тем не менее регулярно повторял стоицистскую заповедь из Теренция: *Nihil a me alienum puto* (точнее: *Nihil humani a me alienum puto* – Ничто человеческое мне не чуждо. – Прим. пер.); Ленин уже о людях судил, исходя главным образом из идейных, а не классовых соображений; Сталин род человеческий делил пополам: на верноподданных и врагов. Маркс скончался как неимущий эмигрант в Лондоне, но его высоко ценили и выдающиеся мыслители, и товарищи по движению; Ленин умер, будучи вождем одной из величайших революций, но и диктатором, вокруг которого начал уже виться культовый фимиам; Сталина превратили в божество.

Эти перемены в лицах – лишь отражение перемен в действительности и, понятно, – в самой духовной атмосфере движения.

Духовным и практическим основоположником нового класса был, сам того не ведая, Ленин, создавший партию большевистского типа и теорию о ее особой роли при построении нового общества. Это, конечно, не единственная страница его гигантского многогранного наследия. Но это та страница, что проистекала из ленинских поступков помимо его воли и благодаря которой новый класс всегда считал и по сию пору считает его своим духовным родителем.

Действительным и непоколебимым создателем нового класса был Сталин. Узкоплечий коротышка, с руками и ногами несуразно длинными, а туловищем коротким, «украшенным» выпуклым брюшком, с лицом крестьянина, достаточно красивым, на котором мягко, приглушенно светились желтоватые, лучистые, улыбочивые глаза, получавший удовольствие от демонстрации своей саркастичности и хитрости, с мгновенной реакцией, любитель грубого юмора, не слишком образованный и литературно одаренный, слабый оратор, но до ге-

ниальности способный организатор, неумолимый догматик и великий администратор, грузин, лучше кого бы то ни было понявший, к чему стремятся силы новых великороссов, — он творил новый класс сверхварварскими методами, не щадя себя самого. Понятно, что прежде класс вытолкнул его на поверхность, чтобы потом всецело поддаться необузданному и жестокому сталинскому естеству. Пока класс самосозидался, пока шагал по ступеням вверх к желанному могуществу, Сталин был впереди как достойный вождь.

Новый класс зародился в революционной буре, в недрах коммунистической партии, но таким, как есть, он становился уже при революции индустриальной: без нее и без индустрии его положение не обрело бы прочности, а сила — полноты. Осуществление общенациональной задачи — промышленного переустройства — означало одновременно и победу нового класса, как такового. Так два разных процесса, совпав по времени, волей неукротимого стечения обстоятельств тесно переплелись между собой.

В разгар индустриализации, настезь распахнув двери перед прикарманиванием разнообразнейших привилегий, Сталин начал вводить значительные и все более заметные различия в заработках. Он понял, что индустриализации не будет, если новый класс не заинтересовать в ней материально, если не дать ему по-настоящему дорваться до собственности. А без индустриализации и сам новый класс вряд ли бы выжил: просто не нашел бы для этого ни исторического оправдания, ни материальных источников.

С тем же связано и расширение партийных рядов, партбюрократии в том числе. В 1927 году, накануне индустриализации, в советской коммунистической партии состояло 887 тысяч 233 человека, а в 1934, то есть после первой пятилетки, — уже 1 миллион 847 тысяч 488 человек. Явление новое, откровенно сопряженное с индустриализацией: шансы нового класса росли, росли и привилегии тех, кто к нему принадлежал. Более того, привилегии и сам класс разбухали интенсивнее, чем продвигалась индустриализация. Статистическими выкладками это подтвердить непросто, но такой вывод напрашивается сам по себе, он доступен даже поверхностному наблюдателю — тем более если помнить, что подъем производства несравнимо опережал улучшения в жизненном уровне народа. Львиная доля плодов прогресса экономики, достигнутого ценой лишений и огромного напряжения масс, со всей очевидностью «прилипала к рукам» нового класса.

И сам процесс становления нового класса не шел, да и не мог идти гладко. Соппротивление при этом оказывали не только прежние классы и партии, но и революционеры, которым никак не удавалось примирить действительность с идеалами революционной поры. В СССР отпор революционеров наиболее заметным образом проявился в конфликте между Троцким и Сталиным. Столкновение Троцкого со Сталиным, оппозиционеров в партии со Сталиным, как и режима в целом с крестьянством, не случайно принимало все более острые формы по мере обострения обстоятельств, сопровождавших индустриализацию, а именно — укрепления могущества и господства нового класса.

Замечательный оратор, писатель утонченного стиля, разящий полемист, человек широкой культуры, умница, Троцкий был лишен единственного: чувства действительности. Ему хотелось быть революционером там, где жизнь звала к обыденности. Хотелось воскресить революционную партию, а та превраща-

лась уже в нечто совершенно иное – в новый класс, индифферентный к высоким идеалам, но зато крайне небезразличный к повседневному жизненному комфорту. Он ждал действия от масс, изнуренных войной, голодом и кровью, да еще в момент, когда новый класс крепко держал уже в своих руках поводья. Успев пригубить меду из рога привилегий, класс теперь всех остальных искушал картинками тепла и уюта – нормального существования, о котором столько мечталось. Фейерверки Троцкого озаряли дали небесные, но не могли запалить огня в домашнем очаге пострадавшего человека. Он явственно чувствовал наличие у новых явлений оборотной стороны, но в чем смысл – не понимал. К тому же он никогда не был большевиком, что в равной степени недостаток его и достоинство. «Небольшевистское прошлое» заставляло Троцкого жить и действовать с постоянным внутренним ощущением ущербности. Атакуя от имени революции бюрократию, он, сам того не ведая, напал на культ партии, то есть по существу, – на новый класс. Сталин же не заглядывал далеко ни в будущее, ни в прошлое. Он оседлал стихию новой нарождавшейся силы – нового класса, политбюрократии и бюрократизма, и стал ее вождем, ее организатором. Он не проповедовал, он – решал. И, естественно, тоже сулил светлое будущее, но такое, чтобы выглядело реальным для бюрократии, чтобы ежедневно и ежечасно ощущала она сталинскую заботу о ее жизненном благополучии и надежности позиций. Речи его нельзя было назвать пламенными, скорее – бесцветными, но для нового класса то был язык действительности, в высшей степени понятный и близкий. Троцкий мечтал увидеть Европу, объятую революцией, обещал последней весь мир. Сталин возражений не высказывал, но столь рискованное мероприятие не мешало ему прежде заботиться о матушке-России и тех, кого призвал он укреплять новую систему, мощь и славу государства Российского. Троцкий был человеком революции, ушедшей в прошлое, Сталин представлял день сегодняшний, а стало быть, – и завтрашний.

Победу Сталина Троцкий расценил как «термидор», реакцию, бюрократическое извращение советской власти и революционных завоеваний. Вот почему его так задела аморальность сталинских методов. И хотя Троцкий на самом деле первым приблизился к постижению внутренней сущности современного коммунизма (пусть неосознанно, в попытке спасти его), но необходимо и признать, что до конца раскрыть эту сущность он оказался не в состоянии. Решив, что перед ним единичный «всплеск» бюрократизма, приведший к попранию чистоты партийно-революционной линии, он и выход видел в смене руководства, в «дворцовом перевороте». Но, когда такой переворот действительно произошел (после смерти Сталина), выяснилось, что сущность не меняется. Так что речь шла, и это ясно сегодня, о вещах гораздо более глубоких и кардинальных. Советский сталинский «термидор» был не только воцарением новой власти, более деспотичной, чем прежняя, но и нового класса. Продолжилась одна из сторон революции – насильственная; зарождение и укрепление нового класса стало неизбежностью.

На Ленина и революцию Сталин мог ссылаться с тем же, если не с большим, нежели Троцкий, правом – пусть дурно воспитанного, но вполне законнорожденного их чада.

История не знает другой личности, которая бы, как Ленин, так всесторонне и с таким упорством развивала одну из величайших во все времена револю-

ций. Но не знает она и личности, которая бы, подобно Сталину, проделала столь грандиозную неподъемную работу по утверждению господства и собственности некоего нового класса, вышедшего из недр одной из величайших революций и крупнейших стран. После Ленина, целиком объятая страстью и мыслью, на арене появляется «темная лошадка» – безлико-сероватая фигурка Иосифа Сталина – как символ тяжелой, неумолимой и бесцеремонной поступи нового класса к вершинам могущества.

После них обоих, после Сталина, пришло то, что должно было прийти со зрелостью нового класса – посредственность, то есть коллективное руководство и искренний с виду, добродушный, интеллектом нетронутый «человек из народа» – Никита Хрущев. Новый класс не испытывает прежней нужды ни в революционерах, ни в догматиках. Его вполне удовлетворяют «несложные» личности типа Хрущева, Маленкова, Булганина, Шепилова, каждое слово которых – слово среднего представителя этого самого класса. Новый класс и сам умирился от догматических чисток и дрессуры, ему хочется покоя. Ощувив достаточную надежность своего положения, он теперь не прочь обезопаситься и от собственного предводителя. Потому что класс переменился, а Сталин остался тем же, каким был во времена слабости класса, когда жестоко карались как те из собственных рядов, кто проявлял колебания, так и те, кто был заподозрен в возможности оного. Становлению нового класса необходимой была и сама личность Сталина, и теория его – теория обострения «классовой борьбы» даже после «победы социализма». Сегодня все это излишне. Не отрекаясь ни от чего, созданного под сталинским руководством, новый класс не признает лишь его самоуправства в последние годы, и даже не этого, а методов, задевавших сам класс или, как формулирует Хрущев, – «хороших коммунистов».

Ленинскую эпоху революции сменила сталинская эпоха укрепления власти и собственности или же индустриализации, – во имя столь желанной, спокойной и сытой, жизни нового класса. Ленинский революционный коммунизм сменили на догматический коммунизм Сталина с тем, чтобы его, в свою очередь, заменить коллективным руководством, то есть управой, осуществляемой группой олигархов.

Таковы три фазы развития нового класса в СССР, развития русского коммунизма. Да в принципе, и любого другого тоже.

Судьбой коммунизма югославского было то, что три указанные характеристики, слившись с национальным и личным, сфокусировались в одной фигуре – в Тито. Великий революционер (но без оригинальных идей), узурпатор личной власти (но без сталинской болезненной подозрительности и догматизма), он, как Хрущев, являлся к тому же представителем «народа», то есть средних партийных слоев. Именно в этом человеке, который всегда последовательно (и даже наиболее последовательно, если сравнивать с кем-то еще) оберегал сущность коммунизма, но ввиду практических выгод (как только таковые вырисовывались) не отказывался ни от одной его формы, именно в нем как в зеркале отражен целый путь коммунизма по-югославски: революция, копирование сталинизма и в итоге – отказ от него в поисках собственного облика.

Три фазы развития нового класса – Ленин, Сталин, «коллективное руководство» – не оторваны одна от другой ни в смысле содержания, ни идейно. По-своему, и Ленин был догматиком, а Сталин – революционером, так же как и «коллек-

тивное руководство» в случае нужды догму употребит наравне с революционными методами. Более того, коллективное руководство демонстрирует неприятие догматизма, только если дело касается его собственных выгод, интересов верхушки нового класса. С тем большей настойчивостью необходимо параллельно «перевоспитывать» народ, активно внушая ему догму, то есть марксизм-ленинизм. Ослабляя жесткость и меру исключительности догмы, новый класс, мощный экономически, обретает большую гибкость и восприимчивость к потребностям практики.

Окончилась героическая пора коммунизма.

Завершилась эпоха великих его вождей.

Грядет эпоха практиков. Новый класс – вот он. Он в апогее сил и богатства, но – без свежих идей. И нечего ему больше сказать миру. Осталось лишь разобратся в нем самом – новом классе.

<...>

БЕСЕДЫ СО СТАЛИНЫМ

Увлечение

<...>

Как только мы из прихожей вошли в небольшой холл, появился Сталин – на этот раз в ботинках, в своем простом, застегнутом доверху френче, известном по довоенным картинам. В нем он казался еще меньше ростом и еще более простым, совсем домашним. Он ввел нас в свой небольшой и, как ни странно, почти пустой кабинет — без книг, без картин, с голыми деревянными стенами. Мы сели возле небольшого письменного стола, и он сразу начал расспрашивать о событиях вокруг югославского Верховного штаба.

По тому, как он этим интересовался, само собою обнаруживалось и различие между Сталиным и Молотовым.

У Молотова нельзя было проследить ни за мыслью, ни за процессом ее зарождения.

Характер его оставался также всегда замкнутым и неопределенным. Сталин же обладал живым и почти беспокойным темпераментом. Он спрашивал — себя и других и полемизировал — сам с собою и с остальными. Не хочу сказать, что Молотов не проявлял темперамента или что Сталин не умел сдерживаться и притворяться, — позже я и того и другого видел и в этих ролях. Просто Молотов был всегда без оттенков, всегда одинаков, вне зависимости от того, о чем или о ком шла речь, в то время как Сталин был совсем другим в своей коммунистической среде. Черчилль охарактеризовал Молотова как совершенного современного робота.

Это верно. Но это только внешняя и только одна из его особенностей.

Сталин был холоден и расчетлив не меньше Молотова. Однако у Сталина была страстная натура со множеством лиц, причем каждое из них было настолько убедительно, что казалось, что он никогда не притворяется, а всегда искренне переживает каждую из своих ролей. Именно поэтому он обладал большей проницательностью и большими возможностями, чем Молотов.

Создавалось впечатление, что Молотов на все — в том числе на коммунизм и его конечные цели — смотрит, как на величины относительные, как на что-то, чему он подчиняется не столько по собственному хотению, сколько в силу неизбежности. Для него как будто не существовало постоянных величин.

Преходящей, несовершенной реальности, ежедневно навязывающей нечто новое, он отдавал себя и всю свою жизнь. И для Сталина все было преходящим. Но это была его философская точка зрения. Потому что за преходящим и в нем самом — за данной реальностью и в ней самой — скрываются некие абсолютные великие идеалы, его идеалы, к которым он может приблизиться, конечно, исправляя и сменяя при этом саму реальность и находящихся в ней живых людей.

Глядя в прошлое, мне кажется, что Молотов со своим релятивизмом и способностью к мелкой ежедневной практике и Сталин со своим фанатическим догматизмом, более широкими горизонтами и инстинктивным ощущением будущих, завтрашних возможностей идеально дополняли друг друга. Больше того, Молотов, хотя и мало что способный сделать без руководства Сталина, был последнему во многом необходим. Оба не стеснялись в выборе средств, но мне кажется, что Сталин их все-таки более внимательно обдумывал и сообразовывал с обстоятельствами. Для Молотова же выбор средств был заранее безразличен и неважен. Я думаю, что он не только подстрекал Сталина на многое, но и поддерживал его, устранял его сомнения. И хотя главная роль в претворении отсталой России в современную промышленную имперскую силу принадлежит Сталину — благодаря его многогранности и пробивной силе, — было бы ошибочно недооценивать роль Молотова, в особенности как практика.

Молотов и физически был как бы предназначен для такой роли: основательный, размеренный, собранный и выносливый. Он пил больше Сталина, но его тосты были короче и нацелены на непосредственный политический эффект. Его личная жизнь была незаметной, и, когда я через год познакомился с его женой, скромной и изящной, у меня создалось впечатление, что на ее месте могла быть и любая другая, способная выполнять определенные, необходимые ему функции.

Разговор у Сталина начался с его возбужденных вопросов о дальнейшей судьбе Верховного штаба и подразделений вокруг него.

— Они перемрут с голоду! — волновался он.

Но я доказывал ему, что этого не может произойти.

— Как не может? — продолжал он. — Сколько раз бывало, что борцов уничтожал голод! Голод — это страшный противник любой армии.

Я объяснил ему:

— Местность там такая, что всегда можно найти какую-нибудь еду. Мы бывали и в гораздо более тяжелых положениях, и нас не сломил голод.

Мне удалось его убедить и успокоить.

Затем он снова заговорил о возможности оказания нам помощи. Советский фронт был слишком далеко, и истребители не могли еще сопровождать транспортные самолеты. В какой-то момент Сталин вспыхнул и начал ругать летчиков:

— Они трусы — боятся летать днем! Трусы, ей-богу, трусы!

Но Молотов, хорошо разбиравшийся во всей проблеме, начал защищать летчиков:

– Нет, они не трусы, отнюдь нет. Но у истребителей меньший радиус действия, и транспортные самолеты были бы сбиты, прежде чем достигли цели.

И полезный груз их незначителен — они должны забирать много горячего для обратного полета.

Именно поэтому они могут летать только ночью и только с небольшим грузом.

Я поддержал Молотова, так как знал, что советские летчики добровольно предлагали летать и днем, то есть без защиты истребителей, только чтобы помочь югославским товарищам по борьбе.

Но я полностью согласился со Сталиным, который считал, что Тито, при нынешнем развившемся и сложном положении, должен иметь более постоянное местопребывание и избавиться от необходимости быть все время начеку.

Сталин, конечно, думал при этом и о советской миссии, по настоянию которой Тито только что согласился эвакуироваться в Италию, а оттуда на югославский остров Вис, где он оставался до прорыва Красной Армии в Югославию.

Сталин, правда, ничего не сказал об этой эвакуации, но мысль о ней уже формировалась в его голове.

Союзники уже согласились на создание советской воздушной базы на итальянской территории для помощи югославским борцам, и Сталин подчеркнул необходимость ускоренной переброски транспортных самолетов и приведения в готовность самой базы.

Мой оптимизм по поводу исхода этого немецкого наступления на Тито явно привел Сталина в хорошее настроение, и он перешел к нашим отношениям с союзниками, в первую очередь с Великобританией, что и было — как мне уже тогда показалось — главной целью этой встречи со мной.

Сущность его мыслей состояла, с одной стороны, в том, что не надо «пугать» англичан, — под этим он подразумевал, что следует избегать всего, вызывающего у них тревогу в связи с тем, что в Югославии революция и к власти придут коммунисты.

– Зачем вам красные пятиконечные звезды на шапках? Не форма важна, а результаты, а вы — красные звезды! Ей-богу, звезды не нужны! — сердился Сталин.

Но он не скрывал, что его раздражение невелико, — это был только упрек.

Я ему разъяснил:

– Красные звезды снять невозможно, они стали уже традицией и приобрели в глазах наших бойцов определенный смысл.

Он остался при своем мнении, но не настаивал и снова перешел к взаимоотношениям с западными союзниками:

– А вы, может быть, думаете, что мы, если мы союзники англичан, забыли, кто они и кто Черчилль? У них нет большей радости, чем нагадить своим союзникам, — в первой мировой войне они постоянно подводили и русских, и французов. А Черчилль?

Черчилль, он такой, что, если не побережешься, он у тебя копейку из кармана утянет. Да, копейку из кармана! Ей-богу, копейку из кармана! А Рузвельт?

Рузвельт не такой — он засовывает руку только за кусками покрупнее. А Черчилль?

Черчилль — и за копейкой.

Он несколько раз повторил, что нам следует опасаться «Интеллидженс сер-

вис» и коварства — особенно английского — в отношении жизни Тито:

— Ведь они убили генерала Сикорского, — а Тито бы и тем более. Что для них пожертвовать двумя-тремя людьми для Тито — они своих не жалеют! А про Сикорского — это не я говорю, это мне Бенеш рассказывал: посадили Сикорского в самолет и прекрасно свалили — ни доказательств, ни свидетелей.

Сталин несколько раз повторил эти предостережения, а я по возвращении передал их Тито. Они, очевидно, сыграли известную роль в подготовке его конспиративного ночного полета с острова Вис на советскую оккупационную территорию в Румынии 21 сентября 1944 года.

Затем Сталин перешел к нашим взаимоотношениям с югославским королевским правительством. Новым королевским представителем был доктор Иван Шубашич, который обещал урегулировать взаимоотношения с Тито и признать Народно-освободительную армию главной силой в борьбе против оккупантов.

Сталин настаивал:

— Не отказывайтесь от переговоров с Шубашичем, ни в коем случае не отказывайтесь. Не атакуйте его сразу — надо посмотреть, чего он хочет.

Поговорите с ним. Вы не можете получить признания сразу — надо найти к этому переход. С Шубашичем надо говорить, может, с ним можно как-то сговориться.

Он настаивал не категорически, но упорно. Я передал все Тито и членам Центрального комитета, и, надо полагать, это сыграло роль в известном соглашении Тито — Шубашич.

Затем Сталин пригласил нас к ужину, но в холле мы задержались перед картой мира, на которой Советский Союз был обозначен красным цветом и потому выделялся и казался больше, чем обычно. Сталин провел рукой по Советскому Союзу и воскликнул, продолжая свои высказывания по поводу британцев и американцев:

— Никогда они не смиряются с тем, чтобы такое пространство было красным — никогда, никогда!

На этой карте я обратил внимание на район Сталинграда, обведенный с запада синим карандашом, — очевидно, это сделал Сталин до или во время битвы за Сталинград.

Он заметил мой взгляд, и мне показалось, что ему это приятно, хотя он никак не обнаружил своих чувств.

Не помню, по какому поводу я заметил:

— Без индустриализации Советский Союз не смог бы удержаться и вести такую войну.

Сталин прибавил:

— Вот из-за этого мы и поссорились с Троцким и Бухариным.

Это было единственный раз — здесь, перед картой, — что я когда-либо слышал от него об этих его противниках: «Поссорились!».

В столовой нас уже ожидали стоя два или три человека из советских верхов, но из Политбюро не было никого, кроме Молотова. Я забыл их имена — да они и так всю ночь молчали и держались замкнуто.

В своих воспоминаниях Черчилль образно описывает импровизированный ужин в Кремле у Сталина. Но у Сталина постоянно так ужинали.

В просторной, без украшений, но отделанной со вкусом столовой на передней половине длинного стола были расставлены разнообразные блюда в подогретых и покрытых крышками тяжелых серебряных мисках, а также напитки, тарелки и другая посуда. Каждый обслуживал себя сам и садился куда хотел вокруг свободной половины стола. Сталин никогда не сидел во главе, но всегда садился на один и тот же стул: первый слева от главы стола.

Выбор еды и напитков был огромным — преобладали мясные блюда и разные сорта водки. Но все остальное было простым, без претензии. Никто из прислуги не появлялся, если Сталин не звонил, а понадобилось это только один раз, когда я захотел пива. Войти в столовую мог только дежурный офицер. Каждый ел что хотел и сколько хотел, предлагали и понуждали только пить — просто так и под здравицы.

Такой ужин обычно длился по шести и более часов — от десяти вечера до четырех-пяти утра. Ели и пили не спеша, под непринужденный разговор, который от шуток и анекдотов переходил на самые серьезные политические и даже философские темы.

На этих ужинах в неофициальной обстановке приобретала свой подлинный облик значительная часть советской политики, они же были и наиболее частым и самым подходящим видом развлечения и единственной роскошью в однообразной и угрюмой жизни Сталина.

Сотрудники Сталина тоже привыкли к такому образу жизни и работы, проводя ночи на ужинах у Сталина или у кого-нибудь из других руководителей. В своих кабинетах они до обеда не появлялись, зато обыкновенно оставались в них до поздней ночи. Это усложняло и затрудняло работу высшей администрации, но она приспособилась. Приспособился и дипломатический корпус, поскольку он имел контакт с кем-нибудь из членов Политбюро.

Не было никакой установленной очередности присутствия членов Политбюро или других высокопоставленных руководителей на этих ужинах. Обычно присутствовали те, кто имел какое-то отношение к делам гостя или к текущим вопросам. Но круг приглашаемых был, очевидно, узок, и бывать на этих ужинах считалось особой честью. Один лишь Молотов бывал на них всегда — я думаю, потому, что он был не только наркомом (а затем министром) иностранных дел, но фактически заместителем Сталина.

На этих ужинах советские руководители были наиболее близки между собой, наиболее интимны. Каждый рассказывал о новостях своего сектора, о сегодняшних встречах, о своих планах на будущее. Богатая трапеза и большое, хотя не чрезмерное количество алкоголя оживляли дух, углубляли атмосферу сердечности и непринужденности. Неопытный посетитель не заметил бы почти никакой разницы между Сталиным и остальными. Но она была: к его мнению внимательно прислушивались, никто с ним не спорил слишком упрямо — все несколько походило на патриархальную семью с жестким хозяином, выходок которого челядь всегда побаивалась.

Сталин поглощал количество еды, огромное даже для более крупного человека. Чаще всего это были мясные блюда — здесь чувствовалось его горское происхождение. Он любил и различные специальные блюда, которыми изобилует эта страна с разным климатом и цивилизациями, но я не заметил, чтобы какое-

то определенное блюдо ему особенно нравилось. Пил он скорее умеренно, чаще всего смешивая в небольших бокалах красное вино и водку. Ни разу я не заметил на нем признаков опьянения, чего не мог бы сказать про Молотова, а в особенности про Берию, который был почти пьяницей. Регулярно объедавшиеся на таких ужинах советские вожди, днем ели мало и нерегулярно, а многие из них один день в неделю для «разгрузки» проводили на фруктах и соках.

На этих ужинах перекраивалась судьба громадной русской земли, освобожденных стран, а во многом и всего человечества. На них, конечно, никто не выступал в поддержку крупных творческих произведений «инженеров человеческих душ», зато, надо полагать, многие из этих произведений были там навеки похоронены.

Одного я там ни разу не слышал — разговоров о внутрипартийной оппозиции и о расправах с нею. Это, очевидно, входило главным образом в компетенцию лично Сталина и секретной полиции. А поскольку советские вожди были тоже только людьми, — про совесть они часто забывали, тем более охотно, что воспоминание о ней могло быть опасным для их собственной участи.

Я упомянул только то, что мне показалось значительным при этих свободных и незаметных переходах с темы на тему на этой встрече.

Напоминая о прежних связях южных славян с Россией, я сказал:

— Русские цари не понимали стремлений южных славян, для них важно было империалистическое наступление, а для нас — освобождение.

Сталин интересовался Югославией иначе, чем остальные советские руководители. Он не расспрашивал про жертвы и разрушения, а про то, какие создались там внутренние отношения и каковы реальные силы повстанческого движения. Но и эти сведения он добывал, не ставя вопросы, а в ходе собеседования.

В какой-то момент он заинтересовался Албанией:

— Что там происходит на самом деле? Что это за народ?

Я объяснил:

— В Албании происходит более или менее то же самое, что в Югославии.

Албанцы — наиболее древние жители Балкан, старше славян.

— А откуда у них славянские названия населенных пунктов? — спросил Сталин.

— Может быть, у них все-таки есть какие-то связи со славянами?

Я разъяснил и это:

— Славяне раньше населяли долины — оттуда славянские названия поселений, албанцы их во времена турок оттеснили.

Сталин лукаво подмигнул:

— А я надеялся, что албанцы хоть немного славяне. Рассказывая о способах ведения борьбы и жестокости войны в Югославии, я пояснил, что мы не берем немцев в плен, потому что и они каждого нашего убивают. Сталин перебил с улыбкой:

— А наш один конвоировал большую группу немцев и по дороге перебил их всех, кроме одного. Спрашивают его, когда он пришел к месту назначения: «А где остальные?» «Выполняю, — говорит, — распоряжение Верховного Главнокомандующего: перебить всех до одного — вот я вам и привел одного».

В разговоре он заметил о немцах:

— Они странный народ — как овцы. Я помню в детстве: куда баран, туда за ним и остальные. Помню, когда я был до революции в Германии: группа немецких социал-демократов опоздала на съезд, так как должны были ожидать про-

верки билетов или чего-то в этом роде. Разве русские так бы поступили?

Кто-то хорошо сказал: в Германии совершить революцию невозможно, так как пришлось бы мять траву на газонах.

Он спрашивал меня, как называются по-сербски отдельные предметы.

Естественно, обнаружилось большое сходство между русским и сербским языками.

— Ей-богу, — воскликнул Сталин, — что тут еще говорить: один народ!

Рассказывали и анекдоты, и Сталину особенно понравился один, который рассказал я. Разговаривают турок и черногорец в один из редких моментов перемирия. Турок интересуется, почему черногорцы все время затевают войны.

«Для грабежа, — говорит черногорец. — Мы — люди бедные, вот и смотрим, нельзя ли где пограбить.

А вы ради чего воюете?» «Ради чести и славы», — отвечает турок. На это черногорец: «Ну да, каждый воюет ради того, чего у него нет».

Сталин с хохотом прокомментировал:

— Ей-богу, глубокая мысль: каждый воюет ради того, чего у него нет!

Смеялся и Молотов, но опять скупое и беззвучное — действительно, у него не было способности ни создавать, ни воспринимать юмор, Сталин расспрашивал, с кем из руководителей я встречался в Москве. Когда я упомянул Димитрова и Мануильского, он заметил:

— Димитров намного умнее Мануильского, намного умнее.

В связи с этим он вспомнил о роспуске Коминтерна:

— Они, западные, настолько подлы, что нам ничего об этом даже не намекнули. А мы вот упрямые: если бы они нам что-нибудь сказали, мы бы его до сих пор не распустили! Положение с Коминтерном становилось все более ненормальным. Мы с Вячеславом Михайловичем тут голову ломаем, а Коминтерн проталкивает свое — и все больше недоразумений. С Димитровым работать легко, а с другими труднее. Но что самое важное: само существование всеобщего коммунистического форума, когда коммунистические партии должны найти национальный язык и бороться в условиях своей страны, — ненормальность, нечто неестественное.

Во время ужина пришли две телеграммы — Сталин дал мне прочесть и ту и другую.

В одной было содержание разговора Шубашича в государственном департаменте.

Шубашич стоял на такой точке зрения: мы, югославы, не можем идти ни против Советского Союза, ни проводить антирусскую политику, потому что у нас очень сильны славянские и прорусские традиции. Сталин на это заметил:

— Это он, Шубашич, пугает американцев! Но почему он их пугает? Да, пугает их! Но почему, почему?

Затем он прибавил, очевидно, заметив удивление на моем лице:

— Они крадут у нас телеграммы, но и мы у них.

Вторая телеграмма была от Черчилля. Он сообщал, что завтра начнется высадка во Франции. Сталин начал издеваться над телеграммой:

— Да, будет высадка, если не будет тумана. Всегда до сих пор находилось что-то, что им мешало, — сомневаюсь, что и завтра что-нибудь будет. Они ведь могут натолкнуться на немцев! Что, если они натолкнутся на немцев?

Высадки, может, и не будет, а как до сих пор — обещания.

Молотов, как всегда заикаясь, начал доказывать:

— Нет, на этот раз будет на самом деле.

У меня не создалось впечатления, что Сталин серьезно сомневается в высадке союзников, а что ему хотелось ее высмеять — в особенности высмеять причины предыдущих откладываний высадки.

Суммируя сегодня впечатления того вечера, мне кажется, что я мог бы сделать следующие выводы: Сталин сознательно запугивал югославских руководителей, чтобы ослабить их контакты с Западом, одновременно стараясь подчинить своим интересам их политику, превратить ее в придаток своей западной политики, в особенности в отношениях с Великобританией.

Основываясь на своих идеях и практике и на собственном историческом опыте, он считал надежным только то, что зажато в его кулаке; каждого же, находящегося вне его полицейского контроля, он считал своим потенциальным противником. Течение войны вырвало югославскую революцию из-под его контроля, а власть, которая из нее рождалась, слишком хорошо осознала свои собственные возможности, и он не мог ей прямо приказывать. Он это знал и просто делал что мог, используя антикапиталистические предрассудки югославских руководителей, пытаясь привязать этих руководителей себе и подчинить их политику своей.

Мир, в котором жили советские вожди, — а это был и мой мир, — постепенно начинал представлять передо мною в новом виде: ужасная, не прекращающаяся борьба на всех направлениях. Все обнажалось и концентрировалось на сведении счетов, которые отличались друг от друга лишь по внешнему виду и где в живых оставался только более сильный и ловкий. И меня, исполненного восхищения к советским вождям, охватывало теперь головокружительное изумление при виде воли и бдительности, не покидавших их ни на мгновение.

Это был мир, где не было иного выбора, кроме победы или смерти.

Таков был Сталин — творец новой социальной системы.

Сомнения

1

Мне, наверное, не пришлось бы ехать во второй раз в Москву и снова встречаться со Сталиным, если бы я не стал жертвой своей прямолинейности.

Дело в том, что после прорыва Красной Армии в Югославию и освобождения Белграда осенью 1944 года произошло столько серьезных — одиночных и групповых — выпадов красноармейцев против югославских граждан и военнослужащих, что это для новой власти и Коммунистической партии Югославии переросло в политическую проблему.

Югославские коммунисты представляли себе Красную Армию идеальной, а в собственных рядах немилосердно расправлялись даже с самыми мелкими грабителями и насильниками. Естественно, что они были поражены происшедшим больше, чем рядовые граждане, которые по опыту предков ожидают

грабежа и насилий от любой армии. Однако эта проблема существовала и усложнялась тем, что противники коммунистов использовали выходки красноармейцев для борьбы против неукрепившейся еще власти и против коммунизма вообще. И еще тем, что высшие штабы Красной Армии были глухи к жалобам и протестам, и создавалось впечатление, что они намеренно смотрят сквозь пальцы на насилия и насильников.

Как только Тито вернулся из Румынии в Белград, — одновременно он побывал в Москве и впервые встретился со Сталиным, — надо было решить и этот вопрос.

На совещании у Тито, где кроме Карделя и Ранковича присутствовал и я, решили переговорить с начальником советской миссии, генералом Корнеевым. А чтобы Корнеев воспринял все это как можно серьезнее, договорились, что встречаться с ним будет не один Тито, а мы троим и еще два выдающихся югославских командующих — генералы Пеко Дапчевич и Коча Попович.

Тито изложил Корнееву проблему в весьма смягченной и вежливой форме, и поэтому нас очень удивил его грубый и оскорбительный отказ. Мы советского генерала пригласили как товарища и коммуниста, а он выкрикивал:

— От имени советского правительства я протестую против подобной клеветы на Красную Армию, которая...

Напрасны были все наши попытки его убедить — перед нами внезапно оказался разъяренный представитель великой силы и армии, которая «освобождает».

Во время разговора я сказал:

— Трудность состоит еще в том, что наши противники используют это против нас, сравнивая выпады красноармейцев с поведением английских офицеров, которые таких выпадов не совершают.

Особенно грубо и не желая ничего понимать, Корнеев реагировал именно на эту фразу:

— Самым решительным образом протестую против оскорблений, наносимых Красной Армией путем сравнения ее с армиями капиталистических стран!

Югославские власти только через некоторое время собрали данные о беззакониях красноармейцев: согласно заявлениям граждан, произошел 121 случай изнасилования, из которых — изнасилование с последующим убийством, и 1204 случая ограбления с нанесением повреждений — цифры не такие уж малые, если принять во внимание, что Красная Армия вошла только в северо-восточную часть Югославии. Эти цифры показывают, что югославское руководство обязано было реагировать на эти инциденты как на политическую проблему, тем более серьезную, что она сделалась также предметом внутрипартийной борьбы. Коммунисты эту проблему ощутили и как моральную: неужели это и есть та идеальная Красная Армия, которую мы ждали с таким нетерпением?

<...>

И все же я был приятно удивлен, когда на интимный ужин на даче Сталина пригласили и меня. Доктор Шубашич, разумеется, об этом даже не подозре-

вал — из югославов там были только мы, югославские министры-коммунисты, а с советской стороны ближайшие сотрудники Сталина: Маленков, Булганин, генерал Антонов, Берия и, конечно, Молотов.

Как обычно, около десяти часов вечера мы собрались за столом у Сталина — я приехал вместе с Тито. Во главе стола сел Берия, справа Маленков, затем я и Молотов, потом Андреев и Петрович, а слева Сталин, Тито, Булганин и генерал Антонов, начальник Генерального штаба.

Берия был тоже небольшого роста — в Политбюро у Сталина, наверное, и не было людей выше его. Берия тоже был полный, зеленовато-бледный, с мягкими влажными ладонями. Когда я увидел его четырехугольные губы и жабий взгляд сквозь пенсне, меня как током ударило — настолько он был похож на Вуйковича, одного из начальников белградской королевской полиции, особым пристрастием которого было мучить коммунистов. Только усилием воли я отогнал от себя неприятное сравнение, напрашивавшееся так назойливо еще потому, что сходство было не только внешнее, а и в выражении — смесь самоуверенности, насмешливости, чиновничьего раболепия и осторожности. Берия был грузин, как и Сталин, но это нельзя было заключить по его внешности — грузины обычно костистые и брюнеты. Он и тут был неопределенным — его можно было принять за славянина или литовца, а скорее всего за какую-то смесь.

Маленков был еще более низкорослым и полным, но типичным русским с монгольской примесью — немного рыхлый брюнет с выдающимися скулами. Он казался замкнутым, внимательным человеком без ярко выраженного характера. Под слоями и буграми жира как будто двигался еще один человек, живой и находчивый, с умными и внимательными черными глазами. В течение долгого времени было известно, что он неофициальный заместитель Сталина по партийным делам. Почти все, связанное с организацией партии, возвышением и снятием партработников, находилось в его руках. Он изобрел «номенклатурные списки» кадров — подробные биографии и автобиографии всех членов и кандидатов многомиллионной партии, которые хранились и систематически обрабатывались в Москве. Я использовал встречу, чтобы попросить у него произведение Сталина «Об оппозиции», которое было изъято из открытого употребления из-за содержащихся в нем многочисленных цитат Троцкого, Бухарина и других. На следующий день я получил подержанный экземпляр — он и сейчас в моей библиотеке.

Булганин был в генеральской форме. Крупный, красивый и типично русский, со старинной бородкой и весьма сдержанный в выражениях. Генерал Антонов был еще молод — красивый и стройный брюнет, в разговор он вмешивался, только когда дело его касалось.

Очутившись лицом к лицу со Сталиным, я вдруг почувствовал уверенность в себе, хотя он ко мне и здесь долго не обращался.

Только когда атмосфера оживилась благодаря напиткам, тостам и шуткам, Сталин посчитал, что наступило время покончить распрю со мной. Он сделал это полусутопливым образом: налил мне стопку водки и предложил выпить за Красную Армию. Не сразу поняв его намерение, я хотел выпить за его здоровье.

— Нет, нет, — настаивал он, усмехаясь и испытующе глядя на меня, — именно за Красную Армию! Что, не хотите выпить за Красную Армию?

Разумеется, я выпил, хотя у Сталина я избегал пить что-либо, кроме пива, потому что я не люблю алкоголь и потому что пьянство не вязалось с моими взглядами, хотя я никогда не был и проповедником трезвости.

Затем Сталин спросил — что там было с Красной Армией? Я ему объяснил, что вовсе не хотел оскорблять Красную Армию, а хотел указать на ошибки некоторых ее служащих и на политические затруднения, которые нам это создавало.

Сталин перебил:

— Да. Вы, конечно, читали Достоевского? Вы видели, какая сложная вещь человеческая душа, человеческая психология? Представьте себе человека, который проходит с боями от Сталинграда до Белграда — тысячи километров по своей опустошенной земле, видя гибель товарищей и самых близких людей!

Разве такой человек может реагировать нормально? И что страшного в том, если он пошалит с женщиной после таких ужасов? Вы Красную Армию представляли себе идеальной. А она не идеальная и не была бы идеальной, даже если бы в ней не было определенного процента уголовных элементов — мы открыли тюрьмы и всех взяли в армию. Тут был интересный случай.

Майор-летчик пошалил с женщиной, а нашелся рыцарь-инженер, который начал ее защищать. Майор за пистолет: «Эх ты, тыловая крыса!» — и убил рыцаря-инженера. Осудили майора на смерть. Но дело дошло до меня, я им заинтересовался и — у меня на это есть право как у Верховного Главнокомандующего во время войны — освободил майора, отправил его на фронт. Сейчас он один из героев. Воина надо понимать. И Красная Армия не идеальна. Важно, чтобы она била немцев — а она их бьет хорошо, — все остальное второстепенно.

Немного позже, после возвращения из Москвы, я с ужасом узнал и о гораздо большей степени «понимания» им грехов красноармейцев. Наступая по Восточной Пруссии, советские солдаты, в особенности танкисты, давили и без разбора убивали немецких беженцев — женщин и детей. Об этом сообщили Сталину, спрашивая его, что следует делать в подобных случаях. Он ответил:

«Мы читаем нашим бойцам слишком много лекций — пусть и они проявляют инициативу!»

Сталин спросил меня:

— А генерал Корнеев, начальник нашей миссии, что он за человек?

Я не хотел говорить о Корнееве и о его миссии что-либо дурное, хотя сказать можно было многое. Сталин продолжал:

— Он, бедняга, не глуп, но он пьяница, неизлечимый пьяница!

После этого Сталин начал шутить по поводу того, что я пил пиво, которое я, кстати, тоже не люблю:

— А Джилас пьет пиво, как немец, как немец — он немец, ей-богу, немец.

Мне эта шутка пришлась не очень по вкусу: в то время немцы — даже и то небольшое количество коммунистов-эмигрантов на нашей стороне — котировались в Москве ниже всех прочих, но я принял ее не сердясь и без внутреннего возмущения.

Этим, как казалось, спор вокруг Красной Армии был исчерпан. Отношение Сталина ко мне стало сердечным, как прежде.

Так это продолжалось до конфликта между югославскими советским ЦК в 1948 году, когда Молотов и Сталин в своих письмах снова использовали и извратили этот самый спор и «оскорбления», которые я нанес Красной Армии.

Сталин намеренно — одновременно и шутливо и зло — поддразнивал Тито: плохо отзывался о югославской и хорошо о болгарской армии. Недавно, прошедшей зимой, югославские части, пополненные свежемобилизованными новобранцами, впервые участвовали в серьезных регулярных боевых операциях и терпели неудачи. Сталин, очевидно, имевший обо всем точные сведения, язвил:

— Болгарская армия лучше югославской. У болгар были недостатки и враги в армии.

Но они расстреляли десяток-другой — и сейчас все в порядке. Болгарская армия очень хороша — обученная, дисциплинированная. А ваша, югославская, — все еще партизаны, неспособные к серьезным фронтовым сражениям. Один немецкий полк зимой разогнал вашу дивизию! Полк — дивизию!

Немного погодя Сталин предложил тост за югославскую армию, не забыв при этом прибавить:

— Но за такую, которая будет хорошо драться и на равнине!

Тито воздерживался от реакций на замечания Сталина. Когда Сталин отпускал какую-нибудь остроту по нашему адресу, Тито со сдержанной улыбкой молча поглядывал на меня, а я его взгляд встречал с солидарностью и симпатией. Но когда Сталин сказал, что болгарская армия лучше югославской, Тито не выдержал и воскликнул, что югославская армия быстро устранит свои недостатки.

В отношениях между Сталиным и Тито было что-то особое, недосказанное — как будто между ними существовали какие-то взаимные обиды, но ни один ни другой по каким-то своим причинам их не высказывал. Сталин следил за тем, чтобы никак не обидеть лично Тито, но одновременно мимоходом придирался к положению в Югославии. Тито же относился к Сталину с уважением, как к старшему, но чувствовалось, что он дает отпор, в особенности сталинским упрекам по поводу положения в Югославии.

В какой-то момент Тито сказал, что в социализме существуют новые явления и что социализм проявляет себя сейчас по-иному, чем прежде, на что Сталин заявил:

— Сегодня социализм возможен и при английской монархии. Революция нужна теперь не повсюду. Тут недавно у меня была делегация британских лейбористов и мы говорили как раз об этом. Да, есть много нового. Да, даже и при английском короле возможен социализм.

Как известно, Сталин никогда открыто не становился на такую точку зрения.

Британские лейбористы вскоре после этого получили большинство на выборах и национализировали свыше 20% промышленности. Но все-таки Сталин никогда не признал эти меры социалистическими и не назвал лейбористов социалистами. Я думаю, что он не сделал этого главным образом из-за несогласия и столкновений с лейбористским правительством во внешней политике.

Во время разговора об этом я сказал, что в Югославии, в сущности, советская власть — все ключевые позиции в руках коммунистической партии и никакой серьезной оппозиционной партии нет. Но Сталин с этим не согласился:

— Нет, у вас не советская власть — у вас нечто среднее между Францией де Голля и Советским Союзом.

Тито добавил, что в Югославии происходит нечто новое. Но дискуссия осталась неоконченной.

Я внутренне не согласился с точкой зрения Сталина и думаю, что мое мнение не отличалось от мнения Тито.

Сталин изложил свою точку зрения и на существенную особенность идущей войны.

— В этой войне не так, как в прошлой, а кто занимает территорию, насаждает там, куда приходит его армия, свою социальную систему. Иначе и быть не может.

Он без подробных обоснований изложил суть своей панславистской политики:

— Если славяне будут объединены и солидарны — никто в будущем пальцем не шевельнет. Пальцем не шевельнет! — повторял он, резко рассекая воздух указательным пальцем.

Кто-то высказал мысль, что немцы не оправятся в течение следующих пятидесяти лет. Но Сталин придерживался другого мнения:

— Нет, оправятся они, и очень скоро. Это высокоразвитая промышленная страна с очень квалифицированным и многочисленным рабочим классом и технической интеллигенцией — лет через двенадцать-пятнадцать они снова будут на ногах. И поэтому нужно единство славян. И вообще, если славяне будут едины — никто пальцем не шевельнет.

В какой-то момент он встал, подтянул брюки, как бы готовясь к борьбе или кулачному бою, и почти в упоении воскликнул:

— Война скоро кончится, через пятнадцать-двадцать лет мы оправимся, а затем — снова!

Что-то жуткое было в его словах: ужасная война еще шла. Но импонировала его уверенность в выборе направления, по которому надо идти, сознание неизбежного будущего, которое предстоит миру, где он живет, и движению, которое он возглавляет.

Все остальное, что он сказал в тот вечер, едва ли стоило запоминать — много ели, еще больше пили и поднимали бесчисленные и бессмысленные тосты.

Молотов рассказал, как Сталин подшутил над Черчиллем: Сталин поднял тост за разведчиков и службу разведки, намекая на неуспех Черчилля в Галлиполи в первую мировую войну, причиной которого была недостаточная освещенность британцев.

Но он не без удовольствия упомянул и тонкое остроумие Черчилля. В Москве, под бокал хорошего вина, Черчилль сказал, что заслуживает высший советский орден и величайшую благодарность Красной Армии, потому что в свое время интервенцией в Архангельске он научил ее хорошо драться. Вообще можно было заметить, что Черчилль, хотя они его и не любили, произвел на советских вождей весьма сильное впечатление — дальновидный и опасный «буржуазный государственный деятель».

<...>

Ужин начался с того, что кто-то, думаю, что сам Сталин, предложил, чтобы каждый сказал, сколько сейчас градусов ниже нуля, и потом, в виде штрафа, выпил бы столько стопок водки, на сколько градусов он ошибся. Я, к счастью, посмотрел на термометр в отеле и прибавил несколько градусов, зная, что ночью температура падает, так что ошибся всего на один градус. Берия, помню, ошибся на три и добавил, что это он нарочно, чтобы получить побольше водки.

Подобное начало ужина породило во мне еретическую мысль: ведь эти люди, вот так замкнутые в своем узком кругу, могли бы придумать и еще более бессмысленные поводы, чтобы пить водку, — длину столовой в шагах или число пядей в столе. А кто знает, может быть, они и этим занимаются! От определения количества водки по градусам холода вдруг пахнуло на меня изоляцией, пустотой и бессмысленностью жизни, которой живет советская верхушка, собравшаяся вокруг своего престарелого вождя и играющая одну из решающих ролей в судьбе человеческого рода. Вспомнил я и то, что русский царь Петр Великий устраивал со своими помощниками похожие пирушки, на которых ели и пили до потери сознания и решали судьбу России и русского народа.

Ощущение опустошенности такой жизни не исчезало, а постоянно ко мне во время ужина возвращалось, несмотря на то что я гнал его от себя. Его особенно усугубляла старость Сталина с явными признаками сенильности. И никакие уважение и любовь, которые я все еще упрямо пестовал в себе к его личности, не могли вытеснить из моего сознания этого ощущения. В его физическом упадке было что-то трагическое и уродливое.

Но трагическое не было на виду — трагическими были мои мысли о неизбежности распада даже такой великой личности. Зато уродливое проявлялось ежеминутно.

Сталин и раньше любил хорошо поесть, но теперь он проявлял такую прожорливость, словно боялся, что ему не достанется любимое блюдо. Пил же он сейчас, наоборот, меньше и осторожнее, как бы взвешивая каждую каплю, — чтобы не повредила. Еще более заметным было изменение его мысли. Он охотно вспоминал свою молодость — ссылку в Сибири, детство на Кавказе, новое же каждый раз сравнивал с чем-нибудь из прошедшего:

— Да, помню, то же самое было...

Непостижимо, насколько он изменился за два-три года. Когда я видел его в последний раз, в 1945 году, он был еще подвижным, с живыми и свежими мыслями, с острым юмором. Но тогда была война, и ей, очевидно, Сталин отдал последнее напряжение сил, достиг своих последних пределов. Сейчас он смеялся над бессмысленными и плоскими шутками, а политический смысл рассказанного мною анекдота, в котором он перехитрил Черчилля и Рузвельта, не только до него не дошел, но мне показалось, что он по-старчески обиделся, — на лицах присутствующих я увидел неловкость и озадаченность.

В одном лишь он был прежним Сталиным: резкий, острый, подозрительный при любом несогласии с ним. Он прерывал даже Молотова, и между ними чувствовалась напряженность. Все ему поддакивали, избегая излагать свое мнение прежде, чем он выскажет свое, спешили с ним согласиться. Как обычно, разговор перескакивал с темы на тему, так я его и буду извлекать из памяти.

Сталин заговорил и об атомной бомбе:

— Это сильная вещь, сильная!

На его лице было выражение восхищения, ясно было, что он не успокоится до тех пор, пока и сам не добудет эту «сильную вещь». Но он ничего не сказал, есть ли она уже у СССР, идет ли над нею работа.

Между тем когда Кардель и я месяц спустя встретились в Москве с Димитровым, он нам как бы по секрету рассказал, что у русских уже есть атомная

бомба, причем лучше американской, то есть той, что была сброшена на Хиросиму. Думаю, что это не соответствовало действительности и что русские только создавали атомную бомбу. Но разговор был, и я его привожу.

В эту ночь и потом на встрече с болгарской делегацией Сталин говорил, что Германия останется разделенной:

– Запад из западной Германии сделает свое, а мы из восточной Германии свое государство!

Эта его мысль была новой, однако понятной — она исходила из всего курса советской политики по отношению к Восточной Европе и по отношению к Западу.

Непонятым для меня было заявление Сталина и советских руководителей в присутствии болгар и югославов летом 1946 года, что вся Германия должна быть нашей, то есть советской, коммунистической. Один из присутствующих, когда я его спросил: «А как русские думают это осуществить?» — ответил мне: «Вот этого и я не знаю!» Я думаю, что не знали и те, кто произносил это заявление, и что они еще были опьянены военными победами и надеждой на экономический и иной распад Западной Европы.

Сталин меня внезапно в конце ужина спросил, почему в югославской партии мало евреев и почему они не играют в ней никакой роли? Я попытался объяснить:

– Евреев в Югославии вообще немного, и в большинстве они принадлежали к среднему слою. — Я добавил: — Единственный выдающийся коммунист-еврей это Пьяде, но и он больше чувствует себя сербом, чем евреем.

Сталин начал вспоминать:

– Пьяде, небольшой, в очках? Да, помню, он был у меня. А каковы его функции?

– Член Центрального комитета, старый коммунист, переводчик «Капитала», — объяснил я.

– А у нас в Центральном комитете евреев нет! прервал меня он и начал вызывающе смеяться:

– Вы антисемиты! И вы, Джилас, и вы антисемит! Этот смех и его слова я понял, как и следовало, в обратном смысле — как выражение его антисемитизма и вызов, чтобы я высказал свое мнение о евреях, в особенности о евреях в коммунистическом движении. Я молчал и посмеивался — это мне было нетрудно, поскольку я антисемитом никогда не был, а коммунистов разделял только на хороших и плохих.

Но Сталин вскоре и сам оставил эту скользкую тему, удовлетворившись циничным вызовом. Слева от меня сидел молчаливый Молотов, а справа многословный Жданов. Последний рассказывал о своих контактах с финнами и с уважением говорил об их аккуратности при поставке репараций:

– Все точно вовремя, в прекрасной упаковке и отличного качества.

Он закончил:

– Мы сделали ошибку, что их не оккупировали, — теперь бы все было уже кончено, если бы мы это сделали.

Сталин:

– Да, это была ошибка, — мы слишком оглядывались на американцев, а они и пальцем бы не пошевелили.

Молотов:

— Ах, Финляндия — это орешек!

Жданов как раз в это время организовывал встречи с композиторами и готовил постановление о музыке. Он любил оперы и между прочим спросил меня:

— А у вас в Югославии есть оперные театры?

Удивленный его вопросом, я ответил:

— В Югославии оперы идут в девяти театрах! — и одновременно подумал: как мало они знают о Югославии. Видно, что они ею интересуются только как географической областью.

Жданов, единственный из всех, пил апельсиновый сок. Объяснил, что из-за болезни сердца. Я его спросил:

— А какие последствия могут быть от этой болезни?

Сдержанно улыбнувшись, он ответил с обычной иронией:

— Могу умереть в любой момент, а могу прожить очень долго.

Действительно, было заметно, что он чрезмерно возбуждается, что у него нервная, повышенная реакция.

Новый план был только что принят, и Сталин, не обращая ни к кому определенно, подчеркнул, что надо бы повысить заработную плату преподавательскому составу.

Затем он сказал мне:

— Наши преподаватели очень хороши, а зарплата у них низкая, надо что-то предпринимать.

Все согласились с ним, а я не без горечи вспомнил про низкое жалованье и плохие условия жизни югославских работников просвещения и про свое бессилие им помочь.

Вознесенский все время молчал — он держался как младший среди старших. Сталин обратился к нему непосредственно только один раз: — Можно ли вне плана выделить средства для постройки канала Волга — Дон? Дело очень важное! Мы должны изыскать средства! Страшно важное дело и с военной точки зрения: в случае войны нас могли бы вытеснить с Черного моря — наш флот слаб и еще долго будет слабым. А что бы мы в таком случае делали с судами? Подумайте, как пригодился бы нам черноморский флот, если бы мы его во время Сталинградского сражения имели на Волге! Этот канал имеет первостепенную — первостепенную важность.

Вознесенский согласился, что средства необходимо изыскать, вынул записную книжечку и записал.

Меня уже давно занимали два вопроса — почти частные, и я хотел узнать мнение Сталина.

Один был из области теории: ни в марксистской литературе, ни в другой я не нашел объяснения разницы между словами «народ» и «нация», а поскольку Сталин давно считался среди коммунистов знатоком национального вопроса, я спросил его мнение, добавив, что об этом он не говорил в своей статье о национальном вопросе. Она была опубликована еще до первой мировой войны, и с тех пор считалось, что в ней выражена подлинная большевистская точка зрения.

В мой вопрос сначала вмешался Молотов:

— Это одно и то же — народ и нация.

Но Сталин не согласился:

— Нет, вздор! Это разные вещи! — и начал разъяснять: — Нация — это уже известно что: продукт капитализма с определенными характеристиками, а народ — это трудящиеся определенной нации, то есть трудящиеся с одинаковым языком, культурой, обычаями.

А насчет своей книги «Марксизм и национальный вопрос» он заметил:

— Это точка зрения Ильича, Ильич книгу и редактировал.

Великий писатель — и великий реакционер.

Второй вопрос относился к Достоевскому. Я с ранней молодости считал Достоевского во многом самым большим писателем нашего времени и никак не мог согласиться с тем, что его атакуют марксисты. Сталин на это ответил просто:

Мы его не печатаем, потому что он плохо влияет на молодежь. Но писатель великий!

Мы перешли к Горькому. Я сказал, что считаю самым значительным его произведением — как по методу, так и по глубине изображения русской революции — «Жизнь Клима Самгина». Но Сталин не согласился, обойдя тему о методе:

— Нет, лучшие его вещи те, которые он написал раньше: «Городок Окуров», рассказы и «Фома Гордеев». Что же касается изображения русской революции в «Климе Самгине», так там очень мало революции и всего один большевик — как бишь его звали: Лютиков, Лютов?!

Я поправил:

— Кутузов, Лютов совсем другое лицо.

Сталин продолжал:

— Да, Кутузов! Революция там показана односторонне и недостаточно, а с литературной точки зрения его ранние произведения лучше.

Мне было ясно, что Сталин и я не понимаем друг друга и что мы не сошлись бы во вкусах, хотя я и раньше слышал мнения крупных писателей, которые, как и он, считали названные им произведения Горького наилучшими.

Говоря о современной советской литературе, я — как более или менее все иностранцы — указал на Шолохова. Сталин сказал:

— Сейчас есть и лучшие, — и назвал две неизвестных мне фамилии, одну из них женскую.

Дискуссии по поводу «Молодой гвардии» Фадеева, которую тогда уже критиковали из-за недостаточной партийности ее героев, я избегал. Мои упреки в ее адрес были как раз противоположного свойства — схематизм, отсутствие глубины, банальность.

То же самое я думал и об «Истории философии» Александрова.

Жданов рассказал о замечании Сталина по поводу любовных стихов К. Симонова:

«Надо было напечатать всего два экземпляра: один для нее, второй для него!» — на что Сталин хрипло рассмеялся, сопровождаемый хохотом остальных.

Вечер не мог обойтись без пошлости, — конечно, со стороны Берии. Меня заставили выпить стопку перцовки. Берия, скаля зубы, объяснил, как эта водка плохо воздействует на половые железы, употребляя при этом самые грубые выражения. Пока Берия говорил, Сталин внимательно смотрел на меня, готовый расхохотаться.

Заметив мою кислую реакцию, он остался серьезным.

Но и без этого я никак не мог отогнать от себя мысль о поразительном сходстве между Берией и королевским белградским полицейским Вуйковичем — оно усилилось до такой степени, что я просто физически ощущал, будто нахожусь в мясистых и влажных лапах Вуйковича-Берии.

Но выразительнее всего была атмосфера, царившая независимо от произнесенных слов и даже вопреки им во время всего этого шестичасового ужина. За всем, что говорилось, постоянно ощущалось что-то более важное — нечто, что надо было высказать, но что начать высказывать никто не умел или не смел. Натянутость беседы и выбора тем способствовала тому, что это нечто ощущалось как реальность, почти доступная слуху. Внутренне я даже безошибочно знал его содержание: критика Тито и югославского Центрального комитета — в данном положении равносильная вербовке меня на сторону советского правительства. Особенную активность проявлял Жданов, не чем-то конкретным, ощутимым, а внесением какой-то особой сердечности, интимности в отношения и в разговор со мной. Берия смерил меня своими полузакрытыми зеленоватыми жабыими глазами, а выражение самодовольной иронии не сходило с его четырехугольных мягких губ. Над всем и над всеми был Сталин — внимательный, весьма размеренный и холодный.

Безмолвные паузы между двумя темами были все более длительными, напряжение во мне и вокруг меня все росло. Я быстро выработал тактику обороны — она, очевидно, уже до этого сама подготавливалась во мне подсознательно, — я просто скажу, что не вижу расхождения между югославским и советским руководством, что цели их совпадают и тому подобное. Глухо, упрямо росло во мне сопротивление, хотя я и прежде не ощущал в себе никаких колебаний. Зная себя, я понимал, что из обороны мог легко перейти в наступление, если бы Сталин и остальные поставили меня перед моральной дилеммой — выбрать между ними и моей совестью, в данном случае между их и моей партией, между Югославией и СССР. Чтобы заранее подготовить свои позиции, я, как бы невзначай, несколько раз упомянул Тито и свой Центральный комитет, — но так, чтобы мои собеседники не могли начать свой разговор.

Напрасна была также попытка Сталина внести личные, интимные элементы. Он спросил меня, вспомнив свое приглашение в 1946 году, переданное через Тито:

— А почему вы не приехали в Крым? Почему вы отказались от моего приглашения?

Я ждал этого вопроса, но все же был несколько неприятно удивлен, что Сталин про это не забыл. Я объяснил:

— Ждал приглашения через советское посольство, мне было неудобно навязываться самому, надоедать.

— Нет, чепуха, при чем тут надоедать. Вы просто не хотели приехать! — испытывал меня Сталин.

Но я замкнулся в себя — в холодную сдержанность и молчание.

Так ничего и не произошло. Сталин и его группа холодных, расчетливых заговорщиков — а я их ощущал именно такими — несомненно учуяли мое сопротивление. А я как раз этого и хотел. Я избежал разговора, а они не решились спровоцировать меня на сопротивление. Они, конечно, считали, что не

сделали преждевременного и поэтому ошибочного шага. Но и я распознал эту подлую игру и ощутил в себе какую-то внутреннюю, незнакомую мне до тех пор силу, способность отказаться даже от того, чем я до тех пор жил.

Ужин закончил Сталин, подняв тост в память Ленина:

— Выпьем за память Владимира Ильича, нашего вождя, учителя — наше все!

Мы все встали и выпили в немой сосредоточенности — о ней мы, подвыпившие, быстро забыли, в то время как у Сталина все еще было растроганное, торжественное, но одновременно сумрачное выражение лица.

Мы отошли от стола, но перед тем, как разойтись, Сталин запустил громадный автоматический проигрыватель. Он пытался и танцевать, как на своей родине, — видно было, что он не лишен чувства ритма, но вскоре он остановился, сказав удрученно:

— Стареем, и я уже старик!

Но его помощники — чтобы не сказать бояре — начали его убеждать: — Ах, нет, что вы! Вы прекрасно выглядите, вы прекрасно держитесь, ей-богу, для ваших лет...

Затем Сталин поставил пластинку, на которой — колоратурные трели певицы сопровождал собачий вой и лай. Он смеялся над этим с преувеличенным, неумеренным наслаждением, а заметив на моем лице изумление и неудовольствие, стал объяснять, чуть ли не извиняясь:

— Нет, это все-таки хорошо придумано, чертовски хорошо придумано.

После моего ухода все еще остались, но уже готовые к отъезду — действительно, что можно было еще говорить после столь продолжительной пирушки, на которой было высказано все, кроме того, ради чего она собиралась.

<...>

Личность Сталина (дополнение к «Беседам со Сталиным»)

Тщетно пытаюсь себе представить, какая еще, кроме Сталина, историческая личность при непосредственном знакомстве могла бы оказаться столь непохожей на сотворенный о ней миф. Уже после первых слов, произнесенных Сталиным, собеседник переставал видеть его в привычном ореоле героико-патетической сосредоточенности или гротескного добродушия, что являлось непреложной атрибутикой массовых фотографий, художественных портретов, да и большинства документальных кинолент. Вместо привычного «лика», выдуманного его собственной пропагандой, вам являлся буднично-деятельный Сталин — нервный, умный, сознающий свою значительность, но скромный в жизни человек... Первый раз Сталин принял меня во время войны, весной 1944 года, после того как облачил себя в маршалскую форму, с которой потом так и не расставался.

Его совсем не по-военному живые, безо всякой чопорности манеры тотчас превращали этот милитаристский мундир в обычную, каждодневную одежду.

Нечто подобное происходило и с проблемами, которые при нем обсуждались: сложнейшие вопросы Сталин сводил на уровень простых, обыденных...

При непосредственном контакте куда-то уходили и мысли о сталинской

скрытности, коварстве, хотя сам он эти качества, обязательные, по его мнению, для настоящего политика, не особенно тайл и даже красовался ими, доходя порой до явного гротеска. Так, под конец войны, рекомендуя югославским коммунистам достичь согласия с королем Петром II, Сталин добавил: «А потом, как сил накопите, — нож ему в спину!..» Видные коммунисты, в том числе представители зарубежных партий, знали эти сталинские «замашки», но скорее с восхищением одобряли, нежели осуждали его, поскольку речь шла об усилении советского государства как центра мирового движения... Скрытность и коварство Сталина создавали видимость характера холодного, бесчувственного. На самом же деле он был человеком сильных взрывных эмоций, хотя и это, конечно, пребывало в подчинении у намеченной цели.

Реагировал Сталин всем своим существом, но вряд ли, я думаю, смог бы «распалиться», когда этого не требовалось. Он обладал выдающейся памятью: безошибочно ориентировался в характерах литературных персонажей и реальных лиц, начисто позабыв порой их имена, помнил массу обстоятельств, не ошибался, комментируя сильные и слабые стороны отдельных государств и государственных деятелей. Часто цеплялся за мелочи, которые позже почти всегда оказывались важными. В окружающем мире и в его, Сталина, сознании как бы не существовало ничего, что не могло бы стать важным... Зло, мне кажется, он помнил больше, чем добро, потому как, вероятно, внутренне чувствовал, что режим, им создаваемый, способен выжить исключительно в зоне враждебности... По существу, это был самоучка, но не подобно любому одаренному человеку, а и в смысле реальных знаний. Сталин свободно ориентировался в вопросах истории, классической литературы и, конечно, в текущих событиях. Того, что он скрывает свою необразованность или стыдится ее, заметно не было. Если и случалось, что он не вполне разбирался в сути какого-нибудь разговора, то слушал настороженно, нетерпеливо ожидая, пока тема сменится. Рассчитанной на внешний эффект иллюзией является негибемый, безликий догматизм Сталина. Идеология, то есть марксизм как закрытая и даже предписывающая система взглядов, была для него духовной основой тоталитарной власти, давшей этой власти священное право стать орудием бесклассового общества. Непокколебимо и непримиримо придерживаясь буквы учения, Сталин не превратился в его раба: идеология была призвана служить государству и партбюрократии, а не эти последние — ему, Сталину. Сталин позволял себе публично развенчивать Клаузевица, которого Ленин считал высшим военным авторитетом, а в закрытом кругу (разумеется, лишь после победы над гитлеровской Германией) — даже Маркса и Энгельса уличать в излишней зависимости от идеалистической немецкой классической философии... Не признаваясь в них открыто, он был способен чувствовать многие свои промахи. Так, от него можно было услышать, что те и те, мол, «нас одурачили», во время торжеств по случаю Победы он упомянул даже ошибки, допущенные в войне, а в начале 1948 года обронил, что китайские коммунисты лучше него оценили собственные возможности. При разговоре со Сталиным изначальное впечатление о нем как о мудрой и отважной личности не только не тускнело, но и, наоборот, углублялось. Эффект усиливала его вечная, пугающая настороженность. Клубок оцетинившихся нервов, он никому не прощал в беседе мало-мальски рискованного намека, даже смена выражения глаз любого из присутствующих не ускользала от его внимания. Сейчас в серьез-

ных научных кругах на Западе у Сталина обнаруживают признаки маниакальности и, более того, — криминальности. На основании наших с ним встреч подтвердить этого не берусь, допускаю лишь, что любой разрушитель либо творец новой империи несет внутри себя заряд как гипертрофированных восторгов, так и воистину дьявольского отчаяния. Неистовый гнев или необузданное, доходящее до скоморошества веселье волнами накатывали на Сталина. Да и ненормально было бы, истребив несколько поколений соратников, не пощадив и собственную родню, оставаться нормальным — лишенным подозрительности, спокойным... Мне кажется, что корни сталинской «маниакальности» и «криминальности» следовало бы искать в самом существе идеи и режима: идея построения любого, а тем паче бесконфликтного общества является, строго говоря, далеким от рациональности мифотворчеством, а режим, покоящийся на беззаконии, преступен сам по себе. Сталин был слишком мал ростом, с чересчур длинными руками и коротким туловищем, чтобы не терпеть внутренних мук по этому поводу. Лишь лицо его, по-крестьянски простоватое, «народное», можно было назвать привлекательным, даже красивым. Чувствовалась живость ума, глаза с желтинкой лучисто поблескивали. Уничтожив миллионы, послав еще миллионы умирать со своим именем на устах, он первое и второе считал необходимостью; ни то ни другое на нем никак не отражалось, хотя Сталин и приучил себя люто ненавидеть первых и безмерно радеть о вторых... Партбюрократия, притесняемая и основательно повыбитая, все равно видела в нем вождя. Рядом с ним я ни на мгновение не ощутил, что ему знакомо чувство незамутненной человеческой радости, простого, свободного от эгоизма счастья: то были состояния вне границ его мира, он вполне обходился без них именно потому, что отождествлял себя с идеей и режимом...

Посчитав свои «Беседы со Сталиным» завершенными, я опять, как во многом уже не раз до этого, обманулся. Случилось то же, что и с недавними надеждами: впредь, по окончании «Несовершенного общества», не заниматься «вопросами идеологии». Но Сталин — это призрак, который бродит и долго еще будет бродить по свету. От его наследия отреклись все, хотя немало осталось тех, кто черпает оттуда силы.

Многие и помимо собственной воли подражают Сталину. Хрущев, порицая его, одновременно им восторгался. Сегодняшние советские вожди не восторгаются, но зато нежатся в лучах его солнца. И у Тито, спустя пятнадцать лет после разрыва со Сталиным, оживило уважительное отношение к его государственной мудрости. А сам я разве не мучаюсь, пытаюсь понять, что же это такое — мое «раздумье» о Сталине? Не вызвано ли и оно живучим его присутствием во мне? Что такое Сталин?

Великий государственный муж, «демонический гений», жертва догмы или маньяк и бандит, дорвавшийся до власти? Чем была для него марксистская идеология, в качестве чего использовал он идеи? Что думал он о деяниях своих, о себе, своем месте в истории? Вот лишь некоторые вопросы, искать ответы на которые понуждает его личность. Обращаюсь к ним как к задевающим судьбы современного мира, особенно коммунистического, так и ввиду их, я бы сказал, расширенного, вневременного значения.

Источник: Милован Джилас. Лицо тоталитаризма. М.: Новости, 1992.

Борев
Юрий Борисович
(Род. 1925)



Писатель, доктор филологических наук.

Родился в Харькове в 1925 г. Окончил Литературный институт и общий курс Московского авиационного института. С 1956 г. работает в ИМЛИ (Институте мировой литературы). Член Союза писателей и Союза кинематографистов, заведующий отделом теории ИМЛИ Российской академии наук. Автор более чем 400 научных статей и более 30 монографий по проблемам эстетики, культурологии, теории и истории искусства и литературы, методологии критики, семиотики и герменевтики искусства, рецептивной эстетики, риторики, поэтики, аксиологии, интеллигентского фольклора. Наиболее существенные из работ: «О комическом» (М., 1957), «Комическое, или О том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия» (М., 1975), «Категории эстетики» (М., 1959), «Основные эстетические категории» (М., 1960), «Система эстетических категорий» (Будапешт, 1965), «О трагическом» (М., 1960). Автор романа «Земля-воздух» и киноповести «Воскресший из живых».

Много лет Боров собирал то, что он определил как «интеллигентский фольклор»: притчи, легенды, апокрифы о Сталине и его времени, которые легли в основу книг «Сталиниада» (издана впервые в Москве в 1991 г., претерпела семь изданий на русском языке, а также на немецком, итальянском, японском, польском, болгарском, сербском и др., общим тиражом около 2 млн. экз.), «Фарисея» (1993), «История государства советского в анекдотах и преданиях» (1995), «Краткий курс XX века в преданиях и анекдотах» (1995). Сам Боров обосновал свой термин «интеллигентский фольклор» так: «В тоталитарных обществах, где интеллигенция не могла доверить бумаге свой жизненный опыт, возник целый пласт культуры – интеллигентский фольклор, дающий альтернативную по отношению к созданной документами картину истории» (сайт ИМЛИ, <http://www.imli.ru/>).

Многие отрывки из этих книг ходили в Самиздате в 1960-80-х годах.

СТАЛИНИАДА

Не судьба.

Мать перед смертью сказала о Сталине: «Жаль, что он не стал священником».

Принимая грузинскую знать, мать Сталина говорила: вот старший (умерший) сын, тот был человеком.

Краткие характеристики.

Шолохов о Сталине: «Ходит, улыбается, а глаз как у тигра».

Троцкий: «Сталин — самая выдающаяся посредственность». Бухарин называл Сталина: «Чингиз-Хан, прочитавший Маркса».

Крестинский: «Много горя принесет этот человек с тигриными глазами».

Внешний облик.

Сталин был низкого роста (169 см.). Когда он стоял на Мавзолее, под ноги ему ставили маленькую скамеечку, и он оказывался вровень с соратниками. Невысокие люди часто страдают комплексом неполноценности и нуждаются в самоутверждении. Лицо было в оспинках (телохранители называли Сталина «Рябой»). Верхняя губа — впалая, нижняя выдавалась вперед. В последние два года одна рука у него не действовала после инсульта.

Раздражение Сталина выражалось в том, что во время пауз в разговоре он ходил быстрее обычного. Ходил он не поднимая головы. Голос был глуховат.

Психофизиологический портрет.

Ученые проделали эксперимент: клетка разделена на две секции; в одной — кормушка, в другой — электрошоковая сетка, покрывающая пол. Крыса, которая ест из кормушки в одной части клетки, замыкает цепь и вызывает электрошок и мучения у другой крысы, находящейся в отгороженной части клетки. Выяснилось, что группа крыс — «альтруисты» — даже умирая от голода не может подвергнуть своих сородичей мучениям. Вторая группа — «садисты» — получает удовольствие от еды под аккомпанемент мучимой током соседки. Третья группа — «болото» — не теряет аппетит, причиняя страдания другим, но переходит в «альтруисты», побывав на месте жертвы. Четвертая группа — «эгоцентрические садисты» — даже перенеся истязания, сохраняют жестокие наклонности. Это все имеет биологический смысл: природа боится себя и на любой случай готовит вариант, способный обеспечить выживание популяции.

Деспоты, и Сталин в их числе, обладают социальной функцией, восходящей на биологическом уровне к «эгоцентрическим садистам». Тиран — всегда крыса с садистскими наклонностями.

Психологический портрет.

Сталин был недоверчив. Бдительность, к которой он всегда призывал народ, в его сознании переродилась во всеобщую подозрительность. Единственная информация, которой он доверял без проверки, — это сведения порочащие кого-либо. И чем ближе к нему человек, тем убедительнее для Сталина отрицательная информация о нем.

Сталин говорил: «Поскольку власть в моих руках — я постепеновец». Терпеливо, с маниакальной последовательностью и целеустремленностью, с волей, перераставшей в фанатическое упрямство, Сталин шел к своей цели. Он подми-

нал под себя людей и ломал их волю. Ему не были нужны ни друзья, ни советчики, а только исполнители его указаний. Удел даже соратников Сталина — рабское подчинение его мнению.

Не обладая большой культурой, Сталин не любил интеллигентность. Светочами науки для него были Стаханов и Лысенко, а подлинными гениями биолог Вавилов или ученый-энциклопедист Флоренский лжеучеными. Его социальное мышление феодально-бюрократично: жители сталинской империи являлись для ее главы крепостными или винтиками большого государственного механизма. Как всякий крепостник, он считал себя вправе распоряжаться жизнью своих подданных.

Небогатый культурно-мыслительный материал, который он почерпнул из непродолжительной учебы, скудного чтения и долгого вращения в среде культурных и полукультурных людей, окостенел в его сознании и превратился в непререкаемые догмы. Рассуждения его логичны, но это формальная логика, не отражающая жизнь в ее сложности. Не случайно в конце 40-х годов Сталин велел опубликовать дореволюционный учебник Челпанова по формальной логике. Примитивная мысль Сталина, опиравшаяся, к тому же, на проповедническую традицию, усвоенную им в семинарии, была понятна и близка массовому сознанию. Это облегчало восхождение Сталина на пьедестал вождя народа. Теоретически не развитый, но пронизательный ум Сталина усиливался его волей, терпением и хитростью, сочетавшейся с вероломством.

Сталин был памятьлив на отношение к нему и учитывал это отношение при формировании кадров власти. Памятьливость оборачивалась мстительностью, а бдительность и осторожность — подозрительностью и мнительностью.

Психическое состояние.

Со Сталиным случались приступы безумия. Он выбегал ночью в кальсонах с пистолетом в руке и бегал по кремлевским коридорам или по даче, ища врагов.

В 1927 году плохо себя почувствовавший Сталин попросил Владимира Михайловича Бехтерева обследовать его.

После осмотра Бехтерев попросил Сталина выйти для проведения консилиума и сообщил своим коллегам, что случай хрестоматийный — у «сухорукого пациента» классическая паранойя. В энциклопедии говорится: «Паранойя — стойкое психическое расстройство, проявляющееся систематизированным бредом... Все факты, противоречащие бреду, отменяются; каждый, кто не разделяет убеждения больного, квалифицируется им как враждебная личность».

Кто-то из членов комиссии (для этой цели в нее включенный) доложил о диагнозе Сталину. Вскоре Бехтерев неожиданно умер. Врач, делавший вскрытие, установил отравление и даже состав яда. Этого врача арестовали. Семья Бехтерева была репрессирована.

Физиолог психической деятельности Наталья Петровна Бехтерева комментирует предание о психопатии Сталина — паранойя — диагноз, видимо, верный. Эта довольно распространенная болезнь не обязательно сочетается со злодейством. При этом Сталин не вредил себе своими поступками, так что он был болен, но ответственен, а в периоды ремиссии его сознание просветлялось.

Одно из преданий гласит:

Сталин и Гитлер в один год (1914) заболели сифилисом. Болезнь у обоих оказалась полузалеченной и дала одинаковые симптомы: 1) обострение паранойи, разрушившей одни и обострившей другие мыслительные способности, а также усилившей суггестию — внушающее воздействие на окружающих; 2) высыхание руки, а в конце жизни и ноги.

Зрительный образ подсознания.

Человек, присутствовавший однажды на заседании Политбюро, рассказывает, что Сталин был рассеян, сидел, рисуя что-то на бумаге. Всмотревшись, этот человек увидел, что Сталин рисует волчьи головы, целую стаю волчьих голов.

Документальные источники.

Еще Ленин ввел в обычай порядок: в конце дня секретарь отбирал на столе ненужные для дальнейшей работы бумаги и запечатывал их в конверт. И так изо дня в день. Этой традиции придерживался и Сталин. И собрание неразобранных ежедневных бумаг с резолюциями, решениями, вероятно, сохранилось. Эти бумаги обладают исторической ценностью, хотя нельзя исключить в них фальсификаций.

Фальсификация подсознания.

Помощник Сталина Поскребышев утверждает, что часто, сидя за столом, отец народов в задумчивости рисовал профиль Ленина или писал его имя. Поступок нарочитый даже для действительно верного ученика Ленина (клише «верный ученик» идет от фразеологии, почерпнутой Сталиным в семинарии).

Недоверие и коварство.

Сталин пользовался столь коварными методами, что в сравнении с ним сам основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола кажется наивным ребенком. Психологическая установка всегда рождается на основе личного опыта, и чем вероломнее человек по отношению к другим, тем большего коварства он от них ожидает. На основе этой психологической закономерности Сталин пришел к недоверию по отношению ко всем, подозревая в каждом двурушничество, неискренность, предательство.

Опасность сновидений.

Во время ареста Анастасия Цветаева рассказала сидевшим с нею заключенным свой сон. Она встречается со Сталиным и говорит ему:

– Наполеоновские солдаты любили своего императора. Вас же никто не любит и все боятся.

Когда срок заключения Цветаевой кончился, ее вскоре посадили вновь, на основании доноса об этом сне: за оскорбление личности Сталина.

Ежи Лец шутил: «Не рассказывайте свои сны — может быть, к власти придут фрейдисты». Остроумно! Однако сновидцам следует опасаться не только фрейдистов.

Чем ближе — тем беспощаднее.

Сталин тем беспощаднее относился к той или иной общественной силе, чем ближе она была к нему. Социалисты, меньшевики были для него большими врагами, чем представители совершенно реакционных партий. В конце войны Сталин не позволил тронуть немцев (и хорошо сделал!), но высылал чечено-ингушей, крымских татар, калмыков, немцев Поволжья и т.д.

Фамилии, псевдонимы, клички и круг их употребления.

Семейная фамилия — Джугашвили. Поэтический псевдоним молодого Сталина — Сосело.

Среди грузин — товарищей юности — Сосо.

Партийная кличка, псевдоним и официальная фамилия — Сталин (джуга — по-древнегрузински — сталь; Сталин — перевод на русский язык фамилии Джугашвили).

Оппозиция — Неистовый Виссарионч.

Среди лояльной интеллигенции конца 30-х — 50-х гг. — Хозяин.

Среди лояльной еврейской интеллигенции — Балабуст (большой начальник, строгий хозяин).

В Закавказье — Большеусый.

Среди заключенных — Усатый.

Артистическая среда — Ус.

Среди охранников и телохранителей — Рябой.

НКВД — Иван Васильевич (Грозный).

Ироническая кличка среди интеллигенции — Отец родной, Отец народов.

Среди военных — Верховный.

Среди партийной бюрократии — Главный, Генеральный, Шеф.

Среди партийцев и особенно грузин-партийцев (до революции и в первое десятилетие после) — Коба.

После разоблачения культа личности возник вневличностный термин: вместо слова-табу «Сталин» — Ставка.

Англо-американские дипломаты, политики, журналисты — Дядюшка Джо.

Пропагандистские штампы в определении Сталина.

Газетные клише в определении Сталина походили на постоянные эпитеты (мать-сыра земля, красное солнышко, добрый молодец и т.д.), однако в отличие от них были фальшивы, высокопарны и безвкусны.

Великий вождь. Вождь мирового пролетариата. Вождь советского народа. Вождь передового и прогрессивного человечества. Вождь всех народов. Отец и учитель народов. Вождь, отец и учитель. Кормчий. Великий стратег революции. Создатель Красной Армии. Организатор всех наших побед. Верный ученик Ленина. Соратник Ленина. Продолжатель дела Ленина. Ленин сегодня. Верный марксист. Классик марксизма. Корифей всех наук. Почетный академик. Творец сталинской конституции. Первый кандидат в депутаты. Величайший полководец. Верховный. Великий интернационалист. Знаменосец коммунизма. Гений человечества. Величайший гений всех времен и народов. Лучший друг советских физкультурников. Лучший друг советских врачей, железнодорожников, учителей, механизаторов, колхозников и т.д.

Култ Сталина сочетал в себе монотеизм и политеизм. В пантеоне советских богов Сталин был одновременно богом каждого рода деятельности «лучший друг советских железнодорожников», «корифей всех наук», «великий полководец...») и высшим богом — Зевсом — «вождем всех народов».

Противоречивые определения времен оттепели.

Тиран на троне. Палач. Видный марксист.
Должности и титулы.

Генсек. Генералиссимус. Председатель ГКО. Главнокомандующий. Глава Ставки. Председатель Совета Министров СССР.

Любимые высказывания Сталина.

Нам не надо политиков. У нас их достаточно, даже много лишних. Нам нужны исполнители.

Чем ближе к социализму, тем более возрастает сопротивление врагов и тем более обостряется борьба.

Не следует менять однажды принятого решения.

Вы плохой руководитель: на вас мало жалоб.

У вас слишком много друзей.

Из грязи делают князя.

Предпочитаю людей, поддерживающих меня из страха, людям, которые поддерживают меня из убеждения: убеждения меняются — страх остается.

Прошлое принадлежит одному богу.

Полное единодушие бывает только на кладбище.

Лжи поверят, правде нет.

Власти и славы без крови не бывает.

Логика вещей сильнее, чем логика человеческих намерений.

История начинается с того момента, когда на явление обращает внимание партия.

Нельзя видеть в истории современность, опрокинутую в прошлое.

Воевать малой кровью. Бить врага на его территории (К. Ворошилов).

Ни одной пяди чужой земли мы не хотим, но и своей земли ни одного вершка не отдадим никому.

Если враг не сдается, его уничтожают (М. Горький).

Существует логика борьбы.

Лес рубят — щепки летят.

Труд есть дело славы, чести, доблести и геройства. Депутат — слуга народа.

Исторические параллели рискованны.

Когда весело живется — работа спорится. У партии незаменимых людей нет.

Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики.

Кадры решают все.

Техника решает все.

Большевики не боятся трудностей.

Сталин любил изрекать самоочевидные «мудрые» истины в псевдоафористической, назидательной форме, например: «Будет урожай — будет хлеб. Не будет урожая — не будет хлеба».

Источник: Боров Ю.Б. Сталиниада. М.: Советский писатель, 1990.

Письмо Начальнику Енисейского охранного отделения А.Ф. Железнякову

Достоверность нижеприведенного текста разными авторами оценивается по разному: от полного отрицания возможности сотрудничества И.В. Сталина с охранкой, по принципу – этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, до бесспорного признания подлинности текста, со ссылками на аналогичную деятельность Е. Азефа (руководителя боевой организации партии Социалистов-революционеров – эсеров, бывшего одновременно агентом охранки), Р. Малиновского (члена ЦК и руководителя фракции большевиков в Государственной Думе и так же агента охранки) и целого ряда других менее высокопоставленных деятелей революционного движения. См., например, т. 3 настоящей «Антологии» : А.И. Солженицын, «В круге первом».

Мы не считаем исчерпывающе доказанной ни одну из версий, однако хождение данного текста в самиздате факт бесспорный, что, на наш взгляд, позволяет включить текст в «Антологию», не утверждая при этом его достоверности.

* * *

Начальнику Енисейского охранного отделения – А.Ф. Железнякову.

М В Д
Заведующий Особым отделом
12 июля 1913 г. № 02898

Копия
Соверш. секр. лично.

Милостивый Государь Алексей Федорович!

Административно высланный в Туруханский край Иосиф Виссарионович Джугашвили – Сталин, будучи арестован в 1906 г., дал начальнику Тифлисского Государственного Жандармского Управления ценные агентурные сведения, в 1908 г. начальник Бакинского охранного отдела получает от Сталина ряд сведений, а затем по прибытии Сталина в Петербург, Сталин становится агентом Петербургского охранного отделения. Работа Сталина отличалась точностью, но была отрывочная. После избрания Сталина в Центральный Комитет партии в г. Прага, Сталин по возвращении в Петербург, стал в явную оппозицию Правительству, и совершенно прекратил связь с охранкой.

Сообщаю, Милостивый Государь, об изложенном на предмет личного сообщения при ведении Вами розыскной работы.

Примите уверения в совершенном к Вам почтении (Ермей)

Источник: самиздатская рукопись.

Эрнст Генри
(Ростовский Семен Николаевич)
(1904–1993)



Разведчик, писатель, журналист.

Родился в Тамбове. Образование среднее. Как агент ОГПУ с 1920 года жил в Германии, состоял в германской компартии, был членом ЦК. В 1933 году переезжает в Англию. Офицер НКВД по связям с нелегальными агентами (в том числе с Кимом Филби и Дональдом Маклином, членами знаменитой «кембриджской пятерки»). В 1951 году вместе с Д. Маклином вернулся в СССР, был арестован и 4 года пробыл в заключении. В 1965 году написал открытое письмо И. Эренбургу, по поводу оценки последним роли Сталина в воспоминаниях «Люди, годы, жизнь», которое широко распространялось в самиздате. Подписал несколько коллективных писем, протестуя против тенденций возврата к сталинизму в конце 60-х годов.

Среди довоенных книг, написанных Э. Генри, наибольшей известностью пользовались: «Гитлер над Европой» (Лондон – 1934, Москва –1935) и «Гитлер против СССР» (Лондон – 1936, Москва –1937), публиковавшиеся в Москве как переводы книг «прогрессивного» английского журналиста.

После заключения опубликовал ряд книг: «Политика военных монополий» (1961), «Есть ли будущее у неофашизма» (1962), «Социал-демократы на перепутье» (1969), «Заметки по истории современности» (1976), «Против терроризма» (1981) и др.

Принят в Союз писателей СССР (1964). Лауреат премии Союза писателей СССР, Союза журналистов СССР, АПН и «Литературной газеты».

Письмо было опубликовано в 1967 году в № 63 журнала «Грани» (ФРГ), на родине – в 1997 в сборнике «Самиздат века».

**ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПИСАТЕЛЮ ИЛЬЕ ЭРЕНБУРГУ
В СВЯЗИ С ЕГО ОЦЕНКОЙ СТАЛИНА
В ПОСЛЕДНЕЙ ЧАСТИ «ВОСПОМИНАНИЙ»**

Илья Григорьевич!

Я принадлежу к тем, кто считает Вас одним из самых умных и передовых писателей нашей страны. Как и другие, я особенно ценю Вас за то, что в трудные времена Вы стремились не гнуть спину и часто, когда другие молчали или лгали, вслух говорили правду.

Этим Вы завоевали себе место, которое у нас делят с Вами немногие, и этим прежде всего помянет Вас будущее. Каждый настоящий писатель или крупный публицист создает себе нерукотворный памятник, и Ваш построен на том, что-

бы до конца не поддаваться неправде, даже в какой-то ее части. Я всегда думал, что Вы это чувствуете лучше многих других.

Тем более странно и непонятно было для меня прочесть некоторые Ваши высказывания о Сталине в заключительной главе Ваших воспоминаний в четвертом номере «Нового мира».

Вы откровенно пишете, что не любили и боялись Сталина, хотя и добавляете, что «долго в него верили». Вы не скрываете, не умаляете его «несправедливых, злых дел», его коварства, отмечаете, что при нем «мы не могли жить в ладу со своей совестью». Сказать это с Вашей стороны естественно. Но в то же время, когда Вы теперь подводите итог пережитому, в Ваших словах звучит нечто для меня неожиданное. Почти повсюду и, по-видимому, не случайно Вы переплетаете с мыслью о злых делах Сталина другую мысль: с его величиной. Я перечитывал такие места, и мне стало ясно, что Вы делаете это сознательно. Зачем, Илья Григорьевич?

«Я хочу еще раз сказать читателям моей книги, – пишете Вы, – что нельзя перечеркнуть четверть века нашей истории. При Сталине наш народ превратил отсталую Россию в мощное современное государство... разбил армии Гитлера, победившие всю Европу... стал по праву героем XX века. Но как бы мы ни радовались нашим успехам, как бы ни восхищались душевной силой, одаренностью народа, как бы ни ценили ум и волю Сталина, мы не могли жить в ладу со своей совестью и тщетно пытались о многом не думать».

Вот это сплетение «зла и добра» в отношении Сталина и бросается в глаза. Оно повторяется несколько раз.

Выходит, что героизм советского народа как бы неотделим от несовместимых с совестью дел Сталина. Не он ли своим злым, но «государственным умом, своей редкостной волей» и побудил народ на героизм? И Вы подчеркиваете эту же возникавшую в уме читателя мысль, говоря: «Я понимал, что Сталин по своей природе, по облюбванным им методам напоминает блистательных политиков эпохи итальянского Возрождения».

У Вас прямого вывода нет, но у многих он будет. Без Борджиа не было бы итальянского Возрождения, без Сталина не было бы превращения отсталой России в великое и героическое государство. Одно неотделимо от другого.

Это – политический оправдательный приговор Сталину. И то, что выносите его Вы, Эренбург, трудно понять. Не Вам бы это делать, Илья Григорьевич.

Я знаю, Вы не политик и не историк. Вы художник. Вы говорите как чувствуете, сказали Вы недавно на одном собрании в И. М. Л. Но ведь Вы очень много думаете о политике, о современности; сила Ваша, как писателя, именно в этом. Из художников слова Вы один из наиболее политически знающих, опытных и образованных. Вам известно очень многое о том, что было – что было в действительности. Идти против совести Вы не хотите. Как же можете Вы, именно Вы, оправдывать Сталина, превращая его в некоего советского Борджиа или Маккиавелли?

Хотелось бы, чтобы Вы меня поняли правильно. Дело не в метафизическом споре о том, может ли «зло» быть прогрессивным фактором в истории. Нет, я имею в виду совсем другое.

Беру на себя смелость сказать, что Ваша оценка роли и ума Сталина имен-

но как государственного деятеля, а не как моральной единицы, совершенно расходится с исторической действительностью, с фактами.

Не стану говорить о многом, что известно всем, а Вам, в частности, лучше, чем мне. Тысячи книг будут написаны об этом и изданы у нас же, еще в нашем веке, может быть, даже скоро, скорее, чем думают. Я уверен в этом не только потому, что я оптимист, но и потому, что знаю по истории, как быстро и резко она – не всегда, но часто – восстанавливает истину и стирает ложь.

Но пусть об этой, внутрисоветской стороне сталинских государственных дел напишут другие. Я коснусь только одного, того, что знакомо мне больше всего: «ума и воли» Сталина в области международных и связанных с этим дел; того, какую роль он политически играл в судьбе нашей страны за ту четверть века, о которой Вы говорите.

Выделю только шесть вопросов, которые кажутся мне особенно важными.

Вы помните, Илья Григорьевич, – все мы, из старшего поколения, не можем забыть об этом, – как за несколько лет до войны с самым страшным врагом, который когда-либо противостоял России, было внезапно уничтожено или выведено из строя почти все основное ядро высшего командного состава Красной Армии. По данным генерала Тодорского, было репрессировано:

из 5 маршалов Советского Союза 3

из 2 армейских комиссаров первого ранга 2

из 4 командармов первого ранга 2

из 12 командармов второго ранга 12

из 6 флагманов флота первого ранга 6

из 2 флагманов флота второго ранга 2

из 15 армейских комиссаров второго ранга 15

из 67 комкоров 60

из 28 корпусных комиссаров 25

из 199 комдивов 136

из 397 комбригов 221

из 36 бригадных комиссаров 34

Это – неполные данные. Общее число репрессированных командиров Красной Армии не поддается учету.

Если сосчитать только самый высший состав, от маршалов до армейских комиссаров второго ранга включительно, то окажется, что из 46 человек было выведено из строя 42. Если сосчитать всех вместе и вывести средние цифры, то из каждых трех человек высшего командного состава Красной Армии жертвами стали двое.

Никакое поражение никогда не ведет к таким чудовищным потерям командного состава. Только полная капитуляция страны после проигранной войны может иметь следствием такой разгром. Как раз накануне решающей схватки с вермахтом, накануне величайшей из войн, Красная Армия была обезглавлена. Это сделал Сталин. Ум? Или воля?

Глядим дальше. Советские вооруженные силы ослаблены как никогда. Гитлер знает об этом и ликует; как теперь известно, он даже непосредственно помог Сталину в этом деле, приказав главе гестапо Гейдриху подбросить в Москву подложные документы против так называемой группы Тухачевского, хотя

подлинным инициатором подлога был сам Сталин, воспользовавшийся через Саблина услугами гестапо. Через два года после массового истребления советского генералитета Сталин заключает пакт с Гитлером.

Упомянув об этом, Вы пишете, что по словам, сказанным Вам нашими дипломатами, «пакт с Гитлером был необходим: Сталину удалось разрушить планы коалиции Запада, который продолжал мечтать об уничтожении Советского Союза». Зная о том, что произошло впоследствии, это спорно. Спорно хотя уже вот почему: если бы Гитлеру, восточный фронт, который был обеспечен благодаря пакту с нами, в 1940 году, сразу после разгрома французов и бегства англичан, удалось так или иначе покончить с Англией (а теперь ясно, что сразу же после Дюнкерка такой шанс у него действительно был), – если бы это произошло, то мы были бы обречены. Вместо «коалиции Запада» нам противостоял бы единый гитлеровский Запад – что-то несравненно худшее.

Америка в этом случае, потеряв английскую базу, окончательно отказалась бы от выступления против нацизма, отступнические и профашистские силы в США сразу возросли бы во сто крат, позиции Рузвельта пошатнулись бы, и даже германо-американская коалиция против нас стала бы возможна. Эффект, таким образом, был бы прямо противоположен тому, на что рассчитывал Сталин, заключив пакт с Гитлером. И дело было в том, что разгрома Франции и Англии он не предвидел. Он не разобрался в положении.

В результате в 1940 году мы висели на волоске, и только поразительный просчет этого Маккиавелли №2, Гитлера, позволил нам выбраться из ловушки. Про все это молчат по сей день. Мы играли ва-банк, и тогда уже могли проиграть – уже раз навсегда в этом веке.

Но оставим предположения в стороне, останемся на почве того, что было фактически. Допустим, как, очевидно, Вы верите сами, что пакт с Гитлером был необходим. Вы знаете, что после войны, уже задним числом, Сталин выдвинул новый, по его мнению, решающий аргумент в пользу пакта. По его указанию Вышинский написал в известной «Справке Совинформбюро» «фальсификацию истории», что «Советскому Союзу удалось умело использовать советско-немецкий пакт в целях укрепления своей обороны... и преградить путь беспрепятственному продвижению немецкой агрессии на восток... Гитлеровским войскам пришлось начать свое наступление на восток не с линии Нарва – Минск-Киев, а с линии, проходившей сотни километров западнее».

Да, так и было. А было ли это хорошо для Советского Союза?

Гениальным ли оказался этот сталинский военно-стратегический маккиавеллизм?

Вы что-то знаете об этом, Илья Григорьевич. «Однако, – пишете Вы, упоминая мимоходом о пакте с Гитлером, – Сталин не использовал два года передышки для укрепления обороны – об этом мне говорили и военные, и дипломаты». На этом Вы ставите точку.

Вот что произошло в действительности.

Перейдя старую границу, заняв Западную Белоруссию и Западную Украину, советские войска, согласно той же «Справке» Сталина, «развернули там строительство обороны вдоль западной линии украинских и белорусских земель». По сути дела, это неправда. Советские войска получили от Сталина при-

каз не форсировать строительство укреплений вдоль новых рубежей, дабы не провоцировать немцев. За исключением отдельных участков, где командующие все же что-то делали, настоящих, мощных вооруженных укреплений построено не было. Как всем известно, линия нашей обороны в июне 1941 г. была такова, что вермахт прорвался через нее без особых усилий и оттуда уже с огромным разгоном, скачками, бросился к старой советской линии Нарва – Минск – Киев. Что же он нашел там теперь? Выражаясь литературным слогом, – мерзость запустения.

Вам это, конечно, известно, Вы были военным корреспондентом. Известно, несомненно, и почему так случилось. По приказу Сталина старая линия обороны после советско-германского пакта была ликвидирована. Говорят, что Шапошников протестовал. Вооружение и оборудование было демонтировано. Не успели только перепахать окопы. И, не найдя сильной укрепленной обороны, Гитлер покатился дальше, к Москве и Харькову. Там где его, возможно, действительно можно было бы остановить или хотя бы задержать на какой-то жизненно важный срок, – тогда время считалось буквально на часы и минуты, – там укреплений уже не было.

Где здесь «блистательная политика», Илья Григорьевич? Если принимать такое определение, то блистательной она оказалась для Гитлера, для Советского же Союза – катастрофической, губительной, а мягко выражаясь – дилетантской.

По своему дилетантизму она живо напоминала злосчастную внешнюю и военную политику царских министров и генералов времен Николая II. Такое же непонимание обстановки, незнание врага, такая же неподготовленность, такие же грубые просчеты «по наитию». И если говорить о самом Сталине, то в 30-х годах в военно-политической области он оказался столь же преступно некомпетентным, как в 1920 году, когда именно по его вине (а не по вине Тухачевского и не из-за талантов Вейгана) было провалено блестящее наступление, начатое Красной Армией на Варшаву, то наступление, успех которого мог тогда изменить весь ход истории.

Разрешите еще один взгляд на сцену событий в 30-х годах, но теперь совсем с другого фланга.

Накануне войны Сталин резко ослабил силу Красной Армии, разгромив ее командный состав и испортив ее стратегические позиции. Укрепил ли он ее положение по крайней мере в тылу вермахта – в политическом отношении? Нет, он испортил ее позиции и тут, и об этом Вы тоже должны знать лучше многих других, Илья Григорьевич.

Гитлер пришел к власти и удержался у власти прежде всего потому, что германский рабочий класс был расколот надвое. Это общеизвестно. Раскололи его реформисты. Это тоже общеизвестно, но это полправды. Другая половина правды заключается в том, что расколоть рабочий класс в Германии и по всей Западной Европе помог реформистам непосредственно сам Сталин.

Я полагаю. Вы угадываете, что я имею в виду: знаменитую сталинскую теорию о «социал-фашизме». Кое-что в этой связи, мне кажется, Вы наблюдали во Франции и в Испании.

Сталин публично назвал социал-демократов «умеренным крылом фашизма». Еще в 1924 году он заявил: «Нужна не коалиция с социал-демократами, а

смертельный бой с ними, как с опорой нынешней фашистской власти». Вы, может быть, забыли эти слова; Ваша область – искусство. Я не забыл, и не забыли миллионы старых коммунистов и социал-демократов на Западе. Но не Вам, Илья Григорьевич, не знать и не помнить, что происходило среди рабочих на Западе в 30-х годах.

Слова Сталина были таким же приказом Коминтерну, как его указания Красной Армии и НКВД. Они отделили рабочих друг от друга как бы баррикадой. Помните? Старые социал-демократические рабочие повсюду были не только оскорблены до глубины души, они были разъярены. Этого коммунистам они не простили. А коммунисты, стиснув зубы, выполняли приказ о «смертном бое». Приказ есть приказ, партийная дисциплина – дисциплина. Везде, как будто спятив с ума, социал-демократы и коммунисты неистовствовали друг против друга на глазах фашистов. Я хорошо это помню. Я жил в те годы в Германии и никогда не забуду, как сжимали кулаки старые лидеры, как теория социал-фашизма месяц за месяцем прокладывала дорогу Гитлеру. Сжимали кулаки, подчиняясь «уму и воле», и шли навстречу смерти, уже поджидавшей их в эсэсовских застенках. Отказался Сталин от теории социал-фашизма только в 1935 году, когда уже было поздно – Гитлер смеялся тогда и над коммунистами, и над социал-демократами.

Когда же Сталин в 1939 году заключил пакт с Гитлером и приказал всем компартиям в мире тут же, моментально, прекратить антифашистскую пропаганду и выступить за мирное соглашение с Гитлером, стало совсем скверно. Я не хочу останавливаться на этом. Вы это помните. Сталин в то время уже не ограничивался разобщением социал-демократов и коммунистов, теперь он начал дискредитировать и разоружать самих коммунистов на Западе! Еще два-три года, и компартии Запада были бы разрушены.

Да, «редкостная воля» была в наличии и тут. Она стоила нам – нам одним – свыше 20 миллионов жизней и едва не стоила всего – гибели страны и коммунизма.

Укрепив свой тыл в Германии и во всей Западной Европе, со злорадством наблюдая, как антифашисты грызли друг другу глотки, Гитлер мог начать войну. И он ее начал. Его фронт и его тыл были усилены политикой советского Маккиавелли. Вместо того чтобы накануне решающей исторической схватки объединять и собирать, Сталин разъединял, дробил, отпугивал. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никому в мире Ленин не простил бы такой сумасшедшей политики, равносильной предательству. Предательства не было. Но разительное политическое банкротство было. Что хуже – не знаю. Как видите, Илья Григорьевич, я опять не о «зле», не об отсутствии совести. Я говорю как раз об уме и воле.

И говорить об этом нужно во что бы то ни стало. Если даже Вы, неизвестно почему, вплетаете свои нити в клубок легенды о злом, но великом, то возражать нужно и Вам.

Я хочу довести эту цепь свидетельских показаний истории о предвоенных годах до конца, до июня 1941 года. Показаний сотни. Упомяну только еще об одном, менее общеизвестном – о случае с Шуленбургом.

Вы, как и все мы, знаете, что Сталин до конца, до последней минуты верил

в слово Гитлера, данное в советско-германском пакте о ненападении. Вы пишете: «Сталин почему-то поверил в подпись Риббентропа» и, когда Германия напала, «вначале – растерялся». Да, Гитлеру и Риббентропу он верил. Не поверил Зорге, не поверил другим нашим разведчикам. Не поверил Черчиллю, предупреждавшему его через Майского и Крипса. И не поверил еще более осведомленному информатору.

Известно ли Вам, Илья Григорьевич, что за несколько недель до войны германский посол в СССР граф Шуленбург обратился к находившемуся тогда в Москве советскому послу в Германии Деканозову, другу Берия и доверенному человеку Сталина, и пригласил его к себе на обед для доверительной беседы. Беседа состоялась. Присутствовали четверо: граф Шуленбург, его ближайший сотрудник, советник германского посольства Хильгер (который впоследствии рассказал обо всем этом), Деканозов и переводчик Молотова и Сталина Павлов. В Берлине об этой встрече ничего не знали. Уже после войны Хильгер сообщил в своих воспоминаниях, что Шуленбург очень боялся пойти на этот «отчаянный шаг», считая, что дело может кончиться судом в Германии за государственную измену. Тем не менее он себя пересилил. Предчувствуя, что война на два фронта в конце концов приведет Германию к разгрому, опытный немецкий дипломат старой школы, консерватор и националист, но не фашист, решился на все.

Он и Хильгер «открыли глаза» Деканозову. Они предложили ему передать Сталину, что Гитлер уже в ближайшее время может ударить на СССР. Это, безусловно, была государственная измена, и какая: посол сообщает правительству, при котором он аккредитован, что его страна вероломно нападет на их страну. Шуленбургу грозили за это смерть и несмываемый позор.

Но как реагировали Деканозов и Сталин? «Наши усилия, – пишет Хильгер, – закончились полным провалом». Сталин не поверил Шуленбургу, как не поверил Зорге и Черчиллю. Он счел, что сообщение германского посла всего лишь хитрый ход со стороны самого Гитлера с целью вынудить от него, Сталина, новые уступки немцам.

«Чем дальше шло время и чем больше я наблюдал за поведением русских, – пишет Хильгер о последних неделях перед войной, – тем больше я убеждался, что Сталин не сознавал, как близко было угрожавшее ему германское нападение. По-видимому, он думал, что сможет вести переговоры с Гитлером об его требованиях, когда они будут предъявлены». Хильгер добавляет, что Сталин был готов к новым уступкам Германии.

Три года спустя Шуленбург был повешен на железном крючке в берлинской тюрьме Плетцензее за участие в заговоре генералов против Гитлера. Известно, что до этого он намеревался перебраться через фронт к нам, чтобы от имени заговорщиков договориться о прекращении войны.

Гитлера и Сталина нет, Деканозов расстрелян, но Павлов жив. Если не хотите верить Хильгеру, спросите Павлова.

Сталин накануне войны ничего не понимал. Он совершенно запутался, никого не слушал, никому не верил, только себе. И в решающий момент он оказался полным банкротом. Оттого, как Вы пишете, он и «растерялся вначале».

Выяснилось, что его рукой водил Гитлер. Несмотря на гигантский информационный и агентурный аппарат в его распоряжении, аппарат, прекрасно сра-

ботавший в этот момент, несмотря на то, что его осведомителем оказался сам германский посол – неслыханный случай в дипломатической истории, – он был слеп, как крот. Почему? Ответ пред глазами. Сталин думал, что Гитлер ведет с ним игру, которая привычна ему самому, в которой он всегда видел подлинное содержание всей политики – игру в обман и шантажирование другого. Он хотел играть с Гитлером, как до этого играл со своими противниками в большевистской партии. А Гитлер уже двигал танки к советской границе. Для фюрера теперь речь шла уже не о том, чтобы обманывать и шантажировать, а о том, чтобы бить, бить, бить.

Илья Григорьевич, не бросается ли Вам опять в глаза удивительное сходство Сталина со злосчастными царскими политиками нашего далекого прошлого? Он был хитер, о да. Но он не был умен. Не был даже, как заметил Раскольников, по-настоящему образован.

Я не могу и не хочу поверить, что Вы испытываете почтение к хитрости, Илья Григорьевич. Хитры были и многие царские министры (умен был, пожалуй, один лишь прогнанный царем Витте). Мало что дала их хитрость. Ведь как раз хитрость часто мешает быть умным. Человек, который видит вокруг себя только то, что в нем самом, только хитрость, очень часто слеп и в результате туп, каким оказался Сталин накануне войны. Не Маккиавелли и не Борджиа он был, а потерявший голову политик, хитрец, которого переиграли. У этого человека под руками невиданный репрессивный аппарат, в его абсолютном подчинении был 170-миллионный героический народ. Но Сталин был неспособен к настоящему, глубокому политическому анализу, в этом отношении он был второго сорта, и в критический момент он провалился.

К слову сказать, я не знаю, известно ли Вам, как оценивал Сталина Гитлер. Он ставил его очень высоко, но прежде всего как тирана. Один профессионал ценит другого. Об этом есть упоминания в стенографических записях бесед Гитлера с приближенными в годы войны. В ночь на 6 января 1942 г. он сказал: «Сталин хотел бы считаться глашатаем большевистской революции. В действительности он отождествляет себя с Россией царей... Большевизм для него только средство, прикрытое для обмана народов». 9 августа того же года Гитлер сказал, что «для Сталина социальная сторона жизни совершенно безразлична. Что касается его, то народ может сгнуть». Он называл Сталина «хитрым кавказцем». В том же, однако, что он Сталина перехитрит, Гитлер не сомневался ни минуты. Июнь 1941 года показал, что он был прав. Спас Сталина только народ.

Это письмо выходит длиннее, чем я думал, и больше исторических свидетельств я приводить не буду. Но хочу подвести итог.

Вот, на мой взгляд, итог государственной мудрости Сталина к концу 30-х годов. Как сказано, я говорю только о его международной политике и о том, что имело к ней прямое отношение.

1. Разгром командного состава Красной Армии накануне войны.
2. Срыв антифашистского единства рабочего класса на Западе.
3. Предоставление Гитлеру шанса покончить с Францией, Англией и нейтрализовать Америку, прежде чем наброситься на Советский Союз.
4. Отказ от серьезного укрепления советской обороны на путях предстоящего наступления вермахта.

5. Дискредитация западных компартий приказом отказываться от антифашизма в 1939 году.

6. Предоставление Гитлеру возможности внезапного, ошеломляющего нападения на Советский Союз, несмотря на наличие ряда достовернейших предостережений.

Это только за четыре года: 1937 – 1941.

Один из шести перечисленных пунктов был бы достаточен для того, чтобы совершивший подобный просчет политик, кто бы он ни был, где бы ни жил, навсегда потерял свою репутацию и с позором был изгнан со сцены, как непригодный к делу. Я вспоминаю ведущих капиталистических политиков того времени, и по сравнимым масштабам политического провала мне приходит на ум только один. И того Гитлер, – который не был каким-нибудь Бисмарком и доказал это, бросив Германию в войну на два фронта, – и того Гитлер же обвел вокруг пальца. Но Чемберлен провалился не только потому, что был слеп, а прежде всего потому, что им руководила ослепляющая классовая ненависть к нам. У Сталина такого парадоксального «оправдания» нет. Но слова «государственный ум» в применении к нему в то время звучат как издевательство.

Если же взять все шесть пунктов вместе, в сумме, в связи друг с другом, как это и было ведь в жизни, то найти аналогию к такому счету в нашу эпоху вообще трудно. Вряд ли в истории было много прецедентов политического банкротства подобного масштаба. Еще раз: спас Сталина только народ.

Да, «перечеркнуть четверть века нашей истории» действительно «нельзя», как Вы говорите. Но нельзя и не видеть того, что было за эту четверть века на деле. Мне кажется, Вы чувствуете, что в Вашей двойственной оценке Сталина что-то не ладится, что где-то она сама себя отрицает. Вероятно, поэтому, говоря о победах и подвигах советских людей в ту эпоху, Вы замечаете: может быть, «правильнее сказать не «благодаря Сталину», а «несмотря на Сталина».

Да, вот с такой поправкой согласиться можно. Несмотря на Сталина, «наш народ превратил отсталую Россию в мощное современное государство». Несмотря на Сталина, он «учился, читал, духовно вырос, совершил столько подвигов, что стал по праву героем XX века».

Миллионы согласятся с таким выводом. Но где же тогда положительная половина Вашей оценки Сталина, Илья Григорьевич? Где тогда его маккиавеллистическое величие, его «государственный ум»?

Не было государственного ума. Не было величия. Была довольно ограниченная хитрость и сила, опиравшаяся на самодержавную власть над огромными человеческими ресурсами. Была авантюристическая, преступная по безрассудству игра ва-банк, объяснявшаяся не преданностью идее коммунизма, а невероятным самомнением и сладострастной похотью к личной власти за счет идеи. Сталин во что бы то ни стало хотел перещеголять Ленина (которому завидовал всю жизнь) и еще перед смертью стать «социалистическим» властелином всей Европы и Азии. Америку, по-видимому, он был готов предоставить своим преемникам. Если Вы помните старую книгу Уэллса «Когда спящий проснется», Вы припомните такого же властелина, пробравшегося к власти на гребне революции. Его звали Острогом.

Мне казалось, что так смотрите на Сталина и на то, что было со всеми нами,

и Вы. Я ошибался. Но тогда то, что Вы теперь пишете о Сталине, Вы пишете против себя.

Зачем Вам помогать в создании легенды о творившем добро злом советском Маккиавелли? Вы говорите о требованиях совести (я стал бы говорить еще о том, что требуется в интересах будущего коммунизма). Но если так, то надо разрушать, разоблачать эту легенду... Надо сказать правду. Ведь вы знаете, что спрятать ее не сумеет никто. Нельзя противопоставлять совести историю, она всегда мстит за это.

Я кончаю. Многие, очень многие в нашей стране и за рубежом Вам верят, Илья Григорьевич. Они были в душе с Вами, когда огонь направлялся на Вас, — зная, что Вы говорите правду. Они продолжают быть с Вами. Мне кажется, Ваша оценка Сталина — ошибка. Те из стариков, кто помнит, знает и еще думает, с Вами не согласятся. Молодые Вас не поймут; кое-кто перестанет верить... Не поймут иностранные коммунисты, которые всегда Вас ценили. Не поймут и те, кто будет жить после нас; будущее не со сталинщиной. А ведь главные рецензии о Вас напишут они.

Скажу еще раз: Вы пишете против себя. Я ни на секунду не верю, что Вы делаете это ради каких-либо так называемых «тактических» соображений. Вы слишком умны для этого и не можете не знать, что такая тактика неизбежно бьет бумерангом по тому, кто ее применяет.

Простите за резкость, если она есть в этом письме. Если бы я не ценил Вас, я бы не писал.

30.V.1965 г.

Александр Есенин-Вольпин

(Справку см. т. 1, кн. 1, стр. 103)

«Гражданское обращение» — призыв к гражданам СССР выйти 5 декабря 1965 года на Пушкинскую площадь в Москве в защиту арестованных писателей-диссидентов Юлия Даниэля и Андрея Синявского. Автор текста — Александр Есенин-Вольпин.

На площадь вышло около 200 человек. Через несколько минут митинг был разогнан сотрудниками КГБ, примерно 20 человек задержано (спустя два часа все отпущены). Студенты, участвовавшие в митинге, были отчислены из вузов. Через несколько месяцев, в сентябре 1966 г. в УК была внесена статья 190-З: «организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, или сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, или повлекших нарушение работы транспорта, государственных общественных учреждений или предприятий.» Наказание — 3 года заключения. Кроме демонстрантов, под статью попадали участники забастовок.

5 декабря 1965 г. считается днем рождения советского правозащитного движения.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Несколько месяцев тому назад органами КГБ арестованы два гражданина: писатели А. Синявский и Ю. Даниэль. В данном случае есть основания опасаться нарушения закона о гласности судопроизводства. Общеизвестно, что при закрытых дверях возможны любые беззакония и что нарушение закона о гласности (ст. 3 Конституции СССР и ст. 18 УПК РСФСР) уже само по себе является беззаконием. Невероятно, чтобы творчество писателей могло составить государственную тайну.

В прошлом беззакония властей стоили жизни и свободы миллионам советских граждан. Кровавое прошлое призывает нас к бдительности в настоящем. Легче пожертвовать одним днем покоя, чем годами терпеть последствия ввермя не остановленного произвола.

У граждан есть средства борьбы с судебным произволом, это — «митинги гласности», во время которых собравшиеся скандируют один-единственный лозунг «Требуем гласности судопроизводства» (следуют фамилии обвиняемых), или показывают соответствующий плакат. Какие-либо выкрики или лозунги, выходящие за пределы требования строгого соблюдения законности, безусловно являются при этом вредными, а возможно и провокационными и должны пресекаться самими участниками митинга. Во время митинга необходимо строго соблюдать порядок. По первому требованию властей разойтись — следует расходиться, сообщив властям о цели митинга.

Ты приглашаешься на митинг гласности, состоящийся 5 декабря с. г. в 6 часов вечера в сквере на площади Пушкина, у памятника поэту.

Пригласи еще двух граждан посредством текста этого обращения.

(1965)

Источник: Белая книга: Сб. документов по делу А. Синявского и Ю. Даниэля / Сост. А. Гинзбург. Франкфурт/М.: Посев, 1967.

ПРИЗЫВ ГРУППЫ «СОПРОТИВЛЕНИЕ»

5 декабря 1965 года в Москве на площади Пушкина состоялась демонстрация в поддержку требования гласности суда по делу писателей А. Синявского и Ю. Даниэля.

В нарушения самых элементарных демократических норм власти насильственно разогнали демонстрацию.

Под давлением властей, администрация гуманитарных факультетов МГУ провела гнусную кампанию расправы над студентами, оказавшимися в момент демонстрации на площади Пушкина.

Расправляясь с молодежью руками услужливого партийно-административного чиновничества, власть пытается замаскировать проводимые ею репрессивные мероприятия. Но свирепость псов только подчеркивает склонности дрессировщиков.

Отвечая на вопрос об аресте А. Синявского и Ю. Даниэля на пресс-конференции по случаю присуждения Нобелевской премии, М. Шолохов сказал: «Нужно писать честно и честно смотреть в глаза своей власти, а не завоевывать популярность, печатаясь на Западе...» В чьи глаза рекомендует честно смотреть заигрывающий с властью М. Шолохов? В глаза распоясавшихся политических держиморд? В глаза раболепствующих партийно-административных карьеристов или в глаза официозных демагогов и шарлатанов? И вообще странно, что М. Шолохов так долго не может разглядеть на физиономии «своей» политической власти пару поблескивающих жандармских медяшек вместо глаз. И, на наш взгляд, удивительно, что Нобелевская премия за 1965 год была присуждена человеку, мыслящему в объеме моралиста из официозной агитбригады, умеющему «честно» смотреть сквозь розовые очки в бесчеловечные глаза узурпаторов.

В связи с разгоном демонстрации и последовавшей за этим расправой над студенческой молодежью — возникает вопрос: кто несет ответственность за все допущенные нарушения конституционных свобод? Очевидно — никто! Очевидно, власти не считают нужным реально обеспечивать провозглашенные Конституцией свободы, а наоборот, склонны поддерживать акты надругательства над демократией и поощрять проявления прямого и косвенного насилия над личностью.

Здесь уместно напомнить слова Пальмиро Тольятти из его «Памятной записки»: «Проблемой, привлекающей наибольшее внимание, — это относится и к Советскому Союзу, и к другим социалистическим странам — является, однако, преодоление режима ограничений и подавление демократии и личных свобод, который был создан Сталиным».

Мы призываем вас к бдительности и сопротивлению. Мы призываем вас честно смотреть в глаза своей совести и не душить ее естественные проявления в петле всегда ошибочного расчета. Мы призываем вас заглянуть в глубины собственного Я, и если вы увидите жалкого мошенника, уже потерявшего собственную голову, но трясущегося за каждый волосок на потерянной голове, то мы призываем вас не обманывать самих себя.

«СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Источник: Сб. документов по делу А. Синявского и Ю. Даниэля / Сост. А. Гинзбург. Франкфурт/М.: Посев, 1967.

**ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
ИЗДАНИЯ
И СБОРНИКИ**

Синтаксис

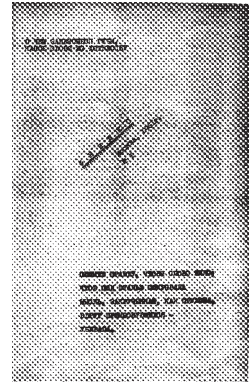


Самиздатский машинописный альманах, выпускавшийся в 1959–1960 гг. молодым московским журналистом Александром Гинзбургом. Вышло три номера, тираж которых достигал 300 экз. Состоял исключительно из стихов московских (№1, 2) и ленинградских (№3) поэтов, публикации которых встречали препятствия со стороны цензуры (Булат Окуджава, Иосиф Бродский, Николай Глазков, Генрих Сапгир, Наталья Горбаневская и др.). Иллюстрировал выпуски альманаха московский художник и поэт, неформальный лидер «Лианозовской группы» Евгений Кропивницкий.

Большинство исследователей полагает, что именно «Синтаксис» следует считать первенцем самиздатской периодики. Принципиально новым стало то, что альманах издавался открыто: на его обложке были проставлены фамилия и адрес издателя. По свидетельствам современников, это обстоятельство производило большое впечатление на читателей. Во время работы над №4 «Синтаксиса» (июль 1960) А. Гинзбург был арестован, органы госбезопасности конфисковали весь архив «Синтаксиса», и издание альманаха было остановлено. (Самому редактору, вместо планировавшегося сначала политического обвинения, было предъявлено сфальсифицированное обвинение по уголовной статье, а дело о «Синтаксисе» было прекращено 11.01.1961). Альманах распространялся в основном среди любителей поэзии, «Синтаксис» пропагандировали видные московские ученые, бывшие узники сталинских лагерей Л.Е. Пинский и Г.С. Померанц. Данных об инкриминировании альманаха на политических процессах не обнаружено (есть упоминание о внесудебных преследованиях, которым подвергся автор «Синтаксиса», сценарист и поэт Александр Тимофеевский – его вызывали в КГБ, после чего студии расторгли с ним договоры).

Через пять лет все три номера «Синтаксиса» были перепечатаны в эмигрантском журнале «Грани» (1965, №58). А еще через тридцать лет, в октябре 1995, Федеральная служба безопасности РФ (преемник КГБ) вернула Гинзбургу архив «Синтаксиса», который был передан редактором в общество «Мемориал». Текст 3-х номеров (по публикации в «Гранях») размещен на сайте «Мемориала» (<http://www.memo.ru>).

Феникс



Весной 1961 г. молодой московский поэт Юрий Галансков, участник собраний молодежи у памятника поэту Владимиру Маяковскому («Маяковка»), ставших неофициальным клубом любителей поэзии, составил и выпустил (размножил на пишущей машинке) альманах «Феникс». В сборнике были представлены разные жанры неподцензурного творчества молодых московских авторов конца 1950 – начала 1960-х гг. Поэтический отдел в основном включал стихи друзей Галанскова – поэтов «Маяковки» Анатолия Щукина, Аполлона Шухта, Владимира Вишнякова (псевдоним Ковшин). Кроме них, публиковались произведения и других молодых литераторов (например, Натальи Горбаневской). Составитель поместил в сборнике свою поэму «Человеческий манифест» (см. т. 1, кн. 1, стр. 108) – общественно-эстетическую программу «Маяковки». Из творчества литераторов старшего поколения в «Феникс» вошло одно стихотворение и отрывок из «Автобиографии» опального Бориса Пастернака. Публицистику в сборнике представляло написанное редактором «Открытое письмо», с критикой популярного тогда молодого советского поэта и упреками в приспособленчестве.

В августе-октябре 1961 г. четверо активистов «Маяковки» (Эдуард Кузнецов, Владимир Осипов, Илья Бокштейн, Анатолий Иванов) были арестованы органами госбезопасности, а собрания на площади пресечены властями. Литературные устремления Галанскова и других «маяковцев» показались им менее значимыми.

Циркуляция «Феникса» не была широкой, возможно, из-за распыления среды – практически все активные участники «Маяковки» были подвергнуты внесудебным преследованиям. Дополнительной причиной малой распространенности сборника мог стать его объем – около 200 машинописных страниц. По свидетельству современника, уже в 1963 г. в Москве ходила легенда о «Фениксе», но достать его текст не удавалось. Сборник был передан за границу и полностью опубликован в №52 эмигрантского журнала «Грани» за 1962 г. Эта публикация осталась практически единственным памятником всплеску самиздатской активности, порожденной «Маяковкой» – участники чтений выпустили еще несколько неподцензурных литературно-публицистических сборников – «Бумеранг», «Чу!» и др., оставшиеся неизданными.

Сирена

Журнал (№1-2), выходивший в 1-ой половине 1962 г. Редактор-составитель Михаил Каплан (1943-1988). Активное участие в работе над журналами принимал В. Скуратовский (род. в 1939).

После ареста участников выступлений на площади Маяковского и — усилиями властей — прекращения там поэтических чтений, М. Каплан, один из поэтов «Маяковки» и участник тесно связанного с площадью самиздатского журнала «Феникс-61» (редактор-составитель Ю. Галансков), решил продолжить традицию бесцензурных изданий. Так, в апреле 1962 г. появился журнал «Сирена», в июне — вышел второй номер.

Журнал представлял собой книжечку объемом в половину стандартного листа (А4), страницы пробивались гвоздем и соединялись скрепками, переплет — из бархатистой бумаги зеленого цвета. Название — из вырезанных печатных букв.

1-ый номер был составлен исключительно из произведений «маяковцев»: стихи Аполлона Шухта («Один»); В. Ковшина (В. Вишнякова) («Актёр придет сюда...», «Может быть, я в самом деле...», «Поэма травы», с посвящением Л.(юдмиле) Р.(ыжковой)); Яши Синего (Г. Якобсона) («Город»); Мих. Вербина (М. Каплана) («Ноктюрн», «Судьба похожа на 88», «На ладони твоих колен...»); Г. Недгара (Ю.Виленского) («Ленинградские стихи», «Маршировали за окном солдаты...»).

Стихи были почти исключительно лирические и не подходили для официальной печати не из-за содержания, а исключительно по своей эстетике.

Например:

На ладони твоих колен
Положу эту песню,
Что давно уже бесит меня...
(Мих. Каплан «На ладони твоих колен...»)

Во многих стихах ощущается влияние В. Маяковского:

О прожитом
Прожитом и брошенном
Мы судим строже
И хорошее
Встает
Как человек
Из черепа
Перебинтованного дерева...
(Аполлон Шухт. «Один»)

Была в журнале и проза: рассказы Г. Недгара «Бунт» (абсурдистская проза в духе обериутов); В. Нарда «В конце», а также юмористические рассказы А. Гармина и Л. Роз (обе фамилии — псевдонимы В. Скуратовского) — «...и Париж», о том, как советские бомбардировщики сбросили атомную бомбу на Вашингтон, Бонн, Лондон и Париж и последующих траги-комических событиях, и «Антисемитизм» — о зарождении бытового антисемитизма.

Внутри журнала — шмуцы, в конце — рисунок В. Соболя и А. Крамиса, изображающий русалку.

№2 был более представительным. «Маяковцы» и там занимали большую часть журнальной площади: М. Вербин («Кто-то// в тишине Заблудных...», «Педераст», «Когда// по потным тропинкам...»); В. Ковшин («Высота», «И если правда, что чертою взгляда...», «Опять ползучее растение...»); Канна Лещинская (Г. Вальцгефер, ныне Г. Скуратовская) («Порывом к богу// колокольня...», «Отчаянье бьет в виски...», ««Будь же ты проклят» — кричу.»); Г. Недгар («Комната та же, и те же цветы на окне...», «Мне ль не помнить ночного короткого имени...», «Поэма ухода» и сатирическая сказка «Домовой»); А. Шухт («Взвесь», с посвящением Мине Стефановне (Сергиееико)); Ю. Стефанов («Нет, искусство не делает убыли...», «О византийский заком...» А. Шукин (Поэма «Кто я? и Зачем я? Обо мне и моей любимой»); А. Гармин и Л. Роз — с юмористическими рассказами «Мыши» и «Получка».

Но были здесь и поэты ленинградского андеграунда Л. Аронзон («Павловск», «Псковское шоссе», «Фонарик», с посвящением И. Бродскому, «О господи, помилуй мя...») и М. Юпп (М. Смоткин) («Пирожки во фрютюре»), и поэты, уже тогда печатавшиеся в официальной советской печати — А. Кушнер («Два мальчика// Два тихих обормотика...», «Где царствует петрушка и лопух...», «Два стакана», «Я к двери припаду одним плечом...») Г. Горбовский. («Уходят праздные друзья...», «А я живу в своем гробу...», Поэма «Квартира №6»).

Титульный лист извещал: все произведения печатаются без согласия авторов. Некоторые стихи — Л. Аронзона, А. Кушнера, Г. Горбовского — М. Каплан взял из архива «Феникса». Ю. Галансков, отбирая материалы для своего журнала, прежде всего интересовался их политическим содержанием. В «Сирене» же №2, как и в №1, — в основном лирика, правда, почти исключительно пессимистического толка:

Вот, например, размышление Ю. Стефанова (в будущем известный переводчик) о судьбах искусства:

... Все погибнет — культура и грамота,
Но, как время, бессмертен талант,
И пещеры рисунками мамонта
вновь украсит грядущий Рембранд.
(«Нет, искусство не делает убыли...»)

Авторы отделены друг от друга шмуцами. Некоторые из них выполнены В. Комаром.

Каждый номер «Сирены» выходил тиражом 5 экз. 1 оставался у М. Каплана, 1 — посылался в Ригу (через Г. Якобсона, уроженца этого города), один — в Ленинград, один — на Украину, один пускался по Москве, в надежде, что он будет перепечатан и «тираж» таким образом увеличен. И эти надежды сбывались.

Номера «Сирены» хранятся в архиве Бременского института Восточной Европы (Германия).

Сфинксы

Самиздатский литературный журнал, его первый и единственный номер вышел в свет в июле 1965 г. (около 100 машинописных страниц). Редактор журнала, московский переводчик и прозаик Валерий Яковлевич Тарсис, к этому времени уже пережил принудительную госпитализацию в психиатрическую больницу, исключение из КПСС и из Союза писателей (за публикацию своих произведений на Западе). Выпущенный из больницы с диагнозом «шизофрения», Тарсис был необычной фигурой для Москвы 1960-х: «<...> Тарсис с тех пор жил совершенно так, как будто никакой советской власти вокруг не существует, давал интервью, пресс-конференции, почти открыто отправлял за границу новые рукописи, даже машину себе купил — на зависть всему писательскому дому, в котором продолжал жить. И валом валил к нему народ, в особенности же иностранные корреспонденты и туристы, — посмотреть на восьмое чудо света <...> впервые появился в Советском Союзе человек, которого нельзя посадить. И если люди постарше, поопытней обходили Тарсиса стороной, то молодежь от него не вылезала» (из воспоминаний Владимира Буковского). «Сфинксы» были единственным изданием, выпущенным под его редакцией. В редакционном предисловии провозглашалось, что «Сфинксы» — «новый журнал, приподнимающий занавес молчания, опущенный на русскую литературу безграмотными политиками и их лакеями». Хотя местом издания журнала на титульном листе обозначена «Россия», подавляющее большинство из 25 опубликованных там авторов — москвичи. Основное место в журнале занимает поэзия. Наряду с самиздатскими поэтами, напечатавшимися ранее в «Фениксе» (Юрий Стефанов, Владимир Ковшин (псевд. В.Вишнякова)), много места в «Сфинксах» занимает поэзия членов молодежной литературной группы СМОГ (Самое Молодое Общество Гениев, другие возможные варианты расшифровки: «Сила, Мысль, Образ, Глубина», «Сжатый Миг Отраженной Гипеболы»), образованной в Москве в начале 1965 г. (Леонид Губанов, Владимир Алейников, Владимир Батшев, Сергей Морозов, Юлия Вишневская и др.). Тарсис поместил в журнале (без согласия авторов) и произведения некоторых «официальных» советских писателей, не прошедшие цензуру и распространявшиеся в Самиздате (стихотворения Бориса Слуцкого и Давида Самойлова, четыре песни Александра Галича, в том числе уже ставшая знаменитой «Облака»). Прозу в журнале представляли новеллы Аркадия Усякина и Михаила Шелгунова, эссе Марка Эдвина и самого Тарсиса. Общим для большинства произведений, включенных в «Сфинксы», является модернистская стилистика и, как подчеркнул рецензент эмигрантского журнала «Грани», «непримиримый антикоммунизм».

В том же 1965 году «Сфинксы» были полностью переизданы за границей, в № 59 журнала «Грани». Сведений об инкриминировании журнала на политических процессах обнаружить не удалось. Однако выход «Сфинксов» превратил их редактора в фигуру, объединяющую советскую литературную оппозицию (прежде всего молодежь), что, возможно, стало одной из причин, побудивших власти принять решение об удалении Тарсиса из СССР. В феврале 1966 г. он получил разрешение на поездку в Англию и сразу же после выезда из страны был лишен советского гражданства.

Чу!

Журнал (машинописный сборник) вышел единственный раз весной 1965 г.

Это один из первых сборников неофициальной группы творческой молодежи СМОГ (Самое Молодое Общество Гениев). Тоненький сборник размером в полный лист (А4), «Чу!» состоял из стихов 4-х поэтов – основателей СМОГа: Леонида Губанова (1946-1983), Владимира Батшева (род. в 1947), Владимира Алейникова (род. в 1946г.), Юрия Кублановского (род. в 1947). Страницы и обложка разрисованы фломастерами Л. Губановым.

У Л. Губанова – хорошо известное: «Стихотворение о брошенной поэме» (Иногда печатается под заглавием «Эта женщина») и др. – все ныне опубликовано. В. Батшев напечатал в «Чу!» поэму «Народовольцы», стихотворение «Елабуга» и др.

А в Елабуге белые старцы
и оранжевые маляры
разукрасили белым танцем
голубые монастыри

Разукрасят вареньем и лампами
купола от ожогов стары.
На лубочном боку Елабуги
голубые монастыри.

«Елабуга»

Поэма «Арлекин» Ю. Кублановского (так никогда и не попавшая в «гутенберговские» издания) посвящалась В. Алейникову :

...Когда под вечер скрипит перо,
и светит фосфор в людской кости,
на зимнюю улицу выходит Пьеро
и говорит: «Господь, прости».
Мальчик маленький, голубок,
что за песенку достонал.
Локон женщины голубой
из кармашка все доставал.
Точно льдом разорвало рот,
губы красные в пол-лица.
Ваша роль, Пьеро, ваша роль

не доиграна до конца...
Завтра вечером и опять –
но в заснеженной стороне,
где на землю поэт упал,
быть проталине и траве.

.....

P.S.

На углу, где задутый ветер шал,
с большими губами и томиком Данте,
опершись ногами в оледенелый шар,
стоят Земные Комедианты.

В подборке В. Алейникова, пожалуй, наиболее характерное стихотворение следующее:

Огниво, чтиво и рыжая прядь...
Где же потомки? наверно, в потемках.
Незачем брать, нечего взять
в черную магию тощей котомки.
Мальчики жгут голубые костры,
пальцы жгутом и надкушены губы.
Головоломкою нашей поры
лжете в горах, довели перелюбы
до... Переменят ли нашу печаль
волны? стучит и царапает днище,
вороном вьется... (не замечал –
завтра черед! и в могиле отыщет!)
Заспаны лица. Проспали потоп –
снова проспят. Недоспавших пытайте –
если расскажут, будет потом
огниво, чтиво и рукоплесканье.

«Чу!» вышел «тиражом» около 15 экз. (Как впоследствии вспоминает В. Батшев 2-3 закладки в машинку). Частично перепечатан в «Гранях» №61.

Экземпляр «Чу!» хранится в архиве Бременского института Восточной Европы (Германия).

Авангард

Журнал (машинописный) под редакцией Леонида Губанова (1946-1983) появился в 1965 г. Активное участие в создании журнала принимал Владимир Батшев (родился в 1947 г.).

Название неслучайно, по мысли составителей, это был журнал Авангарда Левого Искусства.

Журнал был задуман и сделан сразу после выхода журнала (сборника) «Чу!» как издание более представительное, с большим количеством авторов.

В «Авангарде», как и в «Чу!», были только стихи и только участников группы СМОГ (Самое Молодое Общество Гениев). Среди авторов — Л. Губанов, В. Батшев, Ю. Вишневская, С. Морозов, А. Соколов (под псевдонимом «Велигош», ныне Саша Соколов), И. Грифель, В. Волшаник, Ю. Ивенский, Вячеслав Макаров (под псевдонимом Макар Славков) и др.

Все стихи не могли пройти через советскую цензуру, прежде всего, по эстетическим соображениям, многие были рассчитаны на эпатаж.

Юлия Вишневская уверяла: «А я лиричный циник... //мы поэты и прочие позеры// нас обучают и моралям и манерам...// А мы прошлись разменной монетой// по кошелькам, по шапкам, по рукам».

Макар Славков возмущался: «Сверхтолстокожее сословие слоновье// только унижаться способно!».

С. Морозов мечтал: «Встретить бы нам третьего, не меня, лишнего...»

В. Батшев поместил в «Авангарде» две поэмы «Синий корабль» и «Пушкин без Пушкина». Вот строчки из последней:

**Я от тебя бегу, Москва,
ты исчезаешь, исчезаешь,
но как и раньше — истязаясь,
и погребаясь, словно вал...**

Цикл Л. Губанова «Одинокость» ныне опубликован в книге: Л. Губанов «Я сослан к Музе на галеры...». М., 2003

В качестве приложения к журналу была напечатана проза А. Урусова (под псевдонимом Арк. Усякин) — «изыск в 2-х частях» «Крик далеких муравьев» — об угрызениях совести убежавшего из лагеря заключенного, спасшего свою жизнь ценой жизни товарища.

Рассказ «поступил в редакцию» уже после того, как «Авангард» был сброшюрован, и именно по этой причине «вышел» в виде приложения.

Тираж «Авангарда» был небольшим — 2-3 закладки в машинку и распространялся в основном среди «своих» — членов СМОГа.

Отдельные стихи из «Авангарда» были перепечатаны в журнале «Грани» № 61, проза Урусова — там же, №60.

Коктейль

Самиздатский журнал (или сборник), М., 1960, вышел единственный раз. Редактор-составитель В. Скуратовский. Авторы В. Скуратовский и Г. Якобсон (под псевдонимами).

В конце 1960 г. участники поэтических чтений на площади Маяковского Виталий Скуратовский (род. в 1939 г.) и Григорий Якобсон (род. в 1941 г.) — по примеру В. Осипова, недавно «издавшего» самиздатский журнал «Бумеранг», — договорились выпустить свой журнал. Молодые люди писали стихи, а В. Скуратовский еще и прозу, но журнал решено было сделать исключительно поэтическим. Из любви к мистификациям придумали: каждый выступит под несколькими псевдонимами. Таким образом сборник будет восприниматься как издание некоей новой поэтической группы. Конечно, принимались во внимание и конспиративные соображения — оба автора учились в МИФИ, учебном заведении, где, как считалось, студенты могут быть знакомы с государственными тайнами. По этим же причинам договорились не давать произведений других поэтов — иначе мистификация легко могла бы быть раскрыта.

Г. Якобсон принес свои стихи, а В. Скуратовский написал специально для «Коктейля» несколько коротких стихотворных блоков, имитирующих различных по стилю поэтов.

Печатал журнал сам Скуратовский на собственной машинке. Тексты — на черной ленте, заглавия — на красной. «Полиграфическая база» определила и тираж — 4 экз. Он же и переплел все экземпляры. Форзацы были сделаны из полупрозрачной зеленой бумаги, а обложки — из бархатистой, темно-коричневого цвета. Получилось довольно красиво. В коротком предисловии («От составителя») говорилось: «Эта небольшая антология объединяет группу московских поэтов. Все они молоды, их средний возраст не достигает и двадцати лет. Наша общая поэтическая платформа: цвет — мысль — пластичность».

Цвета, или о цвете, или просто цветов в сборнике было, действительно, много. Вот, например, стихотворение Михаила С. (Г. Якобсон) «Символ»:

Мир стоит на соцветье
вот уж много веков,
семицветном созвездье
самоцветных цветов.

Поэт С.К. (В. Скуратовский) завершал стихотворение «Этюд №7. Озеро» такими строчками:

Фиолетово и зеленово
жарколетово, синекленово.

Стихотворение «Гаити. Гибель цивилизации», подписанное М. Гог..., (Григорий Якобсон) – явное подражание Серебряному веку русской поэзии:

Пальмы мягко качались.
Задевали о небо.
И царапали небо.
Умирала в печали
золотистая нега.
Предзакатная нега.

Шарль (В. Скуратовский) в стихотворении, тема которого и дала название сборнику, сетует:

Все, что вокруг –
это грустный коктейль
из истины, лжи,
снов и желаний,
каких-то лозунгов,
чьих-то радостей,
святости, подлости,
снов и желаний.

Окружающей действительности противопоставлена площадь Маяковского. Самые точные слова о ней сказаны, пожалуй, Яшей Синим (Г. Якобсон):

Среди разнузданного б..... ва –
заслуга чья-то иль вина? –
Цвело восторженное братство
любви, поэзии, вина...

Аннотация на «Коктейль» появилась в другом самиздатовском журнале – «Феникс», М., 1961. Официальная пресса также не обошла сборник вниманием. Так, в фельетоне Л. Лавлинского «Обнаглевший нуль» (ж. «Молодой коммунист», 1962, №2) предлагается «число Синих Яш» сократить «до нуля математического».

В настоящее время один экземпляр «Коктейля» хранится в архиве Бременского института Восточной Европы (Германия).

Остальные три – вероятно, утрачены. В. Скуратовский стал профессиональным писателем-прозаиком, печатается в Германии (куда он в 1970-е гг. эмигрировал) и в России. Дальнейшая судьба Г. Якобсона неизвестна.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Пастернак Б. Л., <i>стихотворения Юрия Живаго</i>	7-13
Жигулин А. В.	14
<i>Отец, Сны, Соловецкая чайка, Эпоха, Поэт</i>	14-18
Айхенвальд Ю. А.	19
<i>Бык (Толкователь Библии), Гамлет в 1937 году, Смерть художника</i>	20-22
Чертков Л. Н.	23
<i>Итоги, Ночная красавица, «Бесценный аромат прижизненных ихданий...», Отрывок из Хроники. XVI век.</i>	23
Коржавин Н. М.	27
<i>Зависть, На смерть Сталина, Ленин в Горках, На полет Гагарина, Наивность, Подонки</i>	27-38
Евтушенко Е. А.	39
<i>Письмо к Есенину</i>	40
<i>Марков к Маркову летит. Марков Маркову кричит</i>	42
Бобышев Д. В.	43
<i>«Равнодушие...», «Когда пойдет военный эшелон...», К запуску космической ракеты, Там были дома</i>	43-46
Бродский И. А.	47
<i>Рождественский романс, «Еврейское кладбище...», «Мимо ристалищ, капищ...», Стихи о принятии мира, Земля, «Дойти не томом...»</i>	48-53
Твардовский А. Т.	54
<i>Теркин на том свете, По праву памяти</i>	54-59
Горбаневская Н. Е.	60
<i>Концерт для оркестра, «Как андерсовской армии солдат...», «Ах, откуда я? Из анекдота...», De revolutionibus orbis, «Но спесь — не в том, чтоб спеть...»</i>	60-63
Айги Г. Н.	64
<i>Здесь, Праздник в детстве</i>	64-65

Чичибабин Б. А.	66
«Кончусь, останусь жив ли...», «До гроба страсти не избуду...», Верблюды, Клянусь на знамени веселом, Пастернаку, Приготовление борща	66-73
Сапгир Г. В.	74
Обезьян, Смерть дезертира, Голоса, Памяти отца, Молчание, Лампа	74-80
Окуджава Б. Ш.	81
Голубой шарфик, Ванька Морозов, Песенка о солдатских сапогах, Полночный троллейбус, До свидания, мальчики	82-85
Высоцкий В. С.	86
Наводчица, Все уши на фронт, Штрафные батальоны, Братские могилы	86-89
Галич А. А.	90
Облака, Я выбираю свободу (Старательский вальсок), За семью заборами, Про маляров, истопника и теорию относительности, Красный треугольник, Ошибка	90-98

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Шаламов В. Т.	
Справка о «Колымских рассказах»	101
Колымские рассказы	102
Чуковская Л. К.	126
Софья Петровна	127
Владимов Г. Н.	134
Верный Руслан. История караульной собаки	134
Бек А. А.	138
Новое назначение	138
Платонов А.	148
Чевенгур	148
Котлован	156
Кёстлер А.	163
Слепящая тьма	163

Оруэлл Дж.	170
<i>Скотный двор</i>	170
1984.....	180
Солженицын А. И.	190
<i>Правая кисть</i>	191
Мандельштам О. Э., <i>Четвертая проза</i>	198

ПУБЛИЦИСТИКА, ДОКУМЕНТЫ, МЕМУАРЫ, ЭССЕ

Короленко В. Г.	211
<i>Письма Луначарскому</i>	211
Бердяев Н. А.	222
<i>Истоки и смысл русского коммунизма</i>	222
Бухарин Н. И.	232
<i>Будущему поколению руководителей партии</i>	232
Раскольников Ф. Ф.	235
<i>Открытое письмо Сталину</i>	235
Алданов М. А.	242
<i>Исторические портреты и очерки</i>	242
Евтушенко Е. А., <i>Автобиография</i>	255
Ромм М. И., <i><Выступление на собрании творческой интеллигенции></i>	257
Вигдорова Ф. А.	262
<i>Записи суда над Иосифом Бродским</i>	263
Эткинд Е. Г.	275
<i>Отступление о взбесившейся форме</i>	275
Захарова А. Ф., <i>Главному редактору «Известий»</i>	277
Дзюба И. М.	281
<i>Интернационализм или русификация?</i>	281

Авторханов А. Г.	290
<i>Технология власти</i>	290
Милован Дж.	294
<i>Новый класс</i>	294
<i>Беседы со Сталиным</i>	306
Борев Ю. Б.	327
<i>Сталиниада</i>	327
<i>Письмо Начальнику Енисейского охранного отделения А.Ф. Железнякову</i>	334
Эрнст Генри (Ростовский С. Н.)	335
<i>Открытое письмо писателю Илье Эренбургу</i>	335
Есенин-Вольпин А. С., <i>Гражданское обращение</i>	345
<i>Призыв группы «Сопротивление»</i>	346

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И СБОРНИКИ

Синтаксис	349
Феникс	350
Сирена	351
Сфинксы	353
Чу!	354
Авангард	356
Коктейль	357

**Антология самиздата.
Неподцензурная литература в СССР.
1950-е - 1980-е гг.**

Том 1. Книга 2.

Под общей редакцией
Вячеслава Владимировича Игрунова

Автор проекта и составитель
Марк Шиович Барбакадзе

Редактор
Елена Семеновна Шварц

Корректор *Д.А. Шалаева*
Оформление *Е.С. Шварц, Г.В. Игрунов*
Верстка *Е.С. Шварц, Г.В. Игрунов*
Тех. редактор *Г.В. Игрунов*

Международный институт
гуманитарно-политических исследований
Москва, Газетный пер., 5

Подписано в печать 01.03.2005
Усл. печ. л. 29,9. Формат 70x100^{1/16}
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Тираж 4900 экз. Заказ № 2421

Книга отпечатана с готовых диапозитивов в ПФ «Полиграфист»
160001, Россия, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3

"Антология самиздата" впервые в таком объеме представляет ту параллельную культуру, которая развивалась в Советском Союзе в 50-60-70-е гг.

Самиздат был явлением действительно свободной литературы, свободной мысли и настоящего гражданского мужества. Я думаю, эти три качества уже определяют значимость и важность этого многотомного цикла.

Учитывая, что тексты, которые включены в антологию, и сегодня не очень доступны для широкой публики, издание этих книг имеет огромное значение для развития нашей культуры, нашей журналистики, нашей публицистики и нашего гражданского общества.

В этой книге читатель найдет блестящие образцы поэзии, публицистики и мысли. В ней представлены люди из разных слоев общества, объединенные высокими гражданскими идеалами: академик Сахаров, поэт Галансков, отец Павел Флоренский. Печатаются те тексты, которые в Советском Союзе невозможно было опубликовать в силу цензурных запретов. Это тексты Волошина, Гумилева, Цветаевой, Мандельштама, Ахматовой, поэтов, которые признаны фигурами экстра класса нашей литературы.

Помимо всего прочего, эта антология помогает лучше понять и внутренний мир советской интеллигенции, да и сегодняшней нашей культурной среды, поскольку написанные в подцензурных условиях песни, стихи и проза, при том, что они были запрещены для публикации, достаточно глубоко проникли в сознание советских людей и в культуру советского общества и даже в быт многих российских семей.

Это реальное достижение Самиздата, которое сделало его не просто частью контркультуры или параллельной культуры, но и позволило расширить кругозор и круг интересов и взглядов советских людей, прежде всего советской молодежи, студенчества, интеллигенции, культурного слоя советского общества.

Это прекрасная книга, нужная нам, полезная для журналистов. Я думаю, что она будет использоваться нашими студентами как учебное пособие по истории интеллектуальной мысли, журналистики и публицистики и, что особенно важно, гражданского мужества. Эта книга важна для каждого интеллигентного человека в России. Это важный вклад в развитие гражданского общества в России.

Я.Н. Засурский,

декан факультета журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова

ISBN 5-89793-032-5



9 785897 193032 6